

**К XIII Международному  
съезду славистов**

---

---

**СЛАВЯНСКОЕ ЯЗЫКОЗНАНИЕ**

**Материалы конференции  
(Москва, июнь 2002 г.)**

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК  
Отделение историко-филологических наук  
Национальный комитет славистов Российской Федерации

## **СЛАВЯНСКОЕ ЯЗЫКОЗНАНИЕ**

Материалы конференции  
(Москва, июнь 2002 г.)

*К XIII Международному съезду славистов*

Москва  
2003

ББК 81.2  
С47

Редакционная коллегия:

доктор филологических наук *В. М. Живов*,  
член-корреспондент РАН *А. М. Молдован* (ответственный редактор),  
член-корреспондент РАН *Т. М. Николаева*

С47 Славянское языкознание. Материалы конференции (Москва, июнь 2002 г.) (Отд. ист.-филол. наук РАН; Национальный комитет славистов Российской Федерации) / Отв. ред. А. М. Молдован. М. : Институт русского языка РАН, 2003 – 384 с.

ISBN 5-88744-046-5

ББК 81.2

За аутентичность цитат ответственность несут авторы статей

ISBN 5-88744-046-5

© Авторы статей  
© Институт русского языка  
им. В. В. Виноградова РАН, 2003

*И. А. Букринская, О. Е. Кармакова*

## **Противопоставление центральных и периферийных ареалов в восточнославянской лингвогеографической традиции**

Вопрос о центре и периферии в лингвогеографии всегда занимал языковедов. Общепринятым считается положение о том, что именно на периферии сохраняются архаические черты любого языкового уровня, в то время как центральная зона интенсивнее подвержена воздействию инновационных процессов. Об этом феномене неоднократно писали и отечественные, и зарубежные ученые (Н. И. Толстой, Г. А. Хабургаев, О. Н. Трубачев, А. Ф. Журавлев, С. В. Бромлей, П. Е. Гриценко). Так, О. Н. Трубачев считает, что «огромную проблему лингвистической географии представляет определение инновационного центра языкового ареала» [Трубачев 2002: 9], т. е. для него центром являются именно те говоры, которые стали источником инновации. В свою очередь, Н. И. Толстой, обращаясь к проблеме изучения центральных и маргинальных (латеральных) ареалов, подчеркивает, что в общеславянском масштабе не противопоставляется центр и периферия, подобные зоны можно выделять только в отдельных славянских массивах — южном, восточном, западном [Толстой 1977: 48] и что противопоставление центра и периферии может быть исследовано в различных направлениях: пространственно-типологическом (синхронно-географически) и историко-хронологическом (инновация — архаизм). При этом ученый считает, что архаику не всегда следует искать на периферии и что значительная часть архаических изоглосс проходит через центр. Поэтому правильнее оперировать «условным понятием архаических и неархаических зон» [Там же: 55].

На материале русского языка вопрос о противопоставлении центральных и периферийных говоров впервые был поднят в [Захарова, Орлова 1965, 1970]. Лингвистический ландшафт, представленный на картах Диалектологического атласа русского языка [ДАРЯ I, II], позволил выявить центр и периферию на основе фоне-

тических и грамматических черт, характеризующих указанное противопоставление. Однако территория центральных говоров может быть описана исходя из учета самых разных изоглосс, в связи с чем авторы работы [Образование 1970: 290—292], а вслед за ними С. В. Бромлей [1985] выделяют максимальный и минимальный вариант центральной зоны. В минимальном варианте центральные говоры охватывают территорию, окружающую Москву и ближайшие к ней северо-восточные говоры Владимирско-Поволжского типа (мы их называем говорами Волго-Клязьминского междуречья). Максимальный вариант центральной зоны проходит по линии (начинаем с северо-востока) Тотыма—Тихвин—оз. Селигер—Ржев—Калуга—Рязань—Касимов и включает в себя часть белозерско-бежецких, костромских говоров, а также акающие тверские [Образование 1970: 345 и далее].

Центральным говорам свойственны следующие черты: последовательный переход *e* в *o* перед *t*; наличие губно-зубного спиранта *v*, чередующегося с *ϕ* в конце слова и слога; различие твердых и мягких губных согласных на конце слова; наличие долгих мягких шипящих *ж'* и *ш'*; различие *л* — *л'*; наличие словоформ *мат'*, *доч'* в И. п. ед. ч.; наличие словоформы *свекров'* в И. п. ед. ч.; наличие словоформы *цёрков'* в И. п. ед. ч.; формы косвенных падежей притяжательных местоимений ж. р. ед. ч. с ударненным *e* в окончании: *мойёй*, *твойёй*, *свойёй*; личные формы глаголов I спр. наст. времени с обобщенным ударненным гласным *o*: *нес'ош*, *нес'от*, *нес'ом*, *нес'от'о*; парадигма наст. времени глагола *печь* с чередованием задненебного и шипящего согласных: *пекү* — *печ'ош*. Большинство черт названной зоны совпадает с характеристиками литературного языка, так как именно эти говоры легли в его основу.

Далее перечислим черты, свойственные периферийным говорам: единичные случаи неперехода *e* в *o* перед *t*, а также следы неперехода *e* в *o* в отдельных словах или морфологических категориях; наличие *v*, чередующегося с *w* в конце слова и слога; наличие долгих твердых шипящих *ж* и *ш* или звуковых комплексов на месте долгих мягких шипящих; различие *l* — *л'*; распространение словоформ *мáтер'*, *дóчер'*, *мáтка*, *дóчка*, *мáти*, *дóчи*, *мáтер'а*, *дóчер'а*; распространение словоформ *свекрý*, *свекрá*, *свекрóва* и др.; распространение словоформы *цёрква*; формы косвенных падежей притяжательных местоимений с ударненным *o* в окончаниях: *мойóй*, *твойóй*, *свойóй*; личные формы глаголов I спр. наст. времени с обобщенным ударненным гласным *e* или с разного типа чередованиями *e* и *o*; парадигма наст. времени глагола *печь* с разного типа обобщением задненебных согласных [Захарова, Орлова 1965: 229—231].

Необходимо заметить, что многие из черт, присущих центральным говорам, могут встречаться и в периферийных как сосуществующие, в то время как черты периферийных говоров не отмечаются в говорах центральной зоны, имеется в виду прежде всего ее минимальный вариант. Языковые признаки периферийных говоров носят индивидуальный характер, т. е. ни один из признаков не распространен во всех говорах периферии. Что же позволяет объединить их в единое целое? Огромный вклад в изучение указанной проблемы внесла С. В. Бромлей, которая на основе анализа карт [ДАРЯ I, II] сделала вывод о том, что важнейшим противопоставлением центральных и периферийных говоров является оппозиция «консонантность — вокальность» [Бромлей 1985: 14]. Изучением русских северных говоров, в частности вологодских, относящихся к периферии, плодотворно занимался [Касаткин 1973; 1999], писавший о слабой противопоставленности согласных по твердости/мягкости в названных говорах, которая приводит к увеличению гласных фонем в системе (до 12), и о других фонетических явлениях этой территории.

Центральные говоры в своем ядре, а его составляют уже упоминавшиеся говоры Волго-Клязьминского междуречья, являются наследниками ростово-суздальского диалекта, который был исследован в работах [Аванесов 1947; Горшкова 1968; 1972]. К. В. Горшкова характеризует фонетический строй этого диалекта как по преимуществу консонантный, где последовательно реализуется оппозиция по глухости/звонкости, в то время как новгородский диалект характеризуется большей вокальностью (семифонемный вокализм, меньшее количество согласных фонем и др.). Таким образом, ростово-суздальский диалект связывается с зоной центра, а древненовгородский диалект послужил базой для складывания периферийных северных говоров: новгородских, архангельских, вологодских, поморских [Горшкова 1968: 182].

Ученица К. В. Горшковой С. М. Треблер, исследуя периферийные говоры, в частности вологодские и рязанские, сравнивает их с фонетическими системами украинских и белорусских диалектов. Противопоставление периферийных и центральных систем в истории языка [Треблер 1978] трактует как «широкое противопоставление восточнославянских говоров с запада на восток».

При реконструкции этапов складывания известных к тому времени диалектных различий авторами труда [Образование 1970] было выявлено четкое противопоставление западных и восточных говоров, дано детальное описание языковых явлений общезападного происхождения, которые, как показал анализ, отмечены в

говорах трех восточнославянских языков, но не проникают в русские говоры Волго-Клязьминского междуречья (см. также [Хабургаев 1980]).

Таким образом, с точки зрения всего восточнославянского континуума, а также в том случае, когда речь идет о древнерусском периоде языка, противопоставлению центральных и периферийных говоров соответствует противопоставление запада и востока. Оппозиция «запад — восток» просматривается и на некоторых лексических картах [ДАРЯ III]. Так, западная территория включает в себя говоры украинского, белорусского и частично русского языка. Причем на территории русских говоров западный ареал может быть шире или уже в зависимости от конкретного лексического явления. Изоглосса названия коллективной помощи в сельской работе *толокá* имеет достаточно представительный ареал в западных русских говорах (псковских, южной части новгородских, смоленских, брянских и курских), противопоставленный восточному ареалу названия *пóмочь*. Далее перечислим изоглоссы лексем, имеющих сходную конфигурацию: название крестьянского жилища *хáта* (запад) — *избá* (восток), *пράльник* и др. дериваты от глагола *прать* — *валёк* 'орудие для выколачивания белья' (при лексическом своеобразии севера вологодских и ладого-тихвинских говоров); *бура́к* — *свёкла*; различия в семантике: на западе основное значение слова *погóда* 'хорошая погода' [Слоўнік 3; Гринченко 1909], а на востоке — 'плохая, ненастная' (включая 'снегопад', 'дождливую и ветреную погоду'); различия в словообразовании: суффикс *-иц(a)* в названии ягод (*брусніца*, *черніца*, *земляніца* и др.) отмечен не только в западных, но и в севернорусских говорах, где сосуществует с суффиксом *-ик(a)*; на востоке зафиксированы суффиксы *-ик(a)*, *-иг(a)* (*брусні́ка*, *брусні́га*, *черні́ка*, *черні́га*, *земляні́ка*, *земляні́га*). Н. И. Толстой суффикс *-ика* считает более архаичным и отмечает его наличие в южнославянских языках: в сербохорватском и болгарском, при отсутствии у западных славян [Толстой 1977: 47].

Как уже говорилось, многие черты, присущие русским периферийным говорам, свойственны и другим восточнославянским языкам: «...признаки высокой вокальности связываются при этом всегда с восточнославянским западом, — с украинским языком, частично с белорусским, где они распространены, как правило, в качестве господствующих, большими целостными ареалами» [Бромлей 1985: 30]. При этом С. В. Бромлей считает наиболее архаичными периферийные вокальные говоры, прежде всего русские северо-восточные, т. е. оппозиции «вокальность — консонантность»

соответствует противопоставление «архаизмы — новообразования» [Там же: 13]. Мы не считаем возможным столь прямолинейный и однозначный подход к трактовке архаических и инновационных процессов, так как каждое явление требует специального детального рассмотрения, особенно это касается грамматических черт. Многие диалектные различия из приведенных выше могут уходить своими корнями еще в праславянскую эпоху. Так, консонантные черты языка могут быть столь же древними, как и вокальные.

Например, такая консонантная черта в русских центральных говорах, как сохранение долгих мягких шипящих в качестве особых фонем — наследниц древнерусских фонем /ш'т'ш'/ и /ж'д'ж'/, — является не менее архаичной, чем утрата этих фонем: расчленение их на двухфонемные сочетания и таким образом сохранение в диалектах произношения более близкого к древнерусскому [Пшеничнова 1998]. Н. Н. Пшеничнова пишет: «...русские периферийные говоры были охвачены процессом, единым для этих говоров и говоров белорусских и украинских, — процессом превращения названных фонем в двухфонемные сочетания. Этот вывод согласуется с тезисом Горшковой — Бромлей относительно противопоставленности русских говоров центра как более консонантных, с максимальным количеством согласных фонем русским периферийным говорам, которые вместе с говорами украинскими и белорусскими являются менее консонантными (более вокальными), с меньшим количеством согласных фонем...» [Там же: 57—58].

Как уже говорилось, противопоставление центра и периферии было выявлено в результате анализа фонетических и грамматических явлений, однако территория центральных говоров выделяется и на основании целого ряда репрезентативных лексических черт. Возможности лексики по-разному расцениваются диалектологами. Одни считают этот уровень языка наиболее подверженным изменениям, а потому слабо доказательным. Однако другие исследователи полагают, что лексика — достаточно медленно изменяется и поэтому, напротив, может быть успешно использована при установлении степени архаичности того или иного диалекта, а также различного рода связей между языками и диалектами.

А. Ф. Журавлев, ссылаясь на известных лингвистов (В. Манчак, В. Порциг, П. Ивич, О. Н. Трубачев, Г. А. Климов и др.) и на основе собственных наблюдений, делает вывод «о высокой степени устойчивости лексики на фоне других языковых уровней... лексика является наиболее консервативным уровнем языка и потому самым надежным для установления степеней генетической близости» [Журавлев 1994: 28]. О возможностях лексики, в частности в плане



исторической интерпретации, неоднократно писала О. Н. Мораховская [Мораховская 1973; 1979; 1996].

Изучение лексического своеобразия говоров центра, наследников ростово-суздальского диалекта, представляет определенную трудность, так как именно они легли в основу русского литературного языка, а следовательно, их лексические черты получили более широкое распространение. Позднее переселенцы из этого региона устремляются на обширные территории нового заселения — по среднему течению р. Волги, а также среднему и нижнему течению р. Суры (нынешняя территория Ульяновской и Пензенской областей), что напрямую связано с московской колонизацией. Особенности расселения сказались, естественно, и на языке: одни лексические изоглоссы, как видно на картах Атласа, имеют ареалы лишь в междуречье Волги и Клязьмы, другие же распространены гораздо шире, охватывая территории на севере и на юго-востоке.

О происхождении восточных говоров писали Р. И. Аванесов [1947], Б. М. Ляпунов [1968], Ф. П. Филин [1972], В. В. Седов [1994]. Учеными было высказано предположение о том, что говоры Ростово-Суздальской земли были заселены особым восточнославянским племенем, чье название не сохранилось. Исследованием своеобразия восточнорусских диалектов занимался С. Л. Николаев, который ввел термин «восточные говоры литературного типа»: «Эти говоры не могут быть поставлены в генетическую связь ни с одним из реконструируемых восточнославянских племенных языков...» [Николаев 1994: 43]. В них сохраняется большое число акцентологических архаизмов праславянского периода, что может свидетельствовать о раннем обособлении этих славян [Дыбо, Замятина, Николаев 1990].

Описание языкового своеобразия данного региона осложняется и тем, что он издревле является этнически неоднородным, в разное время на него устремлялись разные этнические потоки (здесь проходит «кривичский пояс», на этой же территории находятся археологические памятники вятичей и словен) [ДАРЯ I; Седов 1994: карта «Расселение славянских племен и их соседей в X в.»].

Как уже говорилось, диалектологи неоднократно обращались к исследованию этой территории, изучая разные уровни и хронологические пласты языка, осмысляя структурное и географическое понимание центра и периферии в рамках русского языка и восточнославянского континуума в целом. Эти говоры называют центральными [Захарова, Орлова 1964; Бромлей 1985], говорами Волго-Окского междуречья [Хабургаев 1980], существуют и другие их определения. Для того чтобы избежать терминологической и гео-

графической путаницы, мы будем называть их восточными говорами литературного типа.

О лексических чертах этих говоров мы писали ранее [Букринская, Кармакова 2002]. Ниже будут перечислены как изогlossы, рассмотренные в указанной статье, так и некоторые другие. Итак, восточные говоры литературного типа характеризуются многими архаическими чертами в области лексики. Здесь распространены сложные наименования радуги: *ра́дуга-дугá*, *дугá-ра́дуга*, *дугá-ра́да*, *ра́да-дугá*, *ла́дуга-дугá*.

В других славянских языках подобные композиты представлены только в северо-восточных болгарских говорах. По мнению Н. И. Толстого, они восходят к сочетаниям типа *\*дуга*, *рада дуга*, *радова дуга*, «которые в скороговорке или в результате гаплоглоии дали *дуга-радуга* и позже просто *радуга*...» [Толстой 1997], т. е. композиты являются более древними наименованиями, чем однословные названия радуги, присущие литературному языку и многим диалектам. Композиты *ра́дуга-дугá* и *дугá-ра́дуга* образуют многочисленные кружевные ареалы на достаточно обширной территории русского северо-востока [Букринская, Кармакова 1995: 34].

Другая древняя черта описываемых говоров — сохранение исходного праславянского значения у лексемы *жѣто* 'общее родовое название зерновых культур' (в зерне или на корню). Именно с этим значением слово вошло в русский литературный язык. По материалам ОЛА, *\*žito* как общеродовое наименование отмечено в нескольких говорах сербохорватского и македонского языков [Клепикова, Усачева 1965]. В большинстве русских говоров, как и во многих славянских, *\*žito* стало обозначать ту зерновую культуру, которая преобладает в данной местности [ДАРЯ III: карта 53].

Глагол *терѣбитъ* в значении 'убирать лен с поля' также известен и в русских говорах северо-востока [Там же: карта 57], и в сложившемся на их базе литературном языке. Общеславянским для глагола является значение 'очищать, чистить', откуда выводимо 'корчевать', послужившее, скорее всего, основой для восточнорусского 'убирать лен, коноплю' — выдергивать их с корнем. По нашим данным, глагол *теребить* в таком терминологическом значении в других восточнославянских языках не зафиксирован.

Важной чертой восточных говоров литературного типа является распространение слова *елѡха* в значении 'ольха'. У Даля это слово имеет помету «ниж.», а *ёлха* — «влд. вят.». В [Опыт 1852: 64] находим форму *ёлха* «костр.». По материалам «Диалектологического атласа русского языка», непоследовательно фиксировавшим это слово, поскольку специального вопроса на него не было предус-

мотрено Программой, С. Л. Николаевым была составлена рабочая карта. Ее анализ показал: варианты *elóxa/ělxha* отмечены в нижегородских, владимирских, костромских говорах и захватывают говоры позднего заселения — по течению р. Суры. В литературном языке остались лишь следы этого наименования: вспомним Елоховскую улицу в Москве. В [Фасмер] приведены формы *jelxa* в сербском и болгарском языках, *joxa* из \**jeoxa* — в сербохорватском; в [ЭССЯ 6] \**elъxa* — в болг., сербохорват., макед., словац. В [ОЛА 2000: 37] фиксируются формы *joxa* и *el'xa* в сербохорватском языке, причем чаще в южных говорах, на границе с Македонией и Болгарией.

Все перечисленные лексемы имеют в русских восточных говорах ареалы, приближающиеся к максимальному варианту центральной зоны. Но есть и такие, которые занимают более узкое пространство. К ним относятся изоглоссы лексем *molotílo* и *molotíлка* 'бьющая часть цепа'. Само орудие для ручного обмолота на этой территории носит наименование *цеп*, а его вторая деревянная часть — рукоятка — называется *кадка*. Гораздо шире *molotílo* распространено в качестве названия орудия, занимая северо-восточную диалектную зону, а также часть тверских и селигеро-торжковских говоров. Наряду с именованьем *molotílo* на описанной территории употребляется слово *цеп*, как автономно, так и сосуществуя с вышеназванным. На наш взгляд, первоначально орудие для обмолота называлось *цеп*, но постепенно происходил перенос названия на основе функции: наименование с основной работающей части, той, которой бьют по снопам, перешло на всё орудие, а для названия бьющей части стали использовать нейтральные, немаркированные слова, могущие называть любую деревянную палку: *batog*, *палка*. За пределами русских говоров дериваты от глагола \**moltiti* 'бить, колотить' зафиксированы вновь у южных славян: сербохорват. *mlátילו*, болг. *mlatíло*, *mlatíлка* [Букринская, Кармакова 1998].

Слово *usád* 'место, где расположен дом, хозяйственные постройки, огород, сад' (иногда значение более узкое) имеет распространение в восточных говорах литературного типа. Оно широко представлено в памятниках среднерусского периода [Чайкина 1975], связанных с востоком и юго-востоком, в ряде говоров отмечено наряду со словом *usádьба*, его полным синонимом. По мнению Ю. С. Азарх [1984] и О. Н. Мораховской [1996], *usádьба* является более поздним, фиксируется в памятниках с конца XVII в., причем не связанных с севером, а относящихся также к юго-востоку. Со временем оно распространилось почти повсеместно [ДАРЯ III: кар-

та 1] и вошло в литературный язык, причем в частных диалектных системах сосуществует с другими региональными названиями, различаясь оттенками значения [Мораховская 1996: 102—112].

Максимальный вариант территории центральной зоны по линии, очерченной [Бромлей 1985], занимает ареал слова *крѣнка* 'сосуд для молока с узким горлом' [ДАРЯ III: карты 24, 25]. Мы полагаем, что первоначально оно было локализовано в восточных говорах, откуда распространялось и в другие регионы. По данным ДАРЯ, в северных говорах употребляется не только в указанном значении, но и обозначает глиняный горшок или миску. В [СРНГ] отмечены следующие значения: *крѣнка* и *крѣнка* «1. Глиняная, стеклянная или деревянная посуда для хранения молока. Кринка. Сасов. Ряз., 1945. Лежн. Иван. Кринка. Луховиц. Ряз., 1947. Пск., Север., Вост. центральных областей России // Горшок для хранения молока, оплетенный берестю. Вят., 1848. Кринка. Перм., Никол. Волог., Новг., Вязник. Влад., Твер., Осташк. Калин., Луж. Петерб.».

Слово относится к праславянскому лексическому фонду. В приводимом значении не употребляется в украинском языке и единично зафиксировано в белорусских говорах, но при этом встречается в южнославянских языках: болгарском, сербохорватском, словенском, а также на самой окраине ареала западнославянских языков. В [ЭССЯ 12] приведена карта распространения слова *\*krina* (и производные) в значении 'посуда' и *\*krinica*/*\*krѣnica* 'источник, колодец', 'омут'. По карте хорошо видно, что именно на окраинных территориях Славии это слово известно со значением 'посуда'. Детальный историко-этимологический и словообразовательный анализ слов с рассматриваемым корнем приведен в [Трубачев 1966: 221—222]. В современном русском литературном языке *крѣнка* и *крѣнка* — 'расширяющийся книзу удлинённый глиняный горшок для молока' [Ожегов, Шведова 1997].

В описываемом регионе представлены лексемы *заварѣха* и *заварѣха*, обозначающие особый вид традиционного крестьянского кушанья — кашу из муки [ДАРЯ III: карта 28]; подобные образования не отмечены ни в украинском, ни в белорусском языке.

*Заварѣха* приводится в [СРНГ 10]: «1. Каша из ячневой, овсяной и т. п. муки, заваренной кипятком Оренб., 1830, Тобол. *Мучная каша* — это *заварѣха*. Том. Кемер., Свердлов., Вят. (Киров.), Арх., Самар. // Мучная каша, поджаренная на сковороде. Шенк. Арх., Вят., Перм., ... // Мучная каша на молоке. Вожгал. Киров, 1950 Том. // Тесто, заваренное из подогретой ржаной муки в раскаленном горшке Орл., Нолин. Вят., Слов. Акад., 1899». В «Словаре

вологодских говоров» отмечены *завára* — ‘кушанье, приготовленное из ржаной муки крупного помола, заваренной молоком’ и *заварúха* — ‘кушанье, из овсяной, ячной и т. п. муки, заваренной кипятком’. В [СлРЯ XI—XVII 5] *завára* — ‘каша из муки (?)’ Корел. м. 1587.

Словари литературного языка фиксируют слово *заварúха* с пометой «прост.» в значении ‘сложное, запутанное дело’, которое может быть расценено как переносное, видимо, развившееся из указанного диалектного (ср. переносное значение у слова *каша*).

Лексема *западнiя* ‘ход в подполье’ характеризуется максимальным ареалом [ДАРЯ III: 8]. Слово имеет широкую географию и, судя по материалам [СРНГ], употребляется в следующих значениях: «1. Входное отверстие в подполье, погреб, на чердак. Черепов. Новг., 1910, Яросл. Волог., Калинин., Влад., Горьк., Ряз., Моск., Сарат., Пенз., Вят. // Западнiя — ход в подполье. Свердл., Том., Тобол., Кокчетав., Акт. 2. Подъемная дверь в подполье, погреб. Перм., 1848, Вят., Киров., Казан., Нижегород., Горьк., Пенза., Куйбыш., Ряз., Влад., Яросл., Костром. // Дверку открываем в подпол, это называем западнiя. Моск., Твер., Волог., Арх., Новг., Свердл., Тюмен., Курган., Заурал., Омск., Том., Бурят., Иркут.» В украинском основное значение ‘впадина, долина’. В [СлРЯ XI—XVII 5] *западнiя* — ‘укрытие, потаенное место, где можно спрятаться’. Не исключаем, что значения ‘ход в подполье’ и ‘укрытие, потаенное место’ взаимосвязаны и восходят к глаголу *западати*, *западывати* ‘падать, прятаться’ [Там же]. Современное литературное значение ‘ловушка’, вероятно, также связано с приведенными выше значениями.

Ареал слова *курóк* со значением ‘небольшая ручка на косовище, которую косарь держит правой рукой’ по конфигурации схож с ареалом термина *теребить лен*, но в отличие от него не распространяется на юго-восточные территории, в говоры позднего заселения [ДАРЯ III: 44]. Слово приведено и в [СРНГ]. Этимология древняя, связана с лексемой *кур* — ‘петух’, отмечаемой во всех славянских языках [Фасмер 2], Даль приводит в качестве тождеслова к *куруку* форму *кочетóк*, также связанную с названием петуха в южных говорах [Даль 2]. Долгое время орудием для уборки зерновых служили серп и коса-горбуша (последние применялись на севере), а косы-литовки и стойки, имеющие небольшую ручку на косовище, появляются позже. В белорусском и украинском языке такого наименования детали косы не зафиксировано. Слово *курóк* ‘часть ударного механизма в ручном огнестрельном оружии’, отмечаемое с начала XVII в. [СлРЯ XI—XVII 7], распространено достаточно ши-

роко и в этом значении вошло в литературный язык. Вопрос о том, какое значение было первичным — ‘рукоятка на косовище’ или ‘ударный механизм’ — остается открытым. Помимо названия *курóк* в русских говорах употребляется большое количество других наименований для описываемой части косы: *вязóк, лучóк, напáлок, пупóк, костыльёк, стырёк* и др.

На рассматриваемой территории известны интересные названия насадки *кль́ка* и *кльо́ка*, содержащиеся как в материалах ДАРЯ, так и в областных словарях, в том числе [СРНГ 14]. Основной ареал размещается в костромских, частично ярославских, вологодских, тверских говорах. На той же территории отмечены и звукоподражательные глаголы *кль́кать, кльо́кать* ‘кудахтать, клекотать, издавать короткие прерывистые звуки (о крике птиц)’, отмечаемые в славянских языках также и со значением ‘клокотать, бурлить, булькать’. От этих глаголов, скорее всего, и образовались наименования насадки. Слово *кльо́ка* ‘насадка’ находим в словенском языке, там же *klòkati* ‘кудахтать’ [ЭССЯ 10]. Поскольку соответствующей карты в ДАРЯ нет, ареал распространения анализируемых названий и их принадлежность к восточным говорам литературного типа нуждается в уточнении. Но возможно, литературное *скло́ка* ‘ссора’, которое сопоставимо с диалектным тверским *кль́ка* ‘сплетня, ссора’, и *кль́кать* ‘сплетничать, наговаривать на кого-либо’ [Опыт 1972] восходят к приведенным выше глаголам. И это может служить косвенным свидетельством в пользу отнесенности данных наименований к исследуемым говорам.

Как видно из приведенного материала, все рассматриваемые слова имеют достаточно широкое распространение в русских диалектах, выйдя за ту исконную территорию, где они, на наш взгляд, первоначально были локализованы. Большинство из них отмечено и в литературном языке. Говоря о принадлежности исследуемых говоров к центру или периферии, следует учитывать «систему координат». Так, они являются центральными в рамках русского языка, характеризуются как восточные с точки зрения восточнославянского континуума и как периферийные в масштабах всей Славии (ср. [Трубачев 2002: 23]) Именно поэтому некоторые из рассмотренных изоглосс находят соответствия в южнославянской языковой области, которая также является маргинальной, и обнаруженные лексические параллели могут свидетельствовать о генетической связи этих диалектов. Традиционно восточные говоры литературного типа никогда не рассматривались в качестве архаических, так как вывод делался при анализе их фонетического строя. Однако этим говорам свойственны многие архаические признаки

в области лексики и акцентологии [Николаев 1994]. Поэтому следует не оценивать архаичность тех или иных говоров в целом, а говорить об архаичности или инновационности комплекса языковых черт.

### Л и т е р а т у р а

Аванесов 1947 — *Аванесов Р.И.* Вопросы образования русского языка в его говорах // Вестник МГУ. 1947. № 9.

Азарх 1984 — *Азарх Ю.С.* Словообразование и формообразование существительных в истории русского языка. М., 1984.

АУМ — Атлас української мови. Київ, 1984—2001. Т. 1—3.

Бромлей 1985 — *Бромлей С.В.* Различия в степени вокализованности сонорных и их роль в противопоставлении центральных и периферийных говоров // Диалектография русского языка. М., 1985.

Букринская, Кармакова 1995 — *Букринская И.А., Кармакова О.Е.* Названия радуги // Восточнославянские изоглоссы. 1995. М., 1995.

Букринская, Кармакова 1998 — *Букринская И.А., Кармакова О.Е.* Интерпретация лексических изоглосс в связи с вопросами раннего диалектного членения восточнославянских языков // XII Международный съезд славистов: Доклады российской делегации. М., 1998.

Букринская, Кармакова 2002 — *Букринская И.А., Кармакова О.Е.* Лингвогеографическое изучение восточнославянской лексики // Исследования по славянской диалектологии. Вып. 8: Восточнославянская диалектология, лингвогеография и славянский контекст. М., 2002.

Горшкова 1968 — *Горшкова К.В.* Очерк исторической диалектологии Северной Руси. М., 1968.

Горшкова 1972 — *Горшкова К.В.* Историческая диалектология русского языка. М., 1972.

Гринченко — *Гринченко Б.Д.* Словарь украинского языка. Т. 1—4. Киев, 1907—1909.

Гриценко 1990 — *Гриценко П.Ю.* Ареальное варьирование лексики. Київ, 1990.

Даль — *Даль В.И.* Толковый словарь живого великорусского языка. М., 1955. Т. 1—4.

ДАРЯ — Диалектологический атлас русского языка. Центр Европейской части РСФСР. Вып. I: Фонетика. М., 1986; Вып. II: Морфология. М., 1989; Вып. III. Ч. I: Лексика. М., 1997.

Дыбо, Замятина, Николаев 1990 — *Дыбо В.А., Замятина Г.И., Николаев С.Л.* Основы славянской акцентологии. М., 1990.

ДАБМ — Дыялекталагічны атлас беларускай мовы. Мінск, 1963.

Журавлев 1994 — *Журавлев А.Ф.* Лексикостатистическое моделирование системы славянского языкового родства. М., 1994.

Захарова, Орлова 1965 — *Захарова К.Ф., Орлова В.Г.* Диалектное членение русского языка // Русская диалектология. М., 1965.

Захарова, Орлова 1970 — *Захарова К.Ф., Орлова В.Г.* Диалектное членение русского языка. М., 1970.

Касаткин 1973 — *Касаткин Л.Л.* Гласные одного вологодского говора, не знающего противопоставления согласных по твердости-мягкости // Исследования по русской диалектологии. М., 1973.

Касаткин 1999 — *Касаткин Л.Л.* Современная русская диалектная и литературная фонетика как источник для истории русского языка. М., 1999.

Клепикова, Усачева 1965 — *Клепикова Г.П., Усачева В.В.* Лингвогеографические аспекты семантики слова *žito* в славянских языках // ОЛА. М., 1965.

Ляпунов 1968 — *Ляпунов Б.М.* Древнейшие взаимные связи русского и украинского языков и некоторые выводы о времени их возникновения как отдельных лингвистических групп // Русская историческая лексикология. М., 1968.

Мораховская 1973 — *Мораховская О.Н.* Предмет и построение описательной диалектологии в ее отношении к истории языка // Исследования по русской диалектологии. М., 1973.

Мораховская 1979 — *Мораховская О.Н.* К итогам картографирования названий крестьянского жилища // ОЛА 1977. М., 1979.

Мораховская 1996 — *Мораховская О.Н.* Крестьянский двор: История названий усадебных участков. М., 1996.

Николаев 1994 — *Николаев С.Л.* Раннее диалектное членение и внешние связи восточнославянских диалектов // Вопросы языкознания. 1994. № 3.

Образование 1970 — Образование северного наречия и среднерусских говоров. М., 1970.

ОДА — Общекарпатский диалектологический атлас. М., 1989—1994. Вып. 1—3.

ОЛА — Общеславянский лингвистический атлас. Вып. 3. Серия лексико-словообразовательная. Растительный мир. Минск, 2000, карты № 37, 43, 45, 47.

Ожегов, Шведова 1997 — *Ожегов С.И., Шведова Н.Ю.* Толковый словарь русского языка. М., 1997.

Опыт 1852 — Опыт областного великорусского словаря. СПб., 1852.

Опыт 1972 — Опыт словаря говоров Калининской области. Калинин, 1972.

Пшеничнова 1998 — *Пшеничнова Н.Н.* Согласные на месте древнерусских [ш'г'ш'], [ж'д'ж']. Восточнославянские изоглоссы. 1998. Вып. 2. М., 1998.

Седов 1994 — *Седов В.В.* Восточнославянская этноязыковая общность // Вопросы языкознания. 1994. № 4.

СВГ — Словарь вологодских говоров. Вологда, 1980—2000. Вып. 1—8.

СРНГ — Словарь русских народных говоров. Л. (СПб.), 1965—2001. Вып. 1—34.

СлРЯ XI—XVII — Словарь русского языка XI—XVII вв. М., 1975—2002. Вып. 1—26.

Слоўнік — Слоўнік беларускіх гаворак паўночна-заходняй Беларусі. Мінск, 1979—1986. Т. 1—5.

Судаков 1988 — *Судаков Г.В.* География старорусского слова. Вологда, 1988.

Толстой 1977 — *Толстой Н.И.* О соотношении центрального и маргинального ареалов в современной Славии // Ареальные исследования в языкознании и этнографии. Л., 1977.

Толстой 1997 — *Толстой Н.И.* Избранные труды. Т. 1: Славянская лексикология и семасиология. М., 1997.

Треблер 1978 — *Треблер С.М.* История частной системы русского вокализма с дифференциальным признаком «лабиализованность-нелабиализованность» по данным лингвистической географии (из опыта исторической интерпретации изоглосс). Вестник МГУ. Филология. 1978. № 5.

Трубачев 1960 — *Трубачев О.Н.* Названия каши в славянских языках // *Slavia*. Praha, 1960. Roč. 29. № 1.

Трубачев 1966 — *Трубачев О.Н.* Ремесленная терминология в славянских языках. М., 1966.



Трубачев 2002 — *Трубачев О.Н.* Из истории и лингвистической географии восточнославянского освоения // *Материалы и исследования по русской диалектологии*. М., 2002. Вып. 1 (7).

Фасмер — *Фасмер М.* *Этимологический словарь русского языка*. М., 1964—1973. Т. 1—4.

Филин 1972 — *Филин Ф.П.* Происхождение русского, украинского и белорусского языков: Историко-диалектологический очерк. Л., 1972.

Хабургаев 1980 — *Хабургаев Г.А.* Становление русского языка. М., 1980.

Чайкина 1975 — *Чайкина Ю.И.* Вопросы истории лексики Белозерья // *Очерки по лексике севернорусских говоров*. Вологда, 1975.

ЭССЯ — *Этимологический словарь славянских языков: Праславянский лексический фонд*. М., 1974—2002. Вып. 1—28.

*М. М. Валенцова*

## **Словацко-южнославянские связи: этнолингвистические параллели**

Проблема межславянских связей интересует ученых уже давно. Частью ее являются проблемы интерференции языков в карпатском ареале (С. Б. Бернштейн, И. Дзедзелевский, Г. П. Клепикова), происхождение южнославянских языков (Л. В. Куркина), словацкого языка (Р. Крайчович), украинских говоров (Л. А. Булаховский, Б. В. Кобылянский, В. В. Нимчук), лингвистические проблемы балканославянского ареала (Г. А. Цыхун). В конечном итоге результаты этих исследований используются в решении вопросов этногенеза славян и путей их расселения (О. Н. Трубачев, В. В. Седов и др.).

В то же время академик Н. И. Толстой указывал, что «решать вопрос этногенеза славян без учета фактов и показателей славянской духовной культуры в наше время уже невозможно, так как нельзя реконструировать эту культуру без достаточно четкого представления о праславянском историческом... и языковом прошлом» [Толстой: 41]. В исследовании славянского этногенеза и глоттогенеза значительных результатов достигли археология и языкознание. Но почти не использованы возможности этнографии и фольклористики, данные которых научно не обработаны и не систематизированы [Там же: 42].

В последние десятилетия многие ученые обращают особое внимание на территорию центральной Европы — Среднедунайскую низменность, особенно область древней Паннонии, территории современных Словакии, Венгрии, Моравии,— откуда, по ряду данных, славяне расселялись на юг, на север и северо-восток.

В частности, об этом говорил на VII Международном съезде славистов в 1973 г. С. Б. Бернштейн, характеризуя историческую картину расселения славян; на XI съезде славистов Л. В. Куркина вновь обращалась к данной проблематике, но уже в связи с вопросом о происхождении южнославянских языков и их праславянской диалектной базы. Они рассматривали области Среднего Подунавья, Дакию, Паннонию, а также склоны Карпатских гор как территорию пребывания славян до VI в. н. э. [Бернштейн: 29; Куркина

1993: 37], как центр ряда славянских фонетических инноваций [Куркина 1992: 16]. Хорватский этнограф М. Гавацци на основании общих черт в лексике, обычаях, материальной культуре, данных топонимики также выделяет архаичную западнопаннонскую область, охватывающую северо-западную часть южных славян (словенцы, хорваты-кайкавцы) и южную часть западных славян (чехи, моравы, словаки). Предполагается, что миграционные процессы шли в двух направлениях: с севера из Паннонской котловины (область средней Словакии) на юг в область южнославянской языковой и этнографической ориентации и с юга на север с рассеиванием южнославянских черт в области словацкого языка. Этим объясняется наличие общих черт, объединяющих северо-западную группу южнославянских диалектов и чешско-словацкие диалекты [Там же: 209—210]. Отмечаются и особые черты, объединяющие среднесловацкий диалект и диалекты, расположенные в северо-западной части южнославянской территории, в частности чакавский [Там же: 24—25]. Они свидетельствуют и о том, что Паннония была одним из центров славянских миграций на юг, юго-запад и юго-восток [Куркина 1993: 44].

В работах, посвященных генезису словацкого языка [Krajčovič 1974; 1981], профессор Р. Крайчович объясняет незападославянские черты среднесловацких говоров гетерогенным происхождением словацкого и разной праславянской диалектной базой языка заселявших территорию современной Словакии славян. На основании новых археологических данных он выдвигает гипотезу о заселении после VI в. территории современной Словакии и прилежащих южных территорий несколькими потоками: западной и восточной области — с севера и северо-востока, центральной области — с юга или юго-востока. То есть западная и восточная области словацкого языка были заселены из северо-западной праславянской диалектной зоны, а историческое южное ядро центральной области — из юго-восточной праславянской области [Krajčovič 1981: 15—16].

В связи с вопросом о словацко-южнославянских параллелях следует учитывать также позднейшую колонизацию земель к северу от Дуная задунайскими переселенцами под воздействием турецкого завоевания Болгарии и Сербии. В частности, с конца XVI в. начинается интенсивная миграция в области Большой и Малой Валахии, позже Баната, которые привнесли с собою многие новые языковые особенности [Бернштейн: 40—41].

Методологически важно для нас положение О. Н. Трубачева, согласно которому, «от древнего ареала (топонимического, гидронимического) явления, вообще — от центра распространения не

следует ожидать ни яркого изобилия, ни кучности чисто славянской ономастики, ни четкой продуктивности разных ее типов: и то, и другое характерно для зон экспансии [Трубачев: 101].

\* \* \*

Пристальное внимание к лингвистическим исследованиям основано на понимании того, что «гарантия единства традиции обеспечивается единством языка, представленного традицией», а в культуре, в частности в фольклорно-мифологических или обрядовых текстах, «язык выступает как самый устойчивый и надежный показатель этнической принадлежности» [Толстой: 43]. Сфера духовной культуры отличается тем, что в ней не происходит сменяемости с течением времени одного типа другим (как в языке и археологии), элементы новой культуры проникают в старую, «уживаются с ней, вступают в различного вида соотношения», иными словами, реализуется принцип наслоения. Такая же историческая «многослойность» характеризует и лексический слой языка (в противоположность другим языковым уровням) [Там же: 46].

Таким образом, генетически родственные северо-восточные южнославянские и южные западнославянские культурные диалекты должны представить картину наслоения внеязыковых фактов духовной культуры (обрядов, верований и т. п.) и обслуживающей их терминологии.

Целью нашего исследования было выявление «культурных» изолекс и изодокс, объединяющих центральную область Словакии и южнославянский ареал, подобно тому, как были определены для этих ареалов лингвистические изоглоссы, изоморфы и изолексы. Вообще, сравнение родственных традиций сложно тем, что схождения часто имеют общеславянский характер или, нередко, характер западнославянско-южнославянских связей в целом. В этом случае, как учил Н. И. Толстой, показательным окажется не простое наличие культурных фактов, общих для рассматриваемых традиций, а совпадение их деталей, наличие одинаковых вариантов, мелких, но значимых обрядовых и мифологических подробностей, свидетельствующих об эксклюзивных связях данных диалектов, этносов и территорий.

Для анализа мы выбрали календарную обрядность и отчасти мифологические представления, с нею связанные. Они дают немалое количество схождений, которые, однако, имеют разный статус при сравнении. Рассмотрим подробнее лишь избранные.

1. Схождения в обряде «полазник». Обряд известен почти всем славянским народам, а также венграм, румынам, грекам, албанцам.

Суть обряда в том, что первый посетитель дома в определенный день осенне-зимнего календарного цикла приносит в семью на весь год здоровье, счастье, богатство. В разных традициях обряд приурочен к разным праздникам, начиная с Введения (21.XI) и кончая Сретением (2.II). Детальное описание обряда у украинцев, поляков, словаков, словенцев, болгар, сербов и хорватов дала В. В. Усачева [Усачева 1977; 1978].

В данном случае показательным оказывается как сравнение по определенным параметрам, так и комплексное сравнение, выявляющее традиции с наибольшим количеством обрядовых соответствий.

А. При общей вариативности сроков исполнения обряда представляется неслучайным совпадение основной приуроченности его у словаков и словенцев к дню св. Люции, который считается в обеих традициях главным «днем полазника» [Усачева 1977: 22].

Б. В связи с общекультурным значением концепта «мужской/женский» интересной представляется реализация этого противопоставления в обряде. У словаков зафиксирован запрет женщине полазовать, так как она приносит несчастье. В день св. Люции женщине вообще запрещалось ходить в чужой дом, иначе ее считали ведьмой (ср.-словац., [Hogváthová 1981: 324]). Также в Словении (Прекмурье) и в Хорватии (Копривница) верили, что приход женщины в день св. Люции или на Рождество приносит несчастье [Усачева 1978: 59, 32].

Иначе у болгар и у другой части хорватов. В Родопах в Ахыр-Челебийском р-не Игнатов день особенно отмечался женщинами, так как считается, что в этот день «е завило да ражда Св. Богородица». Радовались, если первой в дом входила женщина, ибо это предвещало плодородие [Усачева 1977: 69]. В Славонии также было желательно, чтобы «положаем» была женщина: она должна была присесть и немного попрясть для виду, чтобы было много льна в поле и велся скот [Pič: 94]. У хорватов в некоторых местах к востоку от Дуго Село «масленичный полазник» (*pokladni polaznik*) обычно девочка; считалось, что она хорошо влияет на разведение птицы [Gavazzi: 20—21]. Благоприятно посещение женщины и в Словении: в Турнишче в день св. Стефана (26.XII ст. ст.) рано утром женщина приносила две круглые лепешки и произносила благопожелание; говорили, что она «переносила доброе утро» [Möderndorfer: 43].

В Боке Которской полазник также женщина. Однако в ряде мест сербо-хорватского ареала нет строгой соотнесенности оппозиций «мужской/женский» и «добро/зло»: по полу первого посетителя гадали о будущем приплоде: если полазник женщина, родятся

дети и животные женского пола, и наоборот [Усачева 1978: 29]. В Словакии в обл. Белых Карпат (с. Червены Камень) одни радовались полазнику мужчине, другие — женщине, потому что если приходила первой женщина, то приплод у скота будет женского пола [Kováč: 160]. Так же и в Моравии оппозиция «мужской/женский» элиминируется, уступая место другим: считалось, что девушка или ребенок, пришедшие первыми на Рождество, приносят счастье, парень — веселье, а беременная — болезнь [Pegnica: 33].

В. С посещением женщины связан другой мотив — *битья посуды*. Он реализуется в мотивировке прихода полазника: «чтобы посуда в доме не билась». У словаков этот мотив присутствует преимущественно в обряде «хождение со сталью», известном в центральных областях Словакии. Этот обряд (*ocel'ovanie, chodenie s ocel'ou*), цель которого — защита дома от злых сил и природных стихий, обеспечение успеха всего хозяйства, является, судя по всему, видоизмененным типом «полазования», поскольку: 1) исполняется в те же сроки, что и «полазник» (в дни св. Катарины, Люции, Томаша, сочельник, Новый год); 2) его участники — мальчики, которые должны были предупредить нежелательный приход женщины; 3) вместо железа, железных предметов (откуда и название обряда, видимо, позднее) иногда в дом приносили камень (так же, как и железо, апотропей) или полено, что соотносится с часто отмечаемым у словенцев обычаем полазника приносить с собой поленья (см. [Усачева 1977: 57—59]). При этом ворошили огонь в очаге, гремели цепью, произносили благопожелания [Horváthová 1981: 324; Encyklopédia 1: 437]. Ср.: «*s ocel'ou chodit'* — с сосновым или буквым поленом ходят мальчики в день св. Люции и произносят благопожелания, с. Себедражье, нитран.», а также: «*ocel', m* — палка, с которой мужчина на св. Андрея приходит желать счастья (*ocel'om chodit'*)» [Kálal].

Аналогичный обычай бытовал у венгров, очевидно, под влиянием словаков: повсеместно считалось, что если в дом утром в день св. Люции войдет женщина, то в наступающем году будет побито много посуды, поэтому ждали прихода *lukazo* — мальчиков, которые произносили: «Мы пришли к вам, чтобы не бились ваши миски и кувшины, не ломались деревянные ложки, не разрывались бы цепи» [Усачева 1977: 34]. Тексты таких благопожеланий практически совпадают со словацкими, ср.: «*Cenceľi, cenceľi, doňiesou som vám oceľi, aby sa vám hrnce, miske ňebil'i, koľesa ňelámali, re'azi ňetral'i...*» [дзинь, дзинь, я принес вам сталь, чтобы у вас горшки, миски не бились, колеса не ломались, цепи не рвались...] (Лишов в обл. Гонт, юж.-словац. — [Červenák: 98]), «...чтобы у вас горшки и

тарелки не бились, ножи, топоры не ломались, цепи не рвались...» [Bednárík: 72, 109], «я принес вам сталь, чтобы у вас горшки, миски не бились, кобылы хорошо жеребились...» (у словаков, живущих в Венгрии — [Žatko: 75]). В других местах Средней Словакии в день св. Николая запрещалось ходить в чужие дома старой женщине, иначе, верили, будет биться посуда и хозяйство придет в упадок [Slovensko: 1008]; в западнословацком с. Рыбаны запрещалось приходить первой женщине на Рождество, иначе горшки будут биться.

У словенцев Белой Краины также есть поверье, что приход на Новый год женщины вызывает порчу домашней утвари — рассыхается деревянная посуда, обручи не держатся на кадках и т. д. Чтобы избежать этого, соседи просили друг друга, чтобы рано утром их навещил мужчина. В Прлекии если первой придет женщина, то весь год будут лопаться обручи на бочках [Mödemdorfer: 135—136].

2. Интересной параллелью является хрононим **Лисье воскресенье**, а отчасти и обрядность, с ним связанная. Штирийские словенцы называли термином *lisičjo nedeljo* первое воскресенье Великого поста. В этот день женщины зажигали старые тряпки и бросали их в жито, чтобы житу «ржа» не вредила. Если весной пшеница оказывалась «ржавой», больной, говорили: «лисицы ее сожгли» [Ibid.: 207]. Смысл обряда — в использовании огня, дарующего жизнь, силу, плодородие; цель — урожай на полях.

В чешско-моравской традиции лиса — это символ процветания, удачи. Ее образ можно найти в колядках, лиса и белка рисовались на писанках в Силезии; в Валахии и Моравской Словакии известно печенье в виде фигурок лисы и т. п. [Václavík: 51, 116].

У чехов также *Liščí nedele* — ‘первое воскресенье Великого поста’ (Горжовицко, Бероунско и Кршивоклатско, ср.-чеш.). К этому дню ночью тайком от детей хозяйки пекли крученые печенья в виде колечек, с маком и солью, надевали их на вербовые прутья и вешали на деревья в саду. Утром говорили детям, что ночью лисичка бежала и потеряла печенье в саду. В обл. Збирова Лисьим считалось четвертое воскресенье поста; но и здесь родители вешали на дереве перед домом калачики, говоря детям, что их потеряла лисичка, у которой они были навешаны на хвосте [Zibrt: 205, 206, 209]. Известны также обходы с ряженой «лисицей», связанные с разведением птицы (Костелец-над-Орлицы) [Ibid.: 205]. Известный этнограф XIX в. Кролмус писал, что в Средней Чехии считали, что не только ворона, но и лисица приносит женщинам новорожденных [Ibid.: 206].

3. «**Королевские обряды**» приурочены у западных и южных славян главным образом к майским праздникам или Троице и, хотя

различаются по содержанию, имеют ряд показательных и неслучайных сходжений, из которых назовем лишь некоторые.

Словенско-чешским соответствием является участие в «королевских» обрядах *лягушки*, что в конечном счете и в связи с семантикой этого животного в других славянских традициях (например, полесской) следует трактовать как элемент магии вызывания дождя, отчетливо прослеживаемой в троицких обычаях.

В Словении, в Роже, пастуху, пригнавшему скот на пастбище *последним*, пытались повесить за воротник лягушку. В Зильской долине такой пастух должен был «тащить лягушку» (*žabo vleči*). В Беяшской околице ему приносили на обед жареную лягушку, украшенную цветами. Представляется, что в этих обрядах ритуальное убийство лягушки поручалось в виде наказания самому медлительному пастуху, но поскольку само действие было ритуально важным (направлено на вызывание дождя), то исполнителя величали «королем» и кланялись ему. В чешско-моравских обрядах лягушка и ее казнь тоже связаны с «королем» (здесь, однако, это пастух, первым выгнавший скот), о котором говорили в стихах, что он «несправедливо судил и лягушку казнил» (р-н Божкова) [Ibid.: 341—342] или что сама лягушка навредила «королю», «все пуговицы у него на кафтане пооткусывала» и т. п. В пльзеньском обряде из Западной Чехии во время «суда» над односельчанами (одна из составляющих обряда) призывали на помощь живую «вещую лягушку», висящую рядом на шесте, — чтобы суд был справедливым. Потом выезжали за село и устраивали конные скачки, которые начинались «казнью лягушки» (разрубанием ее на части) и преследованием «короля». Если удавалось догнать «короля» и сбить с него «корону», говорили, что это лягушка «королю с головы шапку скинула» [Ibid.: 333—334]. В области Ходова и Домажлиц (Зап. Чехия) последнего пригнавшего скот пастуха, «лентяя», заставляли «ободрать лягушку» и, если он справлялся с задачей, его прощали [Jindřich: 58, 60; Zíbrt: 348].

Интересный элемент «королевской» обрядности — одевание его участников в *одежду из липовой коры*, сооружение из коры чучела, упряжи для коней и волов, короны для короля (ср. морав. *koruna* 'кора дерева') [Bartoš DM: 331]; часто украшение корой и зеленью участников обряда. Обращает на себя внимание и факт своеобразного устройства майского дерева, ствол которого, наоборот, очищали от коры, оставляя лишь верхушку. В свете сказанного название короля «маем» у словенцев и майского дерева «королем» у чехов, бег или скачки наперегонки до «мая», служившего метой, получение победителем в награду майского дерева и подарка, зары-



того под ним (Корошка), пассивность и молчаливость «короля» и «одушевление» майского дерева, обязательное «обсуждение» поведения сельчан с дерева, из кроны липы, в которой говорящий был целиком спрятан, — все это приобретает смысл функциональной, а возможно, и магической взаимозаменяемости персонажа и дерева — «короля» и «мая».

Кое-что для понимания семантики коры дерева дают демонологические поверья: у поляков в канун св. Яна Крестителя обвязывали рога и вымя всех коров лыком, снятым с веток липы и бузины, ради оберега от ведьм, а ободранные ветки втыкали в крышу, обшивку домов и хлебов. У восточных славян верили, что ведьмы умеют быстро передвигаться (летать) на лутошке (т. е. на липовой палке без коры) (рус. — [Власова: 71]), что ученые ведьмы, искупавшись в молоке, садятся на липовую кору и эта кора несет их вверх, за облака [Українці: 446], и т. п. (см., напр.: [Новичкова: 72]).

4. **Вила** известна как демоническое существо прежде всего у южных славян, имеет ярко выраженные балканские черты, например обитание на небе, в облаках (наряду с обитанием у воды, в горах), способность к превращению в животных, козлиные ноги и т. п. [СМР: 66—68; СД 1: 370].

Однако персонажи с именем *vila* встречаются также в Средней и Западной Словакии, в основном в Поважье. Они описываются как прекрасные существа, живущие у воды, в горных лесах, на полях. Лунными ночами можно было услышать их призывы, смех и пение. Мужчину, который отозвался на их зов или приблизился к ним, они «затанцовывали» до тех пор, пока не разорвут в поясе пополам или по крайней мере не раздерут одежду. Могли они схватить и роженицу, которая вышла из дома до церковного очищения [Slovensko: 1028]. *Вилы*, по сведениям из Бошацкой долины (Западная Словакия), появляются после Юрия (23.IV ст. ст.), когда «открывается весна», как будто бы и они зимой были закрыты под землей. От *вил* можно защититься только тем, что вывернешь одежду наизнанку, или с помощью особой травы *biele neto*. Рассказывают множество быличек и сказок о *вилах*, крутящихся в танце и набрасывающихся на людей, которые отозвались на их зов [Holuby: 361—363]. Неистовые пляски *вил* до тех пор, пока человек не разорвется в поясе, а также прямое указание на их круговые танцы, кручение в танце, соответствуют этимологии слова *вила* (от глагола *\*viti*). Таковую этимологию *вилы* поддерживает и А. А. Плотникова на основе изучения образа южнославянской вилы [Плотникова].

Происхождение словацких *вил* связывается с девушками, умершими перед свадьбой, после церковного оглашения, или с рожени-

цами, умершими без церковного очищения, что сближает их с восточнославянской *русалкой* и отдаляет от южнославянской вилы, которая, по поверьям, рождается от *вилы*, забеременевшей от утренней росы, или из некоей травы, вырастает на дереве и т. п.

В Средней Словакии образ *вилы* перекрывается с образами других мифологических персонажей: полудницы, мары, русалки, богинки, мамуны и т. п. (например, виле приписывается способность душить по ночам, подменивать новорожденных и др.) [Šišmaný: 148; Horehronie: 336]. Из специфических черт *вилы* остаются только пение и неистовые танцы, правда, и эти признаки характерны также для восточнославянской русалки, как и опасность их для молодых мужчин. В Восточной Словакии, действительно, *rusalky* считались аналогичными *вилам* существами [Slovensko: 1028], так же, как и *tara* (долина р. Горнад, р-н Попрада), *paluđa* (с. Грановница), *poludnica* [Michálek: 283].

Таким образом, в Словакии мы наблюдаем смешение типов мифологических персонажей и их имен, наличие имени *вила* у персонажей, отличных от одноименного южнославянского. Сходными с южнославянскими *вилами* чертами остаются любовь к пению и танцам и отчасти внешность. Среди главных отличий — различное происхождение персонажей, а также злокозненность словацкой вилы в отличие доброжелательности южнославянской. Хотя в словацких быличках встречается мотив помощи вилы людям, например она дает лекарственные и волшебные травы, становится крестной новорожденному [Horváth: 116—117], за оказанную услугу одаривает деньгами (Кисуце, с. Гарвелка и Ръчница — [Cibulová: 42]).

Вместе с тем имя *вила* встречается и дальше на север — в Польше (поветы Калишский и Серадзкий), правда, в форме мужского рода и относится к персонажу, не имеющему ничего общего ни с южнославянскими, ни со словацкими *вилами* [Kolberg: 46, 481]. Эти данные указывают на то, что образ вилы на польских землях не был сформирован (подробнее см.: [Валенцова]).

По материалам Н. М. Гальковского, вилы известны в древнерусской литературе [Гальковский 1: 37—38]. Можно предполагать, что лексема *vila* в чешском и польском языках в основном с производными значениями ‘сумасшедший’, ‘похотливый, сладострастный’, ‘дурак’ — книжное заимствование (см. [PSJČ; Machek; Brückner]), а в словацком, скорее всего, собственная лексема, обозначающая, однако же, иные мифологические персонажи, отличные от того, который обозначается термином *вила* у балканских славян.

5. Видимо, к прямым южнославянским заимствованиям относится моравский обход «волчатников», упомянутый Ч. Зибртом в качестве масленичной забавы в г. Всетин (Моравская Валахия). Согласно записи нач. XVII в., граждане города освобождались от всех повинностей, кроме как «вино в господские погреба опускать» и «на 1 день на охоту ходить на медведей и волков». Когда панские охотники убивали волка, они снимали с него шкуру, напихивали соломой и ходили в городе от дома к дому, прося награды. Особенно часто ходили они в конце масленицы. Приведенная в материале Ч. Зибрта песня обходчиков почти полностью соответствует южнославянской (см. [Zibrť: 118]). Известный у сербов, частично у хорватов и македонцев зимний (около Рождества) или масленичный обряд *vikari*, *vičari* также представляет собой обход группы мужчин со шкурой или чучелом волка или с только что убитым волком (или с его шкурой), сопровождавшийся пением-приветствием хозяев и сбором даров. Область распространения обряда — гористый пояс Далмации, Боснийская и Книнская Краина, сев.-зап. Босния, Черногория, Косово и Метохия, ю.-вост. и центр. Сербия, сев. и ю.-зап. Македония [СД 1: 460; Gavazzi: 218—220].

6. На территории Средней Словакии зафиксирован и термин *Badňak* как название Сочельника (северная Орава) [Horváthová 1986: 55]. Этот же термин с тем же значением бытует у словенцев в некоторых местах Белой Краины (*badnjak*) [Möderndorfer: 58], а также в Хорватии (Славония, Пригорье, Самобор, окр. Вараждина, Истра, о. Црес). Ср. серб. *Бадњи дан*.

Среди рассмотренных фактов — явления, представляющие собой различные структурные единицы (целый обряд, компонент обряда, отдельное обрядовое действие, мотивировка, мотив, действующее лицо, персонаж и т. п.), охватывающие неодинаковые разномасштабные ареалы южнославянского и западнославянского мира (среднесловацкий и словенский, чешкословацкий и южнославянский и т. п.). Остается открытым также вопрос о происхождении этих явлений (они могут быть индоевропейскими, общеславянскими, балканскими, заимствованными). Подробно классифицировать и объяснить эти и другие схождения можно будет лишь после детального изучения каждого из них. Пока же задача была собрать их, обратить внимание на их наличие и отчасти прокомментировать.

#### Л и т е р а т у р а

Бернштейн — *Бернштейн С. Б.* Проблемы интерференции языков карпато-дунайского ареала в свете данных сравнительной диалектологии // Славянское

языкознание. VII международный съезд славистов. Варшава, август 1973. Доклады советской делегации. М., 1973. С. 25—41.

Валенцова — *Валенцова М. М.* Словацко-южнославянские параллели: 1. *Вила* // Славяноведение. 2003. № 2. С. 79—86.

Власова — *Власова М.* Новая абевега русских суеверий: Иллюстрированный словарь. СПб., 1995.

Гальковский — *Гальковский Н. М.* Борьба христианства с остатками язычества в Древней Руси. Т. 1—2. М., 2000 (репринт. изд.).

Календарные обычаи — Календарные обычаи и обряды в странах зарубежной Европы. [2:] Весенние праздники. М., 1977.

Куркина 1992 — *Куркина Л. В.* Диалектная структура праславянского языка по данным южнославянской лексики. Ljubljana, 1992.

Куркина 1993 — *Куркина Л. В.* Паннославянская языковая общность в системе диалектных отношений праславянского языка // Славянское языкознание. XI Международный съезд славистов. Братислава, сентябрь 1993. Доклады российской делегации. М., 1993. С. 36—45.

Новичкова — Русский демонологический словарь / Автор-сост. Т. А. Новичкова. СПб., 1995.

Плотникова — *Плотникова А. А.* Южнославянские мифологические персонажи типа *вила* в свете балканского на Балканах // Славянское и балканское языкознание. М., 2003 (в печати).

СД — Славянские древности: Этнолингвистический словарь / Под ред. Н. И. Толстого. Т. 1: А—Г. М., 1995.

СМР — *Кулишић Ш., Петровић П. Ж., Пантелић Н.* Српски митолошки речник. Београд, 1970.

Толстой — *Толстой Н. И.* Язык и народная культура: Очерки по славянской мифологии и этнолингвистике. М., 1995.

Трубачев — *Трубачев О. Н.* Этногенез и культура древнейших славян. Лингвистические исследования. М., 1991.

Українці — Українці: народні вірування, повір'я, демонологія. Київ, 1991.

Усачева 1977 — *Усачева В. В.* Об одной лексико-семантической параллели (на материале карпато-балканского обряда «полазник») // Славянское и балканское языкознание. Карпато-восточнославянские параллели. Структура балканского текста. М., 1977. С. 21—76.

Усачева 1978 — *Усачева В. В.* Обряд «полазник» и его фольклорные элементы в ареале сербскохорватского языка // Славянский и балканский фольклор. Генезис. Архаика. Традиции. М., 1978. С. 27—47.

Bartoš — *Bartoš F.* Moravský lid. Sebrané rozpravy z oboru moravské lidovědy. Telč, 1892.

Bartoš DM — *Bartoš F.* Dialektologia moravská. Brno, 1886—1895. D. 1—2.

Bednárík — *Bednárík R.* Duchovná kultúra slovenského ľudu // Slovenská vlastiveda. D. 2. Bratislava, 1943.

Brückner — *Brückner A.* Słownik etymologiczny języka polskiego. Warszawa, 1993 (przedruk z pierwszego wydania: Kraków, 1927).

Chorváthová — *Chorváthová L.* Rodinné zvykoslovie // Národopisné informácie, č. 1: Riečnica — Harvelka. II. (Výskum zátopovej oblasti na Kysuciach). Bratislava, 1984. S. 94—184.

Cibulová — *Cibulová T.* Ľudové demonologické a kozmogonické predstavy na Kysuciach // Národopisné informácie. Č. 1: Riečnica — Harvelka. II. (Výskum zátopovej oblasti na Kysuciach). Bratislava, 1984. S. 40—54.

Červenák — *Červenák J.* Tradičný život Lišovana. Martin, 1966.

- Čičmany — Čičmany / Zost. E. Munková. Žilina, 1992.
- Encyklopédia — Encyklopédia ľudovej kultúry Slovenska. Bratislava, 1995. [D.] 1—2.
- Gavazzi — *Gavazzi M.* Godina dana hrvatskih narodnih običaja. Zagreb, 1988.
- Holuby — *Holuby J.L.* Národopisné práce / Zost. a úvodné slovo dr. J. Mjartan. Bratislava, 1959.
- Horehronie — Horehronie: Kultúra a spôsob života ľudu. D. 2 / Ed. J. Mjartan. Bratislava, 1974.
- Horváth — *Horváth P.* Zbierka ľudových povier a stykov z okolia Uhrovcu z roku 1825 // Slovenský národopis. 1986. № 1. S. 102—118.
- Horváthová 1981 — *Horváthová E.* Zvyky a obrady slnovratového cyklu v Honte // Slovenský národopis. 1981. № 2—3. S. 318—347.
- Horváthová 1986 — *Horváthová E.* Rok vo zvykoch nášho ľudu. [Bratislava], 1986.
- Húsek — *Húsek J.* Hranice mezi zemi moravskoslezskou a Slovenskem. Studie etnografická. Praha, 1932.
- Ilić — *Ilić L.* Narodni slavonski običaji. Zagreb, 1846.
- Jindřich — *Jindřich J.* Chodsko. Praha, 1956.
- Kálal — Slovenský slovník z literatury aj nářečí (slovensko-český diferenciální) na základe slovníkov, literatury aj živej reči spracovali Kar. Kálal a Mir. Kálal, v Banskej Bystrici, 1923.
- Kolberg — *Kolberg O.* Dzieła wszystkie. Wrocław; Poznań. T. 3: Kujawy. Cz. 1. 1962; T. 18: Kieleckie. Cz. 1. 1963; T. 26: Mazowsze. Cz.3. 1963; T. 28: Mazowsze. Cz. 5. 1964; T. 45: Góry i Podgórze. Cz. 2. 1968.
- Kováč — *Kováč M.* Ostrá hora plná mora a iné príbehy ľudovej viery a mágie zo severu Bielych Karpát // Hieron. 1998. III. S. 144—182.
- Krajčovič 1974 — *Krajčovič R.* Slovenčina a slovanské jazyky. Praslovanská genéza slovenčiny. Bratislava, 1974.
- Krajčovič 1981 — *Krajčovič R.* Pôvod a vývin slovenského jazyka. Bratislava, 1981.
- Machek — *Machek V.* Etymologický slovník jazyka českého a slovenského. Praha, 1957.
- Michálek — *Michálek J.* a kol. Ľud hornádskej doliny (na území Popradského okresu). Poprad, 1989.
- Möderndorfer — *Möderndorfer V.* Verovanja, uvere in običaji Slovencev. Narodopisno gradivo. T. 2. Prazniki. Celje, 1948.
- Pernica — *Pernica B.* Rok na Moravském Horácku a Podhorácku. Havlíčkův Brod, 1951.
- PSJČ — Příruční slovník jazyka českého. Praha, 1935—1957. T. 1—8.
- Slovensko — Slovensko. Ľud. — Č. 2. Bratislava, 1975.
- Václavík — *Václavík A.* Výroční obyčaje a lidové umění. Praha, 1959.
- Vyhlídal — *Vyhlídal J.* Rok na Hané. Praha, 1906.
- Zíbrt — *Zíbrt Č.* Veselé chvíle v životě lidu českého. Praha; Vyšehrad, 1950.
- Žatko — *Žatko R.* Spoločenská a duchovná kultúra Slovákov v Maďarsku. 2 časť // Slovenský národopis. 1973. № 1. S. 61—78.

Е. В. Вельмезова

## Из истории изучения чешских заговорных текстов: чешская этнографическая традиция \*

Славянские заговоры, как и произведения других жанров устного народного творчества, целенаправленно собирались и анализировались этнографами и фольклористами начиная примерно с первых десятилетий XIX столетия. Однако при этом заговоры далеко не всех славянских традиций были изучены исследователями в одинаковой степени полно и подробно. Так, на периферии исследований до настоящего времени оставались чешские заговорные тексты: до сих пор им не было посвящено практически ни одного серьезного научного труда.

В значительной степени такая ситуация объясняется тем, что чешские заговоры, насколько нам известно, никогда не издавались ни отдельным сборником, ни даже крупными (по современным масштабам) подборками, которые впоследствии могли бы послужить основой для сборника. Собирая чешские заговорные тексты в течение нескольких лет, мы не могли не заинтересоваться историей если не детального их изучения, то хотя бы сбора и появления отдельных — пусть небольших — публикаций произведений этой малой формы фольклора, в частности, в чешской этнографической традиции.

В целом в истории изучения и публикаций чешских заговорных текстов можно выделить — с точки зрения историографа этнографии и фольклористики — пять периодов, каждый из которых характеризуется определенными исследовательскими тенденциями: временные границы данных этапов маркируют изменения, связанные не только с изучением заговорных текстов, но и с развитием гуманитарных наук вообще. Иными словами, речь идет о разных сменяющих друг друга *парадигмах* — если допустить, что это понятие, введенное в научный обиход Т. Куном [Kuhn 1970], может быть (вопреки мнению самого Куна) применимо к гуманитарным наукам.

---

\* Исследование выполнено при финансовой поддержке РФНФ: грант № 01-04-00218а) «Заговорный текст: генезис и структура».

Разумеется, перечислить и проанализировать все чешские публикации заговоров и посвященные им исследования мы не сможем — поэтому в данной работе будут представлены лишь те из них, которые кажутся нам наиболее характерными и типичными для соответствующих описываемых периодов.

Й. Горак, автор краткого обзора истории этнографических исследований в Чехии, опубликованного в энциклопедии «Československá vlastivěda» в 1933 г., первым в хронологическом ряду исследователей, начавших записывать чешские заговоры, приводил имя Б. Немцовой: собранная ею подборка заговорных текстов была опубликована в 1846—1847 гг. в периодическом издании «Květy» [Hogák 1933: 468]. На самом же деле это, конечно, не так: заговоры стали привлекать к себе внимание гораздо раньше. Обратимся к истории.

### Средние века

На протяжении Средневековья народная культура в Чехии практически не вызывала интереса исследователей. Из всех фольклорных жанров исключение здесь составляли, пожалуй, лишь пословицы (содержащиеся уже в самых старых чешских письменных памятниках) и сказки (см. об этом [Hogák 1933: 305—306]).

Однако средневековые памятники до сих пор остаются и ценным источником заговорных текстов. Уже в рукописном памятнике XII в. (1125 г.) летописец Козьма (Kosmas) упоминал старшую сестру легендарной основательницы Праги Либуше — Казу, сравнивая ее с древнегреческой колдуньей Медеей. Жившая, по преданию, в IX веке, эта молодая женщина умела исцелять болезни и отгонять смерть «травами и песнями» (*herbis et carminis*) [Matiegka 1936: 301; Sobotka 1879: 26]. Сами тексты целебных «песен» в этом памятнике, к сожалению, не приводились.

Самый старый из известных на сегодняшний день чешских лечебных заговоров восходит к XIII в.: он приведен в легенде о святом Прокопе. С его помощью исцеляли людей, одержимых бесами: *Yu simě proklaté! Boží moci kazuji vem, abyste šli odtudto ven: Na půšči jděte a nikomu neškod'te!*<sup>1</sup> [Matiegka 1936: 301].

Большинство заговоров, записанных на территории Чехии в Средние века, — это тексты на латыни, являвшейся в то время «официальным» языком научной медицины. Впоследствии многие из них перешли и в народную медицину: неграмотные крестьяне, верившие в целительную силу заговоров, продолжали произносить их

<sup>1</sup> Во всех цитируемых чешских заговорных текстах сохраняются орфография и пунктуация оригинального источника.

на латыни, разумеется, при этом часто искажая текст и не вдаваясь в его содержание. Заговоры на латыни, таким образом, часто превращались для них в бессмысленные «абракадабры». Кроме того, средневековые записи содержали и многочисленные абракадабры и указания к изготовлению амулетов-оберегов и талисманов, на которых также зачастую записывались фрагменты заговорных текстов.

Ни о каких исследованиях заговоров на протяжении Средневековья речи, конечно, не было — что, впрочем, во многом объясняется синкретическим характером науки в это время: Средние века дают нам лишь богатые источники заговоров.

### *Эпоха Возрождения*

Хотя с началом эпохи Возрождения объем публикуемого заговорного материала практически не возрастает, большинство публикаций, содержащих заговорные тексты, перестает носить анонимный характер. Из авторов работ, на страницах которых содержались заговоры, наиболее известны сегодня Я. Благодлав (1523—1571), М. Штейр (Штыр) (1630—1692), Б. Биловский (1659—1725) и, конечно, Я. Коменский (1592—1670).

Другая особенность заговорных публикаций этого периода по сравнению с предыдущим состоит в том, что все чаще заговоры приводятся в них уже не на латыни, но на славянских языках. Однако большинство таких текстов все же оставались лишь единичными «вкраплениями» в материал более широкого содержания, причем одни и те же заговоры могли приводиться в работах разных авторов.

Так, в книге «*Grammatica česká*», написанной Я. Благодлавом в 1571 г., автор приводит следующий заговор от детских болезней, записанный в Моравии: *Ve jmě Ranca, kus mazanca, by to robě sedělo, toho by nemělo* [Blahoslav 1857, цит. по: Zíbrt 1911: 375].

Очень похожий заговорный текст приводился и в труде М. Поличанского 1613 г. «*Pokuty a trestání přestupníkům přikázáních Božích*», а еще позже, уже в начале XVIII в., он дословно повторялся в работах М. Штейра и Б. Биловского [цит. по: Zíbrt 1911: 375—376].

То, что один и тот же заговор встречался в работах сразу нескольких не зависимых друг от друга авторов — тогда как вообще число заговорных текстов в их трудах было очень ограниченным, — свидетельствует не только о том, что заговор «был одним из самых любимых лечебных средств»<sup>2</sup>, согласно позднейшим ком-

<sup>2</sup> Здесь и далее цитаты переведены с чешского автором. — Е. В.



ментариям Ч. Зибрта [Ibid.], но прежде всего о том, что самих чешских заговоров в ту эпоху исследователям было известно очень немного.

Фольклором и народной культурой вообще интересовался и великий мыслитель-гуманист Я. Коменский. Из всех фольклорных жанров внимание Коменского больше всего привлекали пословицы, однако интересовали исследователя и заговорные тексты. В частности, фрагмент старочешского заговора от лихорадки приводился им в произведении «*Hádání smrti s člověkem*»: *Beř se přeč, zrádná zimnice, a netrapíš pána více [...], do přehlubokých propastí, nechtěj více nad ním vlásti. Bud' tam na věky proklatá, v jméno svatého Konráta!* [цит. по: Zibrt 1911: 375].

Но, как уже подчеркивалось выше, ни специальных исследований, ни значительных публикаций заговорных текстов в эпоху Возрождения в Чехии не было.

#### *Романтизм и эпоха национального возрождения*

Одной из характерных особенностей эпохи романтизма, как известно, было проявление интереса к национальному прошлому (часто сопровождавшееся его идеализацией), а потому и к фольклорным традициям. Сам «дух времени» способствовал интересу к этнографии и фольклору настолько, что нередко ими увлекались исследователи — специалисты в других областях. Среди чешских ученых здесь можно назвать прежде всего археолога В. Кролмуса (Гролмуса) (1787—1861). К сожалению, многие записи Кролмуса, содержащие собранный им заговорный материал, опубликованы при его жизни не были. Часть его заметок была издана еще в XIX в. (см. об этом ниже), тогда как, к примеру, подборка, содержащая довольно значительное количество заговорных текстов, составленная в 1831—1832 гг., была опубликована (частично) лишь в 1953 г. Издал ее историк А. Робек, имевший доступ к необходимым архивным документам. В предисловии к данной публикации Робек писал: «Особое внимание Кролмус уделяет в этой подборке заговорам. Собранные им тексты можно считать одной из первых записей народных заговоров, если, конечно, не принимать во внимание старочешские рукописи» [Robek 1953: 129]. Таким образом, именно этого исследователя можно считать стоящим у истоков систематического и целенаправленного сбора заговорных текстов в Чехии.

Как известно, в разных странах Европы романтические настроения проявлялись по-разному: в Германии, например, народная поэзия и фольклор в целом вызывали к себе больший интерес, чем в странах романского мира. В разных городах Германии возникали

литературные общества любителей старины и народных традиций. Одним из таких обществ стал известный гейдельбергский кружок, среди членов которого были братья Гримм — Якоб и Вильгельм. Сегодня именно их называют основоположниками мифологической школы в фольклористике. Выявляя основополагающую роль мифологии в возникновении и развитии фольклора и литературы, гейдельбергские романтики в своих трудах закладывают основы сравнительного изучения мифологии, фольклора и литературы.

Наиболее известным последователем немецких фольклористов-«мифологов» в Чехии был К. Эрбен (1811—1870), собравший и опубликовавший огромное количество чешских фольклорных текстов, которые впоследствии послужили материалом для дальнейших исследований. Так, именно составленная и опубликованная Эрбеном подборка чешских заговоров [Erben 1864: 507—513] долгое время оставалась наибольшей по количеству представленных в ней текстов.

В 1860 г. Эрбен публикует статью «Česká říkadla v nemocech» в периодическом издании «Časopis Českého Muzeum» [Erben 1860]. В этой работе приводится 16 заговорных текстов: это не только заговоры, найденные исследователем в средневековых рукописях, но и тексты, услышанные от сельских жителей и записанные им самим в районе города Пршибрама. Однако наибольшее число опубликованных Эрбеном заговоров содержалось в его книге «Prostonárodní české písně a říkadla».

Сегодня известно, что первоначально Эрбен хотел ограничить содержание своего сборника лишь текстами эпических и лирических песен [Hogák 1912], однако в издание 1864 года он включает и «народные стишки» (*národní říkadla*), в числе которых и 28 заговоров. В предисловии к своему сборнику Эрбен пишет: «Что касается простонародных стихов (*prostonárodní říkadla*), то их древнее происхождение и неизменность с течением времени делают их для меня едва ли не более важными, чем народные песни. Песня в каком-то смысле подчинена вкусам времени, она живет и умирает — стихи же могут в течение многих столетий переходить из поколения в поколение без заметных изменений. Даже многие детские стишки — не говоря уже о лечебных заговорах (*říkadla v nemocech*) — восходят к языческим временам» [Erben 1864: X].

Вообще, расцвет и конец эпохи национального возрождения в Чехии отмечены огромным количеством публикаций фольклорных текстов самых разных жанров. В 1846—1847 гг. подборка заговорных текстов «Zaříkáací fórmule mezi lidem českým a jak se od nemoci potáhá», составленная Б. Немцовой (1820—1862), появляется в

журнале «Květy» [Němcová 1846—1847]. Интерес исследовательницы к фактам фольклора и народной культуры был вызван прежде всего ее литературной деятельностью, что было довольно типично для той эпохи: именно в народной прозе и поэзии многие чешские литераторы черпали материал и вдохновение для своих произведений беллетристического характера<sup>3</sup>.

В определенном смысле, заговорная подборка Немцовой задавала тон для многих последующих публикаций, хотя и уступавших данной по объему и количеству текстов. В качестве одного из примеров приведем статью профессора из Оломоуца Й. Гоушки «Pověry národní v Čechách»: собранный им заговорный материал был опубликован в издании «Časopis Českého Muzeum» в 1853—1856 гг. [Houška 1853—1856].

Итак, в рассматриваемый период заговорные тексты публикуются как на страницах специальных периодических изданий, так и в фольклорных сборниках более общего характера. Часто они составляют фрагменты работ по народной медицине, авторы которых предпочитали не анализировать вербальные способы лечения, представленные заговорами и «молитвами о здравии», но лишь как можно более подробно описывать конкретные лечебные средства и действия: использование лекарственных растений, необходимый больным режим и т. д. Эта тенденция, начавшаяся в Чехии в семидесятые годы XIX в., продолжалась примерно до тридцатых годов XX столетия.

### *Публикации заговоров в Чехии в конце XIX — первой трети XX столетий. Сравнительные методы исследований в фольклористике*

Все работы, опубликованные в Чехии в этот период и так или иначе связанные с заговорными текстами, можно разделить на три группы:

1) публикации заговоров, не предполагающие ни анализа текстов, ни включенности последних в более широкий по содержанию описываемый материал;

---

<sup>3</sup> Иногда писатели-беллетристы увлекались фольклорными изысканиями настолько, что бросали литературное творчество и начинали заниматься фольклористикой. Характерный пример в этом отношении — П. Сobotка (о нем и его этнографических работах см. далее). Он начинал как светский писатель-беллетрист, однако в зрелые годы всерьез обратился к исследованию народного творчества. А в 1928 г. Ч. Зибрт посвятил специальную статью чешскому писателю Й. Граше, приславшему в журнал «Český lid» рекордное по сравнению с другими корреспондентами количество фольклорных (в том числе и заговорных) текстов [Zibrt 1928].

2) публикации заговорных текстов, являющиеся частью более общих по содержанию работ (как правило, исследований по народной медицине компилятивного характера);

3) публикации заговоров, авторы которых, анализируя сами тексты, стремились к минимальным теоретическим обобщениям на основании собранных ими эмпирических фактов.

Однако во всех трех случаях исследователи ставили своей целью лишь как можно более подробное *описание*: будь то ритуала, сопровождающего заговорный текст, симптоматики болезней, на исцеление от которых были ориентированы соответствующие тексты, «рациональных» способов лечения недугов, необходимых для этого лекарственных растений и т. д.

Больше всего публикаций заговорных текстов появляется в это время на страницах периодических изданий «Květy», «Časopis Českého Muzeum», «Národopisný věstník československý» и «Český lid».

Из авторов же работ, отнесенных нами ко второй и третьей группам, отметим особенно П. Сobotку и Ф. Бартоша.

Фольклорист П. Сobotка (1841—1925) известен сегодня прежде всего как наследник мифологической школы Я. Гримма, к идеям которой он пришел через работы А. Афанасьева. Один из самых известных его трудов — «Rostlinstvo v národním podání slovanském» [Sobotka 1879]. Эта книга состоит из двух частей: в первой («Rozhled») даются общие сведения о символике растительного мира у славян (выявляемое фактами языка и фольклора мифологическое «подобие» растения и человека, мифы о целительной силе растений, и т. д.), тогда как вторая часть («O jednotlivých rostlinách zvlášť») представляет собой сборник небольших эссе, каждое из которых посвящено какому-то одному растению. В обеих частях работы Сobotка, подтверждая свои положения общетеоретического характера, приводит в пример заговорные тексты, в которых болезнь отсылается с человека на деревья, кустарники или цветы, например: *Beze, posílá mě pán Bůh k tobě, abys ty mže vzal ze mne na sebe* или *Beze, beze, beze, zima na mne leze, a až ze mne sleze, na tebe pak vleze* [Ibid.: 192]. Вообще, автор обнаруживает знание не только чешских лечебных заговоров (так, он ссылается на тексты, опубликованные Эрбеном), но и хорошее знакомство с другими славянскими заговорными традициями, примеры из которых он приводит в своей работе.

Ф. Бартош (1837—1906) был и до сих пор остается одной из наиболее значительных фигур в истории не только чешского, но и славянского языкознания и этнографии вообще. В настоящее время работы Бартоша представляют интерес прежде всего как ценные источники, содержащие богатый и разнообразный материал для

исследований. Сами же методы анализа собранного материала, к которым прибегал Бартош, сегодня представляются весьма спорными. Так, он нередко оценивал собранные тексты с эстетической точки зрения. Кроме того, в отличие от многих своих современников, Бартош практически не применял сравнительных, компаративных методов в своих исследованиях, строя последние исключительно на чешском и словацком материале.

Особенно много заговоров содержится в книге Бартоша «Moravský lid» [Bartoš 1892]. В начале главы «O domácím lékařství lidu moravského» автор описывает общие представления жителей Моравии о болезнях и способах их лечения, цитируя, в частности, моравские пословицы о здоровье и болезнях, а также описывая роль лекарственных растений в народной медицине. Согласно Бартошу, недуги воспринимались людьми как злые демоны, поселяющиеся в человеческом теле, и избавиться от них можно было лишь перенеся их на другого человека или предмет. Затем автор переходит к описанию конкретных болезней. Описывая симптоматику ряда заболеваний, распространенных и хорошо известных в Моравии, этнограф подробно останавливается и на способах их лечения, как «рациональных», так и магических, в том числе и «вербальной» (заговорной) терапии.

В конце XIX в. интерес к этнографии в Чехии вспыхивает с новой силой, что, вероятно, объясняется появлением в это время в Европе работ, посвященных исследованиям «экзотических» народов и их культур. Эти труды в то же время обращали внимание ученых и на становление и развитие их собственной, европейской культуры. Это привело к использованию компаративных методов в этнографии и фольклористике, предполагавших сравнение разных культур и традиций. Наиболее яркими представителями сравнительного направления<sup>4</sup> в фольклористике в Чехии были Й. Поливка, В. Тилле, Л. Нидерле и Ч. Зибрт. Именно с именами двух последних ученых связано начало издания в Праге в 1892 г. специального периодического издания — этнографического ежегодника «Český lid».

Наибольшее количество заговорных текстов было опубликовано в этом журнале с 1892 по 1932 гг., т. е. при жизни его второго главного редактора — Ч. Зибрта (1864—1832)<sup>5</sup>. В основном это

<sup>4</sup> Это направление еще называют «сравнительно-историческим»: сравнение фольклорных текстов разных традиций нередко приводило ученых к констатации их происхождения из одного источника.

<sup>5</sup> Первоначально главным редактором журнала являлся Л. Нидерле, тогда как Ч. Зибрт был его помощником.

были публикации либо коллег и учеников Зибрта, либо его самого: он находил интересные тексты в средневековых рукописях, а также записывал их во время своих поездок по стране. Впрочем, заговорным текстам ученый посвящал не только статьи в редактируемом им научном журнале, но и целые места и отдельные главы своих многочисленных книг. Характерный в этом отношении пример — его книга «Seznam pověr a zvyklostí pohanských z VIII. věku», изданная в Праге в 1894 г. В ней заговорам посвящена отдельная глава «O zařkávání» («De incantationibus») [Zíbrt 1995: 57—65].

Эта глава содержит комментарии некоторых заговорных текстов и дает определенное представление о взглядах автора книги на генезис данной малой формы фольклора. Так, с одной стороны, Зибрт полагал, что происхождение заговора непосредственно связано с молитвой [Ibid.: 57], которая могла быть обращена к языческим божествам, — это сближает его взгляды с теориями представителей русской мифологической школы (Ф. И. Буслаев, А. Н. Афанасьев). С другой стороны, как и русские ученые А. А. Потебня, Ф. Ю. Зелинский и Н. Ф. Познанский, чешский этнограф связывал генезис вербальной части заговора с обрядом и ритуалом [Ibid.: 58]. Видимо, он не считал, что одно может противоречить другому, и тем самым подразумевал первоначальное неразрывное единство слова и действия в заговоре. Подчеркивая тот факт, что чешские заговоры органично вписываются в общеевропейский контекст народной культуры (этот вывод был сделан благодаря использованию сравнительного метода), Зибрт сопровождал свои комментарии примерами, большинство которых было взято из труднодоступных рукописей.

В книге «Staročeské výroční obyčeje, pověry, slavnosti a zábavy prostonárodní, pokud o nich vypravují písemné památky až po náš věk» [Zíbrt 1889] исследователь подробно описывал календарный год и сезонную обрядность в Чехии, в связи с чем он приводил и некоторые заговорные тексты. Так, в главе «Přede žněmi» автор цитирует и анализирует заговоры против бурь и града, говоря, в частности, о сходстве структуры этих текстов с лечебными заговорами: болезни и непогода отсылаются в одни и те же места (горы, леса, море и т. д.): *Vás, mračna, vás, kroupy, posílám, zaháním slovom pána N. J. K. na lesy, na skále, na louky, na trávy, aby žádnému škody ne činily* [Ibid.: 156—157]. При этом Зибрт ссылается на тексты лечебных заговоров, опубликованные Эрбеном.

Несколько заговорных текстов приводятся Зибртом и в главе «Moc některých svatých dle víry lidové», где автор говорит о святых — заговорных персонажах, особенно часто упоминающихся в чеш-

ских заговорах и наделенных в сознании чешского народа способностью побеждать болезни. Особое внимание уделяется святому Блажею, известному своей дружбой с животными (ср. со *святым Власием* у православных и славянским «скотьим богом» *Велесом/Волосом*), часто упоминающемуся в заговорах на выгон и охрану скота: *Pán Bůh ráčil počítí, též já N. vyháním tento Boží dobytek na to Boží pole [...], pod panny Marie její sv. plášt', pod Pána Krist obranu, pod roucho sv. Blažeje* [Zíbrt 1889: 245].

Многие публикации Зибрта относились к области истории этнографии и фольклористики. Так, он комментировал труды своих предшественников, издавая собранный исследователями фольклорный материал, который не был опубликован при их жизни. Например, он писал о заговорных текстах, встречающихся в трудах М. Поличанского, Я. Благослава, Я. Коменского [Zíbrt 1911], а также опубликовал материал, собранный в 1853—1860 гг. в Чехии В. Кролмусом [Zíbrt 1896; 1908] и содержащий некоторое количество заговорных текстов.

Работами о заговорах, подводящими итог данному периоду, можно считать два исследования. Одно из них сегодня ценно прежде всего большим количеством приводимого в ней заговорного материала, тогда как во втором намечены основы анализа и теоретических исследований чешских заговоров. Первое — это двухтомная монография Й. Чижмажа<sup>6</sup> «*Lidové lékařství v Československu*» [Čižmář 1946]. В этом исследовании по народной медицине компилятивного характера, где описывается симптоматика самых разнообразных болезней и многочисленные способы их лечения, приведено по сравнению с другими работами рекордное количество заговорных текстов — больше сотни. При этом автор ссылается на многие публикации заговоров, выполненные до него, — в том числе он цитирует многочисленные работы Эрбена, Бартоша и Зибрта. Однако использовать эту монографию как источник заговоров неудобно по нескольким причинам. Во-первых, речь идет лишь о лечебных заговорах, приводимых Чижмажем, к тому же отнюдь не против всех описываемых им болезней. Во-вторых, довольно часто автор ограничивается цитированием лишь отдельных кусков, взятых из заговорных текстов. Наконец, не всегда упоминаются в книге и те населенные пункты, где были записаны заговорные тексты, чешские тексты даются вперемежку со словацкими и т. д.

<sup>6</sup> На исследовательскую деятельность Й. Чижмажа (1868—1965) оказал большое влияние Ч. Зибрт, в журнале которого тот публиковал и некоторые свои статьи о заговорах: см. [Čižmář 1929].

Вторая интересная работа — статья «Lidové léčení», написанная для энциклопедии «Československá vlastivěda» в 1936 г. Й. Матиежкой (1862—1941) [Matiegka 1936]. Автор сумел творчески переосмыслить все, что было написано о заговорных текстах до него, видно и его хорошее знание источников чешских заговоров. В отличие от большинства своих предшественников — соотечественников, исследовавших заговоры, Матиежка в значительной степени преодолевает эмпирическую привязанность к исследуемому материалу и выходит на уровень интересных обобщений. Так, он выделяет девять наиболее распространенных в чешских заговорах сюжетов (отсылка злого начала в пространство, встреча его со святым — персонажем заговора, последовательное его «уменьшение» и исчезновение и т. д.). К сожалению, очень ограниченный объем этой работы (изначально она писалась для справочника-энциклопедии) не позволил ее автору раскрыть свои знания в этой области во всей их полноте.

#### *Публикации и исследования заговоров с 30—40-х годов XX столетия до настоящего времени*

Публикации и исследования заговорных текстов, изданные в Чехии после 30—40-х годов XX в., существенным образом отличаются от предшествующих. Основных отличий два. Во-первых, само количество статей, посвященных заговорам, резко уменьшается. Во-вторых, начиная с этого времени практически исчезают публикации, в которых были бы представлены только заговорные тексты без всякого анализа и комментариев к ним. Фольклористы сосредоточиваются в основном на комментариях к уже опубликованным текстам, в отдельных случаях дополняя опубликованные ранее подборки известных исследователей — так, например, в 1953 г. историк А. Робек дополнил уже известное научному миру наследие В. Кролмуса несколькими заговорами, не вошедшими в его прежние публикации (см. выше).

В работе 1978 г. исследователь П. Трост [Trost 1978] анализирует три заговорных текста, взятых из подборки Эрбена (эти тексты связаны одним общим мотивом: число разных болезней уменьшается в них от девяти до нуля), сопоставляя их с аналогичными текстами из украинской и немецкой традиций. Типология при этом сводится к общему генезису: сходство заговорных текстов, общие мотивы в них объясняются высокой вероятностью происхождения заговоров из одного источника.

А словацкая исследовательница М. Майтанова публикует в 1974 г. в статье «Zařikávání nemocí ve staročeském lékařském rukopise»



шесть заговоров, обнаруженных ею в памятнике XV в. Среди них очевидно выделяется следующий — довольно нетипичный по своей структуре для чешской традиции — заговор «от всех болезней»: *Weymie otcze hledam tebe. Weymie otcze nalezugi tie. Krystus sie narodil. Krystus vzmuczen. Krystus z mrtwych wstal* [Majtanová 1974: 226]. Однако данный заговор интересует исследовательницу исключительно с точки зрения историка языка: она пытается определить место и время написания текста, тогда как само содержание заговора и его структура были оставлены ею без внимания.

Вообще же в XX столетии (особенно во второй его половине) по сравнению с произведениями других фольклорных жанров заговоры занимают в теоретических работах чешских фольклористов очень скромное место. Во многом этим и объясняется то, что исследования заговорного материала в Чехии оказываются не охваченными основными тенденциями, свойственными «духу времени» в фольклористике. Речь идет прежде всего о типологических и компаративных исследованиях (в основном коснувшихся жанра сказок), являющихся продолжением и развитием работ, у истоков которых стояли финский ученый А. Аарне [Aarne 1964], американец С. Томпсон [Thompson 1951; 1966], русский фольклорист В. Пропп [Пропп 1946; 1969], а в Чехии и Словакии — В. Тилле [Tille 1929—1937] и Й. Поливка [Polívka 1922—1931]. Речь идет о выделении и анализе структурных элементов произведений определенного жанра, выявляемых в свете сравнения соответствующих текстов, взятых из нескольких традиций<sup>7</sup>. Влияние структуралистских методов, распространенных в лингвистике, на фольклористику, становится здесь особенно очевидным.

Одна из основных причин исследовательского невнимания к заговору в Чехии — все то же отсутствие крупных публикаций текстов этого малого жанра фольклора. Все это лишний раз подчеркивает актуальность составления и публикации большого сборника чешских заговорных текстов, работа над которым ведется в настоящее время.

#### Л и т е р а т у р а

- Пропп 1946 — *Пропп В.Я.* Исторические корни волшебной сказки. Л., 1946.  
 Пропп 1969 — *Пропп В.Я.* Морфология сказки. М., 1969.  
 Aarne 1964 — *Aarne A.* The Types of the Folktale. A Classification and Bibliography: Anti Aarne's «Verzeichnis der Märchentypen»/Transl. by Stith Thompson. Helsinki, 1964.

<sup>7</sup> Из всех чешских исследователей-теоретиков методологические рамки данного подхода наиболее ясно очертил К. Горалек в статье «O teoretické základy folklórní komparistiky» [Horálek 1977].

Bartoš 1892 — *Bartoš F.* Moravský lid. Sebrané rozpravy z oboru moravské lidovědy. Telč, 1892.

Blahoslav 1857 — *Elahoslav J.* Grammatika česká, dokonaná z 1571, do níž vložen text grammatiky Beneše Optátá z Telče, Petra Gzella z Prahy a Wáclawa Philamathesa z Jindřichova Hradce podle vyd. Normberského 1543. Vídeň.

Čižmář 1929 — *Čižmář J.* Herbáře československé dobytčí // Český lid. 1929, N 29.

Čižmář 1946 — *Čižmář J.* Lidové lékařství v Československu. Sv. 1—2. Brno, 1946.

Erben 1860 — *Erben K.J.* Česká zařikadla v nemocech // Časopis Českého Muzeum. 1860. № 34.

Erben 1864 — *Erben K.J.* Prostonárodní české písně a říkadla. Praha, 1864.

Horák 1912 — *Horák J.* Erbenova sbírka českých písní lidových // Národopisný vestník československý. 1912. № 7.

Horák 1933 — *Horák J.* Národopis československý // Československá vlastivěda. D. 2: Člověk. Praha, 1933.

Horálek 1977 — *Horálek K.* O teoretické základy folklórní komparistiky // Český lid. 1977. № 64.

Houška 1853—1856 — *Houška J.* Pověry národní v Čechách // Časopis Českého Muzeum. 1853—1856. № 27—30.

Kuhn 1970 — *Kuhn T.* The Structure of Scientific Revolutions. Chicago, 1970.

Majtanová 1974 — *Majtanová M.* Zařikávání nemocí ve staročeském lékařském rukopise // Český lid. 1974. № 61.

Matiegka 1936 — *Matiegka J.* Lidové léčení // Československá vlastivěda. Ř. 2: Národopis. Praha, 1936.

Němcová 1846—1847 — *Němcová B.* Zařikací formule mezi lidem českým a jak se od nemoci pomáhá // Květy. 1846—1847.

Polívka 1922—1931 — *Polívka J.* Súpis slovenských rozprávok. Martin, 1922—1931. Sv. 1—5.

Robek 1953 — *Robek A.* Krolmusova rukopisná sbírka lidových pověr // Český lid. 1953. № 2.

Sobotka 1879 — *Sobotka P.* Rostlinstvo v národním podání slovanském. Praha, 1879.

Thompson 1951 — *Thompson S.* The Folktale. New York, 1951.

Thompson 1966 — *Thompson S.* Motif-Index of Folk Literature: a Classification of Narrative Elements in Folktales, Ballads, Myths, Fables, Mediaeval Romances, Exempla, Fabliaux, Jest-Books and Local Legends. Bloomington; London, 1966.

Tille 1929—1937 — *Tille V.* Soupis českých pohádek. Sv. 1—3. Praha, 1929—1937.

Trost 1978 — *Trost P.* O některých zařikadlech u K. J. Erbena // Český lid. 1978. № 65.

Zíbrt 1889 — *Zíbrt Č.* Staročeské výroční obyčeje, pověry, slavnosti a zábavy prostonárodní, pokud o nich vypravují písemné památky až po náš věk. Praha, 1889.

Zíbrt 1896 — *Zíbrt Č.* Z netištěných zápisků Krolmusových // Český lid. 1896. № 5.

Zíbrt 1908 — *Zíbrt Č.* V. Krolmusa Slovník obyčejů, pověstí, pověr, zábav a slavností lidu českého // Český lid. 1908. № 17.

Zíbrt 1911 — *Zíbrt Č.* J. A. Komenský, znalec lidového podání českého // Český lid. 1911. № 20.

Zíbrt 1928 — *Zíbrt Č.* J. K. Hraše sběratel lidového podání českého // Český lid. 1928. № 28.

Zíbrt 1995 — *Zíbrt Č.* Seznam pověr a zvyklostí pohanských z VIII. věku. Praha, 1995.

*М. В. Всеволодова*

**Межнациональный проект  
«Восточнославянские предлоги в синхронии  
и диахронии: морфология и синтаксис»**

Славянские языки, будучи флективными и, следовательно, имеющими развитую грамматическую категорию падежа, характеризуются, как известно, также и наличием многочисленной лексикограмматической категории предлога как части речи. Наряду с исконными предлогами все шире используются и изофункциональные предлогам образования — словоформы других частей речи, определяясь полностью, частично или оставаясь в рамках своей части речи и выполняя функции предлога лишь в определенных условиях. Взаимодействие категорий предлога и падежа обеспечивает необычайно широкие возможности выражения самых разных смыслов и значений. Вместе с тем следует отметить, что, пожалуй, ни для одного из восточнославянских языков, кроме в определенной степени белорусского, нет не только адекватного современной лингвистической парадигме описания функционирования этой категории, но и по возможности полного реестра этих единиц.

Группой московских (МГУ), донецких (Украина, руководитель д. ф. н. А. А. Загнитко) и гродненских (Белоруссия, руководитель д. ф. н. М. И. Конюшкевич) лингвистов осуществляется проект «Восточнославянские предлоги в синхронии и диахронии: морфология и синтаксис».

Уже в начале работы стало ясно, что для осуществления проекта было бы весьма желательно привлечение материалов польского языка, и мы очень признательны нашим коллегам из университета в Ополе под руководством д-ра Чеслава Ляхура, выразившим согласие присоединиться к нашему проекту. Само собой очевидно, что такой восточно-западный тандем был бы все-таки односторонним. Поэтому присоединение к нам сербских коллег в лице д-ра Ивана Антониича из Нови-Сада, взявшей на себя труд разрабатывать сербский материал, было для нас хорошим подарком. Думается, что расширение проекта до общеславянского не противоречило бы

интересам современной славистики. Представим основные положения проекта и первые наработки. Поскольку я являюсь представителем русской части проекта, я буду представлять проблемы на материале русского языка, но ясно, что они являются общими для восточнославянских, а возможно и для всех славянских языков. Под «синхронией» мы подразумеваем привлечение материалов не только общелитературного языка, но и современных говоров; под «диахронией» — привлечение данных памятников письменности.

Модель языка, в которой мы работаем, — функционально-коммуникативная, в частности ее лингво-дидактическая версия, т. е. направленная в первую очередь на описание языка (любого) в его активном функционировании, в том числе и как средства межнационального общения, которому нужно учить инофонов, — предопределила **главенство синтаксического аспекта** в описании данной категории, что, однако, отнюдь не исключает аспекта морфологического. **Морфологический аспект**, как мы его понимаем, состоит прежде всего в том, чтобы определить, во-первых, статус данной единицы как предлога или его (в том числе и окказионального) субститута, его функции и структуру данной категории, а во-вторых — способ функционирования этой единицы в синтаксических построениях. Представим основные положения нашего подхода.

1. Дадим наше определение самого понятия «предлог» в широком смысле слова, именно в силу разнообразия выступающих в этом значении единиц. Мы убеждены, что это должно быть **определение формально-позиционное**. Ср. постулат М. В. Панова: «Закономерность такая: для частей речи важны только грамматические, не лексические показатели» [Панов 1999: 118]. Отказываясь от традиционных лексико-грамматических характеристик, предложим возможную формулировку: предлог — это служебная часть речи со своим лексическим (возможно ослабленным) значением, входящая на правах субморфемы в словоформу существительного или его субститута, определяющая падежную форму последнего (в том числе и именительный падеж) и вместе с окончанием образующая аналог конфикса.

**Примечание.** Это положение принципиально важно в случаях, когда в функции предлога выступает наречие, которое как часть речи в собственной функции не сочетается с зависимым существительным, но если при нем есть словоформа существительного, нужно говорить о том, что здесь наречие выполняет функции предлога, составляя с существительным единую словоформу — синтаксему, ср.: *Он обошел дом вокруг*, где налицо наречие, и *Он обошел вокруг дома*, где налицо одна предложная синтаксема **вокруг дома** — словоформа лексемы **дом**. Толковый словарь Ожегова и Шведовой

1992 г. (СОШ) определяет слово *извне* только как наречие, но ср.: *Планета X появилась извне Солнечной системы*, где то же слово в функции предлога.

2. Определение функций предлога, которые можно свести к двум:

- 1) исходя из формальных «обязанностей» — «маркировать позицию следующего за ним существительного (или его субститута) как позицию признака признака или атрибутивного признака предмета»<sup>1</sup>;
- 2) исходя из примата семантики над грамматикой [Кибрик 1992] — «конкретизировать тип отношений, выражаемых вводимым им полнозначным словом», если форма самого этого слова не самодостаточна или если в коммуникативные намерения адресанта речи входит экспликация, вербализация отношений. Другими словами, функция предлога состоит в определении роли вводимого им имени в денотативной структуре предложения, ср.: *на юге* — локатив, *к югу* — директив-вектор, *из молока* — фабрикатив, *под молоко* — дестинатив [Золотова 1988]. Именно необходимостью конкретизации ролей вызвано появление всех вторичных предлогов, ср.: *У него большая семья* — *На руках у него большая семья*, где предлог *на руках у кого* маркирует агенса не просто как посессора, но и кормильца.

**Примечание.** Эти функциональные характеристики относятся и к другому классу служебных слов — союзам. Есть случаи денотативной изофункциональности союзов и предлогов, ср.: *Оля и Маша пришли* — *Оля с Машей пришли*; и даже словоформ, союзов и предлогов: *Он поехал туда волонтером* — *как волонтер* — *в качестве волонтера*. Более того, в некоторых синтаксических условиях союз *как*, в частности, требует после себя определенной падежной формы — именительного падежа, т. е. ведет себя как предлог: *Он был в таких городах, как Суздаль, Ярославль, Углич*; *Он познакомился с такими городами, как Суздаль, Ярославль, Углич*, оставаясь «прозрачным» для падежной формы в других: *Я говорил с ним как со специалистом*, *Я уважаю его как специалиста* и под. Это подтверждает, с одной стороны, полевую устроенность языка как структуры, а с другой — выявляет

<sup>1</sup> Мы опираемся здесь на несколько модифицированную логическую структуру предложения, включающую следующие позиции словоформ [Панов 1999]: 1) предмет (субъект), 2) предикат (признак), 3) признак признака и 4) (добавленная О. В. Кукушкиной) признак признака. Эти позиции могут сочетаться в разных вариантах. Они определенным образом (хотя и не полностью) совпадают с выделенными и представленными в других терминах в [Всеволодова 2000] позициями синтаксем в предложении. Отметим, что это не позиции членов предложения. В предложении могут быть позиции-представители других пропозиций. Эти вопросы могут быть обсуждены.

многофакторность языковых явлений и полифункциональность языковых единиц.

3. Определим аспекты структурирования нашей категории. Исходя из представления о полевой структуре всякой грамматической категории, мы предлагаем:

1. По «родословной» — выделить **первичные** и **вторичные** предлоги (предлоги-дериваты). **Первичные** предлоги, несомненно, являются **ядром категории**, а **доминанту** составляют первообразные предлоги типа **в, на, от, для** и др., но думается, что рядом с ними расположены так называемые наречия-предлоги, а точнее, предлоги-наречия типа **возле, мимо, близ**, всегда имеющие валентность на некоторый ориентир, однако в случае его предупомянутости способные выступать с 0-формой его имени: *Он меня не заметил и прошел мимо.* (0-форме см. ниже.) **Вторичные** предлоги суть опредложившиеся в той или иной степени или выполняющие в определенных условиях функцию предлога словоформы других частей речи: *вблизи дома, благодаря друзьям, в виде кольца* и под.
2. По их структуре мы выделяем:

А. Среди первичных предлогов: 1) простые — **в, на, у, от, мимо, близ** и пр.; 2) сложные однопадежные типа **из-за, из-под, промежду, извне, для ради, за ради** (независимо от того, как они пишутся: через дефис, слитно или раздельно) и даже **навроде, насупротив**; 3) составные дву- или трехпадежные предлоги, сочетающиеся как с разными словоформами одной лексемы: *изо дня в день, из дома в дом, от года к году, от дома к дому, с ветки на ветку, с минуты на минуту* и под., так и со словоформами разных лексем: *в двух милях к югу / на юг от храма, через час после урока, за час до урока, с ног на голову* и под., а также образования с компаративом типа *на год старше брата, на милю южнее мыса*. Мы рассматриваем их как системные предложные образования.

**П р и м е ч а н и е.** Сложных предлогов типа **из-за, из-под, по-над**, диалектного архангельского **вза** (ср. польск. **spośród, znad** и под.) в русском языке в действительности больше, чем это обычно считается, поскольку словоформы **промежду, помимо**, уже упомянутый **извне** и нек. др. тоже несомненно суть сложные предлоги, состоящие из двух первичных. Тот факт, что они пишутся слитно, а не через дефис, — дело конвенциональное. В польском языке все соответствующие предлоги пишутся слитно. Интересно, что они не однородны по своему синтаксису. Так, в предлогах **из-за, из-под**, управляющим является первый первичный предлог, а в **по-над, промежду**, в архангельском **вза**: *жить вза рекой, пойти вза реку* — второй первичный предлог.

Б. Среди вторичных предлогов: 1) простые однословные (в том числе и с первичным предлогом, превратившимся в приставку, и с отрицанием): *спустя год, методом нагревания, ввиду болезни, не доходя дома; вслед отцу* (смотреть); 2) составные, в том числе а) двухсловные с препозицией первичного предлога: *в отношении отпуска, по причине отъезда*; б) двухсловные с постпозицией первичного предлога: *вплоть до конца работы, задолго до урока, согласно с обстоятельствами, вслед за тройкой* (бежать), *не взирая на трудности*; в) трехсловные с интерпозицией деривата между двумя первичными предлогами: *в связи с работой, по отношению к детям, на глазах у всех*; 3) предложные сочетания, включающие в качестве облигаторного компонента прилагательное или местоимение, типа *в непосредственной близости от дома, по ту / по эту сторону дороги, по правую руку от отца*.

Примечание. Проверка, осуществленная д. ф. н. О. В. Кукушкиной на материалах базы данных компьютерной лексикографической лаборатории филологического факультета МГУ, руководимой д. ф. н. А. А. Поликарповым, показала, что выражение «*в непосредственной близости от чего*» выступает исключительно и только в функции пространственного предлога, соотносясь с такими единицами, как *близ чего, вблизи чего, вблизи от чего, поблизости от чего, совсем близко к чему / от чего*; причем позиция определения в нем обязательна, иначе говоря, с одной стороны, выражения «*в близости от чего*» в русском языке не зафиксировано, а с другой — выражение «*в непосредственной близости от чего*» не употребляется при выражении каких либо других значений, кроме пространственного.

По отношению к отнаречным образованиям с постпозицией первичного предлога типа *задолго до урока, недалеко от дома* следует отличать дескрипции предлогов с системно сопутствующими им конкретизаторами, например: *сразу после урока, непосредственно после урока*, где *сразу, непосредственно* — собственно конкретизаторы, однако *сразу* системен именно для предлога *после*, ср. неотмеченность *\*сразу перед уроком, \*сразу до урока*, в то время как *непосредственно* выступает в конъюнкции с *перед*: *непосредственно перед уроком*, и невозможен в конъюнкции с *до*: *\*непосредственно до урока*.

Примечание. Однако собственно предлоги и структуры с конкретизаторами работают в системе: антонимом предлога *задолго до* является образованием с конкретизатором — винительным темпоральным *долгое время после чего*: *На самом деле задолго до Лютера и долгое время после Лютера муки ада описывались в немецком как «angst огня»* (Вежбицка, пер. А. Шмелева), — где нельзя употребить слово *долго*; для этого необходимо было бы ввести частицу *еще* и произнести слово *долго* с акцентным рематическим выделением: *И еще долго после Лютера...*, но эта темпоральная группа пред-

полагает другой предтекст типа: *Именно Лютер начал описывать муки ада как «angst огня», что произвело сильное впечатление, и эта традиция сохранялась еще долго после Лютера.* Очевидно, что образования долго/некоторое/какое-то время после кого/чего и долго после кого/чего, с одной стороны, и сразу/непосредственно после кого/чего, с другой, — выполняют функции предлога. Они системны в русском языке для выражения определенных отношений в системе значений именной темпоральности и коррелируют с чисто предложными образованиями. Отметим, что установление отношений антонимичности и системность употребления — это один из операциональных приемов, предлагаемых нами для определения и выделения наших объектов. С другой стороны, роль наречий и адъективно-именных конкретизаторов в составе таких осложненных, но единых с точки зрения смысла образований, особенно с пространственным и временным значением, требует осмысления.

По системности функционирования в данной категории определяем статус предложных образований всех рангов. Полагаться только на словари, где многое отмечено, рискованно, поскольку: 1) Такого рода пометы там не всегда последовательны, например, *в сообществе с кем* в СОШ определяется как предлог, а *в содружестве с кем* не выделяется никак. 2) Сам набор помет в наших словарях ограничивается двумя: ‘предлог’ и ‘в знач. предл.’, что, на наш взгляд, недостаточно. 3) Некоторые явно предложные образования, как, например, составные предлоги типа *через... после..., за... до..., от... к...* и др. там просто не представлены как самостоятельные единицы, и под.

Примечание. Так, слово *задолго* маркируется в СОШ как наречие, толкуется как ‘за много времени перед чем-нибудь’ и иллюстрируется примером *задолго до зимы*. Вместе с тем уже в самом толковании есть временной ориентир, по отношению к которому и выступает слово *задолго*; оно не может быть употреблено самостоятельно без первичного предлога и имени в род. п. Думается, есть все основания говорить о целостной единице — предлоге *задолго до*. То же относится к образованиям *близко к чему, близко от Нрд, вдали от Нрд*, в принципе отсутствующим в СОШ

Независимо от терминологии, которую еще предстоит выработать, представим предложенную руководителем белорусской стороны проф. М. И. Конюшкевич следующую рубрикацию попадающих в наше поле зрения единиц, построенную на теории нечетких множеств.

1) «Предлог» — единица, не имеющая других функций. Если доминантой нашего поля являются первообразные предлоги, то приядерную зону образуют предложившиеся полностью вторичные образования типа *недалеко от чего, несмотря на что, вроде чего, в виду озера* (стоять) и *ввиду болезни* (отсутствовать), *во избежание*



ссоры, в ожидании вызова и мн. др. Важно, что к предложениям относятся кроме первичных предлогов и дериваты, в том числе и сочетания типа в непосредственной близости от чего — структура, не имеющая других функций, кроме предложной.

2) Ближайшая периферия — «в значении предлога» — словоформа, системно выполняющая функции предлога, которая, однако, сохраняет прозрачные лексические связи с основной лексемой в других ситуациях, как, например, в адрес кого — *в адрес нашего канала ТВ*, но и по адресу кого — *сказал несколько критических слов по адресу шефа*; ср.: *послать письмо по адресу брата*; *на глазах у кого*, ср.: *На глазах у них он сломал дверь и На глазах у них — слезы*; ср. также: *приехать в качестве зрителя, использовать опыт в применении к новым задачам; Сделать много на пути рационализации (СОШ)*.

3) Периферийная зона — «функционирует как предлог, но выполняет и другие функции», например: *включая кого/что* — *Были все, включая детей*; *не считая кого/чего* — *Были все, не считая Ивана*; которые могут функционировать и как деепричастия: *Включая в состав команды Ивана, мы усиливаем нападение*; *Не считая нас, он повел всех ко входу*.

4) Более отдаленная периферия — это словоформы, которые не отрываясь от своей части речи, сохраняя свое категориальное значение, в определенном контексте выполняют функцию предлога, образуя именную синтаксему с тем или иным значением, или: «может функционировать как предлог, но основная функция другая». Можно назвать два случая:

- а) словоформы существительных-названий параметров, вводящие количественные показатели типа *длинной одна десятая метра, числом около сотни* и под.: *По соседству с горой святой Екатерины, к югу от нее, стоит гора Синай высотой в 7500 футов*;
- б) параметрический компаратив в отсутствие компарата, ср.: *Он пришел позже мамы*, где налицо чисто наречие, и *Он пришел позже пяти* = *после пяти*, где налицо компаратив в роли предлога.

5) Наконец, есть случаи **окказионального употребления** в некоторых фрагментах предложного поля. Как показывают наблюдения, существуют «свободные» зоны, где по модели формального предлога и в качестве предлога выступают слова соответствующей семантической группы, часто нигде в такой функции не зафиксированные. Яркий пример такой зоны — группировка предлогов с целевым значением, формальной доминантой которой являются предлоги *во избежание чего, в ознаменование чего*, и многочислен-

ные образования, одни из которых имеют в словарях помету «в знач. предл.», другие — не выделены вообще, и выступающие как с сохранением управления типа *в возмещение убытков, во изменение приказа, во исполнение решения, в нарушение обычая, в развитие теории*: Для этой цели нами, *в развитие логико-семантических идей Т. П. Ломтева, была разработана специальная предикатно-смысловая запись* (Т. А. Тулина); *в подтверждение гипотезы, в подкрепление версии, в поддержку тезиса, в оправдание ученых, в компенсацию отработанных дней*, так и с изменением управления в зависимости от разных факторов: *в угоду (климату): Менять свой образ жизни в угоду климату завоеватели не склонны; в помощь преподавателю; в наставление сыну, в дополнение к приказу* и т. д.

Что касается функционирования предлога в синтаксических построениях, заметим:

1. Предлог входит в состав синтаксемы существительного, форма которого может быть представлена нулем. Способностью выступать в сочетании с 0-формой имени обладают не все предлоги, и мы пока не можем дать закрытый список тех и других и четко представить условия такого употребления. Но ясно, что в определенных контекстах такое возможно, ср.: *Ты в школу или из?*; *Я стоял у двери, но он не заметил меня и прошел мимо* = мимо меня<sup>2</sup>; ср.: [*Эта формулировка... подчеркивает противоречивость предыдущей позиции Оппенгеймера — оппозиции созданию водородной бомбы.*] *Против* (0-форма) *он был по двум главным основаниям...*

2. Вопреки сложившемуся мнению, предлог способен управлять не только косвенными, но и именительным падежом. Так, *Ним* управляют выступающие в значении предлога лексемы *плюс* и *минус*: *Они пришли со всеми детьми плюс два племянника* = с двумя племянниками; *Моя красота минус мой ум* — и я самая счастливая женщина на свете = без моего ума; включенный А. А. Зализняком в «штат» русских предлогов французский конструкт *а ля*: *Для этого нужна жизнь а ля Лев Николаевич Толстой* = как у Толстого; *Прическа а-ля мужик. Кафтан а-ля казак*. Но аналогичное управление системно и для ряда других субститутов предлогов.

<sup>2</sup> На предложную сущность лексемы *мимо* нам указала доцент МГУ Л. В. Красильникова, и мы с нею полностью согласны, поскольку *мимо* — слово реляционной семантики и предполагает, в отличие, например, от *быстро*, *гладко*, *ползком*, наличие локума, который должен быть выражен существительным. Все случаи употребления словоформы *мимо*, как и словоформ типа *напротив* без Нрд — суть употребление предлога с 0-формой имени. Думается, что *мимо*, *напротив* — не наречия, а именно предлоги.

3. Не говоря сейчас о случаях «управления» инфинитивом, как, например: *Массовые опросы проводятся с целью изучить общественное мнение / с целью изучения общественного мнения; Снарядили экспедицию в надежде найти следы древнего поселения*; или наречием: *отложить разговор на потом; ответить на отлично*, отметим проблему прономинализации, т. е. замены в сочетаниях с предлогом существительного, в частности, личным местоимением<sup>3</sup>.

Как показали первые наблюдения, мы пока не знаем закономерностей прономинализации предложных форм. Установлено, что предложные формы — свободные синтаксемы с локативным значением прономинализируются в основном свободно, ср.: *подошел к дому, но входить в него не стал; Мальши залез под стол и выглядывал из-под него*; причинные именные группы с первичными предлогами тоже прономинализируются свободно: *У него была сильная ангина, и из-за нее он не поехал в Крым; Что за шум? У меня от него голова болит*; но вторичные предлоги-derivаты личные местоимения «отвергают», ср. неотмеченность: *\*Я боюсь урагана, потому что в результате него может быть разрушена дамба*; временные синтаксемы со значением одновременности не прономинализируются: *\*Завтра среда, а в неё у меня лекция*; только: *а в среду у меня лекция*. Часто вместо личных местоимений «выбирается» притяжательное или определительное, и тогда снимается основное свойство предлога — управлять падежной формой: *взял ножницы и с их помощью открыл замок; в адрес председателя — в его адрес; Нам нужен консультант, и в этом качестве мы пригласили Илью*; ср.: *в качестве консультанта*, но не *\*в качестве него*. Вероятно, это связано с тем, что синтаксическая парадигма личных местоимений значительно меньше синтаксической парадигмы существительных. Но есть и другие факторы, требующие анализа.

4. Есть еще один аспект функционирования предлогов, а именно «поведение» предлогов в сочетании с прилагательными. Возможны предложные сочетания, характер которых не вызывает сомнений, как, например: *Посмотрите на это глазами детей; В направлении на восток поезда отходят каждые два часа; кондитив действовать в условиях войны, за исключением некоторых работ* (в СОШ — «предлог») и др., которые регулярно коррелируют с адъективными сочетаниями типа *детскими глазами; в восточном направлении, в военных условиях, за редким исключением*, где предлог также фактически исчезает. Вероятно это говорит об особом ста-

<sup>3</sup> Впервые обратила на этот факт наше внимание Е. Г. Борисова в [Борисова 1994].

туса такого рода образований, который или которые еще предстоит определить. Но вместе с тем при атрибуции предлогов указать на способность/неспособность предлога к таким метаморфозам нужно.

5. Первичные предлоги выступают в интерпозиции между двумя словоформами одной лексемы: (жить) *душа в душу*, (идти) *рука в руке*, (стоять) *плечом к плечу*, *спина к спине*, *день ото дня* (холодает), *день в день* (отдал деньги) и пр. Это тоже специфика синтаксиса первичных предлогов.

6. Наконец, хотя само слово «предлог» предполагает, в отличие от послелога, препозицию этой «субморфемы» к имени, тем не менее в русском языке немало предлогов способных выступать и в постпозиции, ср.: *спустя две недели — две недели спустя*; *Сегодня, конечно, можно только гадать, занялся Чандлер сочинением детективных историй заработка ради или же понял, что нашел свое призвание*; *Жениху под стать была и невеста*; ср. из группы параметрических аналогов (см. ниже): *Пирамида покоится на искусственно выровненной платформе менее чем в 22 дюйма (55,88 см) толщиной*. Некоторые предлоги и их субституты системны именно в постпозиции: *неделю назад*, *годом позже*: *В Римской империи нет расовой дискриминации, поэтому Лузий Квист достиг высших военных постов, а веком позже его соплеменник (Песцений Нигер) попытается занять римский трон*; но в каких-то условиях некоторые «типичные» предлоги тоже «позволяют себе» встать в постпозицию: *Я работаю не только славы для*. По этой характеристике тоже должен быть маркирован каждый предлог.

7. Наконец, первичные предлоги активно участвуют в образовании предлогов-derivатов.

Поэтому с первичными предлогами во всех их ипостасях мы сопоставляем предлоги вторичные, предлоги-derivаты, образованные от других частей речи. Это могут быть словоформы существительных, наречий, деепричастий, прилагательных. Но это могут быть и фразеологизированные выражения типа *с точки зрения синтаксиса* или приведенного выше *в непосредственной близости от вулкана*. Возможны следующие морфологические типы derivатов.

1. Предлоги, представляя собой конкретную словоформу конкретного лексико-семантического варианта, выступают самостоятельно, не будучи осложненными первичными предлогами: *путем наблюдения*, *спустя неделю*, *близ леса*; *параллельно берегу*; *касательно вашего отъезда*.

2. Дериваты всех частей речи в функции предлога представлены в конъюнкции с первичными предлогами, которые могут выступать:

- 1) в препозиции к словоформе, и здесь возможны две реализации:
- Первичный предлог, сохраняет графическую самостоятельность, что характерно в первую очередь для отыменных предлогов: *в качестве кого/чего, во избежание чего, под стать кому*; не имея, однако, между собой и словоформой позиции для прилагательного (при наличии падежной формы полнозначного существительного), что во многих случаях свойственно первичным предлогам в их самостоятельном употреблении, ср.: *уступил из деликатности — из свойственной ему деликатности*.

**Примечание.** Интересно отметить, что слова ведут себя в такого рода случаях достаточно индивидуально, чтобы не сказать капризно. Так, существительное *посредство* образует три словоформы, одинаково характеризующиеся в СОШ как предлог: *посредством, при посредстве, через посредство* + Нрд, причем все три единицы суть дублеты и свободно взаимозаменяются, ср.: *...такие сценарии необходимо идентифицировать посредством лексических универсалий... / при посредстве / через посредство лексических универсалий; Сопоставление культур через посредство лексики и прагматики / при посредстве / посредством лексики и прагматики*. Существительное *благо* образует три предлога: *во благо, на благо, для блага* кого-чего (СОШ эти образования никак не помечает, но антонимичное им *во вред* кому-чему снабжает пометой «в значении предлога»), тоже синонимичные. А вот слово *помощь* образует две предложные единицы с *помощью / при помощи* + Нрд в значении инструментатива: *смастерить коробочку с помощью/при помощи ножниц и клея*, и две единицы *в помощь* и *на помощь* Ндт с целевым значением, различающиеся однако условиями дополнительной дистрибуции: «*на помощь* Ндт» возможно в партнерстве с глаголами физического перемещения (даже в переносном значении): *прийти, побежать на помощь людям*; «*в помощь* Ндт» — с глаголами социального и интеллектуального действия, а также при именах разного рода изданий: *справочник в помощь молодым родителям*.

- Первичный предлог «срастается» со словоформой: *вроде ножа, наперекор стихиям, вблизи леса, назло соперникам*. Кстати, именно так образуются многие наречия, входящие затем и в сферу функционирования предлогов. В некоторых случаях эти различия связаны с различиями в категориальных значениях, ср.: *дом в виду озера* — локатив, *отпуск ввиду предстоящих экзаменов* — каузатив.
- 2) В постпозиции к словоформе, причем в этом случае:
- для отыменных опредложившихся дериватов обязательно наличие первичного предлога, как раздельного: *в связи с болезнью, по отношению к сыну*; так и сращенного: *вплоть до замо-*

розков, *впредь до особого распоряжения, бежать вдогон за беглецом;*

б) для всех остальных дериватов и для именных словоформ в функции предлога, не выпавших еще из своей парадигмы (см. **высотой**) наличие первичного предлога в препозиции возможно, но не обязательно: *далеко от дома — вдали от дома; начинающая с детей, вплотную к борту, одновременно с зачетом, наравне с отцом.*

3. **В конъюнкции с отрицанием.** Этот момент представляется важным, поскольку предлог оказывается средством, участвующим в оформлении одной из структурно-семантических модификаций предложения [Золотова 1982], а именно — отрицательной в той или иной ее ипостаси. Наряду с двумя русскими собственно «отрицательными» предлогами: **без** и **вне** и их дериватов типа *без помощи клея, вне пределов страны*, есть предлоги, сформированные при помощи отрицания **не** и иногда имеющие свои утвердительные корреляты-антонимы: *несмотря на дождь — смотря по погоде, независимо от возраста — в зависимости от возраста, вести себя несообразно с положением — сообразно с положением.* Но некоторые дериваты сформировались как предлоги именно в конъюнкции с отрицанием, ср.: *недоходя дома, невзирая на трудности.*

**Примечание.** Это самые общие случаи. Думается, что полезно будет определить внутреннюю форму каждого такого образования, т. е. фактически его этимологию. Это позволит в дальнейшем заняться типологией данной части речи на более широком материале. Так, первичные сопоставления с английским языком показали, что там гораздо меньше первичных предлогов и казалось бы несомненным первичным единичным славянским предлогам соответствуют более сложные образования, ср.: **без** — **without**, **за** — **behind**; в образовании предлогов из глагольных форм системно участвует инфинитив, ср.: **befor**, **beyond**, **behind**, в то время как в русском языке — деепричастия **спустя**, **благодаря**, **включая**, **исключая**, **считая**, которым в английском, как правило, соответствуют — **ing**-овые формы типа **including**. Во многих случаях русским отадъективным предлогам соответствуют дее-субстантивы, ср.: **сообразно с** — **in conformity with**, **соразмерно с** — **in proportion with**, **сравнительно с** — **in comparasion with**<sup>4</sup>.

4. Можно сказать, что в периферийных зонах нашей категории в функции предлогов в определенных случаях системно выступают не конкретные словоформы, а формы целых лексико-семантических групп. Так, следует признать, что кроме уже упомянутых пара-

<sup>4</sup> Я благодарю магистрантку филологического факультета Уэнди Мартелл (США) за проделанную ею работу по сопоставлению корпуса русских и английских предлогов.

метрических компаративов типа *ниже* в предложных образованиях типа *на* *Нвн* + *Comparativ* в определенных типах контекстов системно выполняет функции предлога и сам компаратив, вводя *Нрд*: *Высота кустарника выше метра* или *Нтв*: *Мы проплыли мысок и километром дальше пристали к берегу* = *через километр пристали к берегу*. Словоформа *больше* определяется в СОШ как наречие в сочетании с количественными именами: *ждал больше часа*. Но *часа* — это не просто количественное имя, а **родительный падеж** имени. Наречие же, как известно, падежными формами не распоряжается.

**Примечание.** Здесь есть и другие соображения, связанные, в частности, с характером предиката: сравнительная степень прилагательных и наречий системна в реляционных предикатах, где налицо два релянта: *Волга больше Оки*, *Маша сделала больше Ани*; в нашем случае налицо только один предметный актант.

Все это позволяет сказать, что здесь компаратив наречий или прилагательных, не теряя связи со своей частью речи, выполняет роль предлога. То же можно сказать о *Нтв* существительных — названий параметров типа *длина*, *высота*, *сила* и пр., — который, при сохранении именами своих частеречных характеристик, выполняет фактически функции предлога, вводя позицию атрибутивно-го признака и присоединяя определенную парадигму словоформ количественных сочетаний.

Представим пример таких образований на материале сочетаний словоформы **высотой** системным для нее и других подобных лексем образованиями, включающими и первичные предлоги.

высотой + <i>Ним</i>	Кристалл высотой одна десятая сантиметра
высотой (не) более / (не) больше + <i>Нрд</i>	Башня высотой больше сорока метров
высотой (не) более / (не) больше чем + <i>Ним</i>	Башня высотой больше чем сорок метров
высотой (не) более / (не) больше чем в + <i>Нвн</i>	Кристалл высотой не больше чем в одну десятую сантиметра
высотой в + <i>Нвн</i>	Кристалл высотой в одну десятую сантиметра
высотой до + <i>Нрд</i>	Деревья высотой до пяти метров
высотой (не) менее / (не) меньше + <i>Нрд</i>	Деревья высотой не менее пяти метров
высотой (не) менее / (не) меньше, чем + <i>Ним</i>	Деревья высотой не меньше чем пять метров

Высотой (не) менее / (не) меньше чем в +N <sub>ви</sub>	Кристалл высотой меньше чем в одну десятую сантиметра
Высотой около + N <sub>рд</sub>	Деревья высотой около пяти метров
высотой от + N <sub>рд</sub>	Деревья высотой от пяти метров
Высотой от + N <sub>рд</sub> + до + N <sub>рд</sub>	Деревья высотой от пяти до десяти метров
Высотой порядка + N <sub>рд</sub>	Кристалл высотой порядка одной десятой см
Высотой сверх/свыше + N <sub>рд</sub>	Деревья высотой свыше пяти метров

Лексема **высота**, как и другие слова этого класса, способна присоединять весь набор данных «распространителей» во всех падежах, ср.: *нарастить кристалл до высоты одна десятая сантиметра, поднять на высоту до трех метров*, и даже принять их в качестве предиката: *Высота кристалла — одна десятая сантиметра*. Но в данной — приименной позиции — словоформа **высотой** выступает именно в функции предлога и может быть заменена первичным предлогом: *кристалл в одну десятую сантиметра*. Определение статуса таких образований — одна из задач.

Для корректного выделения данной единицы как вторичного предлога в широком смысле слова, т. е. и собственно предлога-деривата, и его функционального субститута, необходимо определить некоторые исходные положения, критерии предложения в а н и я. В качестве основных мы выбрали предложенные в свое время Т. С. Тихомировой [Тихомирова 1972] критерии перехода словоформы из одной части речи в другую. Их три:

- 1) потеря по крайней мере части лексических значений, свойственных исходной лексеме, или приобретение новых значений;
- 2) выпадение из морфологической парадигмы исходной лексемы;
- 3) разрушение синтаксических (синтагматических) связей, свойственных исходной лексеме.

Эти критерии, в высшей степени адекватные для однозначных слов, например при определении степени адвербаллизации существительных, хорошо работают, когда словоформа предложилась полностью, например: *вплоть до заморозков; касательно отъезда; включая/исключая малышей*, или наоборот, не предложилась совсем. Так, С. И. Богданов [Богданов 1997], ссылаясь на [Леденев 1966], словоформы **в конце, в начале, в середине** чего определяет как предлоги. Отметим, что СОШ дает помету «в знач. предл.» только для



словоформы **в середине**, отмечая ее синонимичность с предлогом **посреди**: *оказаться в середине толпы*, т. е. в пространственном значении. Действительно, в этом случае словоформа **в середине** вроде бы выпадает из морфологической парадигмы слова **середина**, поскольку выражения типа *\*направиться к середине толпы*, *\*отойти от середины толпы*, *\*добраться до середины толпы* оказываются неотмеченными. Но при других существительных, например **в середине стола**, **в середине зала** соответствующие словоформы абсолютно системны: *пододвинуть что-л. поближе к середине стола/зала*, *убрать что-л. с середины стола/зала*, *протянуть что-л. до середины стола/зала*. Равно как и при выражении временных отношений, все три слова сохраняют свое присутствие в морфологической парадигме: *дожить до начала/до середины/до конца зимы*; *закончить работу к началу/к середине/к концу зимы*; *жить здесь с начала/с середины/с конца зимы*. Таким образом, говорить о переходе этих словоформ в разряд предлогов нет оснований.

Но переход полнозначного слова в служебное имеет и свои особенности. Так, во многих случаях предлоги-дериваты (как и союзы-дериваты), сохраняя свое номинативное значение, интегрируют его в значение формируемой им синтаксемы. Например, в русском языке есть словоформы **во избежание** чего и **в бытность** кого (где или кем). Малый академический словарь 1957 г. (МАС), т. 1<sup>5</sup>, дает слова **избежание** и **бытность** как существительные, употребляющиеся в выражениях **во избежание** чего, **в бытность** кого где/кем; СОШ также дает статьи с заглавными словами **избежание** и **бытность**, однозначно определяя словоформу **во избежание** как предлог: *Промолчать во избежание ссоры* и никак не маркируя словоформу **в бытность**, иллюстрируемую примерами **В бытность свою**<sup>6</sup> *в городе посетил театр*; **В бытность начальником** *сделал много полезного*. Действительно, других морфологических реализаций этих слов в современном русском языке не существует, словоформы **во избежание**, **в бытность** не могут быть употреблены самостоятельно, и мы имеем здесь дело с синтаксемой **во избежание ссоры** как синтаксической формой слова **ссора**. Что касается словоформы **в бытность**, то она управляет сразу двумя именами: род. п. имени лица (**в бытность Ивана**) в обязательной конъюнкции либо с локативом (независимо от формы его выражения, но такие случаи есть и для дру-

<sup>5</sup> Ссылаясь на СОШ и МАС, мы отнюдь не критикуем их, а показываем положение дел в русистике.

<sup>6</sup> Наличие здесь притяжательного местоимения связано с упомянутой выше проблемой прономинализации, т. е. с возможностью/невозможностью замены существительного личным местоимением.

гих предлогов): **в бытность Ивана в Орле / за рубежом / на Камчатке**; либо с копредикатом — Нтв: **в бытность Ивана директором**. Изофункциональным коррелятом этого предложного выражения является либо предложная синтаксема **во время пребывания Ивана в Орле**, либо придаточное типа *когда Иван был где/кем*. Этот случай требует дополнительного осмысления. Предлог здесь полностью сохраняет лексическое значение фактически отсутствующего девербатива, и для предлога **во избежание** изофункциональным коррелятом-синонимом является инфинитивный оборот с целевым значением *чтобы избежать*.

Думается, что наряду с употреблением «в знач. предл.» (СОШ) словоформ **имени, во имя, от имени, на имя** можно говорить о предложной функции и словоформ типа **по имени, по фамилии, по кличке, с названием, под названием**, системно вводящих словоформы в именительном падеже: ... *по фамилии Степанов и по имени Степан, из районных великанов самый главный великан* (Михалков), *познакомился с девушкой по имени Зоя, фильм о собаке по кличке Рекс*, а наряду со словоформой **на глазах** у Нрд («в знач. предл.» СОШ): *упал на глазах у всех, в глазах* Нрд: *Он — преступник в глазах многих людей*; этот статус могут иметь словоформы **глазами** Нрд: *Россия глазами иностранцев, на руках* у Нрд (*на руках у него семья*), **в руках** Нрд (*вся власть в руках бюрократии*) и **руками** Нрд: *Сталин уничтожил одних своих соратников руками других*<sup>7</sup>.

Соответственно, необходим набор операциональных методов, которые в сомнительных случаях позволят принять то или иное решение. Назовем некоторые.

1. Замена предложной словоформы беспредложной (синонимичность предложной/беспредложной форм): *выкопал при помощи стамески / с помощью стамески — выкопал стамеской*. Ср. невозможность: *С помощью брата нашел работу — \*Братом нашел работу* (... *Брат помог найти работу*), где, очевидно с + Нтв слова **помощь**; *Он из породы оптимистов — Он из оптимистов — Он оптимист*; *Языки очень неоднородны по характеру своей лексики* (Сепир) — *неоднородны по своей лексике*; — СОШ словоформу **по характеру** не выделяет.

2. Наличие аналогичной (не синонимичной) формы с другим первичным предлогом, определяемой как предлог или «в знач. предл.»: словоформу **на основе чего-л.** — СОШ маркирует «в знач. предл.», а словоформу **в основе чего-л.** (лежать) оставляет без поме-

<sup>7</sup> Вопрос о предложном характере словоформы **руками** поставил д. ф. н. Е. В. Клубуков.

ты, толкуя как 'быть главным'; *в память о чем-л.* — СОШ «в знач. предл.» — но *на память о чем-л.* пометы нет, есть толкование 'чтобы не забывал'.

3. Неотмеченность дескрипции с существительным, образующим предлог вне предложного сочетания. Практически это вопрос о морфологической и синтаксической парадигме слова. Так, словоформы типа *в глубине (леса) — в глубину (леса)* в СОШ никак не маркируются, но дескрипция: \*глубина леса не узуальна, ср.: *в толще льда — толщина льда; с помощью / при помощи ножниц*, но не: \**понадобится помощь ножниц (понадобятся ножницы)*; ср.: *понадобится помощь брата*; действовать *с оглядкой на начальство / без оглядки на начальство* — но не: \**помешала оглядка на начальство*, \**к оглядке на начальство*. Фактически есть только две словоформы в позиции признака признака типа: *работать с оглядкой / без оглядки*.

4. При наличии дескрипции — возможность пропуска строкового слова: *без сопровождения оркестра = без оркестра, в сопровождении оркестра = с оркестром*.

5. Наличие системных отношений с явно предложными формами в рамках определенной лексико-синтаксической категории:

1) **Синонимичных:** *Проплыли мысок и километром ниже / километром дальше пристали к берегу = и через километр пристали к берегу*. Ср.: *Пристань расположена километром ниже/дальше мыска = на километр ниже мыска*, где *ниже/дальше* сохраняют категориальное значение компаратива наречия; *Десятью годами раньше его имя «засветилось» в скандале с фальшивыми находками = десять лет назад; В арсенале докладчика много убедительных примеров = у докладчика; вне рамок, вне границ, вне пределов (СОШ нет) — за рамками, за границами, за пределами (СОШ «в знач. предл.»); но: за пределами толкуется как вне границ*. Синонимические отношения связывают образования типа *к югу / на юг от села*, которые мы склонны признать составными предлогами, с компаративами *южнее, севернее, восточнее, западнее, юго-восточнее, северо-западнее* + Нрд, которые фактически никак не соотносятся с относительными прилагательными типа *южный, северный* (каковые уже в силу своей принадлежности к этому разряду не могут иметь компаратива, а наречий типа *южно* в русском нет), что позволяет думать о возможности считать их если не предлогами, то их субститутами. Словоформа *в опоре на* + Нвн: *действовать в опоре на факты*, — имеет в СОШ помету «в знач. предл.», а синонимичное данному выражение с *опорой на* Нвн: *действовать с опорой на факты* — отсутствует. Этим предложным формам синоними-

чен системно употребляемый отглагольный дериват *опираясь* на Нвн: *действовать, опираясь на факты*. Деепричастие *опираясь* в прямом значении имеет другую управляемую форму: *стоять, опираясь о стену*. Возможно, здесь уже есть основания говорить об определенном образовании *опираясь* на Нвн.

- 2) **Антонимичных** и пр. **оппозитивных**, ср.: *в границах — за границами — за границы — из границ* чего в СОШ определяется как «в знач. предл.». То же должно быть верно для: *с помощью ножниц — без помощи ножниц; в глубину леса — из глубины леса; против Ивана* (выступить) — *в поддержку / в защиту Ивана* (выступить); *в сопровождении кого-чего* (СОШ предлог) — *без сопровождения* (СОШ нет); *задолго до Лютера — долгое/некоторое время после Лютера*.
- 3) **Каузации**: *находиться за пределами чего-л. — выходить за пределы чего-л.* (в СОШ — «в знач. предл.»); то же должно быть верно для случаев: *лежать в основе сравнения — положить в основу сравнения; на основе* (предлог в СОШ) — *взять за основу, класть в основу* (в СОШ без помет); *быть в соответствии с чем-л. — поставить в соответствие чему* (в СОШ нет).

Вероятно, есть и другие операциональные методы, которые еще нужно найти и проверить.

Интересно, что в функции предлога выступают и словоформы многих заимствованных слов, что связано, несомненно, с развитием как общелитературного, так и научного стилей: *В аспекте таксономизации поля цвета представляет интерес статья Яна Гжени «Основы описания семантического поля цвета в польском языке»; Так ли загадочно выглядят их поступки в контексте событий того времени?* (СОШ «в знач. предл.»).

Можно констатировать, что в орбиту функционирования предлогов активно вовлекаются вторичные образования на разных уровнях. Некоторые словоформы предложиваются и прочно входят в состав этой части речи, другие предстают в образе предлога в некоторых специфических случаях, частично сохраняя при этом связь с основной лексемой, третьи функционируют как субститут предлога, не выходя из рамок своего класса.

Материал показывает, что очень активно предложиваются словоформы двух типов:

1. Строевые (родовые) слова и собственный лексикон того или иного функционально-семантического поля (ФСП). Так, наряду с предлогом *вне* активно функционируют предлоги *вне границ, вне пределов, вне рамок, вне территории, вне сферы, вне области, вне*

круга + Нрд; на помощь первичным предлогам **в, на, за, с** в ФСП темпоральности приходит строевое слово этой категории **время**: *во время войны, за время урока, на время болезни, со времени аварии*; при выражении признака действия (обстоятельство образа действия) системны строевые словоформы *путем выплавления, методом наблюдений, посредством/через посредство/при посредстве сравнения*; предлоги **в опоре на + Нвн, с опорой на + Нвн**, предложное образование **опираясь на + Нвн** входят в одно семантическое поле с такими образованиями, как **базируясь на + Нпр**: *базируясь на фактах, основываясь на + Нпр: основываясь на фактах*: Нужно ли признать за ними статус предложных образований того или иного типа? Или правильнее считать, что в рамках ФСП изофункциональными могут быть средства разных уровней и разных категориальных классов?

2. Событийные слова, слова со значением состояния, действия: *в предвкушении победы, в предчувствии космических конкистадоров, в ожидании письма; в защиту гипотезы (выступить), в доказательство своей правоты, в дополнение к законам* и т. д. и т. п.

Активно определяются относительные прилагательные: *параллельно берегу, перпендикулярно к шоссе, касательно поездки* и пр.

Сейчас наша задача — собрать наиболее полный корпус «кандидатов в предлоги». В русском реестре без диалектных и исторических материалов в настоящее время около тысячи единиц, причем, если предлог управляет двумя или тремя падежами, мы представляем каждый случай как самостоятельный предлог, например: **в + Нвн**: *в школу, в среду*, **в + Нпр**: *в школе, в мае*; как самостоятельные мы выделяем составные предлоги типа *с ветки на ветку* и *через час после урока*; как разные варианты мы учитываем сочетания одного и того же первичного предлога с разными конкретизаторами, типа *сразу за лесом* и *непосредственно за лесом*; как отдельные варианты даются члены парадигматического ряда (см. выше **высокой**); пока мы разделили различные фонетические и стилистические варианты типа **кроме** и **окромя**. Вероятно, многие «кандидаты» в окончательный список не попадут.

Особый вопрос — просодика предлогов, их энклитические и проклитические способности, возможность тех или иных предлогов принимать на себя рематическое ударение. О способности их выступать с 0-формами говорилось выше.

Описывать предлоги без учета семантики невозможно, но все-таки все семантические «подробности» — задачи следующих этапов, хотя мы и предполагаем представить группировки предлогов в рамках основных категорий.

Принципиальным представляется вопрос о позициях предложных синтаксем уже в ином, нежели у М. В. Панова, аспекте, а именно их способность наряду с присловной позицией выступать в предикативной паре и в обособлении. Как оказалось, некоторые предлоги встречаются только в составе обособленных (обусловленных, по Г. А. Золотовой) синтаксем, например *подобно* + Ндт: *Учитель справедливости, подобно Иисусу, имел своего «предтечу»*.

Это далеко не полный перечень вопросов и проблем, вставших перед нами. Мы надеемся их разрешить.

#### Л и т е р а т у р а

Богданов 1997 — *Богданов С.И.* Морфология неопределенных слов. СПб., 1997.

Борисова 1994 — *Борисова Е.Г.* Коллокации. М., 1994.

Всеволодова 2000 — *Всеволодова М.В.* Теория функционально-коммуникативного синтаксиса. М., 2000.

Золотова 1982 — *Золотова Г.А.* Коммуникативные аспекты русского синтаксиса. М., 1982.

Золотова 1988 — *Золотова Г.А.* Синтаксический словарь. М., 1988.

Кибрик 1992 — *Кибрик А.Е.* Очерки по общим и прикладным вопросам языкознания. М., 1992.

Леденев 1966 — *Леденев Ю.И.* Вопросы изучения неопределенных слов: Материалы для словаря неопределенных слов и их омонимов. Ставрополь, 1966.

МАС — Словарь русского языка: В 4 т. / Под ред. А. П. Евгеньевой. М., 1981—1984.

Панов 1999 — *Панов М.В.* Позиционная морфология русского языка. М., 1999.

СОШ — *Ожегов С.И., Шведова Н.Ю.* Толковый словарь русского языка. М., 1992.

Тихомирова 1972 — *Тихомирова Т.С.* Адвербиализация творительного падежа в современном польском языке: Дисс. ... канд. филол. наук. М., 1972.

*М. В. Завьялова*

## **Проблема взаимодействия польской, русской и литовской языковых систем в языковом сознании и речевой практике трилингвов**

I. Языковая ситуация на территории Литвы всегда представляла интерес для лингвистов. Юго-восточный регион Литвы, являющийся частью более широкого ареала, обозначаемого термином «балто-славянский языковой союз»<sup>1</sup>, был предметом изучения прежде всего диалектологии. Тем не менее тесное взаимодействие и взаимопроникновение различных языковых систем (применительно к исследуемым территориям — литовской, польской и русской) не могло не оказать влияния не только на поверхностно-языковые уровни (фонетику, морфологию, синтаксис), но и на глубинную сферу языкового сознания жителей этого региона. Анализируя в первую очередь именно поверхностный уровень взаимодействия, исследователи тем не менее подчеркивают социальный и психологический аспекты языковых контактов: «...примечателен и тот факт, что представление о некотором общем инварианте (ядре) и сквозной схеме межъязыковых соответствий коренится в самом сознании (или подсознании) говорящих этой зоны, обеспечивая быстроту и легкость перехода от одной системы к другой в частых и разнообразных здесь ситуациях дву- и трехъязычия» [Невская, Судник 1978: 285—286]. В данной работе предпринимается попытка обнаружить следствия пересечения языковых систем именно в сфере сознания (или подсознания) носителей двух (трех) языков, т. е. би(три)-лингвов. Существует ли в их сознании действительно некий языковой «инвариант», упомянутый процитированными авторами, или два (три) языка, которыми они владеют, формируют каждый свою отдельную систему связей и, как проекцию этих связей, языковую картину мира? Как взаимодействуют в языковом со-

---

<sup>1</sup> Термин был введен В. Н. Топоровым [Топоров 1961], само явление детально исследовано в работах Л. Г. Невской, Т. М. Судник, С. М. Толстой (см., например, [Судник, Толстая, Топоров 1967; Невская, Судник 1978; Судник 1975; Невская 1977] и др.).

знании три языковые системы и как сосуществование этих систем влияет на языковую личность? Оказывает ли какое-то влияние на легкость взаимопроникновения систем типологическая и генетическая близость языков (в данном случае степень этой близости разная: с одной стороны русский/польский, с другой — литовский/русский и литовский/польский)? Ответ на эти вопросы хотя бы частично может дать психолингвистическое исследование, проведенное автором в Вильнюсе и его окрестностях в 1999—2001 гг.

Благодаря разнородному в этническом и языковом смысле окружению (в Вильнюсе по данным на 1999 г. литовцы составляют только 52,8% населения, русские — 19,2% и поляки — 19,2%) трилингвы имеют возможность использовать в повседневной жизни все три языка. В настоящее время в Вильнюсе сложились весьма благоприятные условия для формирования координированного типа билингвизма, при котором две (три) языковые системы представлены в языковой компетенции их носителя в большой мере автономно, независимо друг от друга. Так происходит еще и потому, что трилингвы (родным языком которых, как правило, является польский) пользуются разными языками в различных коммуникативных ситуациях: польский используется в основном в кругу семьи, литовский — в сфере делового общения, на работе, русский — в быту, с друзьями. Такое распределение, естественно, закрепляет за каждым языком определенный статус и препятствует интерференции. Тем не менее явления интерференции, несомненно, присутствуют хотя бы только потому, что во всех этих коммуникативных ситуациях носитель языка один и тот же, и его языковой компетенции требуется большая степень мобильности для обеспечения адекватного переключения кодов.

Представляется особенно интересным, как происходит интерференция трех систем на уровне сознания именно в такой ситуации, когда каждая система имеет возможность развиваться более-менее автономно.

II. В качестве метода исследования особенностей языкового сознания трилингвов был выбран ассоциативный эксперимент. Этот метод широко используется в психолингвистике с целью сопоставления языковой картины мира у носителей разных языков<sup>2</sup>. Однако вербальные ассоциации являются показателем не только лексико-семантических связей, но также структуры и способа этих связей. Если рассматривать ассоциативную сеть понятий не только как

<sup>2</sup> См. работы сопоставительного характера: [Дмитрюк 1985; Залевская 1971; Колерс 1972; Rozenzweig 1961].



отражение языковой картины мира, но и как способ структурирования этой картины мира, ее анализ может предоставить данные о некоторых особенностях данной языковой системы. Таким образом, исследуя с помощью ассоциативного теста языковую компетенцию трилингва, можно выявить особенности структурирования трех языковых систем в его сознании.

Основными типами ассоциативных реакций считаются следующие:

1) **Парадигматические:**

— **контрастивные** (*земля*<sup>3</sup> — *вода*; *пить* — *есть*; *зеленый* — *красный*), т. е. реакции, основанные на противопоставлении по какому-либо признаку;

— **координированные** (*темный* — *черный*; *ждать* — *надеяться*; *вода* — *море*), т. е. реакции, основанные на сходстве по какому-либо признаку.

2) **Синтагматические** (*старый* — *дед*; *человек* — *хороший*; *есть* — *много*), т. е. реакции, основанные на соположении элементов, построении минимального контекста.

3) **Смежные** (*праздник* — *фейерверк*; *верить* — *церковь*; *черный* — *страшно*), т. е. реакции, основанные на ситуативной смежности объектов.

Несомненно, ассоциативные реакции, основанные на сходстве или противопоставлении, т. е. реализующие некую парадигму понятий, существенно отличаются по структуре связи от синтагматических реакций, которые представляют собой их последовательность. Эти два основных способа организации языка — парадигматика и синтагматика входят в не менее существенные для языковой структуры оппозиции: симультанность/сукцессивность, вертикальное разворачивание/горизонтальное разворачивание, выбор/комбинирование; и связаны не только с различными вербальными механизмами, но и с соответствующими им различными участками коры головного мозга<sup>4</sup>. А. Р. Лурия в связи с основным разграничением ассоциативных реакций отмечал: «...есть полное основание думать, что парадигматические (ассоциативные) ответы имеют совершенно иную природу и психологическую структуру, чем синтагматические (предикативные)» [Лурия 1998: 191]. Было бы

<sup>3</sup> Здесь и далее слова-стимулы выделены полужирным курсивом, реакции — курсивом.

<sup>4</sup> Об этом подробнее см. [Якобсон 1996; Лурия 1947; Лурия 1998; Ахутина 1981; Ахутина 1999].

правомерным предположить, что совершенно различные по своей структуре вербальные реакции отражают стоящую за ними различную языковую реальность, соответствующую проекции структуры данного языка на сознание его носителя. Таким образом, установив долю ассоциативных реакций различного типа в ответах испытуемого на данном языке, можно выявить общую тенденцию представления вербальной информации в его сознании. Сопоставив эти данные с данными другого языка для того же испытуемого, можно обнаружить степень схождения/различия способов представления этой информации для разных языков. Что касается смежных реакций (иногда они называются «тематическими»), многие исследователи относят их к паралингвистическим, т. е. не соотносящимся непосредственно с каким-либо языковым планом, более отвлеченным. Такие реакции отражают скорее не механизм вербализации (в отличие от описанных выше двух типов), а его результат, основанный на глубинной предикации. Очевидно, за ассоциациями смежного типа также стоит какая-то лингвистическая реальность, т. е. их можно соотнести с некоторой языковой структурой, но эта реальность, по всей видимости, относится к другому уровню, чем базовое противопоставление по шкале парадигматика/синтагматика.

Следует отметить, что, по данным многих исследователей, типичными для взрослого человека (наиболее частыми и наиболее спонтанными) являются реакции парадигматического типа. Реакции синтагматического типа более характерны для детей, некоторых женщин и людей с менее выраженной асимметрией полушарий головного мозга<sup>5</sup>. Эти реакции относятся к пласту общих, стереотипных ответов, несущих мало индивидуального и даже нередко не затрагивающих семантическое содержание слова-стимула. Наиболее «индивидуальными» являются смежные реакции (хотя и в них велика доля стереотипных ответов). Возможно, поэтому смежные реакции преобладают у людей в стрессовом или подавленном состоянии, а также при измененных состояниях сознания [Спивак 1989] — т. е. в ситуациях, когда контроль за речевой продукцией и сопротивление вторжению в сознание минимальны.

III. Методика исследования была разработана на основе экспериментов К.-Г. Юнга, который предъявлял испытуемым повторный ассоциативный тест с интервалом в 10 минут. Основываясь на

<sup>5</sup> Подробнее о связи ассоциативных реакций с полушариями головного мозга см. [Завьялова 2001а; 2001б].

том, что через небольшой интервал времени испытуемые, как правило, помнят и повторяют 90% своих ответов, можно предположить, что эксперимент, повторенный на другом языке, будет отражать сходство/различие ассоциативных полей слов в сознании би(три)-лингва на втором (третьем) языке. Объектом исследования являлись литовско-польско-русские трилингвы, живущие на территории Литвы, а также в качестве сравнения — польско-русские и литовско-русские билингвы, живущие в Литве и Польше. Помимо этого была опрошена контрольная группа русских, польских и литовских монолингвов. Таким образом, в эксперименте принимали участие шесть групп испытуемых:

- 1) польско-русско-литовские трилингвы;
- 2) литовско-русские билингвы;
- 3) польско-русские билингвы;
- 4) русские монолингвы (контрольная группа);
- 5) литовские монолингвы (контрольная группа);
- 6) польские монолингвы (контрольная группа).

В каждой группе было 40 человек (20 женщин и 20 мужчин). К исследованию привлекались люди, говорящие на трех языках свободно и постоянно. Для контрольной группы, наоборот, выбирались монолингвы, которые, по их свидетельству, не говорят ни на каких других языках, кроме родного. Все испытуемые были взрослыми (от 17 до 79 лет) с различным уровнем образования и профессией. Эксперимент проводился устно — каждый испытуемый должен был дать спонтанную немедленную реакцию-ассоциацию на слово-стимул. Слова предъявлялись в одинаковом порядке последовательно на каждом языке (для билингвов — на двух языках, для трилингвов — на трех) с интервалом в 10 минут.

Предъявляемый тест представлял собой список из 60 слов, произвольно выбранных на основании словаря А. А. Леонтьева [Леонтьев 1977]<sup>6</sup>. Все слова достаточно частотны и не содержат выраженных побочных коннотаций, т. е. семантически нейтральны, но некоторые слова более эмоционально окрашены, чем другие (например, *душа*, *удовольствие*, *правиться*). Кроме того, возможно, некоторые слова вызывают индивидуальные эмоциональные реакции у некоторых людей.

---

<sup>6</sup> Среди отобранных слов — 38 существительных, 14 прилагательных и 8 глаголов. Такое соотношение соответствует структуре лексикона человека, см.: [Залевская 1977; Золотова 1981].

Таблица № 1

## Слова-стимулы

1. стол	16. ребенок	31. праздник	46. война
2. темный	17. вечер	32. страх	47. земля
3. музыка	18. король	33. окно	48. ночь
4. болезнь	19. жизнь	34. просить	49. голова
5. человек	20. хороший	35. грусть	50. вода
6. глубокий	21. зеленый	36. лес	51. небо
7. мягкий	22. судьба	37. немецкий	52. любимый
8. есть	23. нравится	38. слава	53. добрый
9. гора	24. голод	39. желать	54. работать
10. дом	25. душа	40. черный	55. воздух
11. женщина	26. хлеб	41. старый	56. обида
12. красивый	27. ждать	42. имя	57. огонь
13. луна	28. удовольствие	43. верить	58. слово
14. последний	29. пить	44. солнце	59. время
15. орел	30. мать	45. сладкий	60. сильный

Данные эксперимента анализировались в несколько этапов. Прежде всего подсчитывалось количество одинаковых/различных реакций на двух/трех языках, что показывало степень различия ассоциативных полей одинаковых слов на разных языках в сознании би(три)-лингва: насколько велика общая часть словарей двух (трех) языков и насколько велики отдельные части, соответствующие каждому языку. Далее оценивалось количество реакций каждого типа — это давало возможность обнаружить схожесть/различие стратегий ассоциирования, что в свою очередь показывает степень различия способа ассоциативного мышления на разных языках. Для удобства все группы испытуемых были разделены на более мелкие группы в соответствии с языком эксперимента. Таким образом, получилось 10 групп: 1) трилингвы по-русски; 2) трилингвы по-польски; 3) трилингвы по-литовски; 4) польско-русские билингвы по-русски; 5) польско-русские билингвы по-польски; 6) литовско-русские билингвы по-русски; 7) литовско-русские билингвы по-литовски; 8) монолингвы по-русски; 9) монолингвы по-польски; 10) монолингвы по-литовски. Для каждой из этих групп подсчитывалось среднее арифметическое значение количества одинаковых реакций (что показывает среднее значение степени взаимодействия языков в сознании би(три)-лингвов) и количества реакций разных типов (что показывает среднее значение каждого типа реакций для каждой группы испытуемых). Все результаты обобщены и представлены в таблицах.

IV. Первый анализ полученных данных показал, что количество повторяющихся реакций в ассоциативном тесте одного человека на разных языках в среднем составляет: у трилингвов — 26%, у билингвов — 31%. Эти результаты существенно отличаются от данных повторного эксперимента с монолингвами на том же языке (как уже отмечалось, в этом случае процент совпадений равен 80—90%). В группе трилингвов это количество колебалось в пределах от 0% до 60% (до 25% совпадений было в ответах 48% испытуемых, до 50% — в ответах 42%, свыше 50% — в ответах 10% испытуемых), польско-русских билингвов — от 1% до 63% (до 25% совпадений было в ответах 40% испытуемых, до 50% — тоже 40%, и свыше 50% — 20%), литовско-русских билингвов — от 0 до 76% (до 25% совпадений было у 43% испытуемых, до 50% — у 35%, свыше 50% — у 23%). Результаты представлены в следующей таблице.

Таблица № 2

Количество совпадений в ответах в процентах  
(в скобках — результаты мужчин/женщин)

польско-литовско- русские трилингвы	русский/польский	27,31 (24,26/30,36)
	русский/литовский	25,51 (21,75/29,27)
	польский/литовский	26,47 (21,97/30,98)
польско-русские билингвы		30,39 (22,73/38,06)
литовско-русские билингвы		32,12 (36,02/28,23)

Как видно из таблицы, ответы трилингвов больше различаются, чем ответы билингвов. Как правило, наибольшее количество совпадений в ответах имели испытуемые, отвечавшие контрастивными реакциями (антонимами) — самыми общими для всех языков. Количество совпадений прямо пропорционально количеству антонимов в ответах и количеству ответов на языке, не соответствующем языку эксперимента (переводным эквивалентам). Это означает, что смешение языков (смешанный тип билингвизма) формирует более сходные ассоциативные поля слов в сознании. Но большинство испытуемых имели обратный результат: их ответы были различными (даже часто противоположными) в разных языках, например:

*верить* — *в чудо* (ответ по-русски), *в Бога* (ответ того же человека по-польски), *в будущее* (тот же человек по-литовски);

*хлеб* — *плесень* (ответ по-русски), *есть* (тот же человек по-польски), *святой* (тот же человек по-литовски);

*судьба* — *тяжелая* (по-русски), *счастливая* (по-польски), *страховка* (по-литовски);

*слово* — *всесильное* (по-русски), *может убить* (по-польски);

*пить* — *без меры* (по-русски), *водку* (по-польски), *молоко* (по-литовски).

По-видимому, количество совпадений в ответах трилингвов зависит и от языка: оно немного больше между польским и русским (лексически более похожими языками) и немного меньше между русским и литовским и литовским и польским. Однако в группах билингвов соотношение обратное. Возможно, на это влияют какие-то другие причины, а не только сходство/различие языков. Значимым фактором может быть степень использования обоих языков в повседневной жизни: русские, живущие в Польше, имеют гораздо меньше возможностей использовать родной язык в повседневном общении, чем русские, живущие в Литве.

Полученные данные позволяют сделать предположение, что в сознании билингвов и трилингвов содержатся две (или три) языковые картины мира, которые, несомненно, в некоторой степени пересекаются, но в значительной степени различаются.

Анализ повторяемых разными испытуемыми реакций по группам показывает ту же тенденцию: на основании общих ответов можно составить список наиболее типичных для определенного языка ассоциативных реакций. Эти типичные реакции воспроизводятся билингвами и трилингвами во время эксперимента на данном языке, пересечения же таких ответов (т. е. случаи, когда «типичная» для литовского языка реакция, например *глубокий* — *озеро*, используется при ответах по-польски или по-русски) довольно редки. Таким образом, получается, что ассоциативные связи слов в одном языке (но в разных группах испытуемых) более похожи, чем связи слов в ответах того же испытуемого на разных языках. По-видимому, можно предположить, что существует некая общая ассоциативная сеть слов, характерная для какого-либо языка. Конечно, большая часть словаря различных языков должна быть общей: это прежде всего противоположные и сходные понятия (т. е. в широком смысле антонимы и синонимы, например *черный* — *белый*, *вода* — *земля*, *есть* — *пить*, *орел* — *птица*, *ребенок* — *человек* и т. д.), а также типичные представители класса или репрезентативные эпитеты, например *сладкий* — *мед*, *небо* — *голубое*, *лес* — *зеленый*, *ночь* — *темная*). Но значительная часть связей слов все же различается в разных языках. Эти различия могут быть вызваны разными причинами:

— идиомами и устойчивыми выражениями, которые имеют смысл только в данном языке (например, в русском: *гора* — *Магомет* (пословица «гора не идет к Магомету»), *голод* — *тетка* (поговорка «голод — не тетка»), в польском: *слава* — *хвала* (название литературного произведения), в литовском: *слово* — *путь* (поговорка «Знаешь слово — знаешь путь»));

— стереотипными представлениями (ментальными стереотипами) (например, в русском: *немецкий* — *фашист*, в литовском: *немецкий* — *пиво*, в польском: *matka* — *Boska*);

— актуальными местными реалиями (например, в русском: *война* — *Чечня*, в литовском: *хлеб* — *Паланга* (сорт хлеба), в польском: *орел* — *белый*, *Польша* (герб Польши));

— созвучием форм слова (которое тоже может быть причиной устойчивых выражений) (например, в русском: *голод* — *холод*; в литовском: *имя* — *меч* (*vardas* — *kardas*), в польском: *добрый* — *сарделька* (*serdeczny* — *serdelka*));

— этимологией слова (например, в русском: *судьба* — *судить*; в литовском: *жизнь* — *змея* (*gyvybė* — *gyvatė*); в польском: *обида* — *кривой* (*krzywda* — *krzywy*));

— немотивированными с первого взгляда устойчивыми выражениями (например, в русском: *глубокий* — *колодец* (в литовском — *озеро*, в польском — *яма*); в литовском: *жизнь* — *дорогая* (в русском — *тяжелая*, в польском — *прекрасная*); в польском: *хлеб* — *масло* (в русском — *соль*, в литовском — *черный*)).

Все вышеперечисленные факторы определяют семантическую структуру ассоциативного поля слова в сознании носителя языка. На картину мира, связанную с определенным языком, в сознании билингва влияют также некоторые субъективные причины, а именно:

— личный опыт би(три-)лингва на данном языке;

— личное отношение билингва к данному языку<sup>7</sup>.

Примечательно, что общие (стереотипные) реакции довольно различны в трех языках, но они более похожи в русском и польском, чем в литовском и польском и литовском и русском. Означает ли это, что схожесть языков обуславливает и схожесть речевых стереотипов?

<sup>7</sup> По свидетельству самих испытуемых, слово-стимул на родном языке воспринимается более обобщенно, и в то же время более непосредственно, чем его эквивалент на втором (третьем) языке, который чаще отсылает к культурному, фольклорному, традиционному контексту, связанному с этим языком. В таком случае, несомненно, большую роль играет степень вовлеченности испытуемого в другую культуру и взаимоотношения с ней.

Итак, как мы видим, каждый язык формирует собственную картину мира в сознании носителя языка, особую структуру связей между словами и семантические поля значений этих слов. И сознание билингва содержит различные картины, соответствующие разным языкам, на которых говорит билингв.

Однако различается не только семантическое наполнение ассоциативного поля слов в сознании билингва на разных языках, но и структура этого поля. Анализ стратегий ассоциирования (т. е. типов ассоциативных связей) показывает, что для носителей разных языков они могут быть различны. Особенно ярко эти различия проявились в контрольной группе монолингвов. В ответах русских испытуемых преобладали парадигматические реакции, в ответах польских монолингвов — смежные, в ответах литовских монолингвов — синтагматические. Причины такого расхождения, скорее всего, следует искать в структуре языка. Подобное предположение подтверждается данными экспериментов с носителями других языков (например, английского, носители которого дают большее количество парадигматических и смежных реакций, чем русские). Возможно, на тип ассоциативных связей оказывает влияние степень аналитичности/синтетичности языка. Литовский язык, по мнению исследователей [Валянтас 1980; Дротвинас 1980], является в большей мере синтетическим, чем русский, т. е. значение слова в большей степени обусловлено контекстом. По-видимому, этим объясняется появление большого количества синтагматических реакций. Русский и польский в этом смысле мало отличаются друг от друга. Возможно, различие в ассоциативных реакциях русских и польских монолингвов связано с какими-то внеязыковыми факторами.

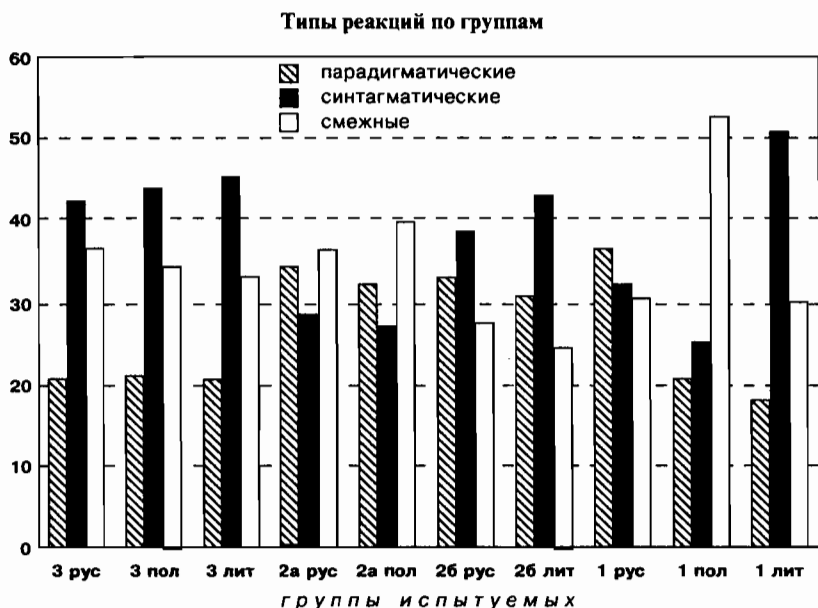
В эксперименте с билингвами проявились в целом те же тенденции, что и у монолингвов, владеющих соответствующими языками. Большинство испытуемых меняли стратегию ассоциирования при переходе на другой язык: отвечая по-русски, они давали больше парадигматических ответов, отвечая по-литовски, те же люди давали больше синтагматических реакций (например: *женщина* — *мужчина* (по-русски), *красивая* (тот же человек по-литовски); *дом* — *окно* (по-русски), *деревянный* (тот же человек по-литовски)). Так же и в случае с русско-польскими билингвами: их ответы по-русски содержали больше парадигматических реакций, чем ответы по-польски, в которых возрастала доля смежных. Однако общая картина отличает результаты билингвов от результатов монолингвов: реакции билингвов на разных языках не так существенно отличались по типам, как реакции монолингвов (доля синтагматических



реакций в ответах билингов по-литовски была меньше, чем в ответах литовских монолингов; доля парадигматических реакций в ответах билингов по-русски была меньше, чем в ответах русских монолингов).

Еще ярче проявляется это различие в реакциях трилингов: отвечая на всех языках, они дают больше всего синтагматических ответов, и существует лишь небольшое различие в количестве разных типов ассоциативных реакций в зависимости от языка.

Для наглядности полученные данные представлены в виде графика.



Пояснения к графику: 3 рус — ответы трилингов по-русски; 3 пол — ответы трилингов по-польски; 3 лит — ответы трилингов по-литовски; 2а рус — ответы русско-польских билингов по-русски; 2а пол — ответы русско-польских билингов по-польски; 2б рус — ответы русско-литовских билингов по-русски; 2б лит — ответы русско-литовских билингов по-литовски; 1 рус — ответы русских монолингов; 1 пол — ответы польских монолингов; 1 лит — ответы литовских монолингов.

Приведенные данные свидетельствуют о том, что стратегии ассоциирования действительно в большой мере зависят от языка, на котором говорит билингв. Но способ организации связей между словами в языковом сознании билингва отличается от аналогичных в сознании двух разных монолингов, владеющих теми же язы-

ками, т. е. билингва нельзя рассматривать как сочетание двух монолингвов. Языковое сознание билингва — это следствие взаимодействия двух языковых систем, поскольку две (или более) языковые системы не могут существовать в сознании совершенно независимо друг от друга. В случае трилингвизма это взаимодействие еще более выражено, чем при билингвизме. То есть структуры ассоциативных полей слов каждого языка в сознании трилингвов похожи, но эти структуры принципиально отличаются от структур ассоциативных полей в сознании монолингвов, говорящих на этих языках.

V. Итак, приведенные данные свидетельствуют о том, что каждый язык в сознании би(три-)лингва связан с определенным семантическим наполнением, особой картиной мира и особым типом ассоциативных связей. В то же время би(три-)лингв не является объединением двух (трех) языковых личностей в одной: типы ассоциативных связей, характерные для разных языков, имеют тенденцию к унификации в сознании би(три-)лингва (причем эта тенденция возрастает по мере увеличения количества языков).

Применительно к описываемой ситуации трехязычия в Литве формирование языковой картины мира в сознании трилингва происходит следующим образом: грамматические системы трех языков, обладающие особыми характеристиками (что приводит, как мы видим, к преобладанию различных по структуре ассоциативных связей), образуют в сознании трилингва некий инвариант структуры ассоциативных связей, отличный от трех его составляющих и представляющий собой нечто среднее с преобладанием нетипичного для большинства монолингвов (носителей родного для большинства трилингвов языка) типа ассоциативных связей. В то же время семантическое наполнение картины мира более связано с определенным языком и во многом повторяет стандартную картину мира носителя соответствующего языка — монолингва. Естественно, ассоциативные поля одинаковых языков в сознании монолингвов и би(три-)лингвов имеют некоторые отличия, прежде всего по причине интерференции, которая не может не происходить на всех уровнях при тесном контакте разных языков. Но здесь уже вступают в силу многие социолингвистические факторы, прежде всего — ситуации использования разных языков (что влияет на степень автономности языков в сознании), а также — степень вовлеченности в чужую культуру (о чем уже говорилось выше) и отношение билингва к данному языку.

Таким образом, следует отметить, что трилингв является особой языковой личностью, синтезирующей три мира в одно гармо-

ничное целое, способной в разных ситуациях смотреть на мир сквозь призму разных языковых реальностей, воспринимая его с точки зрения разных «систем координат», но оставаясь при этом в рамках единой (и особой!) языковой структуры.

#### Л и т е р а т у р а

*Ахутина Т.В.* Организация словаря человека по данным афазии // Психологические исследования в области лексики и фонетики. Калинин, 1981.

*Ахутина Т.В.* Роман Якобсон и развитие русской нейролингвистики // Роман Якобсон: тексты, документы, исследования. М., 1999.

*Валянтас С.Г.* Сложное слово и синтаксическая конструкция: Праиндоевропейская модель в балтийских языках. М., 1980.

*Дмитрюк Н.В.* Национально-культурная специфика вербальных ассоциаций. М., 1985.

*Дротионас Л.* Материалы по сопоставительному синтаксису русского и литовского языков: простое неосложненное предложение. Вильнюс, 1980.

*Завьялова М.В.* Парадигматические и синтагматические языковые отношения с нейролингвистической точки зрения (на основе результатов исследований вербальных ассоциаций) // *Žmogus kalbos erdvėje. Mokslinių straipsnių rinkinys.* Kaunas, 2001a.

*Завьялова М.В.* Исследование речевых механизмов при билингвизме (на материале ассоциативного эксперимента с литовско-русскими билингвами) // Вопросы языкознания. 2001б. № 5.

*Залевская А.А.* Свободные ассоциации в трех языках // Семантическая структура слова. М., 1971.

*Залевская А.А.* Проблемы организации внутреннего лексикона человека. Калинин, 1977.

*Золотова А.А.* К проблеме «ядра» лексикона человека // Психологические исследования в области лексики и фонетики. Калинин, 1981.

*Колерс П.* Межязыковые словесные ассоциации // Новое в лингвистике. Вып. 6. М., 1972.

*Леонтьев А.А.* Словарь ассоциативных норм русского языка. М., 1977.

*Лурия А.Р.* Травматическая афазия. М., 1947.

*Лурия А.Р.* Язык и сознание. М., 1998.

*Лэмберт У., Гавелка Дж., Кросби С.* Зависимость двуязычия от условий усвоения языка // Новое в лингвистике. Вып. 6. М., 1972.

*Невская Л.Г.* Балтийская географическая терминология (к семантической типологии). М., 1977.

*Невская Л.Г., Судник Т.М.* Диалектные контакты в зоне современного балтийско-славянского этноязыкового пограничья // Славянское языкознание. VIII Международный съезд славистов. Загреб — Люблина, 1978 г. Доклады советской делегации. М., 1978.

*Панфилов В.З.* Взаимоотношение категорий языка и мышления при двуязычии // Проблемы двуязычия и многоязычия. М., 1972.

*Рогоженикова Т.М.* Предварительные материалы свободного ассоциативного эксперимента с русскими детьми разных возрастных групп // Психологические исследования в области лексики и фонетики. Калинин, 1981.

*Спивак Д.Л.* Язык при измененных состояниях сознания. Л., 1989.

Судник Т.М. Диалекты литовско-славянского пограничья. Очерки фонологических систем. М., 1975.

Судник Т.М., Толстая С.М., Топоров В.Н. К характеристике южной части балтийско-славянского языкового союза // Советское славяноведение. 1967. № 2.

Топоров В.Н. К характеристике балто-славянских языковых отношений // Актуальные проблемы славяноведения: Материалы координационного совещания по актуальным проблемам славяноведения. М., 1961.

Траченко О.П., Грицьшина М.А., Овчинникова И.Г. Порождение ассоциаций и функциональная асимметрия мозга // Языковое сознание: содержание и функционирование. XIII Международный симпозиум по психолингвистике и теории коммуникации. М., 2000.

Черниговская Т.В., Деглин В.Л. Гетерогенность языкового сознания в свете функциональной асимметрии мозга // Тезисы IX Всесоюзного симпозиума по психолингвистике и теории коммуникации. «Языковое сознание». М., 1988.

Черноватый Л.Н., Рябых Н.В. Исследование организации иноязычной лексики в сознании субординативного билингва. Харьков, 1988.

Юнг К.-Г. Аналитическая психология. СПб., 1994.

Якобсон Р.О. К лингвистической классификации афатических нарушений // Якобсон Р. Язык и бессознательное. М., 1996.

Яцкявичюс А. Особенности и динамика ассоциаций при усвоении второго языка. Л., 1960.

Bain B., Yu A. Cognitive Consequences of Raising Children Bilingually: 'One Parent, One Language' // Canadian Journal of Psychology. Special Issue. Psychological and Linguistic Studies of Bilingualism. 1980. Vol. 34. No 4.

Deese J. The Structure of Associations in Language and Thought. Baltimore, 1965.

Jacikevičius A. Daugiakalbystės psichologija (Apybraiža). Vilnius, 1970.

Karaliūnas S. Kalba ir visuomenė (Psichologiniai ir komunikaciniai kalbos vartojimo bruožai). Vilnius, 1997.

Rosch E. Cognition and Categorization. New Jersey, 1978.

Rozenzweig M.R. Comparison among Word-Association Responses in English, French, German and Italian // American Journal of Psychology. Ithaca, 1961. Vol. 74.

Segalowitz S. Language Function and Brain Organization. New York, 1983.

*Л. В. Зубова*

## **История русской грамматики в поэтическом отражении**

В этой работе предпринимается попытка высказать некоторые предположения о современном воплощении семантики, свойственной древним грамматическим категориям, — о рефлексах утраченных глагольных и местоименных форм. Возможно, эти рефлексы имплицитно содержатся в современных конструкциях экспрессивного синтаксиса и, как представляется, пока не замечены историками языка. Вместе с тем лингвистическая интуиция поэтов часто оказывается способной активизировать скрытую семантику слова и формы, мотивируя ее художественными образами и стиховой структурой.

Современная языковая ситуация России с убыстрением всех активных процессов в динамике языковых изменений, с ослаблением речевой нормы очень заметно сказывается и на литературном творчестве. В разнообразных деформациях слова можно видеть и небрежность (публиковать свои тексты в последние 10 лет стало очень легко), и установку на специальную культуру «плохих стихов» (см. [Жолковский 1994]), и языковой эксперимент поэтов. А ситуация постмодернизма с его философией одновременного присутствия в разных временах немало способствовала тому, что в пределах одного текста часто соединяются элементы прошлых, настоящих и возможных будущих языковых состояний.

Сравнительное изучение родственных, в частности славянских, языков, диалектов, разных функциональных стилей показывает, что история языка каждого народа сама по себе является грандиозным языковым экспериментом. Во все времена шли преобразования и было много разнообразных возможностей эволюции, из которых только небольшая часть осуществлена в каждом из литературных языков. Разные результаты преобразований в родственных языках хорошо демонстрируют и потенциальные, но не реализованные возможности каждого из них.

Поэзия — тоже некий параллельный мир языка, в котором оказываются востребованными потенциальные свойства слов и

форм — в ретроспективе и в перспективе. Речь пойдет не о цитатном употреблении фразеологизированных реликтов типа *ничтоже сумняшеся*, не о стилизованных архаических элементах языка типа *рекох, одне*, а о том, как в современных стихах отражено переходное состояние, характерное для трансформации грамматических категорий при изменении синтаксической позиции формы.

Рассмотрим некоторые явления из грамматики: проанализируем примеры, показывающие, как некоторые современные синтаксические конструкции наследуют свойства древних форм и как эти свойства активизируются, создавая художественный образ в поэзии. Этому немало способствует неопределенность грамматической категории в контексте<sup>1</sup> и обострение языкового конфликта в современных стихах, в большой степени ориентированных на языковой эксперимент, содержательно мотивированную языковую аномалию.

Так, например, формы прошедшего времени хранят память древнеславянского перфективного причастия не только своим изменением по родам и отсутствием изменения по лицам, как в языке практическом. Современные русские рефлекс перфекта — прилагательное и глагол — способны и сейчас влиять друг на друга, совмещаться в едином словоупотреблении, попадая в пограничную область грамматической неопределенности, что обусловлено омонимией глагола прошедшего времени и краткого прилагательного. В современной поэзии встречается немало таких примеров<sup>2</sup>:

Как ныне прощается с телом душа.  
Проститься, знать, время настало.  
Она — еще, право, куда хороша,  
Оно — **пожило и устало.**

[Лосев 1985: 95]

В подобных случаях авторы не избегают омонимии в конструкциях типа *Как он смел!*<sup>3</sup>, а, напротив, создают для нее благоприят-

<sup>1</sup> В XX веке неопределенность стала одним из самых значимых свойств поэтического текста. И. И. Ковтунова называет такие проявления неопределенности: «в плане познавательных категорий и познавательной позиции автора — неопределенность чувства, ситуации, субъекта, места, времени, действия, объекта действия, точки зрения; в плане языковых категорий и связей — ...неопределенность значения слова, неопределенность отнесения признака... неопределенность логико-синтаксических отношений, неопределенность предмета речи (темы); в плане поэтической коммуникации — неопределенность говорящего и адресата» [Ковтунова 1993: 113].

<sup>2</sup> См. также: [Зубова 2000: 244—256].

<sup>3</sup> Ср. нормативную установку: «у прилагательных на *-лый* нечисленные формы употребляются лишь в тех случаях, когда они не омонимичны с формами про-

ные условия. Нередко они помещают рефлекс перфекта в конструкции, которые можно интерпретировать как ряды однородных членов предложения, но вне этих рядов один из членов был бы понят как несомненный глагол (в приведенном ниже примере — *застал*), а другие в любом контексте являются бесспорными прилагательными (*тяжел, гремуч*<sup>4</sup>):

Вином кокетливым распахивая грудь  
Я начинал Весну. Была опасна поступь,  
Заметней тень, и говорливей роспись,  
Когда явился долгожданный призрак  
И Сон застыл, **тяжел, гремуч** как ртуть...

[Чейгин 1995: 30]

Но грамматическая двусмысленность может появиться и при одиночном употреблении бывшего перфективного причастия:

До разлуки с тобой и душой,  
Что мерещится где-то за дальней межой,  
Там, где нажить **пожухла**, и тень  
От скирды указывает, что день  
На сегодня окончен.

[Охапкин 1989: 107]

Иногда поэт сам говорит о том, что хотел внести в текст грамматическую неопределенность:

Обида за любовь и за  
Отсутствие любви —  
Росы внезрачная слеза,  
Что **выпукла** в пыли.

[Примечание автора:]

В данном случае я подставил образштамп «слеза — роса», слегка подретушировав его кратким прилагательным *выпукла*, у которого двойная функция: определения и сказуемого [Кальпиди 1995: 90].

Надо сказать, что глагольность слова здесь воспринимается как аномалия, поскольку норма современного русского языка не предполагает, что есть глагол *выпукнуть*. В таком случае можно

---

шедшего времени глагола или когда эта омонимия не создает неудобств для понимания, не ведет к двусмыслице» [Виноградов 1972: 180].

<sup>4</sup> Обратим внимание на то, что несомненное в современном языке прилагательное *гремуч* в прошлом тоже было причастием.

видеть, что автор восстанавливает утраченное звено в деривации прилагательного. Аналогичная ситуация с другим вышедшим из употребления глаголом — *уныть* — наблюдается в следующем контексте:

Ты остыл, ты уныл, ты доволен,  
Ты поставлен судьбой на колени,  
И в ответах своих ты не волен,  
И тебя не волнует Ленин.

[Головин 1994: 363]

Здесь, в однородных конструкциях *Ты остыл, ты уныл*, создается явно конфликтная ситуация: если видеть в формах на -л глаголы, приходится признать наличие утраченного глагола *уныть*, а если понимать их как прилагательные, то придется иметь в виду краткое прилагательное *остыл*, нормативно не употребительное. Но промежуточным звеном, облегчающим восприятие этого слова как прилагательного, является известный по классической поэзии архаизм *остылый*.

Такое свойство перфекта, как его результативность, актуальность для настоящего, которое в древности было обозначено связкой *есть*, находит свое воплощение в экспрессивной синтаксической конструкции, где *есть* является словом-предложением:

Золотистых блесков мириады  
целый день мелькают над цветком.  
Я полна азарта и досады:  
их никак не выловить сачком.

**Есть! Поймала!** Или показалось?  
Расправляю марлевый сачок:  
лишь труха какая-то прижалась,  
чуть заметный серенький штришок.

[Михалевич 1999: 7]

Возможно, что в этом случае происходит синтаксическое переосмысление конструкции, содержащей формы, свойственные прежним языковым состояниям. При этом глагол-связка преобразуется в бытийный глагол, составляющий суть предикации. Таким образом, энантиосемичный глагол *быть* осуществляет свои противоположные тенденции и в эволюции перфекта: в большинстве случаев, которые здесь не рассматриваются, глагол-связка утрачивается, но он же в словесных комплексах, совпадающих с древним перфектом, приобретает экзистенциальную функцию, резко обозначенную интонационно.



Впрочем, в данном контексте буквальность совпадения неполная, так как повествование в нем ведется от первого лица, и в этом случае древняя форма была бы *есмь поймала*. Однако, поскольку здесь нет никакой архаизирующей стилизации и высказывание строится из элементов современного языка, в котором форма *есть* универсальна по отношению к грамматическому лицу, о совпадении с перфектом говорить все же можно. Необходимо отметить еще одно ограничение: формы *есть* и *поймала* не являются кореферентными: *есть* относится к бабочке или к осуществленному действию, а *поймала* — к субъекту высказывания. Но и в этом случае следует признать, что *есть* — предикат с настолько неопределенным субъектом, что это слово-предложение по своей функции очень близко к междометию. Следовательно, наличие или отсутствие кореферентности здесь несущественно.

Преобразование плюсквамперфекта показывает ту же тенденцию энантиосемической эволюции. Бывший плюсквамперфект превращается не только в синтаксические конструкции со значением прерванного или неосуществленного действия (типа *пошел было; было пошел*), но и в конструкции с полноценным экзистенциальным глаголом:

**Было!** — в тридцать седьмой год от рожденья меня  
я шел по пескам к Восходу. Мертво-живые моря  
волны свои волновали. Солнце глазами льва  
выло! Но сей лев был без клыков и лап.

<...>

Песню весенней любви теперь запевайте вы, майские Музы!  
**Было!** — у самого-самого моря стоял Дом  
Творчества. В доме был бар. Но об этом позднее.

<...>

Песню весенней любви продолжайте вы, майские Музы!  
Как начиналось? А так: не хватило дивана.  
**Было** — **вошел** Аполлон в почти новобрачную спальню,  
и — чудеса! — был диван. Был на месте, и — нету.  
— Боги Олимпа! — взмолился тогда Аполлон. — Где же диван?

[Соснора 1987: 160]

В результате неосуществленное действие предстает осуществленным, причем факт состоявшегося бытия подчеркивается и знаками препинания, и дистантным расположением слова *было* по отношению к соответствующему глаголу. По существу, именно *было* становится смысловой доминантой текста. Если такие ситуации возможны в русском языке (а в тексте Сосноры нет резкой анома-

лии), значит, синтаксическая структура, словесно совпадающая с плюсквамперфектом (на стадии рассогласования в роде связки с подлежащим и со знаменательным глаголом), выражает именно семантику результативности, актуализированности действия или состояния в прошлом<sup>5</sup>.

Интересно, что у того же автора имеется полное подобие диалектному согласованию глагола прошедшего времени с частицей — конструкции, находящейся в переходном пространстве от древнего плюсквамперфекта к его современным рефлексам, утратившим грамматическую координацию:

Жили два эста на хуторе — хитрость!  
Два бобыля. Но не брились в январскую стужу.

<...>

А мотоцикл был с коляской: в коляске, как ласки, — бутыль был.  
Эйно бутыль был подбрасывал в воздух, Герберт глядел и глотал  
(Вкусно не вкусно, хочешь не хочешь, а пей для новеллы!)

[Соснора 1997: 53]

Показательно, что в тексте изображен эпизод из крестьянской жизни. Но персонажи — эстонцы, и отклонения от современной нормативной грамматики могут быть контекстуально мотивированы их несовершенным знанием русского языка. Кроме того, для интерпретации грамматических отношений в тексте важно то, что форму *был* можно трактовать и как элемент слитной номинации *бутыль был*, имеющейся в предыдущей строке. При этом интересно, что сочетание *бутыль был*, с одной стороны, представляет собой аномалию (рассогласование в роде) по отношению к нормативной речи, но с другой стороны, такая языковая игра с переменной рода словом *бутыль* характерна для разговорного языка. На фоне этого аграмматизма сочетание *был подбрасывал* тоже можно воспринимать как игру с родом. Кроме того, в этом сочетании можно видеть и полную редукцию конечного заударного гласного, типичную для разговорной речи (отметим, что такая редукция составляет резкий контраст с интонационной актуализацией слова *было* в предыдущем контексте). В мерцании разных мотиваций грамматической аномалии участвует и плюсквамперфект в его диалектном варианте. Таким образом, воспроизведение плюсквамперфектной конструкции оказывается возможным в комплексе совершенно разных свойств разговорной речи.

<sup>5</sup> О различной семантике плюсквамперфекта в некоторых современных славянских языках и русских говорах см.: [Молошная 1996; Пожарицкая 1996].

Интонационно раздельное употребление слова *было* с глаголом несовершенного вида в прошедшем времени обозначает перемену ситуации, отнесенную к прошлому:

...и, как верно было замечено,  
**было** — *солнце светило*, **было** — *дождь моросил*.  
 Так казалось всегда, что просить-то и нечего.  
 Вот поэтому я ничего не просил.

[Айзенберг 1993: 141]

Без знака тире слово *было* читалось бы как частица, со знаком тире оно представляет собой безличный предикатив. В этом случае можно отметить переходную семантику слова *было*, пограничную между утверждением бытия и сообщением о его утрате. При этом простой факт перемены погоды представлен как событие.

Любопытен текст, в котором синтаксическая отнесенность слова *было*, а значит, и его грамматическая характеристика оказываются неопределенными благодаря стиховой структуре с переносом и наличием единственного знака препинания после слова *было*:

Видел я, как отчаянье бежало по проводам в бункера телефонов  
 ночь начать навсегда  
 наводнение неба  
**Было:** два пророка захлестывали площадь Сенатску  
 медными голосами

[Иконников-Галицкий 1995: 51]

Если синтаксически отнести слово *было* к сочетанию *наводнение неба*, то *было* оказывается глаголом, согласованным в роде с существительным, и этот глагол является предикатом двусоставного предложения. А если иметь в виду ритмическое членение и считать, что со слова *было* начинается новое предложение (как сигнализирует заглавная буква), то оно становится безличным предикативом. В образной системе текста утверждение бытия одновременно относится и к наводнению неба, и к голосам пророков. Возможно, заглавной буквой акцентируется именно ценность бытийности. Если бы знак препинания здесь отсутствовал, словесный комплекс строки *Было: два пророка захлестывали площадь Сенатску* читался бы как плюсквамперфектное обозначение давнопрошедшего события.

Наличие знака препинания после глагола *быть* в прошедшем времени перед другим глаголом прошедшего времени позволяет создавать и конструкции, словесно совпадающие с согласованными в роде членами бывшего плюсквамперфекта:

Была, копошилась какая-то жизнь и в 18 веке.  
Муравьев жил в муравейнике-Петербурге,  
Его будущий царь Александр любит.

[Филиппов 1992: 93]

Согласование в роде и числе широко представлено в русских диалектах («отец был потонул», «за морошкой была пошла, да воротилась»)⁶. Обратим внимание на то, что время действия, изображенного в контексте, — XVIII век, который видится автору далеким прошлым, а это способствует смысловому сближению исторического сюжета с плюсквамперфектом как давнопрошедшим временем.

Близкое к просторечию слово *копошилась*, с одной стороны, вносит в текст соответствующую стилистику, а с другой стороны, дает представление не только о временной, но и о психологической отдаленности ситуации от субъекта речи. Обозначение психологической отстраненности изображения усилено образом муравейника; этимологизация фамилии Муравьева тоже вносит дополнительный оттенок отстраненного наблюдения, так как обозначен не признак личности, а только поверхностная словесная ассоциация с его фамилией. Семантика отчуждения объекта от воспринимающего субъекта выражена и смешением прошлого, настоящего и будущего в описании ситуации (*жил <...> его будущий царь любит*). Этим текстом подтверждается гипотеза О. Г. Ровновой, которая, анализируя диалектный материал с рефлексамии плюсквамперфекта, отмечает тенденцию к их противопоставлению: при рассказе об обычном, типичном для социума действии употребляется форма давнопрошедшего времени («то было лошадами пахали»), а при утверждении личного участия говорящего в этом действии — многократный глагол («я сама-то пахивала») [Ровнова 1993: 176].

Рассмотренный текст интересен еще и тем, что если запятая после слова *была* сигнализирует о бытийности, то образы отстраненности ослабляют этот эффект, приближая конструкцию к древнему плюсквамперфекту, частично сохранившемуся в говорах.

Заметим, что поэты, акцентирующие бытийную семантику глагола восклицательным знаком, тире, двоеточием или запятой, не только препятствуют превращению глагола в десемантизированную связку, но и противостоят общей тенденции разговорного языка: когда сочетание *было* + глагол прошедшего времени имеет общефактическое значение, «факт действия только сообщается, а не акцентируется, не подчеркивается, следовательно, ОФЗ (общефак-

⁶ Примеры С. К. Пожарицкой [Пожарицкая 1997: 108].

тическое значение. — Л. З.) выступает со слабым признаком событийности...: «Баба-то бойкая / было приехала», «Трактор у него на поле / пахал было» [Там же: 174].

В истории местоимения известно подобие функций местоимений *и* и *он*: оба они были указательными, затем объединились в одну парадигму: слово *он* вытеснило номинативную форму *и* из склонения *и* — *его* — *ему* — *имь*. В процессе эволюции для местоимения *и* наиболее актуальной оказалась функция постпозитивного определенного артикля, которая способствовала образованию полных прилагательных (*добрь* + *и* → *добрый*). Но и все другие указательные местоимения тоже могли выполнять артиклевую функцию<sup>7</sup>. В современном русском языке артиклевый потенциал<sup>8</sup> присущ местоимению *он*, и это видно по употреблению конструкций с именной темой:

Воля — она  
духом бедна  
на грош.  
Зелень холмам,  
музыка — нам:  
слышишь, когда не ждешь.

[Кублановский 1993: 64]

Стиховой перенос в этом тексте дает ощутить разницу между словом в стихе и вне стиха. Когда ритмическое членение текста не совпадает с синтаксическим, в единстве строки усиливается связь местоимения с предшествующим существительным, а связь с глаголом из другой строки ослабевает.

Артиклевая функция местоимения активизируется и при синтаксической инверсии подлежащего и сказуемого, когда местоимение превращается в энклитику:

Храм — тем больше храм, чем меньше храм он,  
Помню я — церквушечка одна,  
Вся замшелая, как ракушка. Ночами  
в ней поет и служит тишина.

[Шварц 1993: 72]

<sup>7</sup> Эта возможность широко осуществилась для местоимения *тъ* — как в некоторых славянских языках, особенно в болгарском, так и в русских диалектах, где местоимение *сь*, тоже обладая артиклевым потенциалом, стало суффиксом наречий: *днесь, вчерась, летось*.

<sup>8</sup> Потребность современного русского языка в артикле подтверждается анекдотом, в котором предлагается переводить английский артикль *a* на язык «новых русских» словом *тина*, а артикль *the* — словом *конкретно*.

Артиклевость местоимения обнаруживается и в том случае, когда именительный темы не выделен знаками препинания — как в препозиции, так и в постпозиции:

**они идола явились**  
 когда спать уж мы легли  
 непонятно матерились  
 дети слушать не могли

[Уфлянд 1993: 45]

**Народ он любит свою землю**  
 Ему чужая ни к чему  
 Он голосу истории внемлет  
 И слышен голос тот ему

[Пригов 1997: 165]

При том что на письме в подобных конструкциях нужно ставить запятую, в устной речи препозитивно расположенное местоимение интонационно обычно не отделяется от существительного (*вон она газета лежит*). Если выделение все же происходит, во фразу вносится оттенок несколько раздраженного назидательного пояснения того, что говорящему представляется очевидным. Можно предположить, что именительный темы без интонационного выделения и воплотил в себе артиклевые потенции местоимения *он*.

Память об артикле хранят также косвенные падежи современного местоимения *он*, бывшие в прошлом формами местоимения *и*, которое, собственно, и становилось артиклем с последующим преобразованием в окончание прилагательного:

В эту осень уста твои  
 я оставил **на них, морях**.  
 А их было по счету — три,  
 Только три, не моя.

[Соснора 1994: 39]

Ахнуло,  
 и враз ослепли все фонари —  
 с тросточками **по мостовым им**.

[Иконников-Галицкий 1995: 48]

Эти примеры, особенно последний, с отзвуком во внутренней рифме *мостовым* — *им* напоминают диалектное фонетическое подобие вариантов постпозитивной частицы *-то* финальной части предыдущего слова, которое отмечается как при морфологическом согласовании в роде и числе, так и за его пределами: в *кругу-ту, наверху-ту* (см. [Пожарицкая 1997: 130]).

В именительном темы можно видеть своеобразное наследство семантики артикля (или современный «протоартикль») еще и потому, что древний протоартикль «не только выполняет функцию анафорической детерминации существительного или именной группы, но, подобно указательным местоимениям, продолжает служить средством выделения наиболее важных с точки зрения повествования объектов» [Пиотровский 1990: 211—212]. Язык испытывает потребность в таком средстве, которое функционально подобно определенному артиклю по той причине, что существительное в конструкциях с именительным темы становится из названия конкретного предмета названием его обобщенных качеств (см. [Арутюнова 1976: 309—310]).

Генетическая общность современных экспрессивных конструкций с архаическим строением речи отчетливо проявляется и тогда, когда мы встречаемся с рефлексамии союзного слова *иже*. Нет никакого сомнения, что в «Сцене из “Фауста”» Пушкина имеется архаическое присоединительное значение частицы *же*, а не современное усилительное<sup>9</sup>:

Фауст

Мне скучно, бес.

Мефистофель

Что делать, Фауст?

Таков вам положен предел,

**Его ж никто не преступает.**

Вся тварь разумная скучает:

Иной от лени, тот от дел.

[Пушкин 1967: 311]

Те же отношения обнаруживаются и в текстах современных авторов, например:

**Наше троеперстье** живет в кулаке.

**Им же** знаменуемся мы строчки строча,

всасывая в детстве облака в молоке,

тайнообразующее крыло из плеча.

[Хорват 1997: 697]

Можно предположить, что раздельное восприятие высказываний о носителе признака и о признаке в бессоюзных конструкциях вторичны по отношению к речевым последовательностям с союзом *иже* в косвенных падежах. Характерно, что частица *же* может и утрачиваться. Устранение *же* не только не препятствует определи-

<sup>9</sup> Этот факт надо было бы иметь в виду актерам-чтецам.

тельным отношениям между фрагментами конструкции, но, напротив, создает условия для их сохранения, так как новое усилительное значение этой частицы мешало бы прежним определительным отношениям:

я тоже, как будто, жив  
и связан обрубками кровно  
с этой землею, в ней  
я, словно крот, упорно  
дорогу наощупь рыл.

[Пробштейн 1993: 63]

Мы поедem с тобою на А и на Б<sup>10</sup>

<...>

Мимо всех декабристов, их не сосчитать,  
Мимо народовольцев — и вовсе не счесть.

[Еременко 1991: 127]

Я вспоминаю крепость Эльсинора  
И Эльсинборга — миражем напротив  
Через пролив. И ощущаю кошек  
Железных в сети, ею пресловутый  
Принц Гамлет, и совсем не в этом месте,  
Терзал врагов. И в сумерках кричат  
Под рокот моря со стены фазаны.

[Бурихин 1992: 65]

Во всех этих синтаксических структурах, выделенные конструкции и фрагменты могли бы быть заменены (разумеется, за пределами поэтических текстов) придаточными предложениями или их частями с союзным словом *который*.

Определительное значение анафорического местоимения здесь, конечно, не бесспорно, но и свойство бессоюзной связи фрагментов сложного предложения таково, что неочевидное толкование синтаксической структуры следует принять во внимание: «Оставить ППВ (полипредикативные высказывания. — Л. З.) без союза (союзного слова) — значит заставить слушающего решить некоторую задачу: найти между предикативными конструкциями те смысловые отношения, которые имплицитно заложены в высказывании» [Ширяев 1981: 243]; «Для полипредикативных высказываний РР (разговорной речи. — Л. З.) характерны недифференцированные имплицитные смысловые отношения» [Там же: 273].

<sup>10</sup> Немного измененная строка из стихотворения О. Мандельштама «Нет, не спрятаться мне от великой мур...»



Общий взгляд на материал позволяет увидеть, что частичное воспроизведение современными поэтами древних грамматических отношений активно и разнообразно проявляет себя в конструкциях экспрессивного синтаксиса, свойственных разговорной речи.

Буквальное лексическое совпадение современных речевых фрагментов с древними грамматическими конструкциями побуждает задуматься о том, что интонационная сегментация подобных речевых последовательностей в практическом языке вторична по отношению к конструкциям с древними формами. Очень возможно, что источником некоторых оборотов экспрессивного синтаксиса стали именно устойчивые синтагматические связи слов в древних конструкциях.

Распадающаяся грамматическая категория стремится и оказывается способной сохранить свою семантическую функцию, создавая новую синтаксическую структуру, причем новая структура отличается от прежней интонационной раздельнооформленностью, что, вероятно, связано с общей тенденцией языка к аналитизму.

Язык поэзии делает заметными переходные явления грамматики благодаря особым условиям стихотворного текста, в частности ритмическому членению речи, иногда не совпадающим с синтаксическим. Не исключено, что это происходит потому, что «фразовая структура, которая есть в стихотворной строке... соответствует самой древней форме фразово-интонационной модели» [Николаева 2000: 110].

#### Л и т е р а т у р а

- Айзенберг М.* Указатель имен. М., 1993.
- Арутюнова Н.Д.* Бытийные предложения в русском языке // Известия АН СССР. Сер. лит. и яз. 1976. Т. 35. № 3.
- Бурхин И.* Мы на мертвой волне. М., 1992.
- Виноградов В.В.* Русский язык: Грамматическое учение о слове. М., 1972.
- Еременко А.* Стихи. М., 1991.
- Иконников-Галицкий А.* "АГГЕЛОС". СПб., 1995.
- Головин А.* Сеньоре За. СПб., 1994.
- Жолковский А.К.* Графоманство как прием (Лебядкин, Хлебников, Лимонов и другие) // Жолковский А.К. Блуждающие сны и другие работы. М., 1994.
- Зубова Л.В.* Современная русская поэзия в контексте истории языка. М., 2000.
- Кальпиди В.* Мерцание. Пермь, 1995.
- Ковтунова И.И.* Принцип неполной определенности и формы его грамматического выражения в поэтическом языке XX века // Очерки истории языка русской поэзии XX века: Грамматические категории. Синтаксис текста. М., 1993.
- Кублановский Ю.* Чужбинное. М., 1993.
- Лосев Л.* Чудесный десант. Тенелу, 1985.
- Михалевич А.* «Золотистых блесков мириады...» // Арион. Журнал поэзии. М., 1999. № 1.

*Молошина Т.Н.* Плюсквамперфект в системе грамматических форм глагола в современных славянских языках // Русистика. Славистика. Индоевропеистика: Сб. к 60-летию Андрея Анатольевича Зализняка. М., 1996.

*Николаева Т.М.* Строки прозаическая и поэтическая: проблемы первичности и вторичности // *Николаева Т.М.* От звука к тексту. М., 2000.

*Охупкин О.* Стихи. Л.; Париж, 1989.

*Пиотровский Р.Г.* Как родился определенный артикль в романских языках // *Res Philologica*. М.; Л., 1990.

*Пожарицкая С.К.* Отражение эволюции древнерусского плюсквамперфекта в говорах северо-русского наречия Архангельской области // Общеславянский лингвистический атлас: Материалы и исследования. 1991—1993. М., 1996.

*Пожарицкая С.К.* Русская диалектология. М., 1997.

*Пригов Д.А.* Собрание стихов. Т. 2. 1975—1977. *Wiener Slawistischer Almanach*. Wien, 1997. S.-Vd. 43.

*Пробштейн Я.* Реквием. М., 1993.

*Ровнова О.Г.* Многократные глаголы в одном севернорусском говоре: Дис. ... канд. филол. наук. М., 1993.

*Пушкин А.С.* Собр. соч.: В 8 т. Т. 2. М., 1967.

*Соснора В.* Избранное. Ann Arbor, 1987.

*Соснора В.* 37. Книга стихов. СПб., 1994.

*Уфлянд В.* Стихотворные тексты. СПб., 1993.

*Филиппов В.* Муравьев и дева // Вестник новой литературы. СПб., 1992. № 4.

*Чейгин П.* «Природное явление Любовь...» // Сны. Поэтическая метафизика Петербурга. СПб., 1995.

*Хорват Е.* Воскресное // Самиздат века. Минск; М., 1997.

*Шварц Е.* Лоция ночи. СПб., 1993.

*Ширяев Е.Н.* Полипредикативные высказывания в разговорной речи // Русская разговорная речь: Общие вопросы. Словообразование. Синтаксис. М., 1981.

С. В. Князев

## О формировании важнейших типов аканья и яканья в русском языке

§ 1. Одним из первых две гипотезы происхождения аканья предложил А. А. Шахматов. Дальнейшая разработка этой проблемы вплоть до настоящего времени связана с выдвинутыми им идеями. Многочисленные теории происхождения аканья можно разделить на пять основных групп:

- аканье — местное диалектное явление, возникшее из оканья в результате изменения характера ударения и редукции безударных гласных неверхнего подъема [Шахматов 1915], развитие этой теории см. в работах Р. И. Аванесова [1947; 1952; 1955] и его учеников [Хабургаев 1980; Горшкова, Хабургаев 1997];

- аканье настолько же древнее явление, как и оканье, или даже древнее его; аканье и оканье являются результатом неодинакового развития праславянских гласных, соответствующих древнейшим кратким \*о и \*а [Шахматов 1893; Vaillant 1950; Георгиев 1963; 1964; 1965; 1968; Филин 1968; 1972]<sup>1</sup>;

- аканье возникло под влиянием финно-угорского субстрата [Лыткин 1965];

- аканье — результат перестройки фонологической системы русского языка [Руделев 1963; Хабургаев 1965]<sup>2</sup>;

- аканье является результатом ряда последовательных фонетических изменений, каждое из которых имеет свою территорию, и поэтому не может считаться единым ни по своему содержанию, ни географически [Трубецкой 1987].

Особняком в этом ряду стоят гипотезы Р. О. Якобсона [Jacobson 1929] и Н. Ван-Вейка [van Wijk 1934—1935].

В настоящей работе подробно рассматриваются только «ре-

---

<sup>1</sup> Критику теорий этой группы см., например, в [Кузнецов 1964; Борковский, Кузнецов 1965; Аванесов 1955].

<sup>2</sup> Подробная критика гипотез этого направления дана П. С. Кузнецовым [Кузнецов 1964: 37—38].

дукционная» теория А. А. Шахматова и гипотеза О. Брока, бегло намеченная им в работе [Брок 1916]<sup>3</sup>.

§ 2. Концепция А. А. Шахматова наиболее полно сформулирована в [Шахматов 1915]. Основные ее положения сводятся к следующим пунктам:

- аканье возникло в эпоху после падения редуцированных;
- исходной системой, из которой сформировались все типы аканья, было обоянское (архаическое) аканье;
- в фонетической системе древнерусского языка этого периода сохранялись праславянские различия по долготе/краткости гласных (на произносительном уровне, так как на фонологическом уровне количественные различия преобразовались в качественные еще в дописьменную эпоху), т. е. долгими были гласные верхнего, верхне-среднего и нижнего подъема, а краткими — среднего подъема: «Долгими могли быть узкие гласные, следовательно гласные *i*, *у*, *и*, *ѣ* (*ie*), равным образом могло удлиниться<sup>4</sup> исконное *о* под входящим ударением... гласная *а* была исконно долгой» [Там же: 331—333].

(1)

и:	ы:	у:
ѣ:		о → ђ:
е		о
	а:	

§ 3. В дальнейшем, по предположению А. А. Шахматова, произошло сокращение гласного нижнего подъема [Там же: 332, 340]. Затем, в результате смены музыкального ударения «экспираторным»<sup>5</sup>, происходит сокращение безударных гласных, причем долгие гласные изменяются в краткие (и сохраняют противопостав-

<sup>3</sup> В работе самого О. Брока не содержится детальной разработки предположенной им гипотезы; в дальнейшем изложении будет предпринята попытка ее развития.

<sup>4</sup> Таким образом, этот гласный был изначально кратким, а удлинился он, по мнению А. А. Шахматова, под влиянием аналогии с долгим *ѣ*: — гласным того же подъема.

<sup>5</sup> Следует при этом иметь в виду, что термин «экспираторное/динамическое ударение» является в значительной мере условным. В современной фонетике практически общим местом стало положение о том, что не существует ударения, единственным (или даже основным) фонетическим коррелятом которого является интенсивность, а ударение в русском языке является качественно-количественным.

ленность друг другу и гласным среднего и нижнего подъема), а краткие — в сверхкраткие (и нейтрализуются в редуцированном среднем подъема [ъ]/[ь]) [Там же: 331] (сначала, впрочем, А. А. Шахматов постулирует переход ё: → ѣ в безударном положении [Там же: 335]). В дальнейшем утрачиваются количественные различия в ударном слоге (сокращаются долгие, т. е. гласные верхнего и верхне-среднего подъема); при этом происходит компенсационное удлинение гласного первого предударного слога, но только в том случае, если он был редуцированным: њ/ь → а перед гласными верхнего и верхне-среднего подъема [Там же: 333]. Предложенная схема полностью соответствует обоянскому типу диссимилятивного яканья; все остальные типы аканья-яканья, в том числе и недиссимилятивный, рассматриваются А. А. Шахматовым как нарушения исходной модели предударного вокализма в результате аналогического выравнивания [Там же: 338—339].

§ 4. Основные недостатки изложенной выше концепции состоят в следующем.

4.1. Предполагается сохранение в фонетической системе русского языка эпохи после падения редуцированных праславянских долгот (утраченных на фонологическом уровне еще в дописьменную эпоху) на «произносительном» уровне.

4.2. Постулируется раннее сокращение ё: в безударных слогах и любого а:, не обоснованное ничем, кроме необходимости объяснить механизм формирования аканья.

4.3. Приходится предполагать удлинение ђ, возникшего из краткого о. Вообще, история ђ в соответствии с концепцией А. А. Шахматова выглядит довольно неправдоподобной: сначала предполагается его удлинение на фоне отсутствия фонологических противопоставлений по долготе, затем сокращение в ударном слоге.

4.4. Наличие системы, приведенной в табл. 1, представляется маловероятным с общefonетической точки зрения. Согласно одной из фонетических универсалий, при отсутствии фонологического противопоставления по долготе собственная длительность гласных возрастает с понижением их подъема.

4.5. Неясно, почему «экспираторное» ударение вызывает сокращение ударных гласных.

4.6. Приходится предполагать независимое возникновение сильного яканья на западе и востоке акающей территории [Дурново 1918: 26—27].

4.7. Диссимилятивные модели вокализма чрезвычайно разнообразны и иногда осложняются ассимилятивным принципом.

Предложенная А. А. Шахматовым гипотеза объясняет возникновение только архаического (обоянского) типа аканья; остальные его типы в соответствии с этой гипотезой представляют собой либо результат разрушения исходной системы, либо модели, сформировавшиеся параллельно с архаической. При этом если недиссимильативное аканье может быть рассмотрено просто как упрощение исходной диссимильативной модели (т. е. как обобщение предупредительного [а] в положении перед всеми ударными гласными), то разнообразные типы диссимильативного яканья вряд ли могут быть выведены непосредственно из архаического. То же относится к системе умеренного яканья, возникновение которого принято объяснять наложением аканья на окающую модель владими́ро-поволжского типа [Сидоров 1951; 1966]. Так, например, формирование донской и жиздринской моделей вокализма обычно объясняется как следствие утраты различий между гласными среднего и верхне-среднего подъема. В этом случае возникает вопрос о времени этой утраты. Если совпадение *ѓ* и *о*, *ѣ* и *е* относится к эпохе до момента формирования аканья, то формирование донской модели описывается совершенно непротиворечиво (гласные *ѓ* и *ѣ* просто исключаются из рассмотрения), но для объяснения механизма формирования жиздринского аканья необходимо предположить либо совпадение *ѓ*: *и* *о*, *ѣ*: *и* *е* в (долгих) гласных средне-верхнего подъема, либо удлинение исходных кратких *о* и *е* при сокращении исходного долгого *а*; т. е. *о* *е* *а*: → *о*: *е*: *а*; оба эти предположения представляются в равной мере маловероятными.

Если же совпадение *ѓ* и *о*, *ѣ* и *е* относится к эпохе после момента формирования аканья (т. е. донское и жиздринское аканье выводятся непосредственно из архаического), то неясным остается вопрос о том, почему в этих говорах не сохранилась исходная реализация предупредительных гласных в зависимости от разных ударных гласных — ведь общеизвестно, что в современных говорах с архаическим аканьем часто фиксируется пятифонемный вокализм, но разная реакция гласного предупредительного слога на этимологические *ѣ* и *е* под ударением сохраняется: перед ударным [e] из *ѣ* произносится [a], а перед ударным [e] из *е*, *ь* — [ъ] ([нав'ѣс] — *навѣс*, но [нѣв'ѣрхн'ѣм] — *на вѣрхнем*) (см., например, [Захарова 1959; 1961]).

Наконец, этой гипотезе противоречит тот факт, что донское и особенно часто жиздринское аканье-яканье фиксируются не только в пятифонемных, но и в семи- и шестифонемных современных говорах. То же относится и к рязанским говорам с ассимильативно-диссимильативным яканьем: «семифонемный состав ударенных глас-

ных, которым характеризуются говоры северной, северо-восточной и юго-восточной окраины Рязанщины, ни в одном случае не сочетается с таким предупредным вокализмом, который хотя бы указывал на былую зависимость от характера ударенного вокализма: говоры, в которых ассимилятивность наслаивалась бы на архаический тип диссимилятивного яканья, в Рязанщине не отмечено совсем. Чаще всего при семифонемном составе ударенных гласных предупредный вокализм характеризуется новоселковским яканьем, но есть говоры, где при семифонемном составе гласных отмечено кидусовское яканье» [Мораховская 1962: 99]<sup>6</sup>. Таким образом, непротиворечивое объяснение развития большинства диссимилятивных и ассимилятивно-диссимилятивных типов аканья-яканья невозможно ни исходя из первичности архаического аканья, ни исходя из гипотезы их параллельного развития путем, предложенным А. А. Шахматовым<sup>7</sup>. Тем самым вряд ли можно согласиться с мнением о том, что анализ отношений между структурными типами аканья-яканья позволяет сделать вывод о первичности именно обаянской диссимилятивной модели, как полагали Р. И. Аванесов [Аванесов 1952: 39], а также К. В. Горшкова и Г. А. Хабургаев [Горшкова, Хабургаев 1997: 111]. По сути, системных аргументов в пользу такой точки зрения всего два: 1) этот тип безударного вокализма предсказывается концепцией А. А. Шахматова; 2) эта модель наиболее отчетливо отражает противопоставление гласных среднего и средне-верхнего подъема (однако из этого вовсе не следует, что все типы аканья-яканья развились именно из него). Этого явно недостаточно для того, чтобы принять подобную точку зрения.

§ 5. Одно из приведенных выше соображений (4.2) как будто бы может быть отведено на основании того, что раннее сокращение *a*: можно считать необязательным вследствие существования ассимилятивно-диссимилятивных моделей аканья и яканья, которые не были известны А. А. Шахматову [Горшкова, Хабургаев 1997: 118—119].

Однако и привлечение для анализа этих типов диссимилятивного аканья-яканья не снимает всех вопросов: во-первых, все равно приходится постулировать сокращение [a:] в безударных слогах

<sup>6</sup> Отметим еще раз, что при новоселковском яканье предупредный гласный одинаково реагирует на ударные [o] и [ɔ], а при кидусовском — и на ударные [e] и [ɛ].

<sup>7</sup> На возможность того, что различные типы аканья могли возникнуть одновременно указывал еще Р. О. Якобсон [Jacobson 1929], а на то, что исходным типом аканья, вероятнее всего, было аканье недиссимилятивное, — О. Б. Курило [1928] и Н. Ван-Вейк [van Wijk 1934—1935].

(так как иначе он не совпадает с рефлексами [e] и [o]) при отсутствии такого сокращения у безударных [и:] и [у:]. Во-вторых, принцип ассимилятивности обычно накладывается на многие типы диссимилятивного яканья, кроме как раз архаического, на анализе которого строится гипотеза А. А. Шахматова. В-третьих, в тех говорах, в которых предполагается наличие ассимилятивно-диссимилятивного аканья на основе архаического [Касаткина, Щигель 1995], имеет место не только а-образный редуцированный в положении перед ударным [a], но и лабиализованные редуцированные в положении перед ударным [o] и упрежденные редуцированные в положении перед ударным [e] [Там же] — таким образом, диссимиляция (количественная) в этих говорах является системным фактом, фонологическим (лингвистическим) правилом, а ассимиляция (качественная) — поверхностным, фонетическим (коартикуляционным) явлением<sup>8</sup> (в отличие от юго-восточных говоров с «настоящим» ассимилятивно-диссимилятивным яканьем, где и ассимиляция ([ъ] → [a] перед [á]) уже фонологизирована и является лингвистическим правилом). Это обстоятельство позволяет характеризовать описанное Р. Ф. Касаткиной и Е. В. Щигель явление не как особую модель диссимилятивного аканья, возникшую на базе системы с сохранением праславянских долгот, а как простой факт межслоговой вокальной ассимиляции, широко известной не только большинству русских говоров (ср., например, в[’o]дѹ при в[’e]лѹ в севернорусских говорах; подробно об этом см. [Касаткина 1996]), но и литературному языку (н[’ъ°]утрѹ, н[’ъ°]купѹть, д[’ъ°]кумѹнт)<sup>9</sup> [Пауфощима 1980]. Наконец, в-четвертых, признание ассимилятивно-диссимилятивных моделей яканья наиболее древними заставляет отнести ареал первоначального возникновения аканья на восточную периферию территории его современного распространения, что противоречит мнению о том, что первоначально аканье возникло в самом центре этой территории [Хабургаев 1980: 142—145; Горшкова, Хабургаев 1997].

Таким образом, невозможно не согласиться с мнением П. С. Кузнецова о том, что «обращают на себя внимание противоречия... между различными положениями одной и той же работы, где как раз наиболее полно в последний раз <А. А. Шахматовым> излагается гипотеза возникновения и развития аканья» [Кузнецов 1964: 32].

<sup>8</sup> Подробнее об этом см. [Князев 1999].

<sup>9</sup> Отметим, что именно редуцированные гласные в наибольшей степени подвержены ассимилятивным изменениям; знаком [ъ°] обозначается лабиализованный редуцированный гласный.



§ 6. Принципиально иной взгляд на механизм формирования аканья предложен Олафом Брокком: «Мена *saxá* : *saxú*, *s'istrá* : *s'astrú*, по-видимому, связана сначала с отношениями долготы в ударяемом и предшествующих слогах... С первоначальными количественными отношениями общеславянской и общерусской эпох эти ударяемые долготы : краткости не имеют, по-видимому, никакой прямой связи. Они выросли, напротив, по исчезновении старших, этимологических количественных отношений. За то обзор говоров, интересующих нас в данном вопросе, который показывает, что ударяемому *a* правильно предшествует *ъ*, т. е. краткость, ударяемым же *i*, *u*, *y*, т. е. гласным высокого образования, так же правильно предшествует *a*, т. е. долгота. Заключаю из этого, что речь идет о количестве “натурой”; *á* было натурой “долгим”, *í* и пр. натурой “краткими” гласными. Можно предположить, что такая разница зависит от того признакового явления, что при обстоятельствах, в остальном тождественных, гласный вообще тем длиннее, чем его образование шире» [Брок 1916: 57—59].

С точки зрения современных фонетических знаний это допущение представляется совершенно обоснованным. Так, в среднем, при прочих равных условиях; в современном русском литературном языке (далее — СРЛЯ) собственная длительность гласных верхнего подъема ([и], [ы], [у]) составляет около 75%, а длительность гласных среднего подъема ([е], [о]) — около 90% от длительности гласного нижнего подъема [а] [Кузнецов, Отт 1989: 68]. Тем самым по собственной длительности гласные среднего подъема оказываются несколько ближе гласным нижнего подъема, чем верхнего.

§ 7. Таким образом, можно считать, что распределение длительностей гласных в фонетической системе древнерусского языка в эпоху возникновения аканья было противоположным тому, которое постулируется А. А. Шахматовым, т. е. самым долгим был широкий гласный [а], самыми краткими узкие гласные [и], [ы] и [у], а [е], [о], [ê] и [ô] занимали промежуточное положение, причем гласные среднего подъема были несколько более долгими, чем гласные средне-верхнего подъема.

Основываясь на гипотезе О. Брока, можно предположить далее, что механизм возникновения аканья был гораздо более простым и непротиворечивым, чем это допускается в соответствии с концепцией А. А. Шахматова. Впрочем, в работе О. Брока нет никаких указаний на то, что он считал первичным именно диссимилятивное аканье, более того, его гипотеза — в отличие от концепции А. А. Шахматова — не требует этого допущения в обязатель-

ном порядке. Наоборот, гипотеза О. Брока позволяет объяснить не только и даже не столько происхождение **диссимилятивного** аканья, сколько — и в первую очередь — аканья **недиссимилятивного** (включая сюда также сильное яканье и иканье) как системы вокализма, возникшей раньше более сложного диссимилятивного и уж тем более — ассимилятивно-диссимилятивного аканья-яканья; именно эта точка зрения представляется более адекватной из системных соображений<sup>10</sup> (как будет показано ниже, различные диссимилятивные модели достаточно просто и непротиворечиво выводятся именно из недиссимилятивной модели). При этом данная гипотеза позволяет не только отнести возникновение аканья к эпохе после падения редуцированных, но и рассматривать его как непосредственное следствие или продолжение той же самой тенденции — редукции кратких гласных в положении перед последующим долгим. Другим ее существенным достоинством является тот факт, что она позволяет предложить чисто фонетическое (не связанное с явлениями аналогии) объяснение формирования разнообразных моделей диссимилятивного аканья-яканья, а также умеренного и ассимилятивно-диссимилятивного яканья.

§ 8. Итак, можно предположить, что в процессе формирования **количественного** ударения все ударные гласные по длительности оказались противопоставленными гласным безударных слогов. Их удлинение вело к сокращению безударных гласных и редукции их до степени [ɨ] ([ʲ]), в особенности тех гласных, которые находились перед ударными — точно так же, как сокращались сверхкраткие ъ и ь в позиции перед гласными полного образования в эпоху падения редуцированных. При этом сокращению обычно подвергались все гласные, кроме самых кратких, каковыми являлись гласные верхнего подъема (**и, ы и у**)<sup>11</sup>:

<sup>10</sup> Ср. сходную точку зрения в [van Wijk 1934—1935]. Н. Ван-Вейк считал, что первоначальным типом аканья было аканье недиссимилятивное, на базе которого сформировались умеренное яканье и диссимилятивное акаиье-яканье. При этом, по мнению Н. Ван-Вейка, все типы диссимилятивного вокализма сложились на основе первичной жидринской модели, а ступень, на которой все безударные гласные неверхнего подъема в первом предударном слоге нейтрализовались в редуцированном гласном [ɨ] ([ʲ]), отсутствовала. Эта точка зрения нами не разделяется, в первую очередь потому, что вывод разнообразных типов диссимилятивного яканья из жидринской модели столь же затруднителен, сколь и из обоянской, а изменение [ɛ], [e], [o] непосредственно в [a] представляется необъяснимым с чисто фонетической точки зрения.

<sup>11</sup> Можно предположить, что краткие гласные не сокращались, так как их сокращение могло привести к полной утрате гласного; кроме того, [y] в силу его значительной лабиализации вообще редуцируется крайне редко. Впрочем, в ча-

(2.1)

предударный слог		
и → и	ы → ы	у → у
ё → ь		
е → ь		о → ь'ь
	а → ь'ь	

Таким образом сформировался наиболее архаичный тип аканья — недиссимилятивное аканье в широком смысле — с нейтрализацией фонем неверхнего подъема в звуках типа [ь] после твердых согласных и типа [ь] или краткого [и] после мягких. Этот тип аканья является довольно распространенным<sup>12</sup> на территории России — он соответствует произношению значительной части носителей русского литературного языка, проживающих на юге и востоке современной Российской Федерации.

Особые отношения между гласными ударного и первого предударного слогов (в частности, зависимость длительности предударного гласного от длительности ударного, а также типичная для русского языка реализация одного фразового акцента на двух этих слогах акцентированного слова<sup>13</sup>) могли способствовать формированию так называемого «просодического ядра» слова, объединяющего ударный и первый предударный слоги; эти слоги отчетливо противопоставлены всем другим слогам слова по целому ряду фонетических параметров (в первую очередь по длительности и спектральному составу гласных) преимущественно в акающих рус-

---

сти говорков с диссимилятивным аканьем нелабиализованные гласные верхнего подъема ведут себя так же, как и остальные безударные гласные, т. е. нейтрализуются с ними [Брок 1916: 61–62].

<sup>12</sup> В произношении большинства современных носителей московского варианта СРЛЯ (особенно младшей орфоэпической нормы) сейчас в первом предударном слоге после твердых согласных фиксируется гласный [а], практически не отличающийся качественно от соответствующего ударного гласного (по крайней мере, в случае отсутствия фразового акцента на данном слове [Князев 1998]). Однако еще недавно единственно допустимым считалось произношение в этой позиции звука [А] (точнее [а<sup>в</sup>], т. е. гласного более закрытого, чем [а], среднего между [а] и [ь]). Можно предположить, что еще раньше этот гласный был еще более закрытым, т. е. [ь]-образным, тогда история его изменения может быть описана как последовательное удлинение и понижение подъема: [ь] → [а<sup>в</sup>] → [а].

<sup>13</sup> «Типичная форма интонации такая, что слог *перед* ударяемым имеет высокий тон, между тем как ударяемый слог выговаривается на значительный интервал ниже» [Брок 1916: 8].

ских говорах<sup>14</sup>, что создает типологически крайне редкую ритмическую схему слова<sup>15</sup>, описанную еще А. А. Потемней [Потемня 1865: 62]. В большинстве же севернорусских говоров с полным оканьем первый предударный слог не входит в просодическое ядро слова, там ударный гласный в равной мере противопоставлен всем безударным или не противопоставлен им вовсе [Альмухамедова, Кульшарипова 1980; Князев, Левина, Пожарицкая 1997].

В части говоров (акающих!), сформировавших просодическое ядро слова, отношения между ударным и первым предударным слогами далее не развиваются, что дает современное **недиссимлятивное (сильное) аканье** с нейтрализацией предударных гласных неверхнего подъема в звуке типа [ъ] после твердых согласных и **эканье** с нейтрализацией тех же гласных в [ь] или близком ему по спектральным характеристикам безударном ненапряженном [и] (или [и<sup>в</sup>]) после мягких согласных (а в части говоров — **нканье**):

(2.2)

предударный гласный на месте е, ё, о, а		ударный гласный
после С	после С'	
ъ	ь (→ и)	и, ы, у
ъ	ь (→ и)	ё, ô
ъ	ь (→ и)	е, о
ъ	ь (→ и)	а

§ 9. В другой части этих говоров в результате формирования просодического ядра происходит удлинение редуцированного гласного первого предударного слога, что приводит к понижению его подъема сначала до средне-нижнего, т. е. до степени [a<sup>в</sup>], а затем (например, в современном московском произношении) и до обычного [а]. Этот тип аканья фиксируется преимущественно в тех говорах, где контраст между гласными первого предударного слога и другими безударными гласными выражен наиболее

<sup>14</sup> А также в восточных (владимирско-поволжских) говорах с неполным оканьем. Подробнее о соотношении по длительности ударного и безударных слогов в разных русских говорах см. [Высотский 1973].

<sup>15</sup> Гораздо более распространенной в европейских языках является ритмическая схема слова с чередованием сильных и слабых слогов; в этом случае первый предударный гласный наряду с первым заударным является самым слабым из безударных.

ярко<sup>16</sup>, — в восточных акающих и в псковских говорах [Чекмонас 1998]:

(2.3)

предударный гласный на месте е, ё, о, а		ударный гласный
после С	после С'	
ъ → а	ь → а	и, ы, у
ъ → а	ь → а	ё, ô
ъ → а	ь → а	е, о
ъ → а	ь → а	а

В московском варианте литературного языка впоследствии произошло совмещение вокализма после твердых согласных системы (2.3) и после мягких — системы (2.2):

(2.4)

предударный гласный на месте е, ё, о, а		ударный гласный
после С	после С'	
ъ → а	ь → и	и, ы, у
ъ → а	ь → и	ё, ô
ъ → а	ь → и	е, о
ъ → а	ь → и	а

§ 10. Наконец, в говорах третьего типа гласные первого предударного и других безударных слогов противопоставлены не так ярко<sup>17</sup>. При этом отношения между гласными просодического ядра слова оказываются в этих системах наиболее тесными — в том смысле, что в них наличие или отсутствие удлинения редуцированного гласного первого предударного слога зависит от собственной длительности ударного гласного: в положении перед самым долгим из гласных ([а]) удлинения не происходит (сохраняется [ъ]), в позиции

<sup>16</sup> Гласный первого предударного слога в этой системе по длительности практически равен ударному или слегка превосходит его, а длительность гласного второго предударного слога составляет лишь 10—16% от длительности ударного.

<sup>17</sup> Длительность гласного первого предударного слога в этих говорах составляет лишь 60—90%, а гласного второго предударного слога — 35—55% от длительности ударного.

перед самыми краткими из ударных гласных (гласными верхнего подъема [и], [ы], [у]) предударный [ъ] удлиняется и переходит в [а], а промежуточные ударные гласные среднего подъема (и средне-верхнего при их наличии) могут вести себя в этом отношении либо как нижние, либо как верхние гласные<sup>18</sup>. Так формируются наиболее простые типы **диссимильативного аканья** — архаическое, жиздринское, донское (при том, что в положении после мягкого согласного редуцированный гласный [ъ] изменяется в очень близкий ему по спектральным характеристикам безударный краткий ненапряженный [и] перед долгими и в долгий [а] перед краткими). Интересно при этом, что в диссимильативных моделях после мягких согласных [и], противопоставленный [а], оказывается возможным в тех положениях, где после твердых согласных не встречается противопоставленный тому же [а] редуцированный [ъ] — например, перед гласными средне-среднего подъема (донское яканье) — по-видимому, именно вследствие того, что он является несколько более долгим, чем [ъ], что еще раз подтверждает наличие компенсаторных отношений по длительности между гласными просодического ядра слова в говорах с диссимильативным аканьем-яканьем.

## (2.5.1)

Архаическое обоянское яканье

предударный гласный на месте е, ё, о, а		ударный гласный
после С	после С'	
(ъ →) а	(ь →) а	и, ы, у
(ъ →) а	(ь →) а	ё, ё
ъ	ь (→ и)	е, о
ъ	ь (→ и)	а

## (2.5.2)

Архаическое задонское яканье

предударный гласный на месте е, ё, о, а		ударный гласный
после С	после С'	
(ъ →) а	(ь →) а	и, ы, у
(ъ →) а	(ь →) а	ё, ё
ъ	ь (→ е)	е, о
ъ	ь (→ е)	а

Наличие [а] в предударном слоге перед ударными гласными из ё, ё в архаическом типе аканья при [ъ] перед гласными из е, о от-

<sup>18</sup> Нельзя, впрочем, исключать и такой возможности, что количественная диссимильация гласных и нейтрализация в безударных слогах гласных неверхнего подъема сформировались одновременно, и редуцированный в положении перед ударным [á] был изначально более кратким, чем в положении перед более узкими (и более краткими) гласными [Jacobson 1929; Чекмонас 1987]. Тогда следует предположить, что в говорах первых двух типов это различие позднее нейтрализовалось (или сохранилось лишь в виде количественного), а в говорах третьего типа преобразовалось в качественное.

нюдь не противоречит излагаемой теории, так как дифтонги, вопреки довольно часто встречающемуся мнению, не обязательно превышают по длительности соответствующие монофтонги, наоборот, именно монофтонги — если они являются более открытыми (широкими) гласными — должны быть, в соответствии с общей закономерностью, более долгими [Высотский 1967: 17]. Кроме того, дифтонги на месте <ѣ> и <ѡ> в ряде случаев ведут себя не как особые гласные, а как сочетания глайда (неслогового гласного, т. е. гласного, не входящего в слоговое ядро) с соответствующим (в этом случае совсем кратким) гласным среднего или средне-верхнего подъема [Там же: 56].

В говорах с жиздринским аканьем в качестве долгого функционирует ударный [а], а в говорах с донским типом вокализма — все гласные неверхнего подъема:

(2.6)  
Жиздринское аканье

предударный гласный на месте е, ѣ, о, а		ударный гласный
после С	после С'	
(ъ →) а	(ь →) а	и, ы, у
(ъ →) а	(ь →) а	ѣ, ѡ
(ъ →) а	(ь →) а	е, о
ъ	ь (→ и)	а

(2.7)  
Донское аканье

предударный гласный на месте е, ѣ, о, а		ударный гласный
после С	после С'	
(ъ →) а	(ь →) а	и, ы, у
ъ	(ь →) и	ѣ, ѡ
ъ	(ь →) и	е, о
ъ	(ь →) и	а

§ 11. Особых замечаний требуют суджанский, мосальский, дмитриевский и щигровский типы диссимилятивного яканья. Для дмитриевского типа принято предполагать раннее совпадение <ѣ> и <е> при сохранении различия <ѡ> и <о> [Хабургаев 1975]:

(2.8) Дмитриевское яканье

предударный гласный на месте е, ѣ, о, а		ударный гласный
	после С'	
	(ь →) а	и, ы, у
	(ь →) а	ѡ
	ь (→ и)	е, о
	ь (→ и)	а

В яканье суджанского и мосальского типов, различающихся только временем перехода *е* в *о* после мягких согласных, как долгие были обобщены все ударные нелабиализованные гласные неверхнего подъема, а в яканье щигровского типа — только нелабиализованные гласные среднего и нижнего подъема:

(2.9)

Суджанское яканье

предударный гласный на месте е, ё, о, а		ударный гласный
после С	после С'	
	(ь →) а	и, ы, у
	(ь →) а	ô, о
	ь (→ и)	ё, е
	ь (→ и)	а

(2.10)

Щигровское яканье

предударный гласный на месте е, ё, о, а		ударный гласный
после С	после С'	
	(ь →) а	и, ы, у
	(ь →) а	ô, о, ё
	ь (→ и)	е
	ь (→ и)	а

Различия в реализации гласных фонем неверхнего подъема в положении перед ударными гласными одного и того же подъема, присущие дмитриевскому, суджанскому, щигровскому и мосальскому типам диссимилятивного яканья (во всех этих моделях [и] произносится перед ударным гласным, находящимся в положении после мягкого согласного, а [а] — в позиции перед ударным гласным того же подъема, находящимся в положении после твердого; см. табл. 2.11), могут быть объяснены тем, что собственная длительность ударных гласных в положении после мягких согласных несколько больше длительности гласных в позиции после твердых вследствие наличия при их произнесении [и]-образного переходного участка: «Гласные заметно длительнее после мягких, чем после твердых»<sup>19</sup>. Объяснение этого явления очевидно: гласные после мягких согласных начинаются среднеязычными «переходными звуками» типа *i-e*, которые являются, по-видимому, существенным моментом для акустического восприятия мягкости согласного перед гласными. Для правильности этого восприятия среднеязычный элемент должен быть, по-видимому, настолько длителен, что при нормальной длительности всего гласного<sup>20</sup> он затруднял бы правиль-

<sup>19</sup> По данным Л. В. Щербы, длительность ударного гласного в положении после мягкого согласного составляет около 115% от его длительности после твердого (для позиции перед глухим смычным согласным).

<sup>20</sup> То есть при длительности, равной длительности того же звука в положении после твердого согласного.



ное восприятие качества самого гласного, результатом чего и является его удлинение» [Щерба 1912: 135].

(2.11)

предударный гласный	['и]	['а]
дмитриевский	перед гласным из ё	перед гласным из ђ
мосальский	перед [e]	перед [o]
суджанский	перед [e], ['o]	перед [o]
щигровский	перед [e], ['o]	перед [o]

§ 12. Таким образом, все разнообразие диссимильтивных моделей вокализма связано в первую очередь с тем, к какому классу относятся гласные неверхнего и ненижнего подъема — к классу долгих или кратких гласных (при том, что гласные верхнего подъема всегда функционируют как краткие, а гласный нижнего подъема — как долгий).

Изложенная здесь гипотеза позволяет не только предложить чисто фонетическое объяснение возникновения различных типов диссимильтивного аканья-яканья (причем единое для всех этих типов); она позволяет отказаться и от представления о том, что причиной их возникновения была утрата противопоставления между гласными среднего и верхне-среднего подъема, а это, в свою очередь, позволяет объяснить наличие семифонемного ударного вокализма в говорах с жиздринской, донской, суджанской и другими предударными моделями. Таким образом, становится необязательным предполагать для говоров с дмитриевским яканьем шестифонемной системы ударного вокализма с <ђ>, но без <ѣ>.

Отметим еще раз, что недиссимильтивные модели вокализма распространены преимущественно на той территории, где наблюдается наибольшая степень контраста между гласными первого предударного и других безударных слогов, а диссимильтивные — там, где степень выраженности этого контраста меньше. Исходя из этого, можно предположить, что столь значительное удлинение гласного первого предударного слога было связано со значительным же сокращением гласного второго предударного слога.

§ 13. Формирование ассимильтивно-диссимильтивных моделей может быть связано с широко распространенным в русских говорах явлением межслоговой вокальной ассимиляции. При этом воз-

никновение [а] на месте [ъ] перед ударным [а] при отсутствии безударных [е], [о] перед соответствующими ударными гласными может объясняться тем, что безударное [а] (в отличие от [е] и [о]) уже было возможным в первом предударном слоге в говорах с диссимильными типами предударного вокализма.

Иначе объясняли возникновение ассимилятивно-диссимильного яканья Н. Н. Дурново и В. Н. Сидоров, считавшие, что оно может быть возведено только к такой модели яканья, в которой различаются предударные гласные на месте фонемы <и>, с одной стороны, и фонем неверхнего подъема, с другой (поскольку в ассимилятивно-диссимильных моделях на месте фонемы <и> произносится [и], в том числе и перед ударным [а], т. е. на реализацию этой фонемы принцип ассимиляции ударному [а] не распространяется; иначе говоря, предударное [а] в позиции перед ударным [а] не может быть из [и], так как тогда [и] любого происхождения давало бы [а]). Этому условию, по мнению Н. Н. Дурново и В. Н. Сидорова, удовлетворяет только задонский подтип архаического диссимильного яканья (отличающийся от обоянского наличием [е] на месте [и])<sup>21</sup>. Основным недостатком этой гипотезы является тот факт, что в русских говорах ассимилятивно-диссимильное яканье на базе архаического не зафиксировано [Мораховская 1962]. Кроме того, исходя из этой точки зрения, очень сложно объяснить возникновение кидусовского, култуковского и новоселковского типов непосредственно из архаического.

С другой стороны, легко видеть, что предложенному Н. Н. Дурново и В. Н. Сидоровым ограничению вполне удовлетворяет не только задонская модель, но и система любого типа диссимильного яканья на этапе до изменения [ъ] → [и] (тем самым ассимилятивно-диссимильные модели следует считать достаточно древними; об отражении этих моделей в документах XVII века, написанных в районе Рязьки и Рязани, см. [Новопокровская 1959]<sup>22</sup>).

<sup>21</sup> «Ассимилятивно-диссимильное яканье... получилось из диссимильного восточного (задонского) типа вследствие ассимиляции предударных открытых гласных гласным ударяемого слога» [Дурново 1923: 369]; «Ассимилятивно-диссимильное яканье должно восходить к такому типу архаического диссимильного яканья, в котором предударная гласная на месте гласных неверхнего подъема различалась с предударной гласной из этимологического и. Этому требованию как раз удовлетворяло диссимильное яканье задонского типа» [Сидоров 1969:13].

<sup>22</sup> Иное (нефонетическое) объяснение возникновения ассимилятивно-диссимильного яканья см. в работе [Захарова 1977].

§ 14. Возникновение умеренного яканья<sup>23</sup> в среднерусских говорах принято объяснять наслоением аканья на окающую модель владими́ро-поволжского типа. Эта идея, предложенная Е. Ф. Будде [Будде 1896], получила развитие в работах В. Н. Сидорова [Сидоров 1951; 1966].

Как полагал Е. Ф. Будде, а вслед за ним и В. Н. Сидоров, современные диалекты с умеренным яканьем (по крайней мере та их часть, которая расположена на границе с окающими владими́ро-поволжскими говорами) были изначально севернорусскими говорами с произношением [o] перед твердыми согласными и [e] перед мягкими на месте как \*е и \*ь, так и \*ѣ (т. е. н[ʼo]сú, в[ʼo]лá и в л[ʼo]сú, р[ʼo]кá при н[ʼe]сú, р[ʼe]кú). Под влиянием акающей модели, в которой безударное [o] отсутствует, в этих диалектах стали произносить [a] на месте любого [o], в том числе и после мягких согласных (а также [и] на месте [e]): т. е. н[ʼa]сú, в[ʼa]лá и в л[ʼa]сú, р[ʼa]кá при н[ʼи]сú, р[ʼи]кú. «В результате образовался говор, представляющий собой по существу акающий слепок, отлитый по окающей модели» [Сидоров 1966: 105]. Однако такая система еще не есть умеренное яканье, так как во владими́ро-поволжских говорах этого типа (в отличие от северо-восточных — Костромских, Вологодских, Архангельских) на месте предударной фонемы <a> произносится [a] как перед твердым, так и перед мягким согласным (н[ʼa]тáк, н[ʼa]тú), а в говорах с умеренным яканьем в словах типа *пряди, пяти, в грязи, глядят* фонема <a> в предударном слоге реализуется звуком [и] ([пʼи]тú). Этот факт приходится объяснять аналогическим выравниванием [Там же: 108].

Другим слабым местом интерпретации умеренного яканья как наслоения недиссимильативного аканья-яканья на окающую модель именно владими́ро-поволжского типа является тот факт, что говоры с последовательным произношением безударного [ʼo] на месте \*ѣ встречаются достаточно редко (по сравнению с умеренно якающими говорами), при этом реализация \*ѣ как [ʼo] в значительной степени лексикализована [Скобликова 1962: 116, 113], умеренное же яканье распространено на довольно широкой территории, вклю-

<sup>23</sup> Принцип умеренного яканья состоит в том, что в первом предударном слоге после мягких согласных на месте гласных фонем неверхнего подъема перед твердыми согласными произносится [a], а перед мягкими — [и] ([и] произносится также и перед группой согласных, последний из которых является мягким — например, н[ʼикл]ú, в в[ʼидр]é, з[ʼимл]ú, с[ʼистр]éнка — это, по-видимому, объясняется тем, что согласные, находящиеся перед мягким, являются хотя и не палатализованными, но полумягкими [Дурново 1903] или просто нейтральными (невеляризованными) [Сидоров 1966: 139]).

чая говоры Московской и Тульской областей, не связанные с владими́ро-поволжскими говорами географически<sup>24</sup>. Впрочем, даже и в восточной части территории распространения умеренно-якающих диалектов «говоры с различием гласных влад.-поволж. типа нигде (кроме небольшого пространства около Касимова) непосредственно не граничат с умеренным яканьем» [Образование 1970: 342]. Кроме того, «современные процессы перехода от вокализма с различием гласных к вокализму с неразличием этих же гласных не ведут к формированию умеренного яканья... От вокализма с различием гласных влад.-поволж. типа обычно наблюдается переход к еканью и иканью» [Там же: 342].

Еще одно слабое место этой концепции состоит в интерпретации смены оканья аканьем как простой замены [o] → [a] в безударных слогах. При этом не учитывается, что в гипотетических говорах с ассимилятивно-диссимилятивным яканьем на основе архаического задонского типа (см. выше, § 13), которые, по мнению В. Н. Сидорова, влияли на говоры с окающим вокализмом [Сидоров 1969], в позиции перед твердым согласным должно произноситься [и], если за ним следует ударный [o] из о, ь (р[и]дóк, л[и]сóк, в[и]слóм).

Наконец, концепция Будде — Сидорова объясняет происхождение умеренного яканья только в севернорусских по происхождению говорах, для говоров же южнорусских требуется отдельное объяснение (отсутствующее в работах Е. Ф. Будде и В. Н. Сидорова).

Выше было показано, что длительность (и, соответственно, качество) предупредного гласного при диссимилятивном вокализме зависит от длительности ударного. Длительность ударного гласного, в свою очередь, определяется 1) степенью открытости самого гласного и 2) его положением после твердого или после мягкого согласного. Говоры с диссимилятивным вокализмом подразделяются на а) те, которые обобщили зависимость длительности гласного только от его подъема (донской, архаический, жиздринский типы); б) те, которые обобщили зависимость длительности гласного как от его подъема, так и от положения после твердого или после мягкого согласного (дмитриевский, суджанский, шигровский и мосальский типы). Можно предположить, что и умеренное яканье является разновидностью диссимилятивного яканья в говорах, ко-

<sup>24</sup> Видимо, именно этот факт позволил Р. И. Аванесову не связывать возникновение умеренного яканья именно с владими́ро-поволжским вокализмом [Аванесов 1955: 41]. Другие аргументы против гипотезы Будде — Сидорова см. в работе [Котков 1952].

торые обобщили зависимость длительности гласного только от его положения после твердого или после мягкого согласного. В дальнейшем же в этих говорах зависимость качества предударного гласного от длительности ударного была переосмыслена как зависимость от твердости/мягкости согласного ударного слога, о чем свидетельствуют словоформы, содержащие сочетания согласных, последний из которых является мягким, а остальные — твердыми.

Можно предложить и другую — по-видимому, более реалистическую — гипотезу возникновения умеренного яканья, согласно которой оно является просто результатом действия в говоре с сильным аканьем-яканьем тенденции к зависимости качества предударного гласного от твердости/мягкости последующего согласного. В этом случае механизм изменения [C'aC'] → [C'iC'] выглядит совершенно прозрачным: в положении между двумя мягкими согласными гласный [а] имеет начальный и конечный [и]-образные переходные участки ([<sup>н</sup>а<sup>н</sup>]), что при сокращении длительности его стационарной части может приводить к изменению в [и] через ступень [<sup>н</sup>е<sup>н</sup>] [Князев, Пожарицкая 2002]<sup>25</sup>.

§ 15. Подробный анализ современных лингвогеографических данных в связи с проблемой территории возникновения аканья и вопросом о том, какой из типов аканья является первичным, содержится в работе [Хабургаев 1980]. Эти сведения являются, по-существу, едва ли не единственным аргументом в пользу первичности диссимилятивных моделей аканья, поскольку, как это было показано выше, из системных соображений более вероятной представляется гипотеза о первичности недиссимилятивного аканья, а данные памятников письменности не дают никаких оснований считать наиболее древним архаическое диссимилятивное аканье [Филин 1972]<sup>26</sup>.

Г. А. Хабургаев, в частности, отмечает: «Поскольку при столкновении аканья-яканья с оканьем “побеждает” акающая система, то можно считать, что в целом ареал аканья-яканья в историческое время неуклонно расширялся, а это значит, что зона старейших говоров должна находиться в центре общего ареала аканья-яканья<sup>27</sup> ... На территории старейших древнерусских поселений центр ареала занят говорами с различными разновидностями диссимилятивного аканья-яканья» [Хабургаев 1980: 143]. Однако, на наш взгляд, нет оснований считать, что территория, на которой первоначально

<sup>25</sup> О возможности происхождения умеренного яканья вне связи с влиянием владими́ро-поволжской модели безударного вокализма см. также: [Дурново 1918: 83; van Wijk 1934—1935; Калнынь 1952; Князев 2001].

<sup>26</sup> Однако следует иметь в виду, что данные лингвогеографии сами по себе нельзя рассматривать как окончательные аргументы в пользу той или иной гипотезы.

<sup>27</sup> Впрочем, тот факт, что территория распространения акающих говоров увеличивалась за счет окающих, отнюдь не означает того, что первоначально аканье возникло именно в центре современного акающего массива.

возникло аканье, обязательно представляла собой «точку» в пространстве или даже какой-то очень маленький ареал; вполне можно допустить и то, что аканье изначально возникло на достаточно обширной территории; тогда вопрос о том, какой именно тип аканья-яканья представлен сейчас в его центре, становится неактуальным.

Далее Г. А. Хабургаев (основываясь на мнении Р. И. Аванесова [Аванесов 1955]) пишет: «диссимилятивное аканье в узком смысле (после твердых согласных), как правило, сопровождается диссимилятивным яканьем, в то время как недиссимилятивное аканье (в узком смысле) сопровождается самыми разнообразными разновидностями реализации  $\alpha$  (после мягких согласных) — от диссимилятивного или ассимилятивно-диссимилятивного яканья до московского иканья, при котором фонетическая реализация  $\alpha$  не имеет ничего общего с фонетической реализацией  $\sigma$ » [Хабургаев 1980: 143—144]. Здесь представляется уместным заметить, что 1) недиссимилятивное аканье может сопровождаться не только диссимилятивным или ассимилятивно-диссимилятивным яканьем или иканьем, но и параллельным ему сильным яканьем; 2) и при диссимилятивном яканье, совершенно в той же степени, как при иканье, «фонетическая реализация  $\alpha$  не имеет ничего общего с фонетической реализацией  $\sigma$ » перед гласными нижнего и среднего подъема. Таким образом, утверждение о том, что «только (выделено мной. — С. К.) в ареале разновидностей аканья-яканья, «связанных с диссимилятивностью», встречаются говоры, в которых типы фонетической реализации  $\alpha$  после твердых и после мягких согласных полностью совпадают» [Там же: 144] не соответствует действительности: кроме говоров с сильным яканьем и недиссимилятивным аканьем (т. е. с [a] как после мягких, так и после твердых согласных) существуют и системы, в которых гласные неверхнего подъема после твердых согласных нейтрализуются в звуке типа [ъ], а после мягких — в звуке типа [ь] или близкого ему спектрально краткого ненапряженного [и] (см. выше). Наконец, не совсем ясно, почему параллелизм реализации гласных после твердых и после мягких согласных должен быть явлением более древним, чем зависимость тембра безударного гласного от свойств предшествующего согласного (ведь именно такую зависимость предполагал еще А. А. Шахматов для диссимилятивного аканья-яканья).

Г. А. Хабургаев заключает свою мысль: «Именно представление о единстве изменения предударенных гласных после твердых и после мягких согласных лежит в основе шахматовской концепции просхождения аканья-яканья» [Там же: 144]. Легко видеть, что изложенная выше концепция возникновения аканья отнюдь не противоречит этому представлению. Кроме того, эта концепция позволяет устранить вопрос о том, почему при взаимодействии окающих и акающих моделей в истории русского языка оканье сменяется не диссимилятивным, а сильным яканьем. По мнению Г. А. Хабургаева, «при столкновении аканья с так называемым “оканьем” побеждает акающая система... К северу и к югу от предполагаемой зоны формирования, где аканье-яканье распространялось, охватывая славянскую речь, известны лишь его недиссимилятивные разновидности... Это означает, что носители соседних древнерусских говоров воспринимали лишь основной принцип аканья, не “улавливая” мнимо диссимилятивной зави-

симости качества предупреденного гласного от степени подъема гласного ударяемого слога» [Там же: 142, 145]. Очевидно, что предположение о первичности недиссимилятивных моделей аканья позволяет описать отмеченный Г. А. Хабургаевым факт гораздо более реалистично — в этом случае при смене оканья аканьем как недиссимилятивное аканье усваивается именно недиссимилятивное аканье.

### Л и т е р а т у р а

*Аванесов Р.И.* Вопросы образования русского языка в его говорах // Вестник МГУ. 1947. № 9.

*Аванесов Р.И.* Лингвистическая география и история русского языка // Вопросы языкознания. 1952. № 6.

*Аванесов Р.И.* Проблемы образования языка великорусской народности // Вопросы языкознания. 1955. № 5.

*Альмухамедова З.М., Кульшарипова Р.Э.* Редукция гласных и просодия слова в окающих русских говорах. Казань, 1980.

*Будде Е.* К истории великорусских говоров: Опыт историко-сравнительного исследования народного говора в Касимовском уезде Рязанской губернии. Казань, 1896.

*Борковский В.И., Кузнецов П.С.* Историческая грамматика русского языка. М., 1965.

*Брок О.* Говоры к западу от Мосальска. Пг., 1916.

*Войтович Н.Т.* К вопросу о путях развития аканья в восточнославянских языках // Общеславянский лингвистический атлас: Материалы и исследования. 1970. М., 1972.

*Высотский С.С.* Определение состава гласных фонем в связи с качеством звуков в севернорусских говорах (по материалам экспериментально-фонетического исследования) // Очерки по фонетике северно-русских говоров. М., 1967.

*Высотский С.С.* О звуковой структуре слова в русских говорах // Исследования по русской диалектологии. М., 1973.

*Георгиев В.И.* Русское аканье и его отношение к системе фонем праславянского языка // Вопросы языкознания. 1963. № 2.

*Георгиев В.И.* Общеславянское значение проблемы аканья // Вопросы языкознания. 1964. № 4.

*Георгиев В.И.* Аканье и иканье в истории русского языка // Проблемы современной филологии. М., 1965.

*Георгиев В.И., Журавлев В.К., Филин Ф.П., Стойков С.И.* Общеславянское значение проблемы аканья. София, 1968.

*Горшкова К.В., Хабургаев Г.А.* Историческая грамматика русского языка. М., 1997.

*Дурново Н.Н.* Описание говора дер. Парфенов Рузского уезда Московской губ. Варшава, 1903.

*Дурново Н.Н.* Диалектологические разыскания в области великорусских говоров. Ч. 1: Южновеликорусское наречие. М., 1918. Вып. 2.

*Дурново Н.Н.* Ответ проф. Е. Ф. Будде // Известия ОРЯС. Т. 24. Кн. 2. Пг., 1923.

*Захарова К.Ф.* Арханческие типы диссимилятивного яканья в говорах Белгородской и Воронежской областей // Материалы и исследования по русской диалектологии. Новая серия. Т. 1. М., 1959.

Захарова К. Ф. Некоторые случаи утраты архаического типа диссимилятивного яканья (По материалам «Атласа русских народных говоров юго-западных областей РСФСР») // *Материалы и исследования по русской диалектологии. Новая серия. Вып. 2. М., 1961.*

Захарова К. Ф. К вопросу о генетической основе типов ассимилятивно-диссимилятивного яканья // *Диалектологические исследования по русскому языку. М., 1977.*

Захарова К. Ф., Орлова В. Г. Диалектное членение русского языка. М., 1970.

Калынин Л. Э. Коломенские говоры в их истории и современном состоянии. Дис. ... канд. филол. наук. М., 1952.

Касаткина Р. Ф. Межслоговая ассимиляция гласных в русских говорах // *Просодический строй русской речи. М., 1996.*

Касаткина Р. Ф., Щигель Е. В. Ассимилятивно-диссимилятивное аканье // *Проблемы фонетики. II. М., 1995.*

Князев С. В. Фонетическая реализация ударения в различных фразовых позициях в современном русском языке // *Фонетика сегодня: актуальные проблемы и университетское образование: Тезисы докладов Международной конференции. Звенигород, 25—27 ноября 1998 г. М., 1998.*

Князев С. В. О прогрессивной ассимиляции в русском языке // *Вестник МГУ. Сер. 9. Филология. 1999. № 4.*

Князев С. В. К вопросу о механизме возникновения аканья // *Вопросы языкознания. 2000. № 1.*

Князев С. В. К истории формирования некоторых типов аканья и яканья в русском языке // *Вопросы русского языкознания. Вып. 8. МГУ, 2001.*

Князев С. В., Левина А. Н., Пожарицкая С. К. О говорах Верхней Пинеги и Выи // *Вопросы русского языкознания. Вып. 7: Русские диалекты: история и современность. М., 1997.*

Князев С. В., Пожарицкая С. К. О механизме формирования умеренного яканья в русских говорах // *Аванесовские чтения: Международная научная конференция 14—15 февраля 2002 г: Тезисы докладов. М., 2002.*

Котков С. И. К изучению орловских говоров // *Уч. зап. Орловского пед. ин-та. Т. 7. Вып. 3. Орел, 1952.*

Кузнецов В. Б., Отт В. А. Автоматический синтез речи. Алгоритмы преобразования «буква—звук» и управление длительностью речевых сегментов. Таллин, 1989.

Кузнецов П. С. К вопросу о происхождении аканья // *Вопросы языкознания. 1964. № 1.*

Курило О. Б. До питання про умови диссимилятивного акання // *Зап. історико-філологічного відділу Укр. АН, XVII. Київ, 1928.*

Лыткин В. И. Еще к вопросу о происхождении русского аканья // *Вопросы языкознания. 1965. № 4.*

Мораховская О. Н. Соотношение типов яканья в говорах рязанской мещеры // *Материалы и исследования по русской диалектологии. Новая серия. Т. 3. М., 1962.*

Новопокровская В. Н. Диалектные особенности рязанских говоров XVII века (по рукописи Рязанского областного архива УМВД). Дис. ... канд. филол. наук. Рязань, 1955.

Новопокровская В. Н. О некоторых особенностях вокализма рязанских говоров XVII в. // *Материалы совещания по изучению южнорусских говоров и памятников письменности при Воронежском университете. Воронеж, 1959.*

Образование севернорусского наречия и среднерусских говоров (по материалам лингвистической географии). М., 1970.



*Орлова В.Г.* Русско-белорусские языковые отношения по данным диалектологических атласов // Материалы и исследования по русской диалектологии. Вып. 2. М., 1961.

*Пауфощима Р.Ф.* Активные процессы в современном русском литературном произношении (ассимилятивные изменения безударных гласных) // Известия ОЛЯ АН СССР. Сер. литературы и языка. 1980. Т. 39. № 1.

*Потебня А.А.* О звуковых особенностях русских наречий // Филологические записки. Воронеж, 1865. Вып. 1.

*Руделев В.Г.* К фонологической интерпретации русского аканья // Вопросы языкознания. 1963. № 2.

*Сидоров В.Н.* О происхождении умеренного яканья в среднерусских говорах // Известия ОЛЯ АН СССР. М., 1951. Вып. 2.

*Сидоров В.Н.* Умеренное яканье в среднерусских говорах и севернорусское ёканье // *Сидоров В.Н.* Из истории звуков русского языка. М., 1966.

*Сидоров В.Н.* Два пути образования умеренного яканья из ёканья // *Сидоров В.Н.* Из русской исторической фонетики. М., 1969.

*Скобликова Е.С.* О судьбе этимологического ѣ в первом предупредном слоге перед твердым согласным в говорах владимирско-поволжской группы // Материалы и исследования по русской диалектологии. Новая серия. Т. 3. М., 1962.

*Трубецкой Н.С.* О звуковых изменениях русского языка и распаде общерусского языкового единства // *Трубецкой Н.С.* Избр. труды по филологии. М., 1987.

*Филин Ф.П.* О происхождении и развитии восточнославянского аканья // *Георгиев В.И., Журавлев В.К., Филин Ф.П., Стойков С.И.* Общеславянское значение проблемы аканья. София, 1968.

*Филин Ф.П.* Происхождение русского, украинского и белорусского языков. М., 1972.

*Хабургаев Г.А.* О фонологических условиях развития русского аканья // Вопросы языкознания. 1965. № 6.

*Хабургаев Г.А.* Географическое варьирование системных отношений как материал исторической диалектологии // Русские говоры: К изучению фонетики, грамматики, лексики. М., 1975.

*Хабургаев Г.А.* Становление русского языка (пособие по исторической грамматике). М., 1980.

*Чекмонас В.Н.* Территория зарождения и этапы развития восточнославянского аканья в свете данных лингвгеографии // *Russian Linguistics*. 1987. № 11.

*Чекмонас В.Н.* Аканье и оканье в северной части Псковской области (полновские говоры) // *Kalbotuga*. № 47 (2). *Slavistica Vilnensis*. Vilnius, 1998.

*Шахматов А.А.* Исследования в области русской фонетики. Варшава, 1893.

*Шахматов А.А.* Очерк древнейшего периода истории русского языка // Энциклопедия славянской филологии: Издание ОРЯС Имп. АН / Под ред. И. В. Ягича. Пг., 1915.

*Щерба Л.В.* Русские гласные в качественном и количественном отношении. СПб., 1912.

*Jacobson R.* Remarques sur l'évolution phonologique du russe, comparée à celle des autres langues slaves // *Travaux du Cercle Linguistique de Prague*, 2. Praha, 1929.

*Vaillant A.* Grammaire comparée des langues Slaves. T. 1. Paris, 1950.

*van Wijk N.* Zur Entwicklungsgeschichte des Akanje und Jakanje. *Slavia*, 1934—1935. XIII. № 4. S. 640—654.

Г. Ф. Ковалев

## О словаре этнических названий народов России

Названия людей по национальности или государственной принадлежности (*этнонимы*) — довольно значительная группа слов любого современного развитого литературного языка, однако до сих пор так и не составлен полный словарь этнонимов русского языка<sup>1</sup>. В существующих словарях, как правило, зафиксированы лишь наиболее употребительные этнические названия народов мира. В «Толковый словарь русского языка» под ред. Д. Н. Ушакова (М., 1935—1940) вошло около 280 этнических названий. В 17-томном «Словаре современного русского литературного языка» (М.; Л., 1948—1964) помещено всего лишь 370 этнонимов.

Дело в том, что этнонимы (и не только в русском языке) специалистами-ономастами относятся к пограничным явлениям (между онимами и апеллятивами). Этим и объясняется более чем прохладный подход отечественных лексикографов последних двух веков к этой категории слов. Поэтому-то, видимо, и произошел мощный разрыв между языковым употреблением и лексикографической фиксацией этнонимов, катойконимов и их дериватов. Особенно наглядно это видно при сопоставлении двух словарей: «Словаря языка Пушкина» (Т. 1—4. М., 1956—1961) и «Словаря русского языка» под ред. А. П. Евгеньевой (Т. 1—4. М., 1981—1984). Из первого словаря так и не смогли попасть во второй следующие этнонимы и катойконимы: аравитянин, далмат, парфянин, сорочин, шваб (немец); киевлянин, новгородец, парижанин и др. Конечно, форма некоторых этнонимов к нашему времени уже устарела: великороссиянин, сербин, грузинец, гитан; однако суть в том, что в современные словари практически не проникают даже этнонимы, активно употребляемые в современном русском языке. Естественно, не попадают туда и многие дериваты, от них образованные.

---

<sup>1</sup> Пробные статьи нашего «Словаря этнических названий народов России» см.: Материалы по русско-славянскому языкознанию. Вып. 21. Воронеж, 1996. С. 59—78 (список источников, А—Г); Вып. 22. 1997. С. 135—152 (Д—Л); Вып. 23. 1998. С. 152—164 (М—Н); Вып. 24. 1999. С. 165—168 (О—Р).

Следует, однако, заметить, что интересы лексикографов в отношении ономастической лексики и производных от нее колебались на протяжении всей истории российской лексикографии.

Первым собирателем русской этнонимии следует считать одного из авторов-составителей «Повести временных лет» Нестора. Именно он наиболее полно и четко зафиксировал основную массу этнонимов VIII—X вв., причем он же дал и первые, иногда наивные, объяснения древнерусских этнонимов, т. е. показал в доступной для своего времени форме их происхождение: «и прозвашася имени своими где сѣдше на которомъ мѣстѣ яко пришедше сѣдоша на рѣцѣ иманемъ марава и прозвашася моравѣ», «а друзии древлане зане сѣдоша в лѣсѣхъ», «инии сѣдоша на двине и нарекошася полочане и рѣчки ради яже втечетъ въ двину иманемъ полота», «бужане зане сѣдоша по бугу»<sup>2</sup>.

Наиболее живой интерес к этнонимии и катойконимии ощущался в XVIII в. Так, известный русский историк и общественный деятель И. Н. Болтин в замечаниях к проекту словаря на собрании Российской Академии наук 13 января 1784 г. предлагал: «Касательно имен городов, морей и проч., хотя описание оных и принадлежит словарю географическому... но, кажется, не неприлично будет некоторые из них поместить и в словарь языка, и именно только имена государств, столиц, главнейших морей, величайших островов и самых знаменательных рек... Нужно сие... для производства имен прилагательных, отечественных, каковы суть: француз, неаполитанец и проч.: английский, венгерский и проч.»<sup>3</sup>.

Такой подход И. Н. Болтина к проблемам состава словника академического словаря был весьма прогрессивным для своего времени. Он учитывал важность и необходимость ономастической лексики, но еще большее значение придавал отономастическим дериватам, к которым были отнесены прежде всего отхоронимические прилагательные, этнонимы и катойконимы. Тем не менее и сейчас можно констатировать, что принципы словника, выдвинутые И. Н. Болтиным, пока практически не реализованы ни в одной из славянских лексикографий (пожалуй, в какой-то степени исключением являются достижения в этом отношении словацкой и македонской лексикографических школ).

Если уж говорить о заслугах отечественной лексикографии XVIII в., то не грех напомнить и о том, что такой лексикографический труд энциклопедического характера, как «Лексикон россий-

<sup>2</sup> Полное собрание русских летописей. Т. 1. М., 1962. С. 5—11.

<sup>3</sup> Цит. по: Сухомлинов М. И. История Российской академии. Вып. 5. СПб., 1880. С. 282.

ской исторической, географической, политической и гражданской» В. Н. Татищева (Ч. 1—3. СПб., 1793), составленный им приблизительно в 1733—1745 гг. и доведенный лишь до слова «ключник», уже содержал в себе 89 статей на этнонимы, не считая отсылочных статей и этнонимов, не ставших заголовочными словами и, соответственно, попавших в другие словарные статьи. Для той поры и это было грандиозным успехом.

Составленный позднее А. М. Щекатовым «Словарь географический Российского государства...» (М., 1804—1809) также по возможности включал в заголовочные статьи различные этнические наименования в полном соответствии с требованиями алфавитного описания «некоторых кочующих при границах российских, различных, степных и горских народов, в российском подданстве действительно состоящих, другим соседственным державам подвластных, и собственно своими князьями и начальниками управляемых...», указанных на титульном листе данного словаря. Среди таких наименований можно в качестве примера привести следующие: *гангалы, горские татары, даурские степные тунгусы, джендаты, донки, древляне, едизанские татары* и т. п. Причем в указанном словаре в качестве заголовочных статей подаются не только общепринятые в русском языке этнонимы, но и необычные для русских самоназвания некоторых народов, например: «донки сами себя так называют тунгузы, народ, живущий в Сибири» (Ч. 2. С. 261).

В работе анонимного автора, подписанной К. (Ф. Ф. Корф?) и опубликованной в 1820 г., помещен «Опыт этнографических и географических синонимов» (с. 34—35). В этих таблицах была сделана попытка представить этнонимы не только в том виде, в каком с ними знакомы русские, но и на языках самих этих народов и их ближайших соседей. Автор обратил внимание на множество ошибок, допущенных в оригинальной работе Ф. П. Аделунга, изданной на немецком языке, а также сделал ряд ценных дополнений (с. 35—36).

Одной из первых попыток представить в упорядоченном, классифицированном виде этнонимический материал была работа Д. И. Корвин-Веледницкого «Классификация и численность народов земли. Географические названия» (Тифлис, 1915). Автор предложил свой критерий в отношении этнонимии: «Ввиду того, что один и тот же народ соседние и другие народы называют каждый по своему, — всего лучше называть каждый народ так, как он сам себя называет (автоназвание)» (с. 7). Труд этот был скорее географо-этнографическим, поэтому классификация в принципе шла

не по линии названий народов, а по этносам, т. е. по языковым семьям и расам. Автор сделал попытку наряду с общепринятыми этнонимами дать и самоназвания народов, например: *осетин — ирон, финляндец — суомен* и т. д. (с. 28—29).

В 20-е годы XX в. начала активную работу Комиссия по изучению племенного состава РСФСР. Члены этой комиссии тщательно изучали национальный состав различных регионов России (а позднее — СССР) того времени. Результатом этой деятельности явились как монографии по этнодемографии народов России, так и издание списков этнических названий этих народов. Здесь в первую очередь следует отметить работы И. И. Зарубина, который в рамках Трудов Комиссии по изучению племенного состава РСФСР/СССР (далее — ТКИПС) подготовил две монографии: «Список народностей Туркестанского края» (ТКИПС. Вып. 9. Л., 1925.) и «Список народностей СССР» (ТКИПС. Вып. 13. Л., 1927). С. К. Патканов подготовил «Список народностей Сибири» (ТКИПС. Вып. 7. Пг., 1923). Много в этом направлении по Кавказу было сделано и Н. Я. Марром (ТКИПС. Вып. 3—5. Пг., 1920—1923).

К переписи населения 1926 г. был подготовлен Словарь народностей для разработки материалов Всесоюзной переписи населения 1926 года, где в алфавитном порядке подавался не только наиболее полный к тому времени список этнонимов, обозначающих национальности, проживавшие в СССР, но и даны были многие варианты этих наименований (Всесоюзная перепись 1926 г. Т. 17. М., 1929. С. 107—109).

В России проживает более 150 коренных этносов самого различного уровня — от нации до этнографической группы или рода, каждый из которых имеет свое *самоназвание*, зачастую не совпадающее с бытующим в русском языке. В самом же русском языке многие этнонимы часто варьируются, поэтому этнонимия народов России с учетом исторических и словообразовательных вариантов может составить не менее 3000 единиц.

Выборка этнонимов для нашего «Словаря этнических названий народов России» велась из таких источников, как: древнерусские летописи, древние грамоты, описания путешествий, дипломатические документы, мемуары и переписка частных лиц. Привлекалась также специальная литература по истории и этнографии России, а также данные из научно-популярных журналов и газет XVIII—XX вв. В результате целенаправленной выборки в картотеке Словаря сейчас насчитывается более 10 000 карточек, содержащих описания народов и объяснение этнических наименований, покрывающих практически все исторические этносы, а также народы, жи-

вущие сейчас в России. На базе этой картотеки и составляется «Словарь этнических названий народов России».

Большой проблемой Словаря является проблема отбора в качестве словарных статей только тех этнонимов, которые являются названиями коренных этносов, а также этносов, тесно связанных с этногенезом этносов России. Мы пришли к выводу, что Словарь будет отражать в основном этнонимиию *коренных этносов* России, а также этносов, когда-либо в древности населявших Россию. Мы не будем описывать этнонимы некоренных этносов, так как их причисление к этносам России почти не имеет базы (например, сербы, хорваты, чехи и т. д.). К сожалению, по линии значительного увеличения числа этносов России пошли авторы такого солидного издания, как «Народы России. Энциклопедия» (М., 1994). Причем, если, скажем, авторы этого издания причисляют к народам России караимов, то аргументируют это тем, что основное место их проживания — Крым, а в России — Санкт-Петербург и Москва (при общей численности их в России — 680 чел.). Да в этих городах вьетнамцев проживает гораздо больше. Так что же, и их причислять к народам России?

Следом за авторами энциклопедии «Народы России», в точности повторяя многие параметры, издала свою книгу Р. А. Агеева (Какого мы роду-племени? Народы России: имена и судьбы. Словарь-справочник. М., 2000. 422 с.). И в ней тоже неоправданно увеличено количество коренных народов России (и, соответственно, заголовочных статей). В то же время множество этнонимических единиц прошло мимо исследователей.

Словарь этнонимов, на наш взгляд, должен удовлетворять прежде всего двум главным требованиям: 1) зафиксировать все богатство и разнообразие этнических наименований, накопленных русским языком за весь период его существования; 2) определить норму употребления этнонима, по крайней мере для современного состояния языка.

Этим двум критериям, на наш взгляд, отвечает следующий тип словарной статьи: сначала подается нормированный этноним, затем идут словообразовательные и исторические варианты, встретившиеся хотя бы раз в источниках. Сами этнонимы (за исключением неизменяемых) подаются в трех формах: 1) множественное число мужского рода, поскольку это наиболее терминологичная форма; 2) дериват единственного числа мужского рода; 3) дериват женского рода, самая редкая в словарях форма.

Приведем образцы словарных статей (список сокращений источников см.: Материалы по русско-славянскому языкознанию. Вып. 21. Воронеж, 1996. С. 60—62):

**аварцы, аварец, аварка** — народ в Дагестане: «Имя Лиза *аварцы* произносили с почтением» (Комс. пр., 1979, 24 июня), «Идеал или кодекс “настоящего *аварца*” более компактен, строг и понятен — и ребенку, и взрослому» (Комс. пр., 1980, 25 дек.), «... спускаясь к дому по узкой мощеной улочке, она с трудом притушила улыбку под недоуменно-пристальным взглядом повстречавшейся старой *аварки*» (Комс. пр., 1979, 24 июня); *авары* и *овары*: «А я, холоп ваш, учинил было под вашею царскою высокою рукою в холопстве кумычан, кайтаков, казыкумыков и тарковцев, и *аваров...*» (1653 г. РДО, с. 193), «Авары или *овары*» (Татищев, с. 154). Самоназвание — *маарулал* (горские аварцы) и *хьиндалал* (долинные аварцы).

**авары** — древний союз тюркоязычных племен, живших от северного Причерноморья до территории нынешней Венгрии: «*Авары* — обры, племя, родственные гуннам, жившее близ Азовского моря, затем в Паннонии и по всему Дунаю» (ЭС-1, с. 8); *Объръ*, *Обринъ*, *Обрыня*: «быша бо *Объръ* тѣломъ велици и оумомъ горди» (ПСРЛ-1, с. 12), «и Бъ потреби я и помраша вси и не остася ни единъ *Объринъ*» (ПСРЛ-1, с. 12).

**айны, айн, айнка** — народность, населявшая Курильские о-ва и сохранившаяся в Японии: «Мы видели даже и нивы, обрабатывание коих доказывало, что здесь живет народ, успевший в образе жизни более, чем *айны*» (*Крузенштерн И. Ф.* Путешествие вокруг света в 1804, 1805 и 1806 годах на кораблях «Надежда» и «Нева». Т. II. СПб., 1810, с. 177), «*Айн* Чокай, постоянно живший у русских, дал однажды знать Н. В. Буссе, что сахалинские японцы задумали его убить» (ВС, 1946, № 3—4, с. 55), «Нас встретила хозяйка дома — пожилая *айнка* с копной черных волос и губами, татуированными синей краской» (ВС, 1947, № 9, с. 58); *айно*: «Были записаны с помощью фонографа песни гиляков и тунгузов, и произведены многочисленные измерения, за исключением племени *Аино*, которое полагало, что такое измерение поведет к смерти» (Естествознание и география, 1900, № 9, с. 52); *айну*: «*Айну* по происхождению, учитель по профессии, этот сорокалетний мужчина стал хранителем национального богатства своего народа, его культурного наследия» (За рубежом, 1980, № 47, с. 18); *айносы*, *айнос*, *айноска*: «*Айносы* почитают в качестве божеств солнце, луну и разных зверей» (ВС, 1902, № 34, с. 543), «*Айноски* принесли для нас циновки собственного изделия, обыкновенно служащая вместо постелей» (ВС, 1902, № 34, с. 543); *айоны*, *айон*, *айонка*: «На территории южной части русского Дальнего Востока, т. е. в границах очень близких бассейну Амура и сопредельных ему районов, за исключением китайцев на юге, гиляк и *айонов* на востоке, основной массой туземного населения являются представители тунгусского племени...» (Первый туземный съезд Д. В. О. Хабаровск, 1925, с. V); *курульцы*, *курулец*, *курулка*: «Гостеприимно встречали жившие на островах айны (которых русские называли курилами или *курульцами* — об этом писал еще знаменитый исследователь Камчатки Степан Краше-

нинников) и моряков “Юноны” и “Авось”, плававших в 1807 году вдоль Курильской гряды» (ВС, 1947, № 9, с. 58); *курилы, курил, курилка*: «А на чом с тех островов к *курилам* приходят — того иноземцы сказать не умеют» (1701 г., Атласов, с. 16); *курилы мохнатые*: «Да и надеемся при этом тут чрез *мохнатых курил* с японцами установить торговлю» (1790 г. Русские открытия в Тихом океане и Сев. Америке в XVIII веке. М., 1948, с. 292); *гых курила*: «Остров Итурпу. Живут иноземцы, свой род званием *гых курила*, а матмайским и нифонским языком — *Езо...*» (Русские экспедиции по изучению северной части Тихого океана в первой пол. XVIII в. М., 1984, с. 50); *куи* (самоназвание айнов в XVII в.): «Да гиялки де сказывали им служилым людям: есть де подле моря черные люди. А называют их де *куями*» (цит. по: Долгих, с. 601); *куви*: «Именно эта группа спутников Хабаровова собрала первые известия о народе чижем (японцах), о его землях, о народе *куви* (айнах) и других» (Вопр. истории, 1984, № 3, с. 69); «...с детства представители этой народности становятся объектом расистских насмешек, основанных на игре слов: “А, ину!”, что в переводе с японского означает “Эй, собака!”. Оттого на двери, ведущей в помещение ассоциации, висит табличка с принятым сегодня официальным названием коренных жителей Северной Японии — “*утари*” (“друг”))» (Веденяпин П. Айну — значит человек // Комс. пр., 1989, 2 марта, с. 3). *Айну* означает — «человек». Древнее самоназвание айнов — *энту*.

*айоны* — см.: **айны**

**дагестаинцы, дагестанец, дагестаика** — жители Дагестана (вне национальной принадлежности): «А по прошению ж вашему чтоб вас чем пожаловать для того, что *дагистанцы* будут от вас требовать плат. И о сём определение учинено будет по возвращении нашем из здешних краев» (РДО, с. 252), «*Дагестанец* стал хозяином огромной земли и хозяином своей судьбы — такого богатства он раньше и представить не мог» (Сов. Россия, 1981, 20 янв., с. 2), «Мужчины-дагестанцы вступают в национально-смешанные браки чаще, чем женщины-*дагестанки*» (СЭ, 1978, № 3, с. 126); *дагистань*: «Горские народы, по-персички *Дагистань...* яко главные Кабарда, Кумыки, Лезгистан, Овары и проч.» (Татищев, с. 243).

**ингуши, ингуш, ингушка** — вайнахский народ на Северном Кавказе: «Интерес к фольклору чеченцев и *ингушей* проявляли А. С. Пушкин и М. Ю. Лермонтов» (Правда, 23 ноября, 1979, с. 6), «В пригородном поселке я был на том месте, где несколько недель назад БТР, возвращавшийся с учений, задавил перебежавшую дорогу девочку-*ингушку*» (Росс. газ., 1992, 21 ноября, с. 2); *ангуштинцы, ангуштинец, ангуштинка*: «Всех, которым мы писали письма, сейчас же известите и приготовьте: и тагаурцев, и *ангуштинцев*, и кистинцев, глигвов, и всех людей по сю сторону Чечни» (1791 г. Изв. Чечено-Ингушского НИИ истории, языка и литературы, Грозный, 1964, т. V, вып. 1, с. 154). Самоназвание — *галтай* или *галтаи*, возможно, происходит от нахского *герга* — «родственник». Русский этноним *ингуши* происходит от названия аула *Ангушт* (после 1800 г., сейчас — Тарское).



**ительмены, ительмен, ительменка** — одна из коренных народностей Камчатки: «Жители Камчатки — *ительмены* — чтили березу» (Сов. Россия, 1979, 8 янв., с. 4), «Рядом на лыжах бежит Тырылка, переговариваясь с худым длинноногим *ительменом*, который правит передней упряжкой» (ВС, 1946, № 5—6, с. 52), «Уже в 1-й трети 18 в. значит. часть казаков и промышленников находилась в фактич. брачных связях с *ительменками*» (НРЭ, с. 165); *камчадалы, камчадал, камчадалка*: «А за теми люторцы живут по рекам *камчадалы* — возрастом невелики, с бородами средними, лицом походят на зырян» (1701 г. Атласов, с. 14), «*Камчадал* садится обыкновенно на передок саней, вытянув ноги; кнут он употребляет весьма редко, иначе собаки перегрызутся...» (НР-2, с. 565), «Среди этих первых литераторов были и женщины (хантыйка Хабарова, ненка Талеева, эвенкийка Афанасьева, *камчадалка* Машихина)» (СЭ, 1955, № 3, с. 173); *камчадальцы, камчадалец*: «А за *камчадальцами* вдаль живут Курильские иноземцы — видом против *камчадалцев* чернее и бороды меньше» (1701 г. Атласов, с. 14). Самоназвание *итэнмы* — «жители, местные люди».

**карелы, карел, карелка** — финно-угорский народ Северо-Запада России: «Целыми волостями *карелы* бежали в другие губернии, и даже в 1924 году на квадратный километр Карельской республики приходилось два с половиной человека» (ВС, 1930, № 30, с. 447); *кареляки, кареляк, карелячка*: «Проходя по болоту, *кареляк* непременно остановится, чтобы поест морошки» (Естествознание и география, 1900, № 10, с. 60); *карельцы, карелец*: «Однако вот *карельцы*, жители далёкой деревни Авдеево из Пудожского района, застенчиво помалкивали, жались друг к другу, и эта робость передавалась другим певцам» (ВС, 1980, № 5, с. 43); *корѣла*: «В то же лѣто ходиша *Корѣла* на Емь, и отбѣжаша 2 лоиву бити» (Новг. лет., с. 27); *корѣляне, корѣлянинъ, корѣлянка*: «тѣ их избиша много а иніи разбѣгошася но и тѣхъ *Корѣляне избіша*» (ПСРЛ-1, ст. 510), «И Иванко сказаль: родомъ, господине, язъ *корѣлянинъ*, а ис *Корѣлы* меня отецъ снесъ къ Москвѣ мала, и язъ того не помню, въ которомъ погосте мы въ *Корѣлы* жили...» (Новгородские записные кабальные книги 100—104 и 111 годов. М.; Л., 1938. Ч. 1, с. 259). Самоназвание — *каръялайсет*, происходит из финск. \*кагја — 'скот' + -la, обозначающего принадлежность, то есть 'скотоводы'. Иной версии придерживался Д. В. Бубрих: «кагја-, по-видимому, связано с балт. гагја- (высота, лес) сюда относится др.-прусское *garian*». Он *кагјала* понимал как «верховые, горные» в отличие от *һәме-* — «низовых» финнов (Бубрих Д. Ямь и Корела // Бюллетень Ленинградского об-ва исследователей культуры финно-угорских народностей. Вып. 2. Л., 1929, с. 5—6).

С. В. Конявская

## Механизмы безаффиксального словообразования в истории языка на материале слов *pluralia tantum*

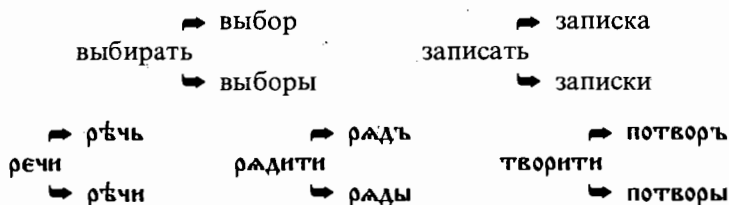
Анализ категориальных и лексико-семантических характеристик существительных *pluralia tantum*, а также общего для них значения внутренней множественности позволяет уверенно говорить о том, что они являются результатом словообразовательных процессов с объяснимыми и ясно формулируемыми отношениями между значениями производящих и производных, а не стихийных изменений формообразования слов с полной парадигмой<sup>1</sup>. Это значит, что для этих слов возможно и необходимо описать словообразовательные механизмы.

При рассмотрении механизмов собственно безморфемной деривации образование слов путем изменения числовой парадигмы должно рассматриваться в тех случаях, когда оно не осложнено аффиксацией. Количество таких слов весьма значительно как в современном русском языке, так и в языке древнерусской письменности. Однако есть слова, отнесение которых к этой группе спорно, — это слова со значением действия: *рѣчи*, *потворы*, *рады* и, менее вероятно, *дары*. Эти слова могут быть образованы от существительного с полной парадигмой (*рѣчь*, *потворь*, *радъ*, *дарь*), так же, как, например, слово *слезы* (плачь) — от *слеза*, *слезы*. А могут быть образованы и от глагола — параллельно с аналогичным существительным с полной парадигмой. О такой параллельной отглагольной деривации существительного с полной парадигмой и существительного pl. t. в современном русском языке пишет П. А. Соболева: «источников утраты грамматической соотносительности между единственным и множественным числом» существует три — «это семантическая деривация множественного числа от единственного (*леса*, *телеса*, *хоры*, *хлеба*, *часы*), лексика-

---

<sup>1</sup> Подробнее об этом см.: Конявская С.В. Теоретические вопросы исторического словообразования на примере слов Pl. t. // Древняя Русь: Вопросы медиевистики. М., 2000. № 2. С. 95—109; Конявская С.В. Область определения категории числа русских существительных: синхрония и диахрония // Древняя Русь: Вопросы медиевистики. М., 2001. № 1 (7). С. 60—70.

лизация множественного разделительного (*блочки, арабески, верха, ряды*) и параллельная деривация отглагольных имен (*отход/отходы, обмотка/обмотки, записка/записки, залежь/залежи*)<sup>2</sup>. Так, по мнению П. А. Соболевой, слово *выборы* является результатом параллельной деривации от глагола *выбирать*, а слово *записки* — это не лексикализованная форма мн. ч. от слова *записка*, а результат параллельной деривации от глагола *записать*. То есть выглядят эти цепочки следующим образом:



Применительно к современному русскому языку рассуждения П. А. Соболевой звучат вполне убедительно, но, возможно, в значительной степени потому, что подтверждаются языковой интуицией носителей языка — критерием малоприменимым к историческому языковому материалу. Поэтому с уверенностью перенести результат этого исследования на анализируемый материал вряд ли возможно, а следовательно, пока не удастся весомо аргументировать одну из двух возможностей, представляется правильным не рассматривать эти слова среди образованных безаффиксальным способом.

В процитированном отрывке упоминаются также *лексикализация* множественного числа и *семантическая деривация* множественного числа от единственного<sup>3</sup>. Разделение слов pl. t. по тому, результатом действия какого из этих механизмов они являются, так или иначе встречается нередко. Очевидно, что в его основе лежит некое объективное противопоставление.

<sup>2</sup> Соболева П. А. Словообразовательная полисемия в русском языке. М., 1981. С. 152.

<sup>3</sup> Эти понятия фигурируют и в работе В. Н. Прохоровой (*Прохорова В. Н. Русская терминология: Лексико-семантическое образование*. М., 1996. С. 102), где утверждается, что лексикализация форм мн. ч. является фактором, способствующим семантической деривации. То есть под семантической деривацией понимается не конкретный механизм, а общий способ словообразования, при котором производное слово не имеет морфологически выраженного дериватора. В таком значении, чтобы не допускать терминологической путаницы, представляется разумным использовать термин «семантическая деривация в широком смысле», или «безморфемная деривация» (*Марков В. М. О семантическом способе словообразования в русском языке*. Ижевск, 1981).

Лексикализацией множественного числа называется процесс, в результате которого регулярная (или потенциальная — в случае со словами *singularia tantum*) форма мн. ч. получает особое значение, близкое к исходному, связанное с последним на образном уровне, но все же особое.

В результате семантической (в узком смысле) деривации возникает производное слово, значение которого семантически соотносимо со значением всего производящего слова. При этом семантическая деривация в чистом виде вообще не требует формальных различий между производной и производящей единицей, например: **языкъ** (язык, наречие) → **языкъ** (народ), **потворы** (отравление) → **потворы** (отрава), **Ѹста** (орган речи) → **Ѹста** (слова, свидетельство), и в этом смысле функционирование данного механизма на исследуемом материале несколько специфично — формальное изменение здесь все-таки происходит (изменение парадигмы).

При лексикализации мн. ч. происходит переосмысление именно формы мн. ч., именно эта регулярная, противопоставленная множественность мотивирует новое значение: **деньги** (форма мн. ч. от слова **деньга** 'денежная единица') → **деньги** (деньги вообще) и др. В связи именно с этим результаты лексикализации мн. ч. — слова типа чернила. Как правило, значение производного слова помимо значения внутренней множественности осложнено каким-либо дополнительным компонентом: **языкъ** (народ) (мн. ч. — **язици**) → **язици** (иноплеменники, язычники) — иноплеменники, язычники — это не просто частный случай феномена «народ», здесь, очевидно, есть сема 'чуждый', 'враждебный'; **потворъ** (дело; произведение) > **потворы** (колдовство; отравление) — колдовство, отравление — это точно не просто частный случай феномена «дело», здесь есть еще, по меньшей мере, сема 'плохое'.

При семантической деривации в узком смысле новое значение мотивирует форма ед. ч. и значение внутренней множественности в производных единицах далеко от значения расчлененности — нерасчлененности, структурно объединенного множества: **стѣна** (стена) → **стѣны** (темница), **ножиць** (маленький нож) → **ножици** (ножницы). Было бы нелепо рассматривать значения 'темница' или 'ножницы' с точки зрения их расчлененности или нерасчлененности — это вовсе не множество, не класс и не что-либо, состоящее из стен или маленьких ножей, а совершенно другая реалья, лишь соотносимая семантически с реальей, называемой производящим словом, связанная с ней каким-либо одним (пусть и самым главным, коль скоро он лег в основу номинации) признаком.

Однако в действительности вряд ли возможно точно определить, форма единственного или множественного числа мотивирует новое слово или значение, ибо значение внутренней множественности в том или ином его проявлении, являясь для этого процесса словообразовательным, обязательно присутствует в каждом производном в качестве смыслового приращения. Это касается и слов *ножицы* и *стѣны*, которым вполне можно приписать мотивированность формой множественного числа, и, возможно, более ярких примеров — слов типа *кѹры*. Это 'время, когда поют петухи', и мотивировано это значение может быть как всей лексемой (если учитывать, что важно не количество петухов, а то, что они в это время *поют*), так и формой мн. ч. (если учитывать, что номинация возможна только в том случае, если в одно и то же время поют *все* петухи или, во всяком случае, большинство).

Так, единственный четко формулируемый признак, лежащий в основе классификации (мотивированность всей лексемой или формой множественного числа), в некоторых случаях определяется только интуитивно, а это представляется вряд ли допустимым. И поскольку разграничение этих механизмов не связано напрямую с какими-либо следствиями, есть смысл избегать его до тех пор, пока не удастся сформулировать более четкий и однозначный критерий.

Из всего сказанного отнюдь не следует невозможность упорядоченного описания механизмов неаффиксального словообразования слов рl. t. Представляется вполне возможным и целесообразным выделить для анализируемых слов словообразовательные типы и описать их с помощью словообразовательных правил.

В отношении понятия словообразовательного типа основополагающие словообразовательные концепции<sup>4</sup> различаются в основном лишь степенью детализации характеристик, определяющих принадлежность слов к одному типу. Поскольку все слова рl. t. являются существительными, все производящие в цепочках неаффиксального словообразования слов рl. t. тоже существительные и формальный прием во всех цепочках — изменение числовой парадигмы, то необходимо и достаточно остановиться только на двух моментах. Первое — это то, что называется 1) тождественностью форманта в семантическом отношении<sup>5</sup>, 2) общностью семанти-

<sup>4</sup> Русская грамматика. Т. 1. М., 1980; Современный русский язык / Под ред. В. А. Белошапковой. 3-е изд. М., 1997; *Клобуков Е. В.* Морфемика. Словообразование // Современный русский язык / Под ред. П. А. Леканта. М., 2000; Русский язык: Энциклопедия. М., 1997.

<sup>5</sup> Русская грамматика. Т. 1.

ческого соотношения между производным и производящим<sup>6</sup>, 3) общностью словообразовательного значения<sup>7</sup>. Эти понятия очевидным образом нуждаются в подведении под общий знаменатель. Фактически речь во всех формулировках идет о семантическом приращении, отличающем производное от производящего, но с различной степенью сужения этого понятия. Вариант «семантическое соотношение между производным и производящим» наиболее широкий, но и наименее строго определенный.

Формант во всех анализируемых цепочках одинаков и в семантическом отношении тождествен.

Словообразовательное значение — понятие, определяемое весьма разнообразно<sup>8</sup>, в том числе в одних концепциях — сводимое к значению форманта, а в других — включающее в себя все, что отличает каждое конкретное производное от его производящего. Суммируя, получаем представление о том, что это *обобщенное значение, возникающее в деривате* при соединении отсылочной части с формантной, *общее для ряда* мотивированных слов и *отраженное в их формальной структуре*, т. е. связанное с семантикой форманта. При таком понимании словообразовательного значения, значения 'дискретность, членимость' в двух своих вариантах — 'дискретность или множественность реалии, названной производящей основой' и 'дискретность образа, лежащего в основе номинации реалии, мотивированного тем, что названо производящей основой' в той или иной формулировке («внутренняя множественность», «структурная сложность» и т. д.) безусловно является словообразовательным для всех анализируемых цепочек.

Встает вопрос, не возникнет ли при такой формулировке опасность сведения словообразовательного значения к значению дериватора. Такое сведение неоспорно, хотя, как уже сказано выше, возможно<sup>9</sup>, а в некоторых случаях — преимущественно при модификационной деривации: смысловое приращение значением дериватора исчерпывается полностью, и значит, словообразовательное значение просто нельзя определить иначе — это цепочки, например, образующие слова со значением незрелого существа. Для

<sup>6</sup> Современный русский язык / Под ред. В. А. Белошапковой.

<sup>7</sup> Клобуков Е. В. Морфемика. Словообразование; Русский язык: Энциклопедия.

<sup>8</sup> Клобуков Е. В. Морфемика. Словообразование; Русский язык: Энциклопедия; Лингвистический энциклопедический словарь. М., 1990; Современный русский язык / Под ред. В. А. Белошапковой; Земская Е. А. Словообразование как деятельность. М., 1992.

<sup>9</sup> Клобуков Е. В. Морфемика. Словообразование. С. 219.

разных групп дериватов словообразовательное значение определяется с разной степенью обобщенности. Очевидно, что этот уровень обобщенности должен быть чем-то обусловлен, а не устанавливаться произвольно. Анализируя практику словообразовательных описаний, можно сделать вывод о том, что конкретизировать словообразовательное значение можно тем больше, чем более узко значение дериватора и чем больше формальных (структурных и категориальных) особенностей могут это значение детализировать. Это представляется вполне естественным: чем больше характеристик процесса словообразования дополнительно к значению дериватора можно выявить, тем точнее можно описать значение, возникающее в деривате при соединении отсылочной части с формантной. В тех же случаях, когда дополнительных характеристик нет, приходится ограничиваться такими общими формулировками, как 'признак, связанный с тем, что названо производящей основой' (производные относительные прилагательные *больной, деревянный*). Утверждать, что в таких случаях словообразовательное значение определяется именно значением дериватора (важно, что именно определяется, а не совпадает), позволяет также то, что в отсутствие формального выражения дать формулировку словообразовательного значения невозможно вовсе — как в случаях «семантического словообразования» в чистом виде — типа *лисичка* — *лисичка*, *ручка* — *ручка* — так называемой метафоризации (хотя о метафоре в данном случае можно говорить достаточно условно).

Следовательно, словообразовательные типы в данном случае, очевидно, должны выделяться на основании соотношения значений производящих и производных, понимая под этим все приращение, исключая словообразовательное значение.

Второе, что необходимо оговорить в связи с понятием словообразовательного типа, — это представляющаяся необходимой для его определения и включенная Е. В. Клобуковым в список обязательных характеристика «одинаковый вид словообразования»<sup>10</sup>. Вид словообразования также определяется семантическими отношениями производящих и производных, однако для целей формулировки словообразовательных правил представляется целесообразным выделить его в отдельную характеристику. Все разбираемые цепочки являются цепочками номинативного словообразования, но среди них очевидным образом выделяются модификационные и мутационные.

<sup>10</sup> Клобуков Е. В. Морфемика. Словообразование. С. 229.

С учетом всего сказанного, получается двухуровневая классификация, первым уровнем которой будет деление на модификационный и мутационный словообразовательные типы, а вторым — деление на основании более частных (но все равно значительно обобщенных!) семантических отношений.

Так, к модификационному словообразовательному типу будут относиться цепочки:

**языкъ, языци** (народ) → **языци** (иноплеменники, язычники)

**ѡтро, ѡтра** (печень) → **ѡтра** (внутренности)

**вода** (вода) → **воды** (водные пространства)

**возъ, возы** (воз) → **возы** (обоз)

**вои, вои** (воин) → **вои** (войска, силы)

(**даръ** (дар) → **дары** (дипломатическое подношение; брачное приданное; дары святые))

**деньга, деньги** (денежная единица) → **деньги** (деньги)

**дрѹгъ, дрѹзи** (друг) → **дрѹзи** (дружина, войско)

**жито** (хлеб) → **жита** (хлеба, поле)

**жьрновъ, жьрнова** (жернов) → **жьрнова** (жернова)

**кѹна, кѹны** (денежная единица) → **кѹны** (деньги)

(**потворъ, потворы** (дело, произведение) → **потворы** (колдовство, отравление))

**пѣназь, пѣнази** (денежная единица) → **пѣнази** (деньги)

(**рѣчь** (звук, слово) → **рѣчи** (речь, слова))

**рѹбль, рѹбли** (денежная единица) → **рѹбли** (деньги)

**риза, рѣзы** (одежда, одеяние) → **ризы** (священническое облачение)

**сѣдина** (седина) → **сѣдины** (седые волосы)

**скала, скалы** (чаша весовая) → **скалы** (весы)

**слеза, слезы** (слеза) → **слезы** (плач)

**сторожь, сторожи** (сторож) → **сторожи** (сторожевой отряд, передовой отряд, авангард)

**цѡта, цѡты** (мелкая монета) → **цѡты** (деньги)

**чадо, чада** (ребенок) → **чада** (потомки).

К мутационному — цепочки:

**баба, бабы** (баба) → **бабы** (созвездие Плеяды)

**близньць, близньци** (близнец) → **близньци** (созвездие Близнецы)



- Ѹгълъ, Ѹглы (угол) → Ѹглы (дом, жилье)  
 власъ, власы (волос) → власы (хвост кометы)  
 желѣзо (ferrum) → желѣза (оковы)  
 кѹна, кѹны (куница) → кѹны (шкурки, куний мех)  
 кѹръ, кѹры (петух) → кѹры (время, когда поют петухи)  
 морхъ, морхи (ворс на ткани) → морхи (украшение в виде кисти на лбу лошади)  
 мощь (сила) → мощи (мощи)  
 ножиць, ножици (маленький нож) → ножици (ножницы)  
 оковъ, оковы (железная скоба) → оковы (оковы)  
 полата, полаты (дом, дворец) → полаты (ризница, сокровищница; хоры церковные)  
 рыба, рыбы (рыба) → рыбы (созвездие)  
 (радъ, рады (ряд; строка; порядок; правило; договор; ...) → рады (переговоры))  
 сѣнь (тень; ...) → сѣни (крыльцо, дом, палаты, портик)  
 свѣтлота (сияние, благолепие) → свѣтлоты (светлые райские селения)  
 стѣна, стѣны (стена) → стѣны (темница)  
 цка, цки (доска, металлическая пластина) → цки (сшитые шкурки, целый мех)  
 чадо, чада (ребенок) → чада (паства)  
 часъ, часы (час, время) → часы (местное время)  
 часъ, часы (час, время) → часы (прибор для измерения времени)  
 часъ, часы (час, время) → часы (церковная служба)  
 чрѣво, чрѣва (живот, брюхо) → чрѣва (внутренности)

Большинство цепочек модификационного типа характеризуют отношения градации — «род — вид» или «вид — род». Меньшую часть — отношения смежности, как правило, в варианте «часть — целое».

Цепочки мутационного типа характеризуются отношениями подобия и смежности, причем смежности, как правило, не прямой, а метафорической или функциональной (общий признак).

Чтобы не приводить многочисленные ряды примеров каждого из этих отношений, достаточно удобным видится представление материала в виде таблицы.

		Мутация	Модификация
Градация	Род/вид		(даръ, дары (дар) — дары (дипломатическое подношение, брачное приданое)), (даръ, дары (дар) — дары (дары святыи)), дрѹгъ, дрѹзи (друг) — дрѹзи (дружина), (потворъ, потворы (дело, произведение) — потворы (колдовство, отравление)), рнза, рнзы (одежда) — рнзы (священническое облачение), сторожъ, сторожи (сторож) — сторожи (сторожевой отряд, передовой отряд, авангард), ѡзыкъ, ѡзыци (народ) — ѡзыци (иноплеменники, язычники)
	Вид/род		деньга, деньги — деньги, пѣназь, пѣнази — пѣнази, кѹна, кѹны — кѹны, рѹбелъ, рѹбелн — рѹбелн, цѡта, цѡты — цѡты, чада, чада (ребенок) — чада (потомки), ѡтра, ѡтра (печень) — ѡтра (внутренности)
Смежность	Собств.	ѹгълъ, ѹглы (угол) — ѹглы (дом, жилье), желѣзо (ferrum) — желѣза (оковы), кѹна, кѹны (куница) — кѹны (шкурки, кунный мех), мощь (сила) — мощи (мощи), сѣнь (тьма) — сѣнь (сени), свѣтлота (сияние, благолепие) — свѣтлоты (светлые райские селения), стѣна, стѣны (стена) — стѣны (темница), час, часы (час) — часы (прибор), час, часы — часы (местное время), час, часы — часы (служба), чрѣво, чрѣва (живот, брюхо) — чрѣва (внутренности)	вода (вода) — воды (водные пространства), слеза, слезы (слеза) — слезы (плач), рѣчь, рѣчи (звук, слово) — рѣчи (речь, слова), жито (хлеб) — жита (поле, хлеба), сѣднна — сѣднны (седые волосы)
	Часть — целое		ѡн, ѡн (воин) — ѡн (войска, силы), возъ, возы (воз) — возы (обоз), жърновъ, жърнова — жърнова, скала, скалы (чаша весовая) — скалы (весы)

	Мутация	Модификация
Смежный признак	морхъ, морхи (ворс на ткани) — морхи (украшение на лбу лошади), къръ, къры (петух) — къры (время, когда поют петухи), ножиць, ножици (маленький нож) — ножици (ножницы), оковъ, оковы (железная скоба) — оковы (оковы), (радъ, рады (ряд, порядок, договор...) — рады (переговоры))	
Подобие	власъ, власы (волосы) — власы (хвост кометы), цка, цки (доска, металлическая пластина) — цки (сшитые шкурки, цельный мех), чадо, чада (ребенок) — чада (паства), баба, бабы (баба) — бабы (созвездие Плеяды), вльзньць, вльзньци (близнец) — вльзньци (созвездие Близнецы), рыба, рыбы (рыба) — рыбы (созвездие Рыбы), полата, полаты (дом, дворец) — полаты (сокровищница церковная, церковные хоры)	

Так, слова pl. t., образованные изменением числовой парадигмы образуют следующие словообразовательные типы:

1) модификационные

а) с отношениями градации

— род — вид

— вид — род

б) с отношениями смежности

— в собственном смысле слова

— часть — целое

2) мутационные

а) с отношениями смежности

— в собственном смысле слова

— смежность признака (метафорическая смежность)

б) с отношениями подобия

Перечисленные словообразовательные типы можно описать с помощью словообразовательных правил, т. е. с учетом показате-

лей по следующим признакам: диапазон действия производных в языке, регулярность/нерегулярность процесса словообразования, его продуктивность/непродуктивность, формальный прием, категориальные и семантические признаки баз деривации и дериватов, разного рода ограничения действия правила<sup>11</sup>.

Слова рl. t. функционируют как в книжном, так и в гибридном регистрах языка древнерусской письменности, что обусловлено нейтральностью их семантики, а также и тем, что книжность/некнижность языка для этого периода лишь в очень незначительной степени может определяться лексикой. Соотношение употребляемости в книжных и гибридных текстах для большинства слов более или менее равное, за исключением отдельных из них. Так, слова *сѣни*, *сторожи*, *сѣбны* и *жита* преимущественно встречаются в летописях, а слово *чада* в значении 'потомки' встречается только в книжных текстах философского содержания (тексты Евангелия, Пророков, Изборника 1073 г., Златоструй). Однако эта информация не дает ничего для формулировки словообразовательного правила, очевидно, для слов рl. t. диапазон действия в языке с точки зрения книжности/некнижности не ограничен. Стилистически неограничен диапазон действия слов рl. t. и в современном русском языке — это и термины, и общеупотребительная лексика, и просторечные *мяса* (про полного человека), *прелести* (про женщину), и жаргонное *баксы*, и высокие *глубины*, *небеса*.

Вполне предсказуемо, что более продуктивны в истории языка и до наших дней модификационные типы образования имен рl. t.

1. Род — вид: образование специализированных значений, профессиональной лексики, части терминов<sup>12</sup> — *дары* (дипломатическое подношение), *дары* (дары святые), *дрѹзи* (дружина, войско), *выборы*, *риски* (эконом.), *бега*, *масла*, *предки* (родители).

2. Вид — род: образование обобщенных значений, значений класса объектов или понятий — *деньги*, *цаты*, *ятра* (внутренности), *чада* (потомки), *страсти*, *наклонности*.

3. Смежность: группа слов, постоянно пополняющаяся, — 'пространство, заполненное тем (характеризующееся наличием того), что названо производящей основой' — *воды*, *жита*, *хлеба*, *пески*. И еще одна группа, также весьма продуктивная, — 'носитель призна-

<sup>11</sup> Признаки, показатели которых формируют словообразовательное правило, даны в соответствии со словарной статьей «Словообразование», написанной Е. С. Кубряковой для ЛЭС (Лингвистический энциклопедический словарь. М., 1990. С. 467—468).

<sup>12</sup> Подробнее об этом в кн.: Прохорова В. Н. Русская терминология (лексико-семантическое образование). М., 1996.

ка, названного производящей основой', — *сѣдины* (седые волосы), *красоты*, *глубины*, *прелести* (про женщин).

4. Часть — целое: самая продуктивная группа, по отношению к ней можно даже говорить о своего рода регулярности, в том смысле, в котором о регулярности вообще можно говорить применительно к словообразованию, — все существительные, обозначающие часть пары или другого строго определенного, ограниченного по составу комплекта, образуют форму мн. ч. со значением целого, противопоставленную форме мн. ч. со значением разделенного множества (иными словами, форму мн. ч. со значением дискретности, с точки зрения количества характеризующуюся значением 'один', противопоставленную форме мн. ч. со значением недискретности, с точки зрения количества характеризующуюся значением 'не один') — *вои* (войска, силы), *слова* (текст песни или роли), *скалы* (весы), *жернова* (жернова), *перчатки*, *сапоги*, *ресницы*.

Можно спорить о том, являются ли такие формы словами pl. t., или это просто оттенки значения регулярной формы мн. ч.<sup>13</sup>, но семантические соотношения производящих и производных (слов или значений) и механизмы их образования одинаковы в языке древнерусской письменности и до наших дней. Более того, значение это предсказуемо. Подтверждает это обратный процесс — образование сингулятива (или вторичного ед. ч.) от «комплектных» pl. t. — *людик* → *людинь*, *брюки* → *брючина*, *наушники* → *наушник*, *мюсли* → *мюсля*.

Закономерно, что сложно говорить о продуктивности и тем более регулярности мутационных цепочек безаффиксального словообразования. Связи производящего и производного в них всегда объяснимы, но на порядок менее предсказуемы. Невозможно спрогнозировать ни того, будет ли вообще образовано слово pl. t., ни его возможное значение.

Из-за этого проблематично прогнозирование значения производных этим способом слов pl. t. и для всех остальных групп, кроме модификационных цепочек с отношением «часть/целое», где семантический шаг очевиден просто из-за особенности называемых и производящим и производным словами реальных. Для остальных групп можно говорить о более или менее прямой выводимости значения производного из значения производящего, но не о предсказуемости, поскольку одинаковый формальный прием для модификационных и мутационных цепочек делает непредсказуемым уже

<sup>13</sup> Подробнее об этом в кн.: *Зализняк А. А.* Русское именное словоизменение. М., 1967. С. 60—61.

то, по какому из этих типов пойдет словообразование, что, в свою очередь, делает бессмысленным все дальнейшие прогнозы. Попытки установить зависимость типов словообразования от характеристик производящих баз ненадежны уже потому, что есть цепочки мутационные и модификационные, в которых производящим является одно и то же слово:

**чадо, чада** → **чада** (потомки)

**чадо, чада** → **чада** (паства)

**вода** → **воды** (водные пространства)

**вода** → **воды** (курорт с минеральными источниками) и тому подобные примеры.

Однако необходимо оговорить, что есть одна группа среди мутационных цепочек образования слов pl. t., которая может быть в той или иной степени охарактеризована как продуктивная, — это группа с отношениями подобия. В этой группе образуются разного рода специальные названия и термины (*леса* (строительные), *кошки* (альпинистское приспособление), *бегуны* (аппарат для измельчения и амальгации руд)<sup>14</sup> и многие другие). Применительно к языку древнерусской письменности вряд ли можно говорить о терминологии в строгом смысле этого слова, однако специализированность таких слов, как *власы* (хвост кометы), *полаты* (хоры; сокровищница церковная), *цки* (сшитые шкурки, цельный мех) и т. п., достаточно очевидна.

Производными для слов pl. t. могут быть существительные любого рода, как с полной парадигмой числа, так и *singularia tantum*, как одушевленные, так и неодушевленные, как предметные, так и вещественные и абстрактные. Это объясняется самой природой так называемого семантического словообразования, где связи производящих и производных более обобщенные, чем в аффиксальных словообразовательных типах, а стало быть, могут связывать обозначения самого разного рода реалий. Более того, можно говорить (во всяком случае, на имеющемся материале) об отсутствии связи категориальных особенностей производящих баз с конкретными семантическими отношениями производящих и производных. Во всех проанализированных группах в качестве производящих встретились слова с разными показателями по перечисленным признакам, кроме группы с отношениями «смежность признака», в которой все производящие — мужского рода. Однако это представляется совпадением, возможно, вызванным неполнотой материала, во всяком случае, вряд ли объяснимым.

<sup>14</sup> Прохорова В. Н. Русская терминология... С. 104.

Что касается ограничений действия анализируемых механизмов, то надо разделить возможные ограничения, в первую очередь на семантические (слова какой семантики не могут стать производящими для слов pl. t.) и формальные (слова какого строения не могут стать производящими для слов pl. t.). Материал показывает, что производящие в таких цепочках — слова всегда общеупотребительные, неспециализированные, преимущественно называющие привычные, хорошо знакомые реалии. С формальной же точки зрения ограничения здесь сводятся к возможности или невозможности образовать форму мн. ч., которая, строго говоря, должна образовываться от любого русского существительного, коль скоро это механизм грамматический. По утверждению А. А. Зализняка, к которому представляется правильным присоединиться, «затруднения возникают лишь в тех немногих случаях, когда в языке оказывается слишком мало слов, которые могли бы послужить образцами для образования мн. ч. по аналогии...»<sup>15</sup>

В результате становится очевидным, что большинство признаков, показатели по которым формируют состав словообразовательного правила, одинаковы хотя бы для нескольких групп цепочек. В связи с этим описание механизмов безаффиксального образования имен pl. t. представляется разумным построить иерархично: от признаков, общих для всех, к признакам, противопоставляющим более и более дробные группы.

Итак, производящие и производные во всех цепочках — имена существительные, словообразовательное значение — «дискретность, внутренняя множественность», способ словообразования — изменение системы флексии, формальное выражение — неполная числовая парадигма производного слова, все цепочки относятся к номинативному виду деривации. Производящими в таких цепочках могут быть слова любого рода, как одушевленные, так и неодушевленные, как с полной парадигмой, так и *singularia tantum*, но обязательно характеризующиеся неспециализированной, обиходной семантикой, общеупотребительностью, стилистической нейтральностью и нейтральностью по отношению к языковой норме и стандартизации. Цепочки, характеризующиеся перечисленными общими признаками, образуют два словообразовательных типа в соответствии с подвидами номинативной деривации: модификационный и мутационный. Модификационный тип характеризуется большей, чем мутационный, предсказуемостью значения производных, большей продуктивностью на протяжении истории языка.

<sup>15</sup> Зализняк А. А. Русское именное словоизменение. С. 57.

Внутри каждого из названных типов выделяются подтипы в соответствии с соотношением значений производящих и производных, различающиеся, как было показано выше, семантическими характеристиками производных и степенью продуктивности. В модификационном типе это подтипы с отношениями градации, производные в котором характеризуются специализированным (род/вид) или обобщенным (вид/род) значением, и смежности, где производные называют 'пространства, характеризующиеся тем, что названо производящим' и 'носитель признака, называемого производящим' (собственно смежность) или 'реалия, состоящая из частей, названных производящим' (часть/целое). Самая продуктивная и, условно говоря, регулярная группа — это часть/целое, так как именно эти отношения лежат в основе образования полу-pluralia tantum — феномена, место которого в системе языка пока не определено окончательно, но существование которого невозможно отрицать. В мутационном типе — это подтипы с отношениями смежности (собственно смежность и смежность признака) и подобия. Значения производных формулируются для этого типа лишь предельно обобщенно: 'понятие, связанное с тем, что названо производящим' (собственно смежность), 'понятие, имеющее общую характеристику с тем, что названо производящим' (смежность признака), 'реалия, похожая на то, что названо производящим' (подобие). Наиболее продуктивна в этом типе группа с отношениями подобия, ибо по такой модели в истории языка и по сей день образуется значительная часть слов со специализированными значениями, в том числе терминов.



*Т. В. Кортава*

## **Лингвистические особенности сочинений писателей-старообрядцев XVII—XVIII вв.**

13 мая 1667 г. Собор русских и восточных епископов предал проклятию тех православных, которые пользовались дониконовскими богослужебными книгами, крестились двуперстным крестным знаменем и оставались неколебимо верными древлеправославной церковной традиции. Возникнув первоначально в религиозной сфере, раскол после Собора 1666 г. принял грандиозные масштабы. Под знаменем раскола начались гражданские бунты не только против патриарха Никона, но и против царя Алексея Михайловича, а затем и Петра I. Противостояние было настолько мощным, что Петр не смог преодолеть его ни жестокими казнями, ни массовыми сожжениями, ни расстрелами, и сам принужден был принести ему жертву: царевич Алексей, любимый наследник, сочувствовавший расколу, пал «жертвой за старину».

Отчаянные протесты старообрядцев были овеяны теократической идеей национальной избранности русского народа, его исключительного положения, за что Господь особенно требователен и строг к нему. Духовная сила сторонников старых обычаев подпитывалась идеей персонализма, лежавшей в основе христианства: старообрядцы полагали, что личной твердостью и ответственностью за свою жизненную позицию они спасают не только собственную душу, но и весь православный мир. Их страдания как последних защитников благочестия осознавались ими не только как путь к личному спасению, но и как жертва во имя всего православного мира.

Раскол — один из самых драматичных эпизодов русской истории, в основе которого лежали глубокие социально-экономические противоречия. Смутное время завершилось приходом к власти в 1613 г. Романовых (Захарьиных), представителей далеко не самого влиятельного и состоятельного рода. Это событие вызвало резкий протест мятежных бояр, который вылился в отказ платить подати «государевъ казнѣ» и оказывать почести царю. Полувеко-

вые ожидания и увещевания не увенчались успехами, необходимы были радикальные меры борьбы. Идея раскола вынашивалась и обсуждалась по историческим меркам недолго. Во второй половине 40-х годов XVII в. особое влияние при царском дворе приобрел Стефан Вонифатьев. В 1648 г. под его непосредственным давлением царь подписал указ о борьбе со скоморошеством, началась дискуссия о единоголосном и многогласном пении, вновь была введена устная проповедь. Очевидно, что раскол был инспирирован, а его последствия для узкого круга лиц predetermined: нежелание следовать новым обычаям влекло за собой полную потерю имущества и всех привилегий, насильственную смерть мятежных бояр и мгновенное обогащение царской фамилии.

Последствия раскола для истории русского народа и русской культуры оказались непредсказуемыми. Раскол постепенно принял характер народно-демократической оппозиции против преобразования России в европейскую империю. Культурный конфликт был обусловлен не догматическими, а семиотическими и филологическими разногласиями [Успенский 1994: 332]. «Протопоп богатырь» Аввакум горестно восклицал: «Охъ, бѣдная Русь, чего-то тебѣ захотѣлось латинскихъ обычаевъ и нѣмецкихъ поступокъ» [Щапов 1859: 92]. Раскол углублялся нежеланием и неумением официальных властей согласовать традиционное религиозное воспитание русского человека с потребностями европейского образования и поведения, беспощадным осмеянием старых русских обычаев, включая строгое соблюдение постов, безрассудным перениманием дурного: безудержной роскоши, богохульства и разврата.

Старообрядческая литература является важной частью нашего культурного наследия, к сожалению, малоизученной. Долгие годы старообрядческая книга была под запретом, подвергалась нещадному уничтожению, а ее хранители — жестоким наказаниям, поэтому крупных старообрядческих библиотек до нас не дошло, осколки сохранились в частных собраниях родовитого русского купечества. Непризнание официальной церковью за старообрядческими сочинениями общественного статуса привело к почти полному забвению роли и значения старообрядческих книг в русской культуре. В советское время бытовало ошибочное мнение о неактуальности изучения сочинений старообрядческих авторов как представителей религиозного, а следовательно, реакционного по своей сути учения. Все это обусловило незаслуженное невнимание, а иногда и пренебрежение к огромному пласту подлинно русского культурного наследия.

Сохранившиеся сочинения писателей-старообрядцев можно очень условно разделить на богословские и литературно-публицистические. Но без всякого сомнения можно утверждать, что все сочинения носят ярко выраженный полемический характер. Рассуждая о расколе русской церкви, Б. А. Успенский [Успенский 1994: 336] установил принципиально разный подход к языку у старообрядцев и поборников новой веры. Для новообрядцев приоритетным было содержание, а форма его выражения не подвергалась жесткому контролю. Такое соотношение соответствовало юго-западно-русской традиции; старообрядцы же сохраняли отношение к языковому знаку, принятое в Московской Руси до никоновских реформ. Они выступали за гармонию формы и содержания. Безразличие к форме было для них недопустимым, потому что отражало небрежное, неуважительное отношение к содержанию. Если вспомнить оппозицию Б. А. Успенского: язык как средство коммуникации (народно-разговорный) и язык как средство выражения (церковно-славянский), то можно сказать, что старообрядцы воспринимали церковнославянский язык как средство выражения содержания, включающее всякую возможность амбивалентного понимания.

Именно такое отношение к языковому знаку демонстрирует «чернецъ Савитеище, что былъ в мѣрѣ вашъ государевъ дьячишко Сенька Васильевъ» [Три челобитные 1862]. Сопrotивляясь нововведениям никониан, старообрядцы подняли знамя за чистоту русского языка, против еретических грамматик: «и учаль быти расколъ: въ книгахъ рѣчь, а в людѣхъ другая» [Там же: 40]. В челобитной царю Алексею Михайловичу Савватий упрекал справщиков Московского печатного двора в том, что они, не задумываясь, правили богослужебные книги, «гнушаясь славянскимъ языкомъ... иже широкъ есть, и великословен и умилень, и имѣеть въ себѣ велію похвалу» [Там же: 36]. Отдельные поправки поражают своей бессмысленностью. Савватий возмущается тем, что справщики добавили слог: вместо «ада преисподняго» стали писать «ада преисподнѣйшаго».

Некоторые моменты sprawy отражают естественное состояние грамматической системы книжно-литературного языка второй половины XVII в. Разрушение старой системы прошедших времен поколебало и изменило формальную организацию глагольных форм, но семантические смыслы, значения, закрепленные за конкретными формами, не исчезли. Они стали имплицитными, ускользающими от носителей языка, потому что в живом языке система глагольных форм не была столь разветвленной, как в церковнославянском. Упрощение формальной структуры выражения времен-

ных значений шло за счет усложнения семантической организации предложения. Савватий негодует против замены аориста «бысть» на форму перфекта «быль еси»: «такое же соврали, напечатали: яко глагола Исусъ: возьми одръ свои и ходи, *се здравъ былъ еси*, къ тому не согрѣшай... А онъ до Христа здравъ не бывалъ, и по исцѣлении боленъ не бѣ. Не явная ли, государь, въ семь глупость?» Замена справщиков отражает их стремление архаизировать текст, привести в соответствие с мифическими древними источниками, но в действительности они делают грубые грамматические ошибки, потому что их собственное языковое сознание не может контролировать уместность императивных замен: «а свела ихъ съ ума несовершенная ихъ грамматика», — делает вывод Савватий [Три челобитные 1862: 26—27].

Челобитная Савватия интересна для истории литературного языка не только как факт языковой полемики, но и как памятник, отражающий грамматические нормы приказного языка. До того как принять монашество, Савва под именем Сеньки (Треньки) Васильева 40 лет прослужил в различных приказах, и когда он переходит к аргументации своей позиции и горячему убеждению царя, черты приказного языка выступают особенно ярко. В приказном языке для выражения плюсквамперфектного значения использовались глагольные формы на *-ыва/-ива* с частицей «не», а для выражения значения имперфекта те же формы, но без отрицательной частицы. В одном предложении Савватия присутствуют оба примера: «А что и просодии въ новых книгахъ превратили, по чужимъ пословицамъ (какими пословицы въ Московскомъ государствѣ *николи не говаривали*, и нынѣ не говорятъ, и книги по той рѣчи *напечатывали*» [Там же: 39] Призыв дьякона Федора умирать «за единъ азъ», выброшенный из символа веры, отражает суровую непримиримость старообрядцев к любым изменениям устоявшихся в богослужебных текстах форм.

Одним из бесстрашных последователей казненных расколуучителей был бывший подъячий Артиллерийского приказа «вор Ларка Докукинъ». После 33 лет приказной службы, в самом начале XVIII в., в 1714 г., он оказался в Петербурге и вместе с политическими мятежниками — боярином Ртищевым и попом Авраамом Михайловым — активно выступал против указа Петра I о назначении на престол нового наследника Петра Петровича и лишения наследственных прав царевича Алексея, сочувствовавшего старообрядцам. Иларион Докукин писал «возмутительные письма», прибывал их на ворота церквей, сочинял гневные проповеди, обращенные к обманутым православным, и участвовал в «сидениях» у попа

Авраама. В возрасте 67 лет был арестован, поднят на дыбу, бит кнутом, его голову взоткнули на кол, а тело колесовали. Творческий архив Докукина составляют четыре «тетрадки». Язык тетрадок, за исключением сочиненных им молитв, представляет собой причудливую контаминацию элементов двух письменных языков — церковнославянского и приказного. Poleмический характер проповедей, воззваний и прошений заставлял автора искать средства эмоционального воздействия на читателя. Элементы церковнославянского языка, по мнению Докукина, повышали авторитет письменного текста. Он искусственно распространяет архаическую флексию именительного падежа множественного числа типа *i*-склонения на существительные типа *jo*-склонения: «слушателие, учителяе, пастырие» [Есипов 1861: 15—18]. Увлекаясь архаизацией глагольных форм, Докукин путает формы числа у аориста: «и правый путь у насъ зажгоша» [Там же: 21]. Докукин мгновенно переключает стилистические коды. Это яркая характеристическая черта полемических текстов, написанных старообрядцами: «несмь достоинъ възрѣти и видѣти высоту небесную зане оставилъ путь правды, яко свинія въ калѣ, тако азъ убогіи въ грѣсѣхъ своихъ валяюся» [Там же: 15]. Очевидно, что в языковом сознании автора наиболее яркими приметами церковнославянского языка являются краткие страдательные причастия настоящего времени в предикативной функции: «вездѣ бѣдами погружаемы и многіе отъ того умерщвляемы» [Там же: 20].

В ряду деятелей раннего старообрядчества одно из самых ярких мест занимает инок Авраамий, в миру юродивый Афанасий, любимый ученик, земляк и духовный сын протопопа Аввакума, снискавший особую популярность после Собора 1666 г. Недавний юродивый, которого очень любили в Москве, стремившийся к аскетическому самоуничтожению, умерщвлению плоти, обличению грехов сильных и слабых, невзирая на общественные приличия, Авраамий боролся с никонианами устной проповедью и открыто переписывался с пустозерскими узниками. Надев монашеский клобук, инок Авраамий стал писателем, одним из первых расколоучителей. Наиболее известное богословское сочинение Авраамия — «Христианоопасный щит веры». Особый интерес для историков русского литературного языка представляют челобитные Авраамия из «Книги, глаголемой челобитная» и его неравносложные вирши. В челобитных «грешной чернецъ Авраамей» обнаруживает прочные знания норм приказного языка: в текстах встречаются качественные и безударное окончание *-ой* у прилагательных, глагольные формы на *-ива* с плюсквамперфектным значением («И я имъ ска-

заль, что я человекенко скудоумной и беспамятной, волачивался по многимъ городамъ...»), краткие формы прилагательных и страдательные причастия в атрибутивно-предикативной функции («видимъ бо ты зѣло утомлена и смущенна отъ еретика Никона», «свѣтлоглаголива устроила»), родительный на месте творительного, вариативные формы на -у («истребили безъ остатку»), родительный на месте винительного в объективном значении («и ягда ты, государь, изволилъ послушать темных властей»), но в момент высокого горения и гневного осуждения Никона Авраамий вдруг демонстрирует свободное словотворчество и начинает смело образовывать действительные причастия настоящего времени по церковнославянским моделям: «Вѣмы яко Никонъ, врагъ креста Христова, *разверзый* хулная своя уста... *истребивый* изъ нея православныя догматы, преже знаменіе христїянское *охуливый*, потомъ и символ православныя вѣры *раздравый*... книги церковныя *охуливый*... церковь Христову раздра» [Субботин 1881: 263—329].

Эти церковнославянские, по мнению Авраамия, формы выступают со значением действительных причастий прошедшего времени, будучи оформленными по моделям действительных причастий настоящего времени, которых не было в древнерусском языке. Подобные контексты свидетельствуют о том, что Авраамий как истовый последователь Аввакума активно развивал его традицию «вьяканія», или «простоговорения», искусственно сближая церковнославянский язык с народно-разговорным.

Реформа патриарха Никона, формалистическая по своей сути, не затрагивающая основ веры, отразила новые лингвистические представления. Протесты старообрядцев против метафорических выражений (например, за выражение «дождь идетъ» били 100 поклонов) не могли противостоять юго-западнорусским барочным влияниям. Тот факт, что сам Аввакум активно использовал анималистические метафоры в полемике с никонианами, свидетельствует о неумолимости тенденций языкового развития. Аввакум стремился писать «простым» русским языком. В его сочинениях закрепились устойчивые метафорические эпитеты и сравнения. Царя Алексея Михайловича Аввакум сравнивает с козлом, скачущим по холмам, а своего главного оппонента Никона — с собакой: «борзой кобель», «умерый пес», «бешеный пес», «пес смрадный», «собачий сын». Образ собаки прочно связывался в сознании Аввакума с вероломством, коварством и ложью: «никониане — борзые кобели». Его духовный сын дьякон Федор Иванов в ответ на сомнения и колебания в необходимости упорствовать ценою жизни получал от Аввакума следующие характеристики: «молодой ще-

нок, собака косая, хохлатая собака (у Даля: «хохлик» — черт, дьявол, нечистая сила. — Т. К.), гордой пес». А себя Аввакум именуется «заец бедной», старообрядцы у него — «зайцы Христовы».

Дьякон Федор Иванов расширяет сравнительно-метафорический ряд. В челобитной царю 1666 года, жалуясь на справщиков, он пишет: «блудять, государь, что *кошки по кринкам*, такъ нынѣшніе переправщики по книгам, яко мыши отгрызуть божественная писанія». Старообрядцев Федор Иванов сравнивает с овцами «посрѣде волковъ», а Никон, «яко левъ восхищая и рыкая», по словам дьякона Федора, притесняет сторонников старой веры [Там же].

В начале XVIII в. в связи с рассеянностью сторонников старой веры в среде старообрядцев произошел внутренний раскол, разделивший их на поповцев и беспоповцев. Жестокие репрессии, массовые казни, расстрелы и сожжения непокорных заставляли старообрядцев бежать на окраины, где никогда не было не только церквей, но и людских поселений. Это привело к активному развитию в XVIII в. беспоповщинских согласий, или толков. На них большое влияние оказали идеи протестантизма, распространявшего свое влияние на севере России. Одним из главных беспоповщинских согласий того времени является Поморское Выговское общежительство, или Выговская пустынь.

После шестилетнего противостояния, с 1668 по 1676 гг., мятежные соловецкие монахи рассредоточились по северным лесам и основали скиты. В 1694 г. Андрей Денисов, наследник репрессированного рода князей Мышецких, создал в Олонецкой губернии Выговскую общину (по имени р. Выг). В 1694 г. на Выге проживало 40 человек, но уже через четыре года благодаря известному старообрядческому трудолюбию на Выге было создано многоотраслевое сельское хозяйство, развивались хлебная торговля, кустарные промыслы, строились мелкие суда. В 1698 г. на Выге обитали 2000 человек. К середине XVIII в. Выговская пустынь стала процветающим культурным и экономическим центром старообрядчества. Раскольники, объединенные чувством неприятия новой жизни, несправедливо и жестоко гонимые, создали свой мир, государство в государстве. Выговские старообрядцы воссоздали значительную часть культурных институтов, существовавших в России в допетровскую эпоху: церковную литературу, иконописание, певческую школу крюкового пения, систему образования.

На Выге существовала писательская школа, наиболее видными представителями которой были Семен Денисов и Михаил Вышатын. Предполагают, что все они учились риторике в киевской духовной академии. В 1714 г. на Выг пришел Иван Филиппов, он

объединил вокруг себя писателей и историков и вдохновил их на написание цикла сочинений, отражающих историческую концепцию преемственности Выгореции от Соловецкого монастыря. Выговскую школу отличала преемственность. С момента своего рождения в ней существовали два стилистических направления: духовные стихи писались по-церковнославянски, но, с другой стороны, Выговская словесная школа развивала традиции «приказной школы стихотворства». В стихотворную речь мощным потоком вливался народно-разговорный язык. Выступая против нововведений в церкви, выговские поэты писали:

За обѣдней напереди женщины или дѣвушки стоять,  
На которыхъ больше иконъ люди глядятъ,  
Ибо у нихъ груди почти совсемъ наружѣ

[Рождественский 1910: 67].

Особенно резко выговцы выступали против употребления табака. В стихотворной форме они напоминали Петру, что его отец издал указ о запрете табачной торговли:

Ослушниковъ кнутомъ нещадно билъ;  
Тогда кто нюхал, ноздри рвали,  
На каторгу въ работу ихъ ссылали.

Выговские вирши ценны тем, что не только просторечная лексика проникала в поэзию, но и разговорный синтаксис. В поэтическую речь вводится диалог:

Случается кто кого спросить: «что-то я васъ за обѣдней не видаль?»  
На что и ответствуетъ: «да я и не бываль,  
Потому что мнѣ поликмахера не пришлось у себя застать,  
А так некому было голову убрать»

[Там же: 68].

Напоминая курильщикам, что «всякъ курящій воняетъ такъ, какъ трупъ смердящій» [Там же: 69], выговцы пишут:

Как придуть въ храмъ помолиться  
Тѣ злосмрадныя козлы,  
Табакомъ воня явится,  
Где стоять тутъ тѣ ослы

[Там же].

Как свидетельствуют тексты, выговцы продолжают традицию Аввакума в использовании анималистических метафор и сравнений. В выговской поэзии появился новый образ — «змія-искусителя», змея-собака, десятирожного змея, беса, который не любит «молитвы и поста» и «нюхаетъ табакъ безъ знаменья креста» [Там же]



Обращая свои смиренные взоры к небу, выговцы стремились стилистически возвысить свой язык и использовали гиперкорректные формы аориста:

Почто в юности мы не умрохомъ?  
 Въ самой младости мы не уснохомъ?  
 [Там же: 50].

А рассуждая о недостойной земной жизни, они пользуются только формами прошедшего времени на -л:

Грѣхъ скончался,  
 Истина охромѣла,  
 Любовь простудою больна  
 [Там же: XI].

В прозаическом сочинении об одежде, написанном в пустыни, автор сначала обрушивается на новые костюмы: «Откуда къ намъ заидоша сапоги нѣмецкія... Откуда изътиха подкатились башмаки высокоустроенныя?..», а затем в нравоучительной части переходит на стиль евангельской притчи:

«И бысть тако. Жена нѣкая сенаторица бѣ. Она же извычѣ быти въ воли своей и не творя правды мужеви своему притяжа и прочихъ подруговъ себѣ, живой блудно». И далее в том же ключе описывается путь грехопадения сенаторицы.

Все попытки выговцев сохранить традиции духовных отцов были обречены. Николай возобновил жестокие репрессии против старообрядцев. Выговская пустынь просуществовала до «выгонки» в 1836 г., но она продемонстрировала не только способность старообрядцев выжить в тяжелейших условиях, не склонившись к компромиссу с враждебным миром. Среди безлюдных и непроходимых лесов выговцы создали крупный экономический и культурный центр как духовный антипод господствующей церкви.

Кроме Выговского общежительства, в 1755 г. в глухих и болотистых Брянских лесах, в селении Стародубье, возникла еще одна беспоповщинская община. В Стародубье жил известный «раскольничий писатель» Иван Алексеев, который составил летопись Стародубской общины. Желая показать, что община возникла по Божьему промыслу, Иван Алексеев использует не только типично церковнославянские формы действительных причастий настоящего времени, но и оборот «дательный самостоятельный»:

«Настоящу въ Москвѣ велію на старовѣрцы гоненію, а наипаче вины ради сея, понеже въ лѣто 7174 отъ всякаго священнѣйшаго чина въ Москвѣ соборъ бѣ, откуда всякъ священнодействуя и

людинъ опасно наблюдаемъ въ томъ бѣше. Многіе народы, оставлюшіе своя природная мѣста сродники и други течаху въ Стародубскую область и тамъ пустыни населяюще» [Лилеев 1895: 3].

В рукописной библиотеке Стародубья есть любопытное сочинение о «картофіи». Известно, что старообрядцы называют картофель «проклятымъ зеліемъ», «чертовыми яйцами», «бѣсовымъ хлѣбомъ». Даже в современных «бульбоносных» районах в старообрядческих селах стараются не есть картофель по крайней мере по средам и пятницам. «Картофія», по мнению стародубцев, «расплодися на пагубу душамъ христіанскимъ», выросла она «изъ удъ невѣрнаго царя» и «аще который человекъ сіе зеліе ясть, той долженъ плакати до самыя смерти». Далее, пугая грешников, автор использует одиночное отрицание, характерное для приказного языка XVII в.: «аще постится и молится, за Христа кровь прольеть или на огнь его сожгутъ, — ничтоже есть, и не избѣгнетъ злыя муки». Таким страшным был грех поедания «картофіи».

Старообрядческие сочинения позволяют глубоко прочувствовать крутизну исторического поворота в русской культуре, который был осуществлен Петром I. Но они представляют собой не только историческую и культурологическую ценность. Их значимость для истории русского литературного языка трудно переоценить.

Острый полемический задор сочинений старообрядцев и стремление эмоционально воздействовать на читателя заставляли писателей прибегать к «простоговорению», «вяканію», передаче прямой речи, поэтому старообрядческие сочинения являются важным источником для изучения живого народно-разговорного языка того времени.

Старообрядческая литература, безусловно, далека от хрестоматийной. Старообрядцы наивны, откровенны и бескомпромиссны в своем желании сохранить гармонию формы и содержания, следовать во всем заветам духовных отцов и жертвовать собой ради спасения всего православного христианства. Но введение в научный оборот старообрядческих сочинений — это одно из необходимых условий непредвзятого и объективного изучения русской истории, языка, литературы и культуры.

#### Л и т е р а т у р а

*Бороздин А. К.* Очерк по истории умственной жизни русского общества в XVII веке // Записки историко-филологического факультета Императорского Санкт-Петербургского университета. СПб., 1898.

*Бубнов Н. Ю.* Старообрядческая книга в России во второй половине XVII в. СПб., 1995.

*Дружинин В.Г.* Словесные науки в Выговской Поморской пустыни. СПб., 1911.

*Есипов Г.В.* Подьячий Докукин. СПб., 1861.

*Калугин В.В.* «Псы» и «зайцы» (Иван Грозный и протопоп Аввакум) // Старообрядчество в России. М., 1994.

*Лилеев М.И.* Из истории раскола на Ветке и в Стародубье (XVII—XVIII вв.). Вып. 1. Киев, 1895.

Москва XV—XVII вв. М.: Столица, 1991.

Неизвестная Россия // К 300-летию Выговской пустыни. М., 1994.

*Поньрко Н.В.* Выговское силлабическое стихотворство // Труды Отдела древнерусской литературы. Т. 29. Л., 1974.

*Рождественский Т.С.* Памятники старообрядческой поэзии // Записки Московского Археологического института. М., 1910.

*Субботин Н.* Материалы для истории раскола. Ч. 4. Т. 7. СПб., 1881.

Три челобитные справщика Савватия, Саввы Романова и монахов Соловецкого монастыря. Три памятника из первоначальной истории русского старообрядства / Изд. Д. Е. Кожанчикова. СПб., 1862.

*Успенский Б.А.* Избранные труды. Т. 1. М., 1994.

*Успенский М.И.* Старообрядческое сочинение XVIII столетия об одежде. СПб., 1905.

*Щапов А.Н.* Русский раскол старообрядства. Казань, 1859.

*А. Г. Кравецкий*

## **Альтернативные системы в истории русской письменности XVIII—XIX вв.**

Говоря о русской письменности середины XVIII — начала XX в., мы как правило принимаем в расчет лишь тексты, написанные на русском литературном языке. Действительно, именно этот пласт письменности лег в основу культуры нового времени. Вплоть до начала XX в. то, что мы называем русской культурой нового времени, являлось культурой социальной и/или интеллектуальной элиты, а не общенациональной культурой. Аудитория, которой была адресована, например, дискуссия карамзинистов и шишковистов, была ничтожно мала по отношению к общему числу грамотного населения России.

Если для средневековой Руси необходимость адекватного описания языковой ситуации давно осознана, то по отношению к XVIII — началу XX в. такая проблема даже не ставилась. В ходе настоящей работы мы попытаемся ответить на вопрос о том, какие письменные языки имели распространение в России указанного периода и какова была степень их распространения, понятности и нормированности.

Среди изданий, распространявшихся значительными тиражами, можно выделить три типа текстов: тексты на русском литературном языке, тексты на церковнославянском языке и лубочные тексты. Весьма удобным кажется противопоставление типов письменности по технике печати. Дело в том, что тексты, изданные наборным способом, всегда были под достаточно жестким контролем государственных или синодальных структур, которые следили, в частности, и за языковой правильностью. В то же время языковая правильность цельногравированных (лубочных) изданий интересовала цензоров значительно меньше.

Что касается текстов, издаваемых типографским способом, то здесь уместно противопоставить издания гражданской и церковной печати. В большинстве случаев гражданская азбука соответствовала новому русскому литературному языку, а церковная печать — церковнославянскому. По крайней мере в сознании читате-

лей гражданский шрифт устойчиво ассоциировался с русским литературным языком, а церковная печать — с церковнославянским<sup>1</sup>.

### 1. Языковая компетентность и тип образования

Книга всегда адресована определенной аудитории. При этом языковая квалификация носителя русского языка зависит от типа полученного им образования. Тип образования формировал два противоположных полюса. На одном полюсе находились те, кто получил домашнее образование по традиционной модели<sup>2</sup>. На другом — лица, закончившие средние и высшие учебные заведения.

О существовании в XIX — начале XX в. системы обучения грамоте по церковнославянскому букварю, Часослову и Псалтири хорошо известно из этнографических описаний и мемуаров. При таком обучении учащийся заучивал названия букв, затем учился составлению из них слогов (буки + аз — ба, буки + люди + аз — бла). Сначала слова читались «по складам», а затем — «по верхам» (т. е. без названий букв). В процессе такого обучения дети заучивали наизусть значительный объем текстов (молитвы Часослова, Псалтирь и т. д.). В воспоминаниях, написанных выходцами из крестьян и городских мещан, можно найти много свидетельств того, что обучение грамоте по Часослову и Псалтири и чтение по складам было распространено очень широко<sup>3</sup>. Об этом свидетельствуют и этнографы. Интересные материалы о системе обучения и круге чтения крестьян приводит М. М. Громыко [Громыко 1991: 273—318]. К сожалению, в ее работе даже не ставится вопрос о том, на каком языке происходит обучение, хотя, судя по описанию процесса обучения и названиям учебных книг, речь идет о традиционном обучении церковнославянской, а не русской грамоте. Получивший традиционное образование человек мог читать богослужебные и

<sup>1</sup> На самом деле соотносительность полиграфических свойств издания и языковых особенностей текста иногда нарушалась. Гражданским шрифтом могли печататься и тексты, написанные на гибридном церковнославянском языке. В свою очередь тексты, написанные на русском литературном языке (например, газетные сообщения о стихийных бедствиях), могли перепечатываться в лубочном варианте церковной кириллицей. Церковнославянские тексты иногда набирались гражданским шрифтом (достаточно широкое распространение имели молитвословы, напечатанные гражданским шрифтом).

<sup>2</sup> Говоря о традиционной образовательной модели, мы имеем в виду обучение чтению по Часослову и Псалтири, которое было чрезвычайно широко распространено вплоть до реализации в 20-х годах XX в. программы ликвидации неграмотности.

<sup>3</sup> См. [Кравецкий, Плетнева 2001: 25—30; Кравецкий 1999].

лубочные книги, но далеко не всегда понимал язык произведений русской классической литературы.

Другой тип образования был ориентирован на русский и европейские языки. При этом начальное образование строилось по иной модели: обучение чтению велось на русском языке, а церковнославянский язык изучался как классический. В результате, закончив гимназию, человек становился читателем русской (и европейской) литературы, а церковнославянские тексты вызывали у него определенные трудности.

Говоря о языковой ситуации в России XIX — начала XX в., не следует забывать, что, согласно данным переписи населения 1897 г., среди носителей русского языка образование выше начального<sup>4</sup> получили 1,47% мужчин и 0,96% женщин<sup>5</sup> [Общий свод II: XXXVI]. Русский литературный язык был социальным диалектом этих 0,96—1,47% населения страны. Круг потенциальных читателей русской классической литературы был ненамного шире.

Промежуточное положение занимали те, кто получил начальное образование в государственной, земской или церковно-приходской школе. Организованная государством система начального образования постепенно эволюционировала от традиционной модели к европейской. По идее, задачей начального образования являлось приобщение учащихся к европейской культурной модели и, соответственно, к гражданской азбуке и новой русской литературе. Однако в зависимости от местных условий традиционный элемент в образовании мог превалировать.

## 2. Языковой стандарт, задаваемый учебными книгами

подавляющее большинство грамотных носителей русского языка учились читать по традиционной модели, поэтому имеет смысл остановиться на том, какие именно книги использовались при обучении.

Учение осуществлялось по книгам церковной печати, большая часть которых была напечатана в синодальных типографиях. Как

---

<sup>4</sup> «На вопрос “Где обучался или кончил курс образования” следовало отвечать: “дома”, “у причетника”, “у солдата”, “в полку”, “в 2-классном училище Министерства народного просвещения”, “в земской одноклассной школе”, “в церковно-приходской школе”, “в городском училище”, “в гимназии”, “в женском институте”, “в духовной академии” и т. д.» [Наставление I: 23—24; Наставление II: 17—18].

<sup>5</sup> Из них 97,5% получили среднее образование, причем подавляющее большинство людей, получивших образование выше начального, жило в городах [Общий свод I: XVIII].

известно, сотрудники типографий, осуществлявшие редактирование богослужебных книг, стремились к унификации церковнославянского языка. Однако на практике даже среди текстов, входящих в основной круг богослужебных книг (Служебное Евангелие и Апостол, Служебник, Требник, Октоих, Триоди, Миней), обнаруживаются тексты, заметно отличающиеся друг от друга в языковом отношении<sup>6</sup>.

Первой книгой для чтения был Букварь, в процессе изучения которого ребенка учили не столько понимать текст, сколько правильно читать его вслух. Именно поэтому основное место на начальной стадии обучения занимало чтение по складам, в результате чего приобретался навык произнесения вслух различных буквенных сочетаний<sup>7</sup>. Затем читался Часослов, Псалтирь, Евангелие. Переход от одной книги к другой сопровождался определенным ритуалом. Во многих регионах при перемене книги ученик приносил на занятие горшок каши для учащихся и деньги для учителя<sup>8</sup>. Отдельной проблемой является то, какие именно буквари, часословы и псалтири использовались в процессе обучения. По всей видимости, состав этих книг был довольно пестрым. Кроме пособий, прошедших духовную цензуру, которая следила за тем, чтобы эти издания не противоречили грамматической и орфографической норме, использовались и лубочные (цельногравированные) издания<sup>9</sup>, за орфографической правильностью которых никто не следил. В качестве учебной книги мог использоваться, например, Букварь Кариона Истомина [Лукияненко 1981: 8], переиздававшийся и в начале XIX в.<sup>10</sup>

Таким образом, при традиционном начальном обучении церковнославянскому языку учащийся мог столкнуться с книгами, которые относились к разным редакциям, грамматическим и орфо-

---

<sup>6</sup> Формирование того корпуса богослужебных книг, редактирование которого в основном завершилось в начале XVIII в., практически не исследовано. Однако даже беглое сравнение языка славянского Служебника с языком Октоиха демонстрирует значительную разницу. О различиях между иерейским и архиерейским служебниками см. [Дмитриевский 1912: 182—196].

<sup>7</sup> Описание чтения по складам у старообрядцев см. [Успенский 1997: 246—288].

<sup>8</sup> Подробнее см. [Громыко 1991: 276; Кравецкий, Плетнева 2001: 25—30].

<sup>9</sup> Описания лубочных букварей, появившихся в XVII—первой трети XIX в. см. [Ровнинский 1881 2: 483—518]. Для более позднего времени подобного сводного каталога не существует.

<sup>10</sup> Экземпляр перепечатки Букваря Карнона Истомина, осуществленной в начале XIX в., имеется в собрании А. Н. Бурганова. Пользуюсь случаем поблагодарить И. В. Поздееву и А. Лифшица за помощь в датировке этого издания.

графическим традициям. Однако относительно «читательских» представлений о правильности текста эти различия не имели никакого значения. Грамотные крестьяне не подозревали ни об отличиях книг церковной печати Москвы и Киева, ни о различиях между изданиями XVII и начала XX в. Рядом с Букварем Кариона Истомина на столе учителя мог находиться Часослов, изданный Московской синодальной типографией.

Присущий учебной литературе разноречивой допускался даже в изданиях, выпускаемых синодальными типографиями. Если для остальных книг церковной печати ставилась задача максимальной унификации изданий в текстологическом, грамматическом и орфографическом отношениях, то при издании учебной литературы это правило могло нарушаться. Так, в 70—80-е годы XIX в. Московская синодальная типография печатает подготовленные Николаем Ильминским Учебный Октоих, Учебный Часослов и Учебную Псалтирь, язык которых несколько отличался от языка стандартных богослужебных книг<sup>11</sup>. То есть разнообразие пособий и редакций, по которым происходило начальное обучение, воспринималось как данность и не казалось нежелательным.

### 3. Что читали грамотные крестьяне

По свидетельству Рачинского, который в 1867 г. основал в своем имени школу для крестьянских детей, его ученики испытывали серьезные трудности при чтении произведений русской классической литературы и в то же время хорошо понимали как церковнославянские тексты, так и славянизированные переводы начала XIX в. «Имею случай много читать с ними, много говорить с ними о том, что они читают, — писал он. — Что же делать, если вся наша поддельная народная литература претит им, и мы принуждены обращаться к литературе настоящей, неподдельной? Если при этом оказывается, что Некрасов и Островский им в горло не лезут, а следят они с замиранием сердца за терзанием Брута, за гибелью Кориолана? Если мильтоновский сатана им понятнее Павла Ивановича Чичикова? (“Потерянного рая” я и не думал заводить, они сами притащили его в школу). Если “Записки охотника”, этот перл го-

<sup>11</sup> Николай Ильминский был сторонником архаизации языка богослужебных книг. Он полагал, что приближенный к древнейшей (в идеале — кирилло-мефодиевской) редакции язык богослужебных книг будет более понятен верующим, чем язык послениконовских богослужебных книг. Лингвистическая программа Н. Ильминского изложена в его книгах [Ильминский 1882; 1886]. (См. также: [Кравецкий, Плетнева 2001: 45—50; 2003].) В настоящее время мы готовим подробное описание истории подготовки этих изданий.



голевского периода, по прозрачной красоте формы принадлежащий пушкинскому, оставляет их равнодушными, а “Ундина” Жуковского с первых стихов овладевает ими? Если им легче проникнуть с Гомером в греческий Олимп, чем с Гоголем в быт петербургских чиновников?» [Рачинский 1991: 48]. Это свидетельство — не курьез, а фиксация реальной ситуации. Крестьяне легко читали Библию и испытывали затруднения при чтении текстов, написанных на русском литературном языке. В этой связи весьма показательным является осуществленный в XIX в. перевод Библии на русский язык. Читателями этой книги были в первую очередь не грамотеи из народа<sup>12</sup>, а представители социальных верхов, которые до этого читали Библию на европейских языках, а не по-славянски.

Мы достаточно точно можем составить языковой портрет читателя произведений русской классической литературы, однако, как уже было сказано выше, число этих людей не превышало 1,5% от общего населения России. Материалов же для анализа читательского опыта подавляющего большинства населения страны у нас мало, поскольку мы не имеем хорошего описания языка богослужебных книг, а язык лубочной литературы не описан вообще. История этих двух составляющих библиотеки грамотного крестьянина совершенно различна.

Богослужебные книги подвергались сознательному редактированию, касающемуся в том числе и языка. Существовала достаточно сложная процедура утверждения любых изменений, вносимых в эти книги. Все это вело к тому, что в языковом отношении эти тексты подвергались значительной унификации.

Совершенно иную картину дает язык лубка. В отличие от наборных изданий гравированные книги почти не подвергались цензуре. Лубочная письменность оказывается куда более пестрой. Наряду со сказками, былинами, описаниями святых мест и т. д. мы обнаруживаем здесь и тексты, первоначально написанные на церковнославянском или русском литературном языке и адаптированные применительно к восприятию получивших традиционное образование крестьян<sup>13</sup>. С одной стороны, в лубочном виде воспроизводятся библейские и богослужебные тексты, а с другой — газетные сообщения<sup>14</sup> или тексты русской классической литературы<sup>15</sup>.

<sup>12</sup> И. А. Чистович, утверждавший, что перевод Библии на русский язык был с восторгом принят представителями всех сословий [Чистович 1899: 46—47 и др.], не приводит материала, который подтверждал бы это утверждение.

<sup>13</sup> См. [Плетнева 2001; 2001а].

<sup>14</sup> См. [Ровинский 1881 2: № 309—365].

<sup>15</sup> См., например, [Клепиков 1949].

#### 4. Разрушение системы

Описанная языковая ситуация оставалась стабильной до тех пор, пока сохранялась традиционная система обучения грамоте. Постепенное внедрение в начальную школу новых методик в принципе должно было привести к разрушению всей системы. Заметным толчком в этом направлении стало так называемое «хождение в народ».

Еще в начале 70-х годов будущие народники Г. А. Лопатин и Ф. В. Волховский пытались создать общество странствующих народных учителей, которые, переходя с одного места на другое, могли бы обучать крестьянских детей, не организуя постоянных школ. Параллельно с обучением детей учителя должны были беседовать с жителями села на исторические и политические темы [Малиновский 1926: 19]. Народники, иначе говоря, пытались примкнуть к уже существующему институту странствующих учителей<sup>16</sup> и использовать его для совершенно иных целей. Мы не знаем, чему и как учили детей Г. А. Лопатин и Ф. В. Волховский, однако известно, что народники начинали не с церковнославянской грамоты, а с русской, причем, отказавшись от привычного чтения по складам, пользовались модным в ту эпоху «звуковым методом» обучения грамоте.

Практические результаты «хождения в народ» были ничтожны, однако это движение сделало педагогическую проблематику модной среди демократической молодежи. Полемика о народном образовании и народной школе продолжалась вплоть до революции. Выработанная демократической общественностью программа реформы начального образования была реализована лишь в 20-е годы XX в. в ходе кампании по ликвидации неграмотности.

Творцы государственной программы ликвидации неграмотности ориентировались в своей деятельности на элитарный вариант культуры, не считаясь с традиционными образовательными моделями. Текстами для заучивания теперь стали произведения авторов русской классической литературы (это практикуется и сегодня). В процессе обучения насаждалась единая языковая норма (в том числе и фонетическая), ни в коей мере не соотносящаяся с тем диалектом, на котором говорили ученики.

\* \* \*

Говоря о языковой ситуации России XVIII—XIX вв., необходимо иметь в виду, что русским литературным языком владела нич-

<sup>16</sup> О странствующих учителях см. [Громыко 1991: 286—293].

тожно малая часть населения страны. Для подавляющего большинства грамотного населения России церковнославянский язык был более понятным, чем русский литературный. Лишь в результате кампании по ликвидации неграмотности восторжествовала та образовательная модель, которая является стандартной и в настоящее время. Тогда же начинает формироваться и та языковая ситуация, которую мы имеем в настоящее время. Перенос современной языковой ситуации на Россию XVIII—XIX вв. заставляет говорить о языке богослужебных книг и лубочной литературы как о периферийных явлениях в истории письменного языка, хотя для этого времени корректнее было бы рассматривать как периферию русский литературный язык.

### Л и т е р а т у р а

- Громыко 1991 — *Громыко М. М.* Мир русской деревни. М., 1991.
- Дмитриевский 1912 — *Дмитриевский А. А.* Отзыв о сочинении М. М. Орлова «Литургия св. Василия Великого» // Сборник отчетов о премиях и наградах, присуждаемых императорской Академией Наук. Отчеты за 1909 г. СПб., 1912. С. 176—347.
- Ильминский 1882 — *Ильминский Н. И.* Размышления о сравнительном достоинстве в отношении языка разновременных редакций церковнославянского перевода Псалтири и Евангелия. Казань, 1882.
- Ильминский 1886 — *Ильминский Н. И.* Размышления о сравнительном достоинстве в отношении языка разновременных редакций. СПб., 1886.
- Клепиков 1949 — А. С. Пушкин и его произведения в русской народной картинке. / Научное описание, комментарии и вступительная статья С. А. Клепикова. М., 1949.
- Кравецкий 1999 — Церковнославянский язык как предмет этнографии // Славянские этюды. Сборник к юбилею С. М. Толстой. М. 1999. С. 228—242.
- Кравецкий, Плетнева 2001 — *Кравецкий А. Г., Плетнева А. А.* Церковнославянский язык в России (конец XIX—XX вв.). М., 2001.
- Кравецкий, Плетнева 2003 — *Кравецкий А. Г., Плетнева А. А.* К вопросу о формировании учебной редакции богослужебных книг // Лингвистическое источниковедение и история русского языка. 2002. М., 2003 (в печати).
- Лукияненко 1981 — *Лукияненко В. И.* У истоков русского букваря. — БУКВАРЬ составлен Карионом Истоминым, гравирован Леонтием Буниным, отпечатан в 1694 году в Москве. Факсимильное воспроизведение экземпляра, хранящегося в Государственной Публичной библиотеке имени М. Е. Салтыкова-Щедрина. Л., 1981.
- Малиновский 1926 — *Малиновский Н.* Народный учитель в революционном движении. М., 1926.
- Наставление I — Первая всеобщая перепись населения Российской империи. Наставление сельским счетчикам. Б/м., 1896.
- Наставление II — Первая всеобщая перепись населения Российской империи. Наставление городским счетчикам. Б/м., 1896.

Общий свод I—II — Первая всеобщая перепись... Общий свод по Империи результатов разработки данных первой всеобщей переписи населения. Ч. 1—2. СПб., 1905.

Плетнева 2001 — *Плетнева А.А.* Социолингвистика и проблемы истории русского языка XVIII—XIX веков // Жизнь языка. Сб. статей к 80-летию Михаила Викторовича Панова. М., 2001. С. 269—279.

Плетнева 2001a — *Плетнева А.А.* Образ России в лубочной традиции // Образы России в научном, художественном и публицистическом дискурсе. Материалы международной научной конференции. Петрозаводск, 2001. С. 50—57.

Рачинский 1991 — *Рачинский С.А.* Сельская школа: Сборник статей. М., 1991.

Ровинский 1881 — *Ровинский Д.А.* Русские народные картинки. Т. 1—5. СПб., 1881.

Успенский 1997 — *Успенский Б.А.* Избранные труды. Т. 3. Общее и славянское языкознание. М., 1997.

Чистович 1899 — *Чистович И.А.* История перевода Библии на русский язык. СПб., 1899.

Е. В. Красильникова

## О выборе форм числа имен существительных в стихе

Формы числа существительных различаются количеством слогов (в определенных падежных формах) и ударением (в определенных моделях). Выбор форм числа в стихе обусловлен ритмической структурой и структурой рифмы. Естественно поставить вопрос, как стиховые факторы влияют на употребление форм числа, когда в них есть варьирование количества слогов — речь идет о формах с нулевым и ненулевым окончанием (проблемы ударения в докладе мы не касаемся). Нулевое окончание выступает в русском языке в формах именительного/винительного падежа единственного числа II и III склонения неодушевленных существительных (*стол, степь*), именительного падежа одушевленных существительных (*гость*), в форме родительного падежа множественного числа и совпадающего с ним винительного существительных I и II склонения (*рощ, пап, грузин, армян, горожан, сапог, грамм, волос, глаз, болот, яблок, утр, солнц*), см. [Еськова 1994]. Чередование нуля с гласным в основе не меняет слоговую структуру словоформы в случаях: *загадка, блюдец — загадок, вишен, семей, судей, колдуний, ядер, полотенец, блюдец, ущелий* (в этих формах в единственном и множественном числе наблюдается равное количество слогов).

Мы рассмотрим выбор форм числа, обусловленный стиховыми факторами в текстах трех поэтов XX века — А. Блока, В. Хлебникова, Н. Гумилева (к сожалению, полностью представить материал невозможно).

1. Первое явление — выбор формы множественного числа, отличающейся слоговой структурой (ср. совпадение слогов — *тьма, тьмы*), вещественных и абстрактных существительных, названий признаков и действий (*горох, нефть, бег, удаль, смелость*). Как писал И. Анненский, поэт может вывести «из оцепенелости сингулярных форм целый ряд отвлеченных слов» [Анненский 1979]. Это явление рассматривается многими лингвистами [Гофман 1937; Ионова 1988; Красильникова 1993; Кожевникова 1995]. Очень многочисленны формы родительного падежа множественного числа:

Не для ласковых слов я выковывал дух,  
Не для *дружб* я боролся с судьбой

(А. Блок);

Я к вам ползу в припляске *корч*  
Одетый язвами из *порч*

(В. Хлебников).

2. Обусловленность стиховыми условиями выбора формы числа у слов: *туман, даль, роса, тень, след, звук, волна, слеза, луч, мечта, горизонт* — вызывает их вариативность:

За *туманом*, за лесами  
Загорится — пропадет,  
Еду влажными полями —  
Снова издали мелькнет;  
Взирал в лицо я смерти холодной  
И бесконечно долго ждал  
В *туманы* всматриваясь жадно

(А. Блок).

Для Н. Гумилева характерны формы множественного числа в лексемах: *бездны, зыби, пены, светы, мраки, бреды*:

Слишком долго мы были  
Затеряны в *безднах*;  
Разорвало могучие сплавы *зыбей*;  
Я борюсь с водоворотами  
И клокочущими *пенами*;  
Путь этот — *светы и мраки*,  
Посвист в разбойных полях.

3. Что касается выбора формы числа парных предметов — *глаза, очи, брови, руки, ноги, крылья, весла, ставни* и др., то в поэзии начала века заметно предпочтение формы единственного числа:

И остались — улыбкой сведенная *бровь*,  
Сжатый рот и печальная власть;  
Мы встречались с тобой на закате,  
Ты *веслом* рассекала залив

(А. Блок).

Блеснет забытыми заботами  
Волнующая *бровь*;  
Много и далёко увидит ваше *око*;  
И сохою не пахала  
Поле молодца *рука*.

Ср.: Лицо даете нам вы даром,  
И *персь* и плечи свои  
(В. Хлебников).

Она идет *стопой* воздушной;  
Но глянул царь орлиным *оком*  
(Н. Гумилев).

4. Форма числа в сравнении выбирается на основе согласования с именем — объектом сравнения. Но возможно и расхождение форм числа:

Строен *стан* твой, как церковные *свечи*;  
Спит *она*, улыбаясь, как *дети*;  
Твои *глаза* еще невинны,  
Как *цветик* голубой;  
И томностью пылающие *буквы*,  
Как яркий *камень* в черных волосах;  
И жалкие *крылья* мои —  
Крылья вороньего пугала —  
Пламенеют, как солнечный *шлем*.

Для Блока характерны мены чисел в сравнениях при одном предмете:

Была ты всех ярче, верней и прелестней,  
Не кляни же меня, не кляни!  
Мой *поезд* летит, как цыганская *песня*,  
Как те невозвратные *дни*.

Ср. у Н. Гумилева:

Думу пронзая, как тонкой *иглой*,  
Синими *светами* рая.

Предмет и образ сравнения у А. Блока могут меняться местами:

Кого ты в скользкой мгле заметил?  
Чьи окна светят сквозь туман?  
Здесь *ресторан*, как *храмы* светел,  
И *храм* открыт, как *ресторан*.

В. Хлебников:

... Я погиб, как гибнут *дети*;  
*Гребень* высокий, как дальние снежные *горы*;  
С тех пор то *небо* серое —  
Как темные *глаза*.

Обратное соотношение: объект сравнения — множественное число, сравнение — единственное довольно часто у поэта:

А волны, точно рыба;  
И зори  
За ним светлы, как око бобра за щелью тонких ран;  
Храмом голодным  
Были буханки серого хлеба;  
И косы вечерней голубикой;  
И кудри его, как подсолнух,  
Отразились в серебряных волнах.

5. В однородных членах часто происходит выравнивание числовых форм:

Она вещает и поет,  
Не в силах крыл поднять смятенных...  
Вещает иго злых татар,  
Вещает казней ряд кровавых,  
И трус, и голод, и пожар,  
Злодеев силу, гибель правых

(А. Блок).

Форма единственного числа *пожар* обусловлена только стиховыми факторами, в частности рифмой *татар — пожар*.

6. В именах, выражающих отношения целое — часть, лицо — его принадлежность наблюдается вариативность и в общем литературном языке. Но есть у поэтов и заметные отступления от общих правил:

Копье татар, чего бы ни трогало —  
Бессильно всё на землю клонится  
(В. Хлебников);

Такие смешные верблюды  
С телом рыб и головками змей  
(Н. Гумилев).

7. Вариативность в формах числа часто представлена в разных строфах стиха. Например, у А. Блока:

Мы живем в старинной келье  
У разлива вод.  
Здесь весной кипит веселье  
И река поет.



Но в предвестие *веселий*,  
 В день весенних бурь,  
 К нам прольется в двери *келий*  
 Светлая лазурь.

(Ср. у Анненского:

Багряный день растет неистов,  
 Как часто сумрак я зову,  
 Холодный сумрак *аметистов*.  
 И чтоб не знойные лучи  
 Сжигали грани *аметиста*.  
 А лишь мерцание свечи  
 Лилось там жидко и огнисто.)

Замечательны вариации в одном стихе:

Нет, покорны девы в тьме,  
 Мы похитим *меч* и платья.  
 Но похитив их *мечи*,  
 Что нам делать с их слезами.

Тех, кто мертв, собрал кто жив,  
 Кудри мертвых вились русо.  
 На леса тела сложив,  
 Мы свершали тризну *русса*.

...На суровый, дубовый костер  
 Мы *руссов* тела положили.

Во втором двустишии В. Хлебникова происходит восстановление литературной нормы. Первый вариант обусловлен ритмом и рифмой.

В следующих строках А. Блока выбор числа обусловлен прежде всего рифмой:

Пускай зовут. Забудь поэт!  
 Вернись в красивые *уюты*!  
 Нет! Лучше сгинуть в стуже лютой!  
*Уюта* — нет! Покоя — нет!

Ритмическая организация и рифма, таким образом, порождают такие сдвиги в стихе, которые создают вариативность форм.

Отдельный вопрос — о влиянии метафорических сдвигов на употребление форм числа.

#### Л и т е р а т у р а

Анненский И. Книги отражений. М., 1979.

Гин Я.И. К вопросу о взаимодействии категории рода и числа // Гин Я.И. Проблемы поэтики грамматических категорий. СПб., 1996.

*Гофман В.* Язык символистов // Литературное наследство. Т. 27—28. М., 1937.

*Григорьева А. Д., Иванова Н. Н.* Фразеология Пушкина. М., 1968.

*Еськова Н. А.* Краткий словарь трудностей: Грамматика форм. Ударения. М., 1994.

*Ионова И. А.* Морфология поэтической речи. Кишинев, 1988.

*Кожевникова Н. А.* Андрей Белый // Очерки истории языка русской поэзии XX века: Опыт описания идиостилей. М., 1995.

*Красильникова Е. В.* Референциальные аспекты употребления морфологических форм (функции форм числа существительных) // Очерки истории языка русской поэзии XX века: Грамматические категории. Синтаксис текста. М., 1993.

*Ревзина О. Г.* Категория числа в поэтическом языке // Актуальные проблемы русской морфологии. М., 1988.

А. Ф. Литвина

## Преамбула средневековых русских завещаний как литературный жанр

Как правило, говоря о русских средневековых документах, мы выделяем их в особую письменную традицию, говорим о деловом языке, хотя бы отчасти противопоставляя его языку литературному. Зачастую для изучения языка деловой письменности Средневековья методологически полезно отделить ее от истории литературного языка, от истории литературы, хотя такое отделение всегда остается достаточно условным. В настоящей работе мы хотели бы выделить определенный тип средневековых документов, которые лежат на границе между литературой и канцелярской традицией. Речь пойдет о некотором специфическом корпусе завещаний, содержащих более или менее пространную автобиографическую преамбулу или аренгу.

Прежде чем перейти к интересующим нас русским документам, упомянем о возможных функциях аренги. В документах разного типа существует преамбула, на первый взгляд не имеющая отношения к его юридическому содержанию. Эта преамбула часто (хотя не обязательно!) называется аренгой. Согласно традиционной дипломатике, аренга описывает причины и обстоятельства составления документа. Самое существенное для нас, однако, заключается в том, что аренга является своеобразным элементом высокой риторики в составе документа. Так, существует весьма обширная группа аренг, пафос и содержание которых можно передать следующим образом: *\*все дела людские творятся во времени и со временем стираются из памяти, если не будут закреплены словами свидетелей или письменно*<sup>1</sup> (см. подробнее: [Литвина 2002: 315—351]).

---

<sup>1</sup> Можно без преувеличения сказать, что аренги, эксплуатирующие этот топос, представлены в средневековых западноевропейских канцеляриях десятками, если не сотнями вариантов. Ср., например, «ne ea que geruntur in tempore cum lapsu temporis labantur, solent poni in linguarum testimonium et scripti memori perhennari» (KDW. Т. 1. № 305 1252 г., № 447 1272 г.) или «quoniam ea, que geruntur in tempore ne simul labantur cum lapsu temporis poni solent in lingua testium seu testimoniarum» (KDW. Т. 1. № 710 1293 г.).

Необходимо сразу же отметить некоторые особенности бытования такого вводного текста. Аренга — явление достаточно универсальное в документах христианского Средневековья. Соответствующее риторическое вступление могло быть предпослано документу, составленному в Византии и в Германии, во Франции и в Великом княжестве Литовском. При этом, на наш взгляд, правомерно говорить о двух типах аренги.

Один из них, как, например, приведенные выше преамбулы о временности всех человеческих деяний и необходимости записывать их, — это формула в чистом виде, т. е. элемент застывшей риторики в тексте документа. Аренги этого типа сообщают, как правило, о причинах составления не данного конкретного документа, а документа вообще. Они распространены во множестве латиноязычных канцелярий средневекового Запада, многократно воспроизводятся, заимствуются из одной канцелярии в другую и, если нотариат обладает достаточной выучкой, варьируются, украшаются, подвергаются преобразованиям в строго заданных тематических рамках. Употребление таких формульных аренг, умение их варьировать и воспроизводить является своеобразным диагностическим признаком наличия полноценной латинской канцелярии при том или ином европейском правителе, при том или ином европейском монастыре. В этом отношении канцелярия Великого княжества Литовского к XV в., по-видимому, ничем не отличается и ничем не уступает любой княжеской канцелярии Европы, Польши или Германии.

В тех случаях, когда документы по каким-либо причинам переводятся на национальные языки, переводятся, разумеется, и аренги, изначально представляющие собой элемент латиноязычной образованности. Там, где имеет место сколько-нибудь длительное сосуществование латинской и национальной канцелярии, аренда этого типа может прижиться и в документах, составляемых на национальном языке, стать элементом их формуляра. Для позднего Средневековья, когда, безусловно, правомерно говорить о противопоставлении частных и государственных актов, первым симптомом усвоения аренги в национальной канцелярии можно считать ее появление в государственных документах, а признаком ее окончательного усвоения — ее присутствие в частных актах. Судя по известным мне документам Великого княжества Литовского, здесь дело остановилось на полпути: государственные документы, выходящие из русской канцелярии княжества, нередко содержат аренгу; что же касается частных актов, то туда она проникает плохо.

Весьма показательно в этом отношении то завещание (т. е. частный акт) первой трети XVI в., в котором аренда все-таки присутствует. Оно принадлежит писарю великокняжеской канцелярии Михаилу-Богушу Боговитиновичу, который в своей канцелярской практике регулярно занимался составлением аренд для официальных документов. Аренда его выглядит следующим образом: «бо бег того света без письма всякая речь с памяти выходит, а письмом ся подтверждает и справует» (АЮЗР. Т. 1. № 91; 1529 г.). В целом функцию подобного рода застывших риторических формул, десятки, сотни, если не тысячи раз повторяющиеся в документах Западной Европы, можно условно назвать удостоверительной. Она призвана продемонстрировать, что документ составлен человеком, получившим соответствующую выучку, попросту говоря, знающим правила игры, правила составления документов. Эта не несущая, казалось бы, никакой самостоятельной юридической нагрузки формула демонстрирует, что предваряемый ею текст — настоящий документ и с точки зрения подлинности, и с точки зрения правильности его оформления, составления и внутреннего содержания. Подобные функции в документе осуществляет, разумеется, не только формульная аренда, но в ней они выражены, так сказать, в предельно конденсированном виде. В этом заключается ее основная, если не единственная роль. Подобного рода формульные аренды, как кажется, не проникают на северо-восток далее Великого княжества Литовского и неупотребительны в практике северо-восточной Руси.

Естественная специфика завещания состоит, в частности, в том, что человек, от лица которого оно составляется, предстает как бы в двух ипостасях. С одной стороны, он владелец и распорядитель имущества, а с другой стороны, — христианин, подводивший итоги своей земной жизни. В структуре завещания две эти ипостаси, как правило, разделены, и каждой из них посвящена своя часть текста, причем одна из частей может быть предельно редуцированной, а другая — предельно развернутой.

Интересующие же нас развернутые автобиографические аренды связаны, разумеется, с ипостасью завещателя-христианина — правителя, монаха или частного лица. Аренды подобного типа представлены как в документах, возникших в Византии, так и в документах, составленных в северо-восточной Руси или в Великом княжестве Литовском. Подобного рода тексты, по-видимому, могли существовать и в домонгольской Руси, по крайней мере, мы постараемся показать ниже, что их явные следы обнаруживаются в летописи. Число русских документов, содержащих такую преамбулу, не столь уж велико, и тем не менее, на наш взгляд, они дают осно-

вание говорить о своеобразном самостоятельном жанре средневековой литературы. Итак, что же это за тексты?

Начнем с преамбулы завещания князя Андрея Владимировича, написанного в середине XV в.: «Сей аз, раб Божий, князь Андрей Владимирович, приездил есмь в Киев со своею женою и с своими детками и были есмо в дому Пречистыя и поклонилися есмы пресвятому образу ея и преподобным отцем, Антонию и Феодосию и прочим преподобным и богоносным отцем печерским и благословилися есмы у отца нашего архимандрита Николы и у всех святых старцев гробов в Печере и размыслил в сердце своем, колико то гробов, а все тыи жили на сем свете, а пошли вси к Богу. И помыслил есмь, помале и нам там поити, где отцы и братья наша, и подумал есмь с своею княгинею и с отцем своим с Николою архимандритом печерским и с святыми старцы и с своими бояры и отписал есмь своею жене княгини Марьи и своим детям и ее детям свою отчину и свою выслугу иже есмь выслужил на своих государех своею верною службою на великом князе Витовте» (АЗР. Т. 1. № 68; 1446 г.).

Здесь, безусловно, присутствует и формульность, и характерные риторические топосы, и микроцитация, присущая, на наш взгляд, этому своеобразному литературному жанру. При этом существенно, что это не обезличенная формула документа, а формульность литературного текста, и в рамках этой формулы осуществляется вполне автобиографическое повествование. Нетрудно продемонстрировать жанровое единство таких автобиографических преамбул к завещаниям.

Обратимся теперь к преамбуле одного из византийских вазелонских актов, составленного в начале XIV в.: «Я, Анна Елафина, собственноручно начертавшая над сим честной и животворящий крест, по собственной воле и расположению делаю следующее распоряжение. Привелось мне посетить обитель честного Предтечи, что в Вазелоне, по случаю смерти Цимприкавы, когда был там и сам Цимприка на погребении своей матери, равно как и другие почтенные люди той местности. Пораженная положением монастыря, его живописным и приятным видом, я умилилась душой и почувствовала глубокое расположение к этому месту, вследствие чего и ради спасения души возымела намерение пожертвовать обители половину моего наследственного имущества. По случаю нашего шествия агарян уведены в плен мои родственники, поэтому я делаю святого Иоанна Предтечу наследником в половинной части моего родового имущества, где бы оно ни оказалось — в Цимприкове, в Кампане и в Палеомацуке, другую же половину оставляю Цимприку» (ВА. С. 39. № 65. С. LIV—LV).

Итак, сравнение двух этих текстов демонстрирует наличие единого жанра: изложения обстоятельств собственной частной жизни, приведших к составлению завещания. Собственно говоря, два эти текста, разделенные полутора столетиями, выглядят настолько сходно, что можно, казалось бы, говорить о некотором жестком и достаточно формальном клише такого рассказа. Однако не следует преувеличивать, на наш взгляд, формализованность и однотипность подобного рода текстов. Приведем еще одну преамбулу, на этот раз из текста завещания игумена Кирилла, настоятеля Белозерского монастыря: «Во имя Святыя Живоначальной Троицы. Аз грешный, Кирилло игумен, смотреть яко постиже мя старость впадох бо в частыя и различныя болезни. Ими же ныне одержим есть человеколюбне от Бога казним ради многих грех. Болезням на мя умножившимся ныне яко же иногда никогда же и ничто же ми возвещающе разве смерть и суд страшный Спасов будущего века и во мне смутилось сердце мое исхода ради и страх смертный нападе на мя, боязнь и трепет страшного судища приде на мя и покры мя тьма недоумения, что створити не вем, но взвергу печаль на Господа да тот сотворит яко же хочет — хочет бо всим человекам спасения. Се аз, Кирило игумен, чернь чище грешный пишу свою грамоту при своем животе и в своем смысле: передаю монастырь, труд свой и своя братии, Богу и пречистой Богородице, матери Божьей и Царице Небесной, господину князю великому, сыну своему Андрею Дмитриевичу и сына своего благославляю в свое место священноинока Иннокентия» (АСЭИ. Т. 1. № 314; 1427 г.).

В качестве параллели этому тексту можно привести еще одно греческое завещание из вазелонских актов, где монах монастыря святого Иоанна Предтечи подробно описывает обстоятельства своей жизни: «Я, иеромонах Феодорит, приведя на память содеянное мною в светской жизни и сознавая, как все тленно и скоропреходяще, как трава, которая утром цветет, а вечером увядает, поразмыслив об этой постоянной и неожиданной переменчивости, не находясь ни в болезни и не вызываемый никакой опасностью, ясно сознал назначение сей жизни, ведущей человека в тамошнюю, и представив в мыслях житейские невзгоды, в настоящем завещании излагаю, что я испытал в жизни и как она проходила. Я был женат на дочери Панкратия Салфунта со взятием приданого и имел от нее троих детей, и она отошла ко Господу, пожив хорошо и боголюбезно, затем скончались мои родители и братья, и я остался одиноким. Обдумав свое положение, и приняв лучшее решение, я принял и ангельскую схиму. Одна моя сестра была похищена агарянами и находилась в плену несколько лет, по милосердию же Божию и по

молитве родителей моих была разыскана и назначена за нее цена в 850 аспров. И я представил выкуп, не продав родового имущества и не истратив ничего другого, кроме пожертвованного многолюбозным моим духовным [собратьям]. Я принял ее к себе и отдал в законное супружество за сына Зиганита. По смерти его, она вступила во второй брак с придачей приданого. И снова я обратился ко святому моему Предтече именем Завулона и составил распоряжение по существующему обычаю насчет своего имущества, каждую часть определил тому, кому было мое желание, сделав самого честного Предтечу своим наследником на недвижимое родовое имущество и на земли, на помин о грешной моей душе» (ВА. С. 77. № 107; вторая половина XIII в. С. LX).

Можно отметить, таким образом, что рассказы в завещаниях восходят к нескольким образцам и, хотя они содержат целый ряд клише различного уровня (от цитат до клише на уровне сюжета и композиции), в то же время эти рассказы вполне индивидуальны и во многом автобиографичны. Здесь можно вспомнить и знаменитое византийское завещание 1059 г., принадлежавшее Евстафию Воиле, где он вслед за благочестивыми рассуждениями повествует обо всех перипетиях своей жизни — своем отъезде из столицы, жизни на чужбине, трудах, смерти жены и сына.

В таком пространным автобиографическом тексте можно выделить некоторые топосы: *быстротечность* и *временность земной жизни* — этот топос закрепляется устойчивой и обедненной формулой, лишенной какого-либо автобиографизма, в документах самого разного типа, — и тему *тяжкого, неустанного труда на протяжении всей жизни*, будь то труд воинский или труд хозяина и устроителя, превращающего пустыню в цветущую и плодородную область. Тема «труда» тесно примыкает к следующей за аренгой распорядительной частью завещания, так как описывает, каким образом завещатель сохранил и приумножил имущество и на каком основании следует им распорядиться.

Значительная часть этих завещаний как на Руси, так и в Византии писано монахами, что довольно естественно, принимая во внимание их достаточно сложную структуру, требующую определенной литературной изощренности. Тем не менее их нельзя считать исключительно внутримонастырским явлением — очень часто они писаны от лица мирян, а характер этих завещаний таков, что они не могли быть составлены без самого непосредственного участия завещателя. Таким образом, перед нами нечто среднее между микроавтобиографией и написанной на заказ микробиографией. Существенно отметить, что на Руси подобные завещания очень часто



писались от лица князей, и, по-видимому, именно таким завещателям принадлежит роль создателя образца жанра. Можно сказать, что в некоторых элементах такой автобиографии князь подражает монашеской учености, благочестию и отрешенности от мира. Монах же, в особенности игумен, уподобляет себя князю, отдающему распоряжения своим наследникам.

Не случайно, на наш взгляд, в завещании игумена Кирилла он называет тех, на чье попечение он оставляет монастырь (т. е. князя и священноинока), «сыновьями». С одной стороны, это отражает фактическое положение дел — они, возможно, были его духовными сыновьями (хотя, как кажется, по традиции один и тот же человек не совмещал роли игумена и духовника братии). С другой стороны, употребление подобного оборота, как и вся структура завещания игумена Кирилла в целом, сближает его с князем, оставляющим наследство своим детям.

Говоря об автобиографических и поучительных завещаниях князей, мы можем обратиться к актам домонгольской эпохи, сохранившимся в составе летописи. Фрагментарное рассуждение подобного рода есть в завещании Галицкого князя Ярослава Осмомысла: «Се азь одиною хоудою своею головою ходя оудержаль всю галичкоую землю» (ПСРЛ. Т. 2. С. 657; под 1187 г.)<sup>2</sup>. Есть подобного рода элемент и в завещании Ярослава Мудрого: «Се азь отхожю света сего, а вы, сынове мои, имейте межи собою любовь, понеже вы есте братья одного отца и единой матерь, да аще будете в любви межи собою и Бог будеть в вась и покорить вы противныя подь вы и будете мирно живуще, аще ли будете ненавистно живуще — въ распряхъ, которающесе, то и сами погибнете, и землю отець своихъ и дедь погубите, иже налезоса трудомъ великомъ, но послушайте братъ брата, пребывайте мирно. Се же поручаю в себе место, стол свои, старейшому сынови своему, брату вашему Изяславу Кыевъ» (Там же. С. 149—150).

Едва ли не самым интересным текстом подобного рода является «Поучение Владимира Мономаха». В ранней русской историографии этот текст уже определялся как «духовная». Почему же этот текст, не содержащий имущественных распоряжений, можно назвать завещанием или частью завещания? Следует упомянуть о содержащихся в нем типично формульных выражениях, характерных

<sup>2</sup> Ярослав Владимирович Осмомысл, возможно, подчеркивает подобной преамбулой свое право распоряжаться княжеским столом исключительно по собственному усмотрению и вопреки обычаю. Он, как известно, стремился передать галицкий стол своему младшему, незаконнорожденному сыну Олегу в обход старшего, рожденного в браке Владимира.

для русских завещательных актов, — таких как «Азь худый». Необходимо сказать и о том, что по своей композиции «Поучение» вполне сходно с пространными автобиографическими преамбулами. Многократно отмечалось, что автобиографический текст, а тем более такое «похвальное слово самому себе» на русской почве — явление чрезвычайно редкое. Будучи рассмотрено в ряду преамбул к завещаниям, «Поучение» обретает определенную литературную традицию.

Есть и другие аргументы, позволяющие утверждать, что Владимир Мономах соотносил свой труд со стандартными завещаниями. Кроме традиционных для восточнославянского формуляра оборотов, укажем в его тексте еще одну формулу явно западного, латинского происхождения: «или инь кто, слышавъ сю грамотицю» (ПСРЛ. Т. 1. С. 241). Перед нами не что иное, как перевод одной из распространеннейших формул западноевропейского общего формуляра, употреблявшихся в XII в. в Германии и Италии, у скандинавов и французов. Перевод этой формулы к началу XII в. проникает и на Русь, она есть в Смоленской грамоте 1229 г., регулярно употребляется в русской канцелярии Великого княжества Литовского и в частных документах, создающихся на территории княжества. Проникает она и в договоры Литвы с Тверским и Московским княжествами, но все это происходит, разумеется, гораздо позже. Схематически один из вариантов полного текста этой формулы может выглядеть, например, следующим образом: *уведомляем всех нынешних и всех будущих (всех жителей данного государства, данной области, всех заинтересованных лиц) или кого-либо, кто эту грамоту прочтает или услышит*<sup>3</sup>. Эта перформативная формула, подчеркнем еще раз, крайне характерна для западноевропейского формуляра: она встречается, по крайней мере, с X в. и доживает до века XVIII.

Владимир Мономах, безусловно, был знаком с документами, содержащими эту формулу, причем здесь едва ли возможно говорить о прямом влиянии англосаксонских документов или, к примеру, документов скандинавских, так как она была, как уже говорилось, явлением универсальным для самых разных западноевропейских канцелярий. Формулы подобного рода, вообще говоря, охотно заимствуются там, где есть достаточно длительный контакт с

<sup>3</sup> Ср., например: «Князь Гердень кланяется всем тем кто видить сую грамоте люд што ныне живи суть а темь кто напоследе приидут темь ведомо буди как мир есмь створили» (ПГ. Вып. I. № 1; 1263 г. <копия XV в.>) или «чинимъ славно и знаемо и даемъ ведомо усемъ хто коли сую грамоту видить а любо слышь прочитая» (Там же. № 10; 1387).

чужой канцелярской традицией. Собственно, их заимствование и есть один из важных показателей существования таких контактов. Такие заимствованные формулы могут служить для составителя грамоты престижным «признаком документальности», демонстрировать, что его текст — настоящий документ, так как составлен компетентным человеком, хорошо знакомым с общепринятой канцелярской практикой.

При этом, говоря о «Поучении» Владимира Мономаха, необходимо обратить внимание на следующие ее особенности в этом тексте: во-первых, эта формула была в ту пору исключительно латиноязычной, ее перевод на национальные языки в большинстве западноевропейских государств осуществляется лишь существенно позже. Парадоксальным образом, на русский язык она переводится раньше, чем, скажем, на немецкий или польский. Даже если не говорить о ее присутствии в «Поучении» Владимира Мономаха, ее перевод в тексте Смоленской грамоты в 1229 г. существенно опережает появление ее переводов, например, на немецкий. В то же время Мономах не просто использует фрагмент этой формулы. Он обыгрывает ее, приписывая ей в качестве продолжения типично литературное, книжное выражение переписчика или составителя текста, не имеющее к пространству документа никакого отношения: «или инь кто, слышавъ сю грамотицю не посмеитеся <...> а приметь е в сердце свое» (ПСРЛ. Т. 1. С. 241). Такого рода обыгрывание формулы, сочетания двух разножанровых формульных элементов весьма показательны для интересующих нас завещаний-автобиографий, которые, с одной стороны, в полной мере являются документами, а с другой стороны, претендуют и на некий иной культурный статус.

Нельзя не упомянуть в этой связи о завещании Ивана Грозного, которое было написано на несколько столетий позже «Поучения». Иван Грозный, несомненно, был знаком с традицией автобиографического завещания-поучения и стремится ей следовать в своем тексте. Он обыгрывает, например, традиционнейшую формулу, сообщающую о здравом уме завещателя: «Пишу сие исповедание своим целым разумом, но понеже разума тшетою одержим есть и от убогого дома ума моего не могах представить трапезы пищи апостольских словес исполнены благости...» (ДДГ. С. 426), и далее следует пространнейшая подборка цитат, в частности из псалмов.

Вообще говоря, по структуре завещания-автобиографии Владимира Мономаха, византийского вельможи Евстафия Воилы и Ивана Грозного — столь дистанцированные во времени и пространстве — имеют довольно много общих черт. Это было бы неуди-

тельно, если бы мы говорили о стандартных документах, укладываемых целиком и полностью в формулярные рамки. Они могут проявлять крайнюю устойчивость и несколько столетий воспроизводиться с не столь уж значительными изменениями. Здесь же возможно говорить, на наш взгляд, скорее об устойчивости своеобразного литературного жанра. Можно указать, например, что благочестивые рассуждения общего характера с максимальным количеством цитации приходится на первую часть такого документа. Повествование о собственной жизни, также не лишённое цитат или общераспространённых формул благочестия, составляют вторую часть этих текстов. В этой второй части образ христианина постепенно сменяется образом «удачливого хозяйственника»: рассказывая о своей жизни, человек, в частности, демонстрирует пути приобретения имущества и основания, на которых он может этим имуществом распоряжаться. При этом не противоречит законам жанра прямая апелляция к сакральным текстам, своего рода уподобление автора завещания автору псалма. Ср. в завещании Евстафия Воилы: «Так как эта местность для многих была непроходимой и чужой, я, как говорит псалом, топором и огнем превратил ее в золу» (DOP. Т. 11. С. 264—265). Наконец, в третьей части, тесно примыкающей ко второй, содержится собственно имущественное распоряжение.

Разумеется, лишь немногие тексты завещаний реализуют эту структуру полно и пространно. Собственно говоря, в стандартных завещаниях все, кроме распорядительной части, сведено к некоему формульному минимуму. Даже в завещаниях литературных какая-либо из перечисленных частей может быть опущена. Иногда завещание-автобиография с кратким указанием о том, как распорядиться имуществом, дублировалось другим, исключительно распорядительным текстом, как это, по-видимому, происходит с завещанием инока Феодорита (ВА. № 107).

Жанр автобиографических завещаний на русской почве не так бросается в глаза, поскольку княжеские завещания с конца XIV в., т. е. с того времени, когда они представлены достаточно обильно, строятся по другой, исключительно формульной схеме. Литературный нарратив в них практически отсутствует. Однако самый жанр отнюдь не угасает, что подтверждается не только завещанием игумена Кирилла, но и в первую очередь завещанием Ивана Грозного. Возвращаясь к проблеме разделения двух письменных языков — языка документа и языка литературы, — можно предположить наличие некоторого синкретизма на ранних этапах формирования частного акта на Руси. Особый стиль автобиографических

завещаний, возможно, наследует и сохраняет именно этот ранний синкретизм.

#### Список сокращений

АЗР — Акты, относящиеся к истории Западной России / Собр. и изд. Археографической комиссией. Т. 1—5. СПб., 1846—1853.

АСЭИ — Акты социально-экономической истории Северо-Восточной Руси конца XIV — начала XV в. Т. 1—3. М., 1952—1964.

АЮЗР — Акты, относящиеся к истории Южной и Западной России / Собр. и изд. Археографической комиссией. Т. 1—2. СПб., 1863—1865.

ВА — *Успенский Ф.И., Бенешевич В.В.* Вазелонские акты: Материалы для истории крестьянского и монастырского землевладения Византии XIII—XV вв. Л., 1927.

ДДГ — Духовные и договорные грамоты великих и удельных князей XIV—XVI вв. М.; Л., 1950.

Литвина 2002 — *Литвина А.Ф.* Аренга: судьба латинской формулы в восточнославянских документах // Славянская языковая и этноязыковая системы в контакте с неславянским окружением / Отв. ред. Т. М. Николаева. М., 2002.

ПГ — Полоцкие грамоты XIII — начала XV в. / Сост. А. Л. Хорошкевич. Вып. 1—2. М., 1977—1979.

ПСРЛ — Полное собрание русских летописей. СПб. (Пг./Л.); М., 1841—2001. Т. 1—41.

DOP — *Dumbarton Oaks Papers.* Washington.

KDW — *Kodeks Dyplomatyczny Wielkopolski.* Warszawa; Poznań, 1982.

*К. В. Лифанов*

## **Взаимодействие чешского и словацкого языков и социолингвистический фактор в истории словацкого литературного языка**

Изучая памятники словацкой письменности, мы пришли к убеждению, что словацкий литературный язык прошел длительный и чрезвычайно сложный путь формирования. Его начальный этап связан не с именем А. Бернолака и тем более Л. Штура, кодификации которых в настоящее время большинством лингвистов принимаются за исходную точку, а охватывает значительно более ранний период истории. При этом суть данного процесса заключалась не в повышении статуса какого-либо диалекта (западнословацкого — А. Бернолаком и среднесловацкого — Л. Штуром), а в сложном и оригинальном взаимодействии (древне)чешского литературного языка со словацкими диалектами. Заметим, что данная точка зрения не является совершенно новой. Она была характерна для словацкой лингвистики первой половины XX в. В подтверждение этому приведем высказывание одного из крупнейших историков словацкого языка Л. Новака: «...с внутриязыковой точки зрения бернолаковский литературный язык — в значительно большей степени, чем позднейший штуровский, — является прямым наследником чешского языка в Словакии аналогично тому, как... великорусский язык был прямым наследником церковнославянского языка» [Novak 1938: 281]. Л. Новак подчеркивал, что словацкий литературный язык — как бернолаковский, так и штуровский — возник не в результате возвышения до этого уровня чистых словацких диалектов, не испытавших на себе чешского влияния. «...даже штуровский язык с самого начала не избежал определенной искусственности, хотя его эксклюзивность по отношению к среднесловацким народным говорам не столь значительна, как у его предшественника — бернолаковского литературного языка» [Ibid.: 286—287]. Многие исследователи словацкого литературного языка отмечали, что его история начинается значительно раньше его кодификации, см. [Лифанов 2001]. Да и Э. Паулини начинает ее рассматривать не с кодификаций [Pauliny 1971]. Тем не менее период, пред-

шествовавший кодификации, как правило, рассматривается как его предыстория, что вытекает из теоретической установки о том, что литературный язык обязательно должен быть кодифицирован. Подчеркнем, однако, что многие лингвисты не считают данный признак определяющим для периода Средневековья. «В более древние периоды развития *литературных языков* (курсив наш. — К. Л.) не существовало кодификации в современном смысле слова, а если кодификация существовала, то она не имела всеобщего действия и общественной значимости, как в наши дни» [Едличка 1976: 19].

В словакистике бытует мнение, что письменные тексты, записанные в Словакии в докодификационный период, представляют собой конгломерат элементов чешского литературного языка и словацкой народной речи. Здесь, однако, следует сделать весьма существенное уточнение. Сопоставительный анализ языка памятников словацкой письменности в хронологической последовательности их появления показывает, что в данном случае следует говорить не о проникновении словацких элементов в чешский литературный язык, меняющийся с течением времени, а об автономизации древнечешского литературного языка, который стал использоваться словаками уже в XIV веке. Его основа, однако, взаимодействуя со словацкой народной (диалектной) речью, все более отдаляется от его собственно чешского варианта.

Автономизация древнечешского литературного языка в Словакии явилась естественным процессом, типичным для развития литературных языков. Как известно, древнечешский литературный язык в Средневековье либо непосредственно использовался, либо оказал влияние на язык письменности ряда славянских и даже неславянских народов [Навѓánek 1940]. Словацкая ситуация тем не менее существенно отличалась от всех других, поскольку словаки восприняли его как обработанную форму родного языка. Это подтверждает тот факт, что в памятниках письменности, созданных на территории Словакии, он именуется как *lingua vernacula* и *lingua nativa* [Varsik 1956: 87]. В результате этого древнечешский литературный язык в Чехии и Словакии оказался в единстве и одновременно в противопоставленности с разными народными говорами: соответственно с чешскими и словацкими. Литературный же язык развивается главным образом путем взаимодействия с народной (диалектной) речью. А поскольку в двух рассматриваемых случаях народные говоры были различными, то и древнечешский литературный язык в Чехии и Словакии начинает развиваться по-разному. Функциональное противопоставление элементов книжного и простого языка в рамках единого комплекса в конечном итоге при-

водит к нейтрализации данной оппозиции, в результате чего первоначально элементы простого языка начинают употребляться в книжных текстах и затем вытесняют из них исходно книжные, т. е. первоначальное отклонение от нормы с течением времени превращается во вновь сформировавшуюся норму. Эти процессы оказываются возможными потому, что близкородственные языки, какими являются чешский и словацкий, имеют значительное количество совпадающих элементов, которые никак не противопоставлены, так что многие элементы народной (диалектной) речи как бы сразу становятся принадлежностью книжного языка. При этом если их реализация в диалектах одинакова, то они нерелевантны по отношению к признаку «книжность — некнижность»; если же в диалектах представлены разные реализации того или иного явления, то диалектный элемент, совпадающий с изначально книжным, сам начинает восприниматься как книжный, находящийся в оппозиции к другим диалектным реализациям. В процессе исторического развития, однако, может происходить его переосмысление: если в конкуренции победит исходно книжный элемент, то исходно некнижный может сохраниться, но как знак территориальной дифференциации литературного языка.

Нейтрализацию исходно книжных и некнижных элементов облегчает наличие в литературном языке явлений вариативности, когда один из вариантов совпадает с соответствующим элементом народной речи, а другой — нет. Такими дублетами в древнечешском литературном языке являлись, например, сочетания *aj* и *ej*, представленные главным образом в формах превосходной степени качественных прилагательных и наречий, а также в формах повелительного наклонения целого ряда глаголов, и сочетания *šč* и *šř*, восходящие к праславянским сочетаниям *\*stj*, *\*skj* и *\*sk-* в позиции перед гласным переднего ряда. Неудивительно, что в скором времени на собственно словацкой почве возникают иные аналогичные дублеты (*ř/r*, йотация губных перед *e* < \**e*, \**e* и т. д.). Следует, однако, помнить, что литературный язык формируется под воздействием двух взаимоисключающих тенденций: постоянного обновления и стремления к стабильности — с тем чтобы осуществлялась преемственность литературного языка в пространстве и времени. Вследствие этого литературный язык характеризует особого рода устойчивость — гибкая стабильность [Матезиус 1967: 381], которая специфическим образом проявляется при становлении литературных языков, формирующихся на базе иных близкородственных литературных языков. В данном случае элементы языка-основы начинают восприниматься пользователями вначале как книжные, за-



тем как архаичные и наконец полностью вытесняются, однако процесс этот в отношении различных элементов протекает неодинаково: часть из них вытесняется относительно быстро, другие сохраняются в течение длительного времени, конкурируя с генетически «местными» элементами, третьи же оказываются прочно закрепленными в его структуре.

Пути модификации древнечешского литературного языка в Словакии были различными. Из вышеизложенного вытекает, что в первую очередь в его структуре закреплялись непосредственные генетические словакизмы. Так, например, фонологическая система этого идиома утрачивает фонему /ř/, но приобретает фонему /dz/. К подобным примерам из области морфологии отнесем победу флексии 1 лица ед. числа настоящего времени *-m* в парадигмах всех типов спряжения или установление омонимии им. и вин. падежей мн. числа одушевленных существительных и согласующихся с ними адъективов. При этом, как мы уже отметили, такого рода процессы протекали асинхронно. Так, утрата фонемы /ř/ фиксируется уже в ранних памятниках словацкой письменности XIV—XV вв. и становится нормой уже в XVI в., тогда как фонема /dz/ — только в середине XVIII в. [Лифанов 2001]. Ср. примеры: *pristup-geme hned rano na modlitby a chwaly twe; za hrjchy nasse včinen gest; gako strely wruce* («Ритуал Н. Олага; после 1560 г.); *nad Krystem Panem weliku a neslichanu ukrutnost sprowadzate; Gak mali tak welici posmech wiwadzali; tam se metal a hadzal* (проповеди Д. Мокоша; вторая половина XVIII в.). Названные же морфологические процессы хронологически вписываются между указанными фонетическими, причем установление омонимии род. и вин. падежей осуществляется значительно быстрее. Так, например, в проповедях Б. Смртника (конец XVII в.) рассматриваемые омонимичные формы представлены уже последовательно, тогда как интересующие нас формы глаголов все еще находятся на стадии дублетности. Ср.: *ktery z wsseliký hrjch u hrjssnikuw wssech welice nenawidý; was Messtane wassy magj za Prednych Radcuw a gako za swých Otcuw; Ožralstwj chcem gmenowat; nechcy proti Panu Bohu powstatj*.

Указанный путь, однако, не был единственным. Фонетическая и морфологическая системы древнечешского литературного языка в Словакии приобретали своеобразие также в результате консервации в них тех явлений, которые в языке собственно чешской письменности уже утратились. Такие явления имеют особенно важное значение, поскольку являются доказательством того, что язык словацкой письменности докодификационного периода представляет собой не результат смешения хронологически однородных чешских

и словацких элементов, а восходит непосредственно к древнечешскому литературному языку. Наиболее ярким примером этого типа является длительное сохранение в нем (вплоть до начала XIX в.) вспомогательного глагола в формах 3 лица настоящего времени. Ср. примеры: *Kralostwy sweho nekonceneho pocatek jest ucinil* (Мокош), *Ziwoť tak czistotneg chwali gest zaslužil* (Селецкий). Приведенные примеры относятся к XVIII в., когда указанные формы отсутствовали как в чешском литературном языке, так и в словацких диалектах.

Оригинальность письменного языка в Словакии формировалась также в результате иной степени проникновения в него (по сравнению с памятниками, созданными в Чехии и Моравии) собственно чешских инноваций, т. е. таких явлений, которые отсутствовали в древнечешском литературном языке и не осуществились в словацких диалектах. При этом принципиальное значение имело время реализации тех или иных явлений в языке памятников (древне)чешской письменности: чем раньше оно в нем закрепилось, тем в большей мере характеризовало и памятники словацкого происхождения. Так, наиболее ранние из них практически последовательно отражают чешские прогрессивные перегласовки и одновременно дублетность форм с так называемой регрессивной перегласовкой *aj > ej* или без нее. Более поздняя чешская инновация — дифтонгизация *ú > ou* не в начале слова — находит довольно широкую, но непоследовательную реализацию<sup>4</sup>. В то же время такие явления, как появление протетического *v-* перед *o* в начале слова или дифтонгизация *ý > ei*, активно проникавшие в «более сниженный узус» (древне)чешского литературного языка лишь с 30-х годов XVI в. [Pořák 1979: 126, 134], в словацких памятниках фиксируются либо крайне редко (*kterak/by won wod sweho sswagra gmenem Gregorze kaupil duom z/diedinami* — Немецка Люпча, 1538), либо практически не фиксируются вовсе.

Для общей оценки сущности идиома, функционировавшего в Словакии в докодификационный период, чрезвычайно важное значение имеют такие явления, которые реально отсутствовали как в (древне)чешском литературном языке, так и в словацких диалектах. Именно они свидетельствуют о том, что язык словацкой письменности представлял собой самостоятельный идиом, развивавшийся во многом по своим собственным законам. В качестве примеров подобных явлений назовем грамматикализацию перегласо-

<sup>4</sup> Я. Порак отмечает, что в чешских памятниках отражающие ее формы побеждают в конкуренции к 20-м годам XVI в. [Pořák 1979: 60].

вок, т. е. сохранение гласных переднего ряда в позиции после функционально мягкого согласного в одних грамматических формах и их замена на гласные непереднего ряда в других [Лифанов 1998а], или появление в XVI в. специфических форм род. и вин. пад. личного местоимения *ty* и возвратного местоимения с корневым гласным *o*, употреблявшихся и в более поздних текстах, например: *wložil si na sobe* («Ритуал Н. Олага»; на *tobě ošekawa* (Б. Смртник, 1697 г.).

Итак, древнечешский литературный язык в Словакии уже в XIV—XV вв. приобретает ряд специфических особенностей, количество которых с течением времени продолжает возрастать, что в конечном итоге приводит к его распадению на два самостоятельных литературных языка: чешский и словацкий литературный язык старого типа. В этой связи возникает вопрос о времени его появления. Ответить на него достаточно сложно, поскольку отсутствуют критерии разграничения самостоятельных литературных языков и вариантов (редакций) одного литературного языка. Не случайно лингвисты, заявлявшие о существовании словацкого литературного языка до кодификации А. Бернолака, проблему времени его возникновения оставляли открытой. Так, например, еще С. Цамбел (под псевдонимом Влколинский) утверждал, что А. Бернолак «...лишь формально санкционировал то, что в литературном языке словаков в его время реально существовало» [Vlkolinský 1885: 238]. Ту же мысль высказывал Г. Бартек: «Станислав вслед за некоторыми чешскими учеными мужами ведет отсчет истории словацкого литературного языка от Байзы и Бернолака, против чего мы выступаем самым решительным образом, ибо Байза и Бернолак не знаменовали собой ничего нового, а лишь узаконили в своих произведениях то, что уже давно существовало до них» [Bartek 1937—1938: 54]. Более определенно в этом отношении утверждение Э. Паулини: «Процесс словакизации зашел настолько далеко, что в конце первой половины XVIII в. у словацких католиков был уже достаточно строго нормированный национальный литературный язык, который ввиду его расхождения с чешским нельзя назвать лишь словакизированным чешским языком» [Pauliny 1948: 57]. Из приведенной цитаты следует, что критерием при определении сути данного идиома Э. Паулини считает преобладание в его структуре генетически словацких элементов. Такой критерий нам представляется довольно зыбким, поскольку полученный результат будет напрямую зависеть от того, что и как мы будем считать. Кроме того, при таком подходе на передний план выдвигается неразрешимая проблема генетической интерпретации элементов, общих для чешского и словацкого языков. Кроме того, Э. Паулини говорит

лишь о времени, когда словацкий литературный язык, по его мнению, уже существовал, но не о времени его появления.

Решение интересующей нас проблемы, а именно времени возникновения словацкого литературного языка, предлагается фактически только Л. Дюровичем [Đurovič 1990; 1996], который за точку отсчета принимает создание грамматик, в той или иной степени описывающих систему словацкого литературного языка старого типа («чешско-словацкого языка» — в терминологии Л. Дюровича), считая их кодификациями. Поскольку первая такая грамматика появилась в конце XVII в. (Tobiáš Masnicius, «Zpráva pjsma slowenského», 1696), то и словацкий литературный язык, по мнению названного автора, возник в указанное время. Нисколько не оспаривая важность факта появления таких грамматик, позволим себе все же усомниться в правомерности такого критерия, поскольку, как мы уже говорили выше, литературный язык Средневековья не обязательно должен был быть кодифицирован. Думается, что установить, является ли тот или иной идиом самостоятельным, мы можем только в том случае, если будем исходить из тенденций его развития. Специфичность же тенденций развития литературных языков, восходящих к одной основе, приводит к появлению специфических особенностей, о которых речь уже шла выше. Если же сопоставить данные, полученные нами в результате исследования памятников словацкой письменности, с соответствующими данными чешских памятников, содержащимися в монографии Я. Порака «Гуманистический чешский язык» [Porač 1979], то окажется, что генетически словацкие элементы начинают проникать в функционировавший на территории Словакии древнечешский литературный язык уже в XIV—XV вв., однако при этом продолжала сохраняться его связь с пражским центром, так как в нем все еще находят отражение чешские инновации. Эта связь, однако, разрывается к 30-м годам XVI в., что мы и предлагаем считать временем выделения словацкого литературного языка из древнечешского. Подчеркнем, что сказанное имеет отношение исключительно к истории литературных языков, а не к «естественным» языкам чешского и словацкого этносов.

Взаимодействие (древне)чешского литературного языка с конкретными словацкими диалектами было различным и имело разные последствия для истории словацкого литературного языка. Более глубокий характер оно имело в Западной Словакии. Именно здесь, раньше, чем в других регионах, появляются памятники деловой письменности, написанные на (древне)чешском языке, который под влиянием южных западнословацких говоров начинает моди-

фицироваться. Это объясняется прежде всего тем, что Западная Словакия расположена на сопредельной территории, а также особой близостью западнословацкого диалекта чешскому языку. Этому способствовали и исторические события, а именно пребывание гуситских войск на территории Западной Словакии. В дальнейшем более глубокому взаимодействию (древне)чешского языка с южными говорами западнословацкого диалекта способствует возрастание политического и культурного значения этого региона. Сюда переносится столица Венгерского королевства (ею становится Братислава), а также резиденция архиепископа (в Трнаву). В 1635 г. в Трнаве открывается университет с собственной типографией. Не случайно поэтому элементы западнословацких говоров проникают в структуру рассматриваемого идиома, становясь ее полноправными компонентами. Материально это выражается в том, что они регистрируются в письменных текстах независимо от места их записи или происхождения автора. В качестве примера приведем генетически западнословацкие формы причастий на *-l* мужского рода со вставным гласным *-e-*. Ср. примеры: *negake duchowné winauceni prednesel; ktery to ze stawu hrichu witrhel* (проповеди Д. Мокоша второй половины XVIII в. родом с севера Средней Словакии); *Pisk otwara ohniwy, aby nekoho zezraty mohel; Čo osožilo Kaynovy, že ze zawisty zabil bratra sweho? Nič, sam se trapil, trasel se, bal se kazdeho listka...* (проповедь Спишского Капитула, 1779).

Влияние западнословацкого диалекта проявляется и в судьбе таких древнечешских элементов, которые имеют параллель в одних словацких говорах и не имеют в других. Совпадение древнечешского элемента с западнословацким приводит к его консервации, хотя в языке собственно чешских памятников он подвергается изменению. Так, например, древнечешская флексия твор. падежа ед. числа существительных и адъективалий женского рода в словацких текстах сохраняется стабильно и фиксируется повсеместно, хотя в собственно чешских она подверглась дифтонгизации (*ú > ou*). И это несмотря на то, что чешская инновация — дифтонг *ou*, — отличаясь по происхождению, очень близка по своей артикуляции среднесловацкой флексии *-oi*, возникшей иначе и не являющейся дифтонгом [Krajčovič 1974: 167]. Вместе с тем этот генетически древнечешский элемент под влиянием западнословацкого диалекта изменяется функционально, так как начинает выступать не только в формах слов с функционально твердым согласным в конце основы, но и в позиции после функционально мягких согласных. Ср. примеры из текстов, написанных авторами среднесловацкого происхождения: *vprimnu cestu do Nebe wgjiti; Lotr... odsuzen bywa a smrtu*

trestan (Б. Смртник); *rannil Yoba ranu naghorssu*; *Dotkne se gich swogu twaru prehroznu* (Д. Мокош).

Иной характер имеет проникновение в письменные тексты генетически среднесловацких и восточнословацких элементов, которые функционируют лишь как знаки территориальной дифференциации данного идиома, представляя собой «регионально обусловленные варианты» [Jedlička 1968: 121]. При этом среднесловацкие элементы по сравнению с восточнословацкими имеют в письменных текстах как бы больший территориальный охват, поскольку встречаются как в текстах среднесловацкого, так и восточнословацкого происхождения, тогда как восточнословацкие — только в текстах, возникших в соответствующей диалектной зоне. Особенностью же функционирования и тех и других является то, что они употребляются параллельно с элементами иного происхождения (генетически чешскими, западнословацкими и специфическими), образующими структуру словацкого литературного языка старого типа<sup>2</sup>. Различный функциональный статус данных единиц позволяет рассматривать первые как маркированные, а вторые — как немаркированные. Изучение же текстов в данном аспекте дает основания утверждать, что некоторые из них могут состоять только из немаркированных элементов, и тогда оказывается невозможным установить на основании языковых данных место его записи [Лифанов 1999: 168], однако исключено, чтобы текст состоял только из маркированных элементов. Даже чрезвычайно близкие народной речи, такие, как, например, протоколы допросов ведьм [Majtánová, Majtán 1975], содержат значительное количество немаркированных. Это явление позволяет считать вариант словацкого литературного языка, сформировавшийся в Западной Словакии (точнее — Юго-Западной), основным, а остальные — его региональными модификациями.

<sup>2</sup> В качестве примера приведем дистрибуцию в словацких письменных текстах флексий косвенных падежей адъективалий мужского и среднего родов с гласным *-é-*. Единственно возможные в югозападнословацких текстах (*ze Saczcinskeho thhu spolem issly* — Скалица, 1725), эти формы представлены также в северо-западнословацких (*ta cesta od kamenneho Snehu na Polianku* — Пруске, 1633), северных среднесловацких (*za Radu Slowutneho a Oppatneho muže Pana Njmassa Skladaneho* — Ружомберок, 1649), южных среднесловацких (*pana k/nam milostiweho a laskaweho* — Банска Штьявница, 1570) и восточнословацких (*stegto strany Yarku mlinskeho* — Шариш-Земплин, 1658) памятниках письменности. Наряду с указанными формами в записях неюгозападнословацкого происхождения представлены и их региональные варианты: с гласными *-ie-* (*pre sirotky zustale nebohyeho Samuela* — Ружомберок, 1661), *-i-* (*Pozdraweni y giniho mnoho dobriho* — Банска Штьявница, 1622), *-o-* (*Agnietha Istvana Radomskoho sestra* — Шариш-Земплин, 1608).

Взаимоотношения между чешским и словацким литературными языками не всегда развивались поступательно и плавно. Напротив, были такие исторические периоды, когда ситуация в течение небольшого временного отрезка кардинально менялась. Один из таких резких поворотов произошел в первые десятилетия XVII в., когда в Словакии осуществлялась стремительная рекактолизация населения. Позиции евангелистов были столь существенно подорваны, что актуальным стал вопрос, сохранится ли данная конфессия в Словакии. В этих условиях словацкие евангелисты вынуждены были искать внешнюю поддержку, и они ее нашли в виде книг на чешском языке, а также в лице чешских протестантов, устремившихся в Словакию после поражения в битве на Белой горе 1620 г.

Возврат словацких евангелистов к нормам чешского литературного языка (точнее, принятие ими в качестве таких норм языка «Кралицкой библии») имел значительные последствия для истории словацкого литературного языка, так как внутри одного этноса в рамках двух конфессий возникла разная языковая ситуация. В среде евангелистов функции высшей, обработанной формы родного языка стал выполнять язык «Кралицкой библии», однако словацкий литературный язык старого типа не исчез, а продолжал использоваться в «более низких» жанрах письменности, например в административно-правовых документах и популярной поэзии, в результате чего у них возникла диглоссия. В среде же католиков продолжалось развитие словацкого литературного языка старого типа, на котором создаются высокохудожественные поэтические произведения: «Словацкие стихи» П. Беницкого (1652 г.), «Образ прекрасной дамы, нарисованный пером» Ш. Ф. Селецкого (1701 г.), «Пастушья школа» Г. Гавловича (1755 г.), а также первый словацкий роман «Юноши Рене приключения и испытания» (1783 г.), на него осуществляется полный перевод Библии (1750 г.), и, наконец, в 1787 г. он кодифицируется А. Бернолаком. Использовался он, естественно, и в «более низких» жанрах письменности, которые, таким образом, остались общими для католиков и евангелистов.

В популярной поэзии, бытовавшей в широких народных массах, происходит специфический тип взаимодействия чешского и словацкого языков, не представленный в иных видах письменности. Языковая норма здесь была крайне неустойчивой и существенно варьировала в зависимости от содержания и жанра стихотворного произведения. Это объясняется тем, что словацкий литературный язык старого типа входил в привативную оппозицию с чешским литературным языком или каким-то словацким диалектом, являясь ее маркированным членом. Так, авторы стихотворных

произведений, в которых описывались исторические события или изображались картины городской жизни, а также создатели окказиональной поэзии при помощи языковых средств стремились придать им возвышенный, торжественный характер. В качестве таких средств выступали нетипичные для словацкого литературного языка старого типа богемизмы. В стилизациях же лирических народных песен названный идиом был подвержен влиянию диалекта, распространенного в месте создания каждого конкретного произведения. Приблизительно на рубеже XVIII—XIX вв., однако, ситуация начинает меняться: в записях стихотворных произведений, независимо от их жанра, содержания и места создания фиксируются среднесловацкие элементы. Данный факт, с нашей точки зрения, свидетельствует о том, что на базе среднесловацких говоров формируется особый идиом — среднесловацкое фольклорное койне, которое, проявляя экспансию, проникает в авторскую поэзию, причем сначала в ее «низшие» жанры, общие для католиков и евангелистов, а затем и в высокую поэзию евангелистов. В первом случае этот процесс принимает форму инфильтрации отдельных элементов, а во втором — тотального вытеснения предшествующей системы чешского литературного языка, см. [Лифанов 1998б]. Именно второе явление, охватившее 20-е — начало 40-х годов XIX в., становится одним из ключевых моментов в истории словацкого литературного языка, поскольку оно разрушило диглоссию в евангелической среде и таким образом открыло возможности кодификации нового литературного языка. Последствием данного процесса явилась кодификация Л. Штуром (1842—1844 гг.) нового литературного языка, который с некоторыми, хотя и существенными изменениями был принят католиками и значительно ограничил функции чешского литературного языка в среде евангелистов. Последние, правда, еще более века продолжали использовать его как язык богослужения, и лишь в 1960 г. он был вытеснен и из этой сферы новым литературным языком [Majtán 1996: 349].

### Л и т е р а т у р а

*Едличка А.* Проблематика нормы и кодификации литературного языка в отношении к типу литературного языка // Проблемы нормы в славянских литературных языках в синхронном и диахронном аспектах. М., 1976.

*Лифанов К.В.* Грамматикализация перегласовок как характерная особенность языка памятников словацкой письменности // Славянские литературные языки эпохи национального возрождения. М., 1998а. С. 261—275.

*Лифанов К.В.* Формы проникновения среднесловацкого фольклорного койне в сферу авторской поэзии (конец XVIII в. — первая половина XIX в.) // Wiener Slavistisches Jahrbuch. 1998б. Bd. 44. S. 99—113.



*Лифанов К. В.* Эволюция языка «Елшавской городской книги» 1566—1710 гг. и так называемый культурный среднесловацкий язык // *Zeitschrift für Slavische Philologie*. 1999. 58. Bd. 1. S. 151—170.

*Лифанов К. В.* Генезис словацкого литературного языка. München, 2001.

*Matezius V.* О необходимости стабильности литературного языка // Пражский лингвистический кружок. М., 1967. С. 378—393.

*Bartek H.* Spisovný jazyk slovenský // *Slovenská reč*. 1937—1938. 6. S. 50—57.

*Ďurovič L.* Vývin kodifikácie spisovnej slovenčiny pred Bernolákom // *Slovenská literatúra*. 1990. 37. Č. 1. S. 56—66.

*Ďurovič L.* Pavel Doležal a jeho Grammatica Slavico-Bohemica (Pri trijstom výročí narodenia 1700—2000) // *Slovenská reč*. 2000. 65. Č. 1. S. 22—32.

*Havránek V.* Expanse spisovné češtiny od 14. do 16. stol. // *Co daly naše země Evropě a lidstvu*. Praha, 1940. S. 53—59.

*Jedlička A.* Studium současných spisovných jazyků slovanských a problematika variantnosti normy // *Slovo a Slovesnost*. 1968. 29. Č. 2. S. 113—125.

*Krajčovič R.* Slovenčina a slovanské jazyky. Bratislava, 1974.

*Majtánová M., Majtán M.* Krupinské právne právo. Bratislava, 1975.

*Majtán M.* Slovenské preklady Biblie // *Slovenská reč*. 1996. 61. Č. 6. S. 342—352.

*Novák L.* Čeština na Slovensku a vznik spisovnej slovenčiny // *Slovenské pohľady*. 1938. 54. S. 105—111, 159—173, 217—222, 281—287.

*Pauliny E.* Dejiny spisovnej slovenčiny. I. Od začiatkov až po Ľudovíta Štúra. Bratislava, 1971.

*Pauliny E.* Dejiny spisovnej slovenčiny. Bratislava, 1948.

*Porák J.* Humanistická čeština. Praha, 1979.

*Varsik B.* Slovenské listy a listiny z XV. a XVI. storočia. Bratislava, 1956.

*Vlkolinský J.* O «prvej» knihe slovenskej // *Živena*. 1885. 2. S. 230—240.

К. А. Максимович

## Lexicon Cyrillomethodianum: к обоснованию проекта

Успешно завершённое в 1997 г. в Праге издание фундаментального «Словаря старославянского языка»<sup>1</sup> стало, несомненно, одним из наиболее значимых научных событий последнего десятилетия. Благодаря многолетней работе чешских ученых под руководством сначала Й. Курца, а затем З. Хауптовой, в распоряжении славистов оказался образцовый словарный продукт, на основе которого возможно проведение самых разнообразных лингвистических исследований. С завершением этого словаря пришло время поставить вопрос о создании ряда специализированных лексиконов — например, старославянского богословского словаря, старославянского юридического словаря, словаря литургической лексики и т. п. Настоящий доклад представляет собой попытку наметить пути дополнения и уточнения материалов пражского «Словника» в той их части, которая касается кирилло-мефодиевских переводов.

Известно, что переводы славянских первоучителей не дошли до нас в первоначальном виде — на протяжении веков они неоднократно подвергались редактированию. Поэтому важнейшей задачей исторической лексикологии славянских языков является реконструкция словарного состава первых переводов. Нельзя сказать, чтобы эта задача не выполнялась — в результате многолетних исследований была реконструирована значительная часть кирилло-мефодиевской лексики<sup>2</sup>. Весьма плодотворным, хотя и не абсолют-

---

<sup>1</sup> Slovník jazyka staroslověnského / Lexicon linguae palaeoslovenicae / Ed. J. Kurz, Z. Hauptová. Praha, 1958 (1960)—1997. Sv. I—IV (seš. 1—52).

<sup>2</sup> Из основной литературы вопроса см.: Jagić V. Entstehungsgeschichte der kirchenslavischen Sprache. Berlin, 1913; Славова Т. Преславската редакция на Кирило-Методиевия старобългарски евангелски превод // Кирилло-Методиевски студии. София, 1989. Кн. 6. С. 15—127; Карачорова И. Към въпроса за Кирило-Методиевия старобългарски превод на Псалтира // Там же. С. 170—245; Пенев П. Към историята на Кирило-Методиевия старобългарски превод на Апостола // Там же. С. 246—317; Славова Т., Добрев И. Проект за критическо издание на старобългарското тетраевангелие: Реконструиран Кирило-Методиев текст с разно-

но надежным, оказалось выделение так называемых «охридских» и «преславских» лексем в славянских памятниках X—XI вв.

В последние десятилетия далеко вперед продвинулось текстологическое и лингвистическое изучение древнейших переводов Св. Писания, ранней славянской гимнографии, юридических переводов. Таким образом, можно считать, что создан хороший научный задел, позволяющий решить *две, на мой взгляд, взаимосвязанные задачи палеославистики — создание «Кирилло-мефодиевской грамматики» и «Кирилло-мефодиевского словаря» (Lexicon Cyrillomethodianum)*.

Для специалистов очевидно, что кирилло-мефодиевская грамматика (точнее, ее научная реконструкция) будет весьма отличаться от обычного, описательного пособия по старославянскому языку. Прежде всего, многие правила этой грамматики будут представлены в виде гипотетически возможных вариантов, кое-что, вероятно, будет опущено из-за невозможности реконструкции. Однако будут и выгодные отличия — поскольку реконструируется славянский письменный язык конца IX в., ряд форм и парадигм будут гораздо более однозначными, чем в классических справочниках, описывающих старославянский язык на протяжении полутора веков его развития. Весьма желательным для «Кирилло-мефодиевской грамматики» представляется и наличие особой главы о методах и технике первых переводов.

То же самое можно сказать о проекте «Lexicon Cyrillomethodianum». Данный «Лексикон» ни в коей мере не станет повторением пражского «Словника», поскольку его главная задача не столько описание дошедшей до нас книжной лексики раннего периода, сколько реконструкция кирилло-мефодиевского пласта в лексической массе ранних славянских памятников<sup>3</sup>. Эта задача не была ни поставлена, ни выполнена в пражском словаре и представляет собой, таким образом, важнейший desideratum палеославистики.

**Константин-Кирилл и Мефодий как языковые личности.** Анализ лексики древних переводных текстов, сохранность которых в традиции неочевидна, требует большой осторожности при обращении с материалом. И здесь большим подспорьем может служить любая информация об авторах переводов, и особенно сведения о

---

чтения и критически аппарат // Кирило-Методиевски студии. София, 1995.; Кн. 10. С. 88—102.

<sup>3</sup> Я последовательно провожу традиционное для текстологии различие между «памятником» и «списком памятника» — с этой точки зрения ранние памятники вполне могут быть представлены поздними списками.

них как языковых личностях. Биографические данные о Кирилле и Мефодии, а также вся совокупность добытых наукой данных о технике первых переводов позволяют сделать вывод, что братья были билингвами — т. е. владели славянским диалектом так же хорошо, как разговорным и литературным греческим языком. В «паннонских» житиях Константина и Мефодия нет прямых сведений об их славянском происхождении (равно как и греческом) — однако общекультурные соображения заставляют думать, что братья происходили из среды славянского населения византийской Фессалоники, причем их семья была в той или иной степени эллинизирована (иначе отец семейства не мог бы занимать высокую административную должность, как об этом сообщается во 2 гл. «Жития Константина») <sup>4</sup>. Только славянским происхождением братьев можно убедительно объяснить столь совершенное владение солунским диалектом славянского языка. Получив образование на уровне лучших стандартов того времени, братья в совершенстве овладели не только литературным греческим языком, но и византийской культурной традицией — причем если младший брат, Константин, сосредоточился на изучении философии и богословия, то Мефодий испытал себя и на административно-юридическом поприще. Об этом прямо свидетельствует паннонское «Житие Мефодия» <sup>5</sup> и косвенно — мефодиевский юридический сборник «Закон судный людем», в котором обнаружилось следы знакомства с классическим римским правом <sup>6</sup>. Немаловажно при этом, что братья вращались в кругах образованных византийцев и принимали активное участие в церковной жизни империи. Можно с уверенностью утверждать, что ни один славянский книжник более позднего времени не имел таких благоприятных возможностей для изучения греческого языка и повышения своего культурного уровня, как Константин-Кирилл и Мефодий. Как следствие, билингвизм более поздних славянских книжников не был таким полным, как у славянских первоучителей. Даже столь образованный автор, как Иоанн, экзарх Болгарский, уступал Кириллу и Мефодию во владении литературным

<sup>4</sup> «Bilingual from childhood» — так называет славянских первоучителей прекрасный знаток вопроса В. Вавржинец, ср.: *Vavřínek V. The Introduction of the Slavonic Liturgy and the Byzantine Missionary Policy // Beiträge zur byzantinischen Geschichte im 9.—11. Jahrhundert / Hrsg. von V. Vavřínek. Praha, 1978. S. 255—281 (272).*

<sup>5</sup> Житие Мефодия, гл. II—III, ср.: *Лавров П. А. Материалы по истории возникновения древнейшей славянской письменности. [Труды славянской комиссии. Т. 1.] Л., 1930. С. 70—71.*

<sup>6</sup> *Максимович К. А. Древнейший памятник славянского права «Закон судный людем»: композиция, переводческая техника, проблема авторства // Византийский временник. М., 2002. Т. 61 (86). С. 24—37.*

греческим языком (и, соответственно, в технике перевода)<sup>7</sup>. В одной из своих последних работ Кр. Станчев показал, что билингвизм некоторых славянских книжников, не получивших «столичного» образования в Византии, носил неполный характер, ограничиваясь владением лишь разговорным греческим языком<sup>8</sup>.

Итак, в применении к Средневековью следует различать ограниченный, или «устный», билингвизм, т. е. владение неродным языком только на уровне разговорного общения, и полный, устно-письменный билингвизм, характерный для Кирилла и Мефодия, — т. е. владение как устной, так и письменной разновидностью неродного языка. Сам по себе полный билингвизм — явление нередкое в Византии: известны имена образованных византийцев из армянской, грузинской, сирийской среды<sup>9</sup>. Однако в славянском мире полный славяно-греческий билингвизм был большой редкостью, и, пожалуй, его наиболее яркий пример представлен именно в творчестве Константина-Кирилла и Мефодия.

Какое же значение имеет данное обстоятельство для проекта кирилло-мефодиевского «Лексикона»? Прежде всего то, что отбор источников для «Лексикона» должен проводиться с учетом билингвальнойности переводчиков. Иными словами, источники, изобилующие ошибками перевода, ни в коей мере не могут считаться кирилло-мефодиевскими.

**Ошибки в переводах Кирилла и Мефодия.** В одной из своих недавних работ Фр. Томсон полемизирует с А. А. Алексеевым по поводу критериев выявления мефодиевских библейских переводов<sup>10</sup>. Согласно А. А. Алексееву, Мефодий не допускал ошибок при переводе, а потому его переводы библейских текстов должны отличаться высоким качеством. Томсон вообще отказался от понятия

<sup>7</sup> См.: *Leskien A.* Die Übersetzungskunst des Exarchen Johannes // *Archiv für slavische Philologie.* Berlin, 1903. Bd. 25. S. 48 ff.; *Berneker E.* Kyrills Übersetzungskunst // *Indogermanische Forschungen.* 1912/1913. Bd. 31. S. 399—412 (399); *Weiher E.* Zur sprachlichen Rezeption der griechischen philosophischen Terminologie im Kirchenslavischen // *Anzeiger für slavische Philologie.* 1972. Bd. 6. S. 142—143, 145.

<sup>8</sup> Ср.: *Станчев Кр.* Диграфия и билингвизъм в най-стария период на славянската писменост (върху примери от Асеманиевото евангелие) // *Glagolitica. Zum Ursprung der slavischen Schriftkultur / Hrsg. von H. Miklas u. a.* Wien, 2000. S. 88—94.

<sup>9</sup> Ср. также упоминание некоего образованного «чужестранца, знавшего грамматику», в 3 гл. «Жития Константина».

<sup>10</sup> *Алексеев А. А.* Филологические критерии выявления библейских переводов св. Мефодия // *Полата кънигописъная.* 1985. № 14/15. С. 8—14; *Thomson Fr. J.* Has the Cyrillomethodian Translation of the Bible Survived? // *Offprint from: Thessaloniki — Magna Moravia: Proceedings of the International Conference.* Thessaloniki, 16—19 October 1997. Thessaloniki, 1999. P. 149—164.

«кирилло-мефодиевские переводы» и предложил более корректный термин «древнейший доступный изучению текст» (the earliest recoverable text). По мнению Томсона, этот «древнейший текст» не тождествен кирилло-мефодиевским переводам. Стремясь доказать неправоту Алексева и ошибочность некоторых переводческих решений Кирилла и Мефодия, бельгийский славист обращается к славянской Псалтыри и показывает на примерах, что ее перевод местами весьма неудачен<sup>11</sup>. В пылу полемики Томсон не заметил, что впал в неразрешимое противоречие со своим же собственным выводом. Ведь если кирилло-мефодиевские переводы не сохранились, то ошибки Псалтыри не имеют к Кириллу и Мефодию никакого отношения. Если же Кирилл и Мефодий действительно ошибались — тогда нужно отказаться от термина «древнейший текст» и оперировать понятием «кирилло-мефодиевские переводы». Таким образом, критерий безошибочности переводов остается в силе — с той лишь оговоркой, что необходимо точнее определить степень этой «безошибочности».

Внимательное изучение сохранившихся переводов, авторство которых можно считать установленным, показывает, что и Константин-Кирилл иногда ошибался при переводе. Однако необходимо оценивать количество ошибок статистически, в пропорции к объему переводимого памятника. Я попытался сделать это на примере «Написания о правой вере» — небольшого, но чрезвычайно сложного переводного богословского трактата, в конце которого Кирилл эксплицитно упоминает «моего брата Мефодия»<sup>12</sup>. Иссле-

<sup>11</sup> Надо заметить, что многие чтения славянской Псалтыри, которые Томсон считает ошибками перевода, в действительности абсолютно корректны и ошибается здесь скорее сам Томсон, чем билингвы Кирилл и Мефодий. Так, славянское соответствие греч. ἐλυλίθητι ἐν τῇ ἀδολεσχίᾳ μου 'я опечалился в своей задумчивости' (Пс. 54, 3) *взскръвѣхъ печальною мою* Томсон переводит «I grieved in my sadness», ср. *Thomson Fr.J. Has the Cyrillomethodian Translation...* P. 156. Томсон упрекает переводчика Псалтыри в том, что он некорректно перевел греч. ἀδολεσχία 'задумчивость' как 'грусть' (p. 156). Напомним Фр. Томсону, что слав. печаль имело, наряду с 'грусть' (*sadness*), также значение 'забота, беспокойство' (греч. μέριμνα) и 'беда, несчастье' (греч. στυφώρα), ср.: Старославянский словарь (по рукописям X—XI вв.) / Под ред. Р. М. Цейтлин, Р. Вечерки, Э. Благовой. М., 1994. С. 445; Словарь русского языка XI—XVII вв. М., 1989. Т. 15. С. 32—33. Слав. *взскръвѣхъ печальною мою* следует понимать как 'я опечалился из-за своего несчастья' или 'из-за своей заботы'. Разумеется, такой перевод отступает от буквы оригинала, однако полностью передает его дух и смысл. Но ведь это и есть черта подлинных кирилло-мефодиевских переводов, *адекватных смыслу оригинала* (ср. ниже).

<sup>12</sup> Строка 364, ср.: Кириллово «Написание о правой вере» // *Верещагин Е.М. Церковнославянская книжность на Руси. М., 2001. С. 17—42 (41).*

дование показало, что текст «Написания», занимающий в издании 362 строки (имеющих греческий оригинал) и содержащий примерно 1400 словоупотреблений (в среднем по 4 на строку), имеет лишь 3 случая ошибочного перевода, или чуть более 0,2% от всех словоупотреблений! Это следующие ошибки (ссылки даются на строки издания, правописание стандартизовано): 1) перевод греч. ἀσύμμιχτος ‘несмешанный’ как нераздельный (261); 2) перевод греч. τῷ ἑτεροίῳ τῶν περὶ ἐκάστην [sc. ὑπόστασιν] ἐνυπαρχουσῶν ἰδιότητων как иначе како по ко<ε>иждо от сжциихъ свойствъ (49)<sup>13</sup>; 3) перевод греч. οὐσιωδῶς ‘по сущности’ (о соединении свойств) слав. єдиносжциьно (251). Другие случаи «ошибок» вполне удовлетворительно объясняются позднейшим бытованием текста у славян, или другими причинами. Так, перевод καινοτομία ‘нововведение’ как тѣцеглашениѣ (165), вероятно, восходит к греческому варианту κεινοφώνια в оригинале Константина-Кирилла, а потому не может рассматриваться как ошибка. Перевод греч. συγκατάβασις ‘снисхождение, милость’ сочетанием вожиѣ слово (335) также едва ли может считаться ошибкой — поскольку синтаксис фразы в данном месте явно нарушен, это, скорее всего, поздняя порча текста. Такую же порчу следует предположить в совершенно иррациональных переводах греч. συλλαβόντα (-τως?) εἰλεῖν ‘резюмируя, говоря в целом’ как татьвьна (94) и греч. ἀναπλάσσω ‘возродить, создать вновь’ как посждити (ветъхаго Адама посжди — ἀνεπλάσατο) (155).

Итак, в «Написании о правой вере» обнаружилось 3 относительно надежных случая ошибочного перевода на 1400 словоупотреблений. Иными словами, при переводе одного из сложнейших памятников византийского богословия переводчик делал всего 1 ошибку на 500 безошибочных переводческих решений! Этот ничтожно малый процент вполне подтверждает гипотезу о билингвальности Константина-Кирилла и высочайшем качестве его переводов. Таким образом, 0,2% ошибок перевода от всех словоупотреблений текста и следует считать максимально допустимой погрешностью кирилло-мефодиевских переводов.

**Источники «Лексикона».** Проблема источников «Лексикона», сама по себе непростая, еще больше осложняется различными субъективными обстоятельствами. К сожалению, многие исследователи в прошлом проявляли и ныне продолжают проявлять не-

<sup>13</sup> Конструкция *иначе како* — не очень искусный перевод греч. ἑτεροῖον ‘различие’; греч. περὶ ἐκάστην [sc. ὑπόστασιν] при переводе неверно связано с ἰδιότητων (при том, что форма ж. р. *кониждо*, возникшая под влиянием ж. р. ἐκάστην, не согласуется с формой ср. р. *своиствъ*).

разборчивость в определении авторства тех или иных древнеславянских произведений. В последние десятилетия разные переводы или оригинальные произведения были приписаны Константину Кириллу, Мефодию, Клименту Охридскому, Константину Преславскому — причем только в нескольких случаях атрибуции предшествовал тщательный языковой анализ соответствующего памятника. Большинство же текстов, приписанных в последние годы Кириллу и Мефодию, вообще не исследованы в языковом отношении. Таким образом, *источниками академического «Кирилло-мефодиевского лексикона» должны стать только те тексты (или их части), характер которых соответствует современным научным представлениям о языке, стиле и переводческой технике Константина-Кирилла и Мефодия.* Тексты, не соответствующие кирилло-мефодиевским языковым критериям, следует исключить из рассмотрения. Наконец, памятники, язык которых не исследован монографически, должны быть оставлены за пределами «Лексикона» до решения вопроса об их авторстве.

При таком подходе собственно кирилло-мефодиевских текстов окажется не так уж много. И первое место среди них окажется не за евангельскими переводами, как это может показаться на первый взгляд, а за юридическими: это, прежде всего, надежно атрибутированные мефодиевские переводы византийской «Эклоги» (так называемый «Закон судный людем краткой редакцией») <sup>14</sup> и «Синагоги» Иоанна Схоластика (так называемый «Номоканон Мефодия») <sup>15</sup>. Дело в том, что эти памятники, переведенные Мефодием, были заменены в Болгарии новыми переводами — перевод «Эклоги» сохра-

<sup>14</sup> Окончательная (как представляется) атрибуция памятника Мефодию проведена в работе: *Максимович К. А.* Древнейший памятник славянского права «Закон судный людем»: композиция, переводческая техника, проблема авторства (см. прим. 6).

<sup>15</sup> Дошел вместе с «Законом судным» в древнерусской Устюжской кормчей XIII—XIV вв., ср.: *Maksimovič K.* Aufbau und Quellen des altrussischen Ustjuger Nomokanon // *Fontes Minores.* Frankfurt am Main, 1998. Bd. 10. S. 477—508 [= *Forschungen zur byzantinischen Rechtsgeschichte* / Hrsg. von Dieter Simon. Bd. 22]. О юридических сочинениях Мефодия существует достаточно обширная литература, см.: *Cibranska M.* La loi pour juger les hommes au point de vue de la lexicologie et la lexicographie historique // *Etudes Balkaniques.* 1998. 2. P. 196—210; *Цибранска-Костова М.* Формиране и развитие на старобългарските лексикални норми в църковноюридическата книжнина. София, 2000; *Gallagher C.* Church Law and Church Order in Rome and Byzantium. A Comparative Study. Birmingham, 2002 [= *Birmingham Byzantine and Ottoman Monographs.* Vol. 8]. P. 95—109. Более раннюю литературу см. в работе: *Bibliographie zur Rezeption des byzantinischen Rechts im alten Rußland sowie zur Geschichte des armenischen und georgischen Rechts* / Unter Mitwirkung von A. Bozozjan, I. Čičurov, S. Goginava, K. Maksimovič und J. Ščapov zusammengestellt von L. Burgmann und H. Kaufhold. Frankfurt am Main, 1992. S. 24—25, 46—60.



нился в составе древнерусского сборника «Мерило праведное», а заменившая сборник Иоанна Схоластика «Синтагма XIV титулов без толкований» сохранилась в «Ефремовской кормчей» XII в. Именно потому, что мефодиевские переводы рано вышли из употребления, они не претерпели систематической языковой редакции, сохранив мефодиевский язык практически в первозданном виде. То же касается кирилловского «Написания о правой вере», которое хоть и сохранилось в среднеболгарском сборнике 1348 г., отстоящем от времени перевода почти на пять веков, однако демонстрирует лишь единичные чтения явно вторичного характера: *ѣдинородьнъ* — *μονογενής* (14; 167); *прѣкѣстьствьнъ* — *ὑπερφυής* (36) (словообразовательно-семантическая калька, ср. типично кирилловское описательное *паче истѣства чловѣча*. (215) и *безъ вьсего примышлениа* (354) для передачи наречной формы *ὑπερφυής*); *сѣличинѣ* — *ὀλοστας* (47; у Константина-Кирилла, в зависимости от контекста, целый ряд синонимов: *ипостась* (21), *сѣщѣство* (78, 89, 98, 115), *тѣло* (185; 188; 193))<sup>16</sup>.

В источники «Лексикона» войдут также оригинальные сочинения Мефодия — так называемая «Анонимная гомилия» из Клоцова глаголического сборника<sup>17</sup> и, вероятно, канон св. Димитрию Солунскому, сохранившийся в октябрьской Минеи XII в. (Москва, ГИМ, № 160)<sup>18</sup>. Между прочим, лексика этого канона не вошла ни в пражский «Словник», ни в «Старославянский словарь» Цейтлин/Вечерки/Благовой. Таким образом, проектируемый «Лексикон»

<sup>16</sup> Слово *сѣличинѣ* и его производные типичны для болгаро-преславского перевода новгородской октябрьской минеи 1096 г., ср: *Животъ во истинѣ, сѣличьнѣи, сѣвѣкомплѣна телѣсти, чистаѣ, по сѣличинѣ, паче истѣства слово породила иси* (каѿ' ὀλοστας). Мин. окт., 47. 1096 г. См. слово *сѣличинѣ* в SJS III: 283: в цитатах из Апостола исконный перевод *тѣлѣстие* (ср. выше *тѣло*) содержит только Христинопольский апостол XII в., что полностью соответствует современным представлениям об особой древности его текста. В Словаре русского языка XI—XVII вв. (М., 2000. Т. 25. С. 89) на слово *сличие* из древнейших цитируются только преславские памятники!

<sup>17</sup> См.: Clozianus. Staroslovenský hlaholský sborník Tridentský a Innsbrucký / Ed. A. Dostál. Praha, 1959. S. 52—57; об авторе Анонимной гомилии см. работу: *Vašica J.* Кирилло-мефодиевские юридические памятники // Вопросы славянского языкознания. М., 1963. Вып. 7. С. 12—33 (21—27).

<sup>18</sup> *Vašica J.* Původní staroslověnský liturgický kanon o sv. Dimitrijovi Soluňském // *Slavia*. 1966. 35. S. 513—524; *Бѣтльр Т.* Методиевѣн канон в чест на Димитър Солунски // Кирило-Методиевски студии. Кн. 4: Хиляда и сто години от смъртта на Методий. София, 1987. С. 259—264; *Мирчева Б., Бърлиева С.* Предварителен списък на Кирило-Методиевските извори // Там же. Приложение. С. 486—515 (487). Предложенные в этих работах доказательства авторства Мефодия не могут считаться окончательными. Однако я располагаю рядом новых доказательств лингвистического характера (о которых надеюсь рассказать в отдельной работе).

внесет ценный вклад в расширение фонда исследованной кирилло-мефодиевской лексики.

Вопрос о приписываемом Кириллу «Прогласе св. Евангелия» требует дополнительного изучения.

Недавно вышла в свет новая работа В. Конзала, в которой делается попытка обосновать мефодиевское авторство одной старославянской молитвы против дьявола<sup>19</sup>. Сильной стороной книги является широкое использование лингвистических методов доказательств древности памятника. Можно согласиться с В. Конзалом в том, что молитва составлена в древнейший период славянской книжности и что ее автор жил в Моравии (или, по крайней мере, в латинско-славянской контактной зоне). Тем не менее, пока не найден оригинал, этот текст не может считаться переводным, а значит, к нему нельзя применить в целях атрибуции выработанные в современной славистике методы анализа переводческой техники. Что же касается личности автора, то всем указанным в книге признакам вполне соответствует не только Мефодий, но и его ученик и преемник Горазд, названный в «Житии Мефодия» *вашея земля* (т. е. Моравии. — К. М.) *свободь мочъ, оученъ же доврѣ въ латиньскыи книги, правокъ врѣнь*<sup>20</sup>.

Подробная регистрация и анализ лексики названных памятников позволит по-иному подойти к наиболее сложной задаче — реконструкции кирилло-мефодиевской лексики в библейских переводах. Из Псалтыри, евангелий и Апостола будет взят наиболее древний лексический слой, поздняя восточноболгарская правка останется за пределами «Лексикона». То же касается славянского Паримейника, перевод которого существовал еще при жизни Мефодия, в 880 г.<sup>21</sup>, — после тщательного лексического анализа будет произведен отсев поздних лексических наслоений.

**Переводческая техника и вычленение кирилло-мефодиевских элементов в языке источников.** После работ Э. Бернекера, И. В. Ягича, К. Горалка, Е. М. Верещагина, К. Троста, Р. Марти<sup>22</sup> и многих

<sup>19</sup> См. Конзал В. Старославянская молитва против дьявола. М., 2002.

<sup>20</sup> Житие Мефодия, гл. XVII, ср.: Лапов П. А. Материалы по истории... С. 78.

<sup>21</sup> Ср. Thomson Fr. J. Has the Cyrillomethodian Translation of the Bible Survived? P. 149; *Idem*. The Slavonic Translation of the Old Testament // Interpretation of the Bible / Ed. J. Krašovec. Ljubljana, 1998. P. 605—920 (639).

<sup>22</sup> См. Berneker E. Kyrills Übersetzungskunst; Jagić V. Entstehungsgeschichte der kirchenslavischen Sprache; Horálek K. Evangeliáfe a čtvero evangelia. Přispevky k textové kritice a k dějinám staroslovenského překladau evangelia. Praha, 1954; Верещагин Е. М. Из истории возникновения первого литературного языка славян: Переводческая техника Кирилла и Мефодия. М., 1971; Он же. Из истории возникновения

других наука располагает достаточным материалом для суждения о кирилло-мефодиевской переводческой технике. Подытоживая разыскания в этой области, К. Трост писал: Константин-Кирилл стремился «передавать каждое слово греческого оригинала одним точным славянским соответствием, если и поскольку смысл оригинала сохранялся в переводе» (перевод мой. — К. М.). Таким образом, по Тросту кирилловская техника перевода сводится к двум принципам: пословный перевод и семантически адекватный перевод. В случае невозможности адекватного перевода при сохранении принципа пословности, этот последний отменяется и перевод отходит от буквы оригинала, сохраняя, однако, его дух и смысл<sup>23</sup>. Таким образом, принцип адекватности перевода является главенствующим. В последние годы окончательно сформулирован еще один принцип кирилло-мефодиевской переводческой техники — принцип ясности перевода. Следование принципу ясности предполагает, при стремлении к адекватности перевода, его максимальную понятность для читателя<sup>24</sup>.

Таким образом, в настоящее время можно говорить о триединой технике кирилло-мефодиевских переводов. Она зиждется на трех фундаментальных принципах, которые условно соответствуют трем разделам семиотики — синтактике, семантике и прагматике. Три семиотических «кита» кирилло-мефодиевской техники перевода

---

первого литературного языка славян: Варьирование средств выражения в переводческой технике Кирилла и Мефодия. М., 1972; *Он же*. История возникновения древнего общеславянского литературного языка. Переводческая деятельность Кирилла и Мефодия и их учеников. М., 1997; *Он же*. Церковнославянская книжность на Руси. М., 2001 (разделы I и частично II); *Trost K.* Untersuchungen zur Übersetzungstheorie und -praxis des späteren Kirchenslavischen (Die Abstrakta in der Hexaemeronübersetzung des Zagreber Zbornik von 1469). München, 1978. [= Forum Slavicum. Bd. 43]; *Marti R.* Besonderheiten der Sprache Methods // Symposium Methodianum. Beiträge der Internationalen Tagung in Regensburg (17. bis 24. April 1985) zum Gedenken an den 1100. Todestag des hl. Method / Hrsg. von Klaus Trost u.a. Neuried, 1988. S. 613—622. [= Selecta Slavica. 13].

<sup>23</sup> *Trost K.* Untersuchungen zur Übersetzungstheorie und -praxis des späteren Kirchenslavischen. S. 33.

<sup>24</sup> На материале евангельских переводов этот принцип обоснован в работах Е. М. Верещагина (см. прим. 22); на материале мефодиевского «Закона судного людем» — в работе: *Максимович К. А.* Древнейший памятник славянского права «Закон судный людем». Специально идея о «миссионерском» (максимально понятном для народа) характере языка первых переводов обоснована в нашей статье: *Максимович К. А.* К оценке вклада Кирилла и Мефодия в создание общеславянского книжно-письменного языка // *Palaeoslavica*. 2001. IX. P. 222—239 (232, 236—238). Правда, еще четверть века об этом писал В. Вавржинек: «византийские миссионеры перевели текст литургии на повседневный язык» (into the language of everyday life), ср.: *Vavřínek V.* The Introduction of the Slavonic Liturgy... P. 268.

суть: *принцип пословности* (синтактика), *принцип адекватности смыслу оригинала* (семантика) и *принцип ясности* (прагматика). Эти три принципа неравнозначны: главнейшим из них, насколько можно судить, был принцип смысловой адекватности, следующим по значению — принцип ясности, а принцип пословного перевода стоял на последнем месте.

Три принципа кирилло-мефодиевских переводов были установлены в работах нескольких поколений европейских славистов как результат тщательного текстологического и языкового анализа конкретных памятников. Среди специалистов эти посылки не подвергаются сомнению. Следовательно, не должны подвергаться сомнению и вытекающие из них следствия.

**Следствие из принципа смысловой адекватности.** Принцип адекватности перевода предъявляет высокие требования к владению обоими языками — исходным и переводящим. Учитывая билингвизм Кирилла и Мефодия, переводы, изобличающие непонимание или неполное понимание греческого оригинала, не могут быть включены в число источников «Лексикона».

**Следствие из принципа ясности.** Если переводной текст страдает неясностью в силу механического использования семантических, словообразовательных или синтаксических калек (иначе говоря, из-за буквализма), этот перевод не может считаться кирилло-мефодиевским. В тех случаях, когда кирилло-мефодиевские тексты содержат варианты чтения, одно из которых — механическая калька с греческого, а другое — самостоятельное славянское слово или словосочетание, то именно второй вариант должен рассматриваться как исконный, например:  $\epsilon\iota\rho\upsilon\omega\tau\omicron\iota\omicron\varsigma$  миротворецъ (пресл.) — *сзмиръяж* (кир.-меф.). Следует, однако, иметь в виду, что кальки были свойственны в некоторой степени и кирилло-мефодиевским переводам. Поэтому необходим индивидуальный подход к каждой лексеме — так, при соблюдении принципа ясности и отсутствии ошибок перевода даже калькированные образования иногда можно считать кирилло-мефодиевскими, если они зафиксированы в древнейших переводах, отражающих так называемый «древний текст» Евангелий (Маринском евангелии, частично Зографском евангелии), а также в Синайской псалтыри, Синайском евхологии и др.

Что же касается принципа пословного перевода, то он не просто перешел от Кирилла и Мефодия в более позднюю, болгарскую традицию, но и занял в ней гораздо более важное место, чем в творчестве славянских первоучителей. Поэтому он в принципе не может быть использован для вычленения кирилло-мефодиевских лексем из общей массы книжного славянского вокабуляра.

**Лексика кирилло-мефодиевских памятников и позднейшая традиция.** Добытые наукой сведения о преславской литературной школе должны широчайшим образом использоваться в работе над «Лексиконом». Встретившиеся в како-либо тексте грамматические и лексические «преславизмы» сигнализируют о том, что текст либо подвергся поздней правке, либо возник в рамках восточноболгарской традиции. Так, типичными для преславской школы являются словообразовательные кальки, в том числе «избыточные словообразовательные кальки» (как возможный перевод нем. *Lehngliedzusatz*) в отличие от кирилло-мефодиевских описательных сочетаний; перевод греческих сложений с первым элементом *φίλο-* при помощи сложений с *любо-* в отличие от кирилло-мефодиевских сложений с *-любыць* на последнем месте<sup>25</sup>.

В преславских текстах есть случаи, когда кирилло-мефодиевское приставочное сложение лишается приставки, поскольку ее нет в греч. оригинале, ср.: *съвѣдѣти* [SJS 39: 240] 1. *знать* (Sin, Euch: *γινώσκω, ἐπίσταμαι, οἶδα*); *сознавать* (1 Cor 4, 4: *ἐμαυτῷ σύνοιδα* — Christ, Slepс, Šiš); *уметь* (*ἐπίσταμαι* — Grig) 2. *понимать* (Mc 14, 68: *ἐπίσταμαι* — Zogr, Mar, Ostr; 1 Cor 14, 16: *οἶδα* — Christ (Slepс, Šiš — *вѣдѣти*) 3. *признавать* (*γινώσκω* — Sin, Pog).

Одним из наиболее типичных случаев преславской правки является перевод греч. *ἄρτος ἐπιούσιος* ‘хлеб на завтрашний день’ (Матф. 6, 11 и Лук. 11, 3) посредством псевдокальки *хлѣвъ нащѣпънъи*. Это выражение, на мой взгляд, нельзя считать кирилло-мефодиевским, поскольку примененный здесь для передачи греческого *ἐπιούσιος* буквалистский перевод страдает неясностью. Исконным, кирилло-мефодиевским вариантом следует считать прозрачное по смыслу и безупречное с точки зрения точности перевода чтение *хлѣвъ наставъшаго дъне* ‘хлеб следующего дня’, зафиксированное в ряде славянских евангелий (о том, что прич. прош. вр. *наставъ* означало не ‘наставший’ (т. е. сегодняшний), а именно ‘следующий’, см. [SJS II: 318])<sup>26</sup>.

<sup>25</sup> Ср. *Vofь Chr. Die altbulgarische Übersetzungstechnik in der frühen Symeonischen Epoche. Zu vier (angeblichen) Patristikübersetzungen Konstantins von Preslav // Palaeobulgarica. 2001. XXV. 4. S. 49—63 (52—53).*

<sup>26</sup> Характерно, что вариант *наставъшаго дъне* представлен в списках, лучше всего сохранивших «древний текст», — в Маринском кодексе (Матф. 6, 11), евангелии Мирослава (XII в.), Карпинском евангелии (XIII—XIV вв.) и некоторых других, ср.: *Evangelium secundum Ioannem*. Евангелие от Иоанна в славянской традиции / Изд. подгот. А. А. Алексеев, А. А. Пичхадзе, М. Б. Бабицкая и др. СПб., 1998. С. 8—9; *Люсен И. Греческо-славянский конкорданс к древнейшим спискам славянского перевода евангелий (codices Marianus, Zographensis, Assemanianus, Ostromiri). Uppsala, 1995 (= Acta Universitatis Upsaliensis. Studia*

Отдельные случаи поздней правки отмечены и в мифодиевском «Номоканоне». Так, термины *подъпадати*, *подъпасти* и *прѣдиплактиса* представляют собой малоудачные кальки с терминов византийской покаянной дисциплины *ὑποπίπτω* и *προσκλιῶ*, что заставляет предполагать здесь вмешательство восточноболгарского редактора<sup>27</sup>. С другой стороны, в русской рукописи «Номоканона Мефодия» 5 раз встретилось слово *грамота*, проникшее в текст, вероятно, в результате языковой правки уже на русской почве<sup>28</sup>. Подобные случаи вновь подтверждают необходимость самой тщательной работы с текстологией и языком кирилло-мефодиевских переводов и оригинальных сочинений.

**Проблема «преславской» и «охридской» лексики в древнейших болгарских памятниках.** Как известно, лексика древнейших славянских памятников хронологически и территориально неоднородна: наряду с западно-славянскими лексемами в памятниках встречаются слова, признаваемые в науке западноболгарскими (охридскими) или восточноболгарскими (преславскими). Учитывая противоречивое отношение научного сообщества к различению «охридского» и «преславского» лексических слоев<sup>29</sup>, эта дихотомия будет учитываться, не играя, однако, решающей роли при отборе материала для «Лексикона». Для нашего проекта важно следующее. Лексемы, признаваемые в научном сообществе «преславскими» (или «позднейшими», «вторичными» и т. п.), не будут включены в «Лексикон», при условии, что их вторичность доказывается текстологией памятников. Лексемы, признаваемые «охридскими», войдут в «Лексикон» при условии, что они встретились в памятниках кирилло-мефодиевского происхождения (см. параграф «Источники “Лексикона”»).

Slavica Upsaliensia. 36). С. 97. Подробнее о «хлебе насущном» см.: Максимович К. А. Славянизмы современного русского языка и кирилло-мефодиевское наследие // *Folia slavistica*: Рале Михайловне Цейглин. М., 2000. С. 72—84 (75—77).

<sup>27</sup> Подробнее см.: Максимович К. А. Византийская практика публичного покаяния в Древней Руси: Терминология и проблемы рецепции // *Russica Romana*. Roma, 1995. Т. 1. С. 7—24 (12—13).

<sup>28</sup> О слове *грамота* см.: Львов А. С. К истории слова *грамота* в древнерусской письменности // Исследования источников по истории русского языка и письменности. М., 1966. С. 88—103; Максимович К. А. Текстологические и языковые критерии локализации древнеславянских переводов (по поводу нового издания «Пандектов» Никона Черногорца) // *Русский язык в научном освещении*. М., 2001. Т. 2. С. 191—224 (201—202, 210).

<sup>29</sup> См. особенно: Гъльбов И. Климент Охридски и ранните школи на стария български книжовен език // *Български език*. 1966. 16. № 5. С. 440—456; Станков Р. Локализация древнеболгарских переводных текстов в свете так называемой «охридской» и «преславской» лексики (на материале Исторической Палеи) // *Palaeobulgarica* 1991. XV. 4. С. 83—91.

**Подача материала в «Лексиконе».** подача лексического материала в «Лексиконе» определяется структурой словарной статьи. Поскольку подавляющая часть кирилло-мефодиевской лексики происходит из переводных памятников, совершенно необходимо указывать греческий оригинал для основных словоупотреблений с пояснением, в каком значении употреблена данная греческая лексема. Затем следует сокращенное обозначение источника с точной ссылкой на страницу и строку издания. В специальном разделе **Comment.** можно предусмотреть и краткие примечания к данной лексеме объяснительного или научно-критического характера (рассмотрение предшествующих точек зрения, полемика и т. п.). Примеры:

### БОГОСЛОВЬСТВО *subst*

θεολογία 'теология, богословие'. Const. De fide, 77 (в ркп. *блго-словестіе*); 269. **Comment.** Данный греческий термин переводится у Константина-Кирилла также сочетанием *божнє слово* (Const. De fide, 110). В древнейших славянских памятниках есть также варианты: *богословєснє* (Верещагин/Крысько 1999 (2), 42), *богословєствнє* (Io. Ex. Bogoslovie (Sadnik), I, 36).

Наиболее архаичным из всех вариантов данного термина следует считать *богословьство* — регулярное образование от *богословъ* при помощи суффиксального форманта *-stvij-*, тяготеющего к западнославянскому ареалу. Вариант на *блго-* возник позднее благодаря нередкому в старославянских текстах смещению сложений с *бого-* и *блго-*, вариант *богословєствнє* — под аналогическим влиянием формы мн. ч. *словєса* и косвенных падежей от *слово* (род. п. *словєса* и т. д.) или же из *богословьство* с постановкой на месте *ь* избыточного *є* (орфографическое явление). Вариант *богословєствнє* возник из *богословєствнє* по фонетическим причинам — выпадение билабиального *в* перед гласным. Таким образом, вторичный, производный характер обнаруживают все лексические варианты, кроме *богословьство*. Кирилловский вариант *божнє слово* мог возникнуть как альтернатива слишком громоздкому термину *богословьство*. Cf. *слово*.

### СЛАВИТИ *v*

δοξάζω 'полагать, мыслить'. Const. De fide, 65; 246; 323. **Comment.** В работе Leskien 1903, 55 этот перевод (на наш взгляд, безосновательно) признан неудачным; в действительности ничто не мешает считать его отражающим кирилловскую традицию.

### СЛОВО *subst*

*божнє* ~: θεολογία 'теология, богословие'. Const. De fide, 110. Cf. *богословьство*.

## ЕДИНСТВО subst

ένός 'единица (о едином Боге)' Const. De fide, 82.

**Выводы.** 1) Создание научно-справочного словаря «Lexicon Cyrillomethodianum» необходимо потому, что лексика древнейших славянских памятников до сих пор недостаточно систематизирована в историко-лексикологическом плане. Остается во многом неясным, какие лексемы употреблялись в переводах Константина и Мефодия, а какие проникли в них в ходе позднейших редакций. До сих пор нет общепринятого списка «охридских» и «преславских» лексем — наоборот, получила распространение гипотеза, что традиционное деление словарного состава древнейших памятников на «преславско-охридские» пары не отражает действительного соотношения входящих в них лексем. В целом очевидно, что накоплен большой объем разнообразной (можно даже сказать, противоречивой) информации по составу и лексике кирилло-мефодиевских переводов, которая требует обобщения и научного, прежде всего лингвистического, осмысления. Словарное издание, широко использующее методы лингвистической реконструкции, представляется наиболее синтетическим и компактным средством такого осмысления.

2) С выходом пражского «Словника» создание «Lexicon Cyrillomethodianum» становится вполне *возможным*, поскольку основной словарный запас старославянского языка раннего периода получил квалифицированную семантическую характеристику и был проиллюстрирован цитатным материалом.

3) Опыт реконструкции и изучения древнейших славянских текстов, накопленный мировой славистикой, позволяет с уверенностью говорить о том, что большая часть реконструированной кирилло-мефодиевской лексики уже сейчас может быть систематически представлена в кирилло-мефодиевском «Лексиконе». При этом случаи неясные или особо сложные должны быть оставлены за рамками «Лексикона». По мере прогресса кирилломефодиевистики «Лексикон», разумеется, потребует исправленных и дополненных переизданий. Представляется, что на первых порах не следует стремиться к широкому охвату лексики — гораздо важнее сначала опробовать предложенную методологию словарных изданий такого типа, пусть и на ограниченном материале. В дальнейшем ничто не мешает исследователям, используя предложенные принципы, уточняя и совершенствуя методики историко-лексикологического анализа, расширять корпус источников и словарный материал «Лексикона», не опасаясь упреков в субъективизме.



*Т. Н. Молошная*

**Функциональные межкатегориальные связи  
определенности/неопределенности с падежом  
и числом существительного и с лицом, числом  
и родом глагола в русском и болгарском языках \***

В настоящее время можно считать общепризнанным, что независимого описания грамматических категорий недостаточно для их адекватной характеристики, поскольку функционирование одних грамматических категорий во многих случаях определяется взаимодействием с другими грамматическими и неграмматическими категориями. Более того, как справедливо пишет А. В. Бондарко, чистых грамматических значений, свободных от категориального взаимодействия, нет. Когда исследователи определяют грамматические значения, они всегда производят операцию отвлечения от тех или иных связей между данной категорией и остальными категориями, см. [Межкатегориальные связи 1996: 3].

В грамматике традиционно изучались связи между близкими друг к другу категориями одной и той же части речи, выявляющиеся в парадигмах (вид и время, время и наклонение глагола и проч. — см. [РГ 1980: 642—646; Межкатегориальные связи 1996]). Изучение связей близких, или парадигматических, сохраняет свою значимость, но более актуальны исследования взаимодействий далеких друг от друга категорий, категорий разных частей речи, равно как и грамматических и неграмматических категорий. Во втором случае речь идет о содержательных, или функциональных, связях, касающихся значений и закономерностей употребления категорий. Функциональные связи устанавливаются между такими далекими категориями, как падеж и число существительного и определенность/неопределенность (О/НО), как лицо, число и род глагола и О/НО, как вид глагола и О/НО. Глагол не обладает категорией О/НО, но он способен имплицитировать семантику О/НО благодаря участию категорий лица, числа, рода и вида. Это свидетельствует

---

\* Работа выполнена при финансовой поддержке Российского гуманитарного научного фонда, проект № 01-04-00078а.

о том, что глагольные и именные системы не отделены друг от друга абсолютно — существуют некоторые общесемантические категории, присущие всем частям речи. В этой связи следует вспомнить идеи Т. В. Булыгиной о семантических суперкатегориях, действующих как в сфере имени, так и в сфере предикатов или, может быть, относящихся к предложению в целом [Булыгина 1980: 354], и мнение Т. М. Николаевой о «сквозных категориях», к числу которых относится в первую очередь категория О/НО [Николаева 1981]. Сходные мысли о существовании семантических категорий, затрагивающих и сказуемое, и подлежащее, высказывал также Ю. С. Степанов [Степанов 1981].

Ниже будут приведены примеры функционального взаимодействия семантической категории О/НО, имеющей отношение главным образом к имени, но, как уже сказано, не только к нему, с грамматическими категориями падежа и числа существительного и лица, числа и рода глагола<sup>1</sup>.

Достаточно давно исследователями русского языка было замечено наличие связи между О/НО и категорией падежа, в частности указывалось на возникновение значения О/НО при противопоставлении винительного и родительного падежей. В тех случаях, когда возможны оба падежа, винительный по сравнению с родительным приобретает добавочный оттенок определенности, а родительный — неопределенности: ср.: *просить деньги* и *просить денег* [Томсон 1902; Пешковский 1956: 299]. О связи между О/НО и оппозицией винительного и родительного пишут как в современных нормативных грамматиках, так и в специальных исследованиях (например, [Ицкович 1982: 26—37, 50—68; Гладров 1992: 232—258]). В подобных работах приведено много примеров из русской художественной литературы и газетных публикаций XX века типа *Ну хочешь, я тебе принесу кипятку, ты попьешь чаю* (В. Панова); *Дал мне, хитрый, книжечку, однако я тотчас вижу: это не те книжки, которые он сам читает* (М. Горький).

Мой собственный материал почерпнут из текстов Л. Н. Толстого<sup>2</sup>.

Известно, что основной формой выражения прямого объекта при переходном глаголе является винительный падеж, однако в ряде

<sup>1</sup> Категория рода не является собственно глагольной. Она проникает в спряжение глагола в связи с развитием форм на -л. В русском языке она ограничена формами единственного числа прошедшего времени и сослагательного наклонения. Категории числа и рода глагола относятся к синтаксическим.

<sup>2</sup> По изданию: *Толстой Л. Н.* Собр. соч.: В 14 т. Т. 10. М., 1952. При каждом примере в скобках указан номер страницы в этом томе.

случаев и родительный выступает в такой роли. В первую очередь это наблюдается, если действие глагола распространяется не на весь предмет, а на его часть — тогда выражается значение партитивности (обозначение некоторого количества вещества при существительном в форме единственного числа или некоторого количества отдельных предметов при существительном в форме множественного числа): *Старуха принесла хлеба с солью* (149); *Катя побежала домой, достала молока и принесла кошке* (30); *Вот дай срок, мужикам купим винца* (100); *Потом он купил баранок* (54); *Принесли ему девочки лоскутков* (160). Часто такой родительный выражает дополнительное значение неопределенности. Действительно, в предложениях *Вот дай срок, мужикам купим винца* или *Потом он купил баранок* речь идет о некотором количестве неизвестного вина или о некотором неизвестном количестве некоторых баранок. Это относится ко всем приведенным примерам с родительным партитивным.

Нередко родительный партитивный, имеющий также значение неопределенности, бывает связан с рядом глагольных способов действия. Примеры глаголов кумулятивного способа действия с родительным вместо винительного в позиции прямого дополнения: *Я вот лепешек набрал* (164); *Один влез на лозину, с нее же наломал сучьев* (51); *Они вместе напились чаю и легли спать в двух разных комнатах* (113). Глаголы дистрибутивного способа действия: *Потили чайку, поговорили* (200); *...поел я сначала снегу, а потом хлеба* (139). Глаголы интенсивно-результативного способа действия: *Халатов, ковров раздарил рублей на сто* (202). То же: *Разбросал веток, Разболтал муки в воде, Разлил вина по бутылкам*.

Кроме того, партитивный и неопределенный родительный характерен для первого упоминания объекта в тексте, когда данное существительное выступает в составе нового. Когда тот же самый объект употребляется повторно, существительное — прямое дополнение обычно стоит в винительном падеже и имеет значение «полного охвата предмета» и определенности: ср. *Я дошел до лесу, набрал грибов и хотел идти домой...* (23) и *Я нашел свою шапку, взял грибы и побежал домой* (24). При первом упоминании существительного-дополнения в родительном падеже речь идет о неизвестных грибах, количество которых неопределенно; повторное упоминание этого объекта *грибы* требует винительного падежа со значением определенности и «полного охвата предмета».

Исследователи современного русского языка неоднократно отмечали, что в письменной речи родительный неопределенного количества постепенно начинает вытесняться винительным в таких конструкциях, где традиционной нормой является родитель-

ный. Так, В. А. Ицкович привел много подобных примеров из газетных публикаций и из текстов художественной литературы: *Попили чай* (а не чаю) (Г. Брянцев); *Ниловна принесла в кружке воду* (а не воды) (С. Бабаевский). Однако родительный партитивный все же преобладает [Ицкович 1982: 28]

Сочетание значений неопределенности и партитивности может проявляться и в отрицательных предложениях с родительным прямым дополнением: *Он не получил письма* (какого-то). Употребление винительного падежа в отрицательных предложениях, наоборот, часто связывается с определенностью и конкретностью объекта: *Он не получил твое письмо*; *Он не получил письмо, которое я ему написал*; *Он не получил письмо, отправленное вчера* и проч.

Обсуждаемое противопоставление винительного и родительного падежей в отрицательных предложениях характерно, как правило, для нарицательных существительных: *Он не терпит цветов*, но *Он не терпит осенние цветы*. Имена собственные имеют тенденцию употребляться в основном в винительном падеже: *Вы не знаете Асю/Ваню/Наталью*, что объясняется конкретной определенностью, присущей лексической семантике собственных имен.

Однако часто можно говорить не об обязательности родительного или винительного, а о допустимости как одного, так и другого падежа: *Я не прочитал книги*, но возможно и *Я не прочитал книгу*. А. М. Пешковский писал, что в современном употреблении невозможно уловить четкое различие между винительным и родительным в отрицательных конструкциях [Пешковский 1956: 197].

Родительный прямого дополнения употребляется также после некоторых лексических групп глаголов, например после глаголов *желать, ждать, искать, просить, требовать, хватиться, бояться, избегать, лишаться* и проч.: *Видно, кроме Бога, никто не может знать правды, и только его надо просить и от него только ждать милостей* (115); *Мать хватилась стакана* (16). Перечисленные глаголы могут управлять и винительным падежом, особенно если существительное-прямое дополнение называет определенный предмет: *С нетерпением ждут новогодний праздник* (не какой-то вообще, но определенный праздник) *юные жители столицы* (из газет). В современном русском языке винительный падеж возможен также в случае, когда объект является скорее неопределенным, чем определенным: *От нас ждут интересный материал* [Ицкович 1982: 86—37].

Даже ограниченное количество приведенных примеров показывает, что в современном русском языке нет обязательных правил выбора винительного или родительного падежа в позиции пря-

мого дополнения. Применимость правила «родительный — неопределенность, винительный — определенность» повышается, если учитывать закономерности порядка слов и фразовой интонации. Оказывается, что родительный падеж скорее всего употребляется тогда, когда существительное выступает в составе нового и несет на себе фразовое ударение. Вернемся к упомянутым выше примерам *Я дошел до лесу, набрал грибов и хотел идти домой* и *Я нашел свою шапку, взял грибы и побегал домой*. Слово *грибов*, введенное в первом предложении как обозначающее новый для слушающего объект, занимает позицию в конце фразы и имеет фразовое ударение. Конечная позиция и фразовое ударение в этом случае сигнализируют неопределенность данного существительного. Во втором предложении слово *грибы* появляется второй раз и уже не является новым. Здесь винительный падеж указывает на значение определенности.

Рядом грамматистов было показано [Поспелов 1971; Николаева 1979; 1982; Гладров 1992], что в русском языке порядок слов и фразовое ударение функционируют как первичные средства выражения О/НО. Первичная роль порядка слов и интонационного контура объясняется следующими факторами. Рематическое имя нарицательное в предложении, начинающем текст, характеризуется семантикой первого упоминания, т. е. неопределенности; посредством словоупотребления и фразовой интонации можно выразить значение неопределенности существительного в любой падежной форме — ср. у Н. С. Поспелова анализ фраз *Пóезд пришел* или *Пришел пóезд* с фразовым ударением на подлежащем *поезд* (нечто новое, неожиданное) и *Поезд пришéл* или *Пришéл поезд* с ударением на глаголе (поезд уже известен). Кроме того, появление неопределенного существительного в составе ремы является регулярным, за некоторыми исключениями. Морфологические же средства обозначения О/НО с помощью родительного и винительного падежей играют второстепенную роль. Это связано с тем, во-первых, что здесь выражается не только семантика первого упоминания, но одновременно значение партитивности или не только известность, но и полный охват предмета. Во-вторых, морфологические средства выражения О/НО ограничиваются вещественными существительными и обозначениями отдельных, чаще всего мелких, предметов. В-третьих, возможность противопоставления винительного и родительного падежей появляется в основном в синтаксической позиции прямого дополнения. В-четвертых, обозначение неопределенности родительным падежом соотносится, как правило, с ударной позицией ремы, т. е. морфологический показатель неопределенно-

сти выступает вместе с супraseгментными признаками и является, таким образом, лишь добавочным средством ее реализации.

В болгарском языке можно констатировать ситуацию, отличную от русской. Поскольку там категория О/НО грамматикализовалась — имеет формальные морфологические средства выражения (постпозитивный артикль, противопоставленный его отсутствию, или нулю) и ее сигнализация обязательна (каждое существительное характеризуется либо определенной = членной, либо неопределенной = нечленной формой), морфологические средства выражения категории О/НО должны быть признаны основными, подобно тому как во всех артиклевых языках основным способом являются лексико-грамматические средства (разряды слов, называемые препозитивными артиклями). В то же время порядок слов и фразовое ударение бесспорно служат для выражения противопоставлений по О/НО. В болгарском, как и в русском, фразовое ударение на подлежащем, занимающем начальное положение в предложении, указывает на неопределенность и необходимость употребления существительного без артикля, например, *Деца играят на двора*, где ударением подчеркивается подлежащее *деца*, стоящее в начальной позиции (неопределенность). Замена нечленной формы подлежащего на членную вызывает перенос фразового ударения на конечную позицию в предложении: *На двора играят децата* (определенность), см. [Шамрай 1989: 53—55].

Можно также говорить о связи категории О/НО с категорией числа существительного, которая наблюдается в предложениях, где неопределенное существительное в форме множественного числа при первом упоминании называет единичный предмет. Например, *В вагоне новые пассажиры: молодая женщина с чемоданом, Осторожно — здесь гвозди; Смотрите: клопы* (в ситуации одного гвоздя, одного клопа). И. И. Ревзин утверждал, что множественное число кроме множественности обозначает неопределенность, а единственное кроме единичности — определенность. Так, единственное число в ряде случаев может использоваться, когда сообщается о множестве предметов, если более важным, чем указание на их число, является указание на их определенность: *И слышно было до рассвета, как ликовал француз; Тут прошел немец* [Ревзин 1969]. При этом, называя неопределенность компонентом граммы *pluralis*, И. И. Ревзин считал, что противопоставление по О/НО в формах числа существительного остается слабым, сопутствующим, оно легко нейтрализуется [Ревзин 1977: 157].

В болгарском языке также возможно взаимодействие категорий О/НО и числа существительного. Об этом пишет Т. Шамрай.

Ее пример *Имаш гости* 'У тебя гости' (об одном человеке) иллюстрирует допустимость использования нечленной формы существительного во множественном числе для выражения неопределенности единичного предмета [Шамрай 1989: 45].

В глаголе многих славянских языков, особенно русского, значение неопределенности как часть значения форм множественного числа проявляется более четко, чем в существительном. Признак неопределенности наглядно демонстрируется в бессубъектных глагольных формах множественного числа в составе неопределенно-личных конструкций: *Говорят, что его похоронили на деревенском кладбище*. Здесь подлежащие при глаголах *говорят* и *похоронили* опускаются, ибо они не известны, не ясны. Ср. противопоставление неопределенно-личного и личного предложений *Его вызывают в Москву* (субъект действия неопределенен) и *Директор вызывает его в Москву* (субъект действия определенен). В неопределенно-личных предложениях, как писал А. М. Пешковский, «...подлежащее... намеренно устранено из речи, намеренно представлено как неизвестное, неопределенное»; восстановление «...опущенного подлежащего... уничтожило бы тот оттенок неопределенности, в котором тут все дело» [Пешковский 1956: 371].

Неопределенность субъекта, выраженную формой 3-го л. мн. ч. глагола в настоящем, прошедшем и будущем времени и в сослагательном наклонении, можно проиллюстрировать большим количеством примеров: *Галка видела, что голубей хорошо кормят* (24); *На горячие ключи приезжают лечиться* (108); *Говорили, что он много пил* (96); *Когда я был маленький, меня послали в лес за грибами* (23); *На Волге царского войска много, нас переловят* (74); *Я пойду объявлюсь, что я купца убил, тебя простят* (119); *Я пойду к начальнику и скажу, чтоб его взяли* (20); *Он тебе велит домой письмо написать, чтоб за тебя выкуп прислали* (157) и проч. Здесь форма 3-го л. мн. ч. указывает на неизвестность субъекта и его количественного состава — обозначенное глаголом действие относится к неопределенному множеству лиц (чаще всего ко многим, но иногда к одному неопределенному лицу). Однако все же противопоставление по О/НО в неопределенно-личных предложениях лишь сопутствует противопоставлению по бессубъектности/субъектности и числу [Ревзин 1977: 155—157]; см. также [Бондарко 1991: 5—40; Шелякин 1991: 6—72; Булыгина, Шмелев 1991: 41—62].

В болгарском языке имеются аналогичные неопределенно-личные конструкции, выражающие неопределенность субъекта действия с помощью форм 3-го л. мн. ч.: *У нас орат с плугове; От виното правят оцет; По дрехите посрещат, по ума изпрацат; Сърните*

са много намалели, защото безмилостно ги избиват; Лошо плащат на учителите и проч.

Для выражения неопределенноличности может также использоваться пассивная конструкция, в которой согласование глагола в числе (и роде) с семантическим объектом, занимающим позицию подлежащего, оформленно: *Изба была заперта изнутри* (119) = *Избу заперли изнутри*; *Купец... прошлую ночь зарезан* (113) = *Купца зарезали*; *Я знал, что сад был чищен* (146) = *Сад чистили*. Ср. сходные болгарские пассивные предложения: *Приемат се заявления*; *Тревата се коси*; *Продават се тристаен апартамент*, где глагол в пассивной форме согласован с семантическим объектом, занимающим позицию подлежащего, в числе и роде, но значение субъекта действия остается неопределенным. Это подтверждается синонимичностью данных пассивных предложений предложениям неопределенно-личным по своей структуре: *Приемат заявления*; *Косят тревата*; *Продават тристаен апартамент*.

Неопределенно-личное значение может выражаться в русском языке и инфинитивом: *Волков бояться, в лес не ходить* (68) = *Если волков боятся, то в лес не ходят*; *Если подумать* = *Если подумали бы* (ср. [Гак 1991: 72—86]).

Неопределенность субъекта действия передается также с помощью обобщенно-личных бесподлежащих предложений со сказуемым, представленным формой 2-го л. ед. ч. будущего времени или повелительного наклонения. Обобщенноличность — это указание на неопределенное лицо, на любого человека или людей вообще, в том числе на 1-е л., т. е. на говорящего: *Думаю, ночь захватит и дороги не найдешь* (15); *...завоевал Ермак столько земли, что в два месяца не обойдешь* (77); *Богу молись, а к берегу гребись* (9); *И пословица говорит: не сули журавля в небе, а дай синицу в руки* (67). Ср. болг.: *Излъжеш ли веднъж, не ти вярват втори път*; *Взреш се в нечи очи и утеха там подириш*; *Натиснеш само едно бутонче и готово*.

Подробный анализ обобщенно-личных предложений в русском языке содержится в работах А. В. Бондарко, М. А. Шелякина, Т. В. Булыгиной, А. Д. Шмелева и др. (см. раздел Литература). При этом надо заметить, что проблеме неопределенно-личных и обобщенно-личных конструкций всегда уделялось достаточно внимания и в традиционной русистике, ср. [Шахматов 1941; Пешковский 1956].

Интересные наблюдения над связью между категориями лица, числа и рода сказуемого с О/НО подлежащего в болгарском языке приведены в книге Т. Шамрай «Членувани и нечленувани имена в



българския език» [Шамрай 1989]. Она пишет, что в болгарском языке в экзистенциальных высказываниях, в которых сказуемое представлено глаголами *има* и *ням* в форме 3-го л. ед. ч., подлежащее всегда выступает в неопределенной форме (поэтому правильно *В стаята има бюро, В библиотеката има книги, В сладоледа няма орехи, В съчинението няма грешки* и неправильно *\*В стаята има бюрото, \*В библиотеката има книгите, \*В съчинението няма грешките*). Однако если в предложение входит краткая форма винительного падежа личного местоимения, дублирующая подлежащее, последнее может употребляться в определенной форме: *В стаята го има бюрото, В библиотеката ги има книгите*. В известном смысле допустимо считать, что местоименная реприза служит показателем определенности существительного-подлежащего. Это справедливо и относительно существительного — прямого дополнения: ср. *Крушата я рисува детето* (определенность прямого дополнения) и *Круша рисува детето* или *Детето рисува круша* (неопределенность прямого дополнения), см. [Иванчев 1978: 139, 165]. Кроме того, и это нам особенно интересно, в экзистенциальных предложениях *сима/ням* подлежащее и сказуемое не согласуются в числе и роде, в результате чего одинаково возможны *Тук има/няма бюро* и *Тук има/няма бюра, Тук има жена* и *Тук има жени* [Шамрай 1989: 68—71].

Отсутствие согласования нечленного подлежащего со сказуемым в роде наблюдается также в болгарских предложениях безличной структуры типа *Насъбрало се е врабец* вместо *Насъбрал се е врабец*. Наряду с личной конструкцией *Валял е дъжд/сняг* часто употребляется безличная *Валяло е дъжд/сняг*. Но если существительное-подлежащее имеет определенный артикль, то согласование оказывается обязательным: *Валял е дъждът/снегът, Насъбрал се е врабецът*, и соответственно предложение превращается в личное [Там же: 55]. Т. Шамрай делает вывод, что в болгарском языке отсутствие согласования подлежащего и сказуемого обусловлено грамматическим значением неопределенности, характерным для неличной формы существительного. Подтверждением этому могут служить и другие конструкции, подобные безличным, где семантическое подлежащее не согласовано в роде со сказуемым: *Трева е поникнало и на камък; Замък там било отколе чуден, бляскав и голям*; ср. также: *Боляло я зъб*.

Подобное отсутствие согласования семантического подлежащего со сказуемым в числе и роде наблюдается также в русских безличных предложениях, в которых семантическим подлежащим является родительный падеж объекта, а сказуемое имеет форму 3-го л. ед. ч. ср. р. вне зависимости от числа и рода подлежащего: *Снегу*

*выпало!*; *Мышей развелось!*; *Шишек насыпалось на землю*. Такие предложения всегда передают значение неопределенности семантического подлежащего и его количественного состава (*Шишек насыпалось* = *Насыпалось неопределенно большое количество шишек*). Наиболее употребительны безличные предложения с отрицанием при глаголе: *Грибов не попадаетя*; *Помощи не последовало*; *Песен не слышалось*; *Птиц больше не появлялось*, ср. [Гладров 1992: 243]. В связи со всеми разновидностями этого типа безличных предложений, как правило, можно говорить о значении неопределенности семантического подлежащего. При этом некоторые из подобных безличных предложений входят в формально-семантические соотношения с глагольными личными предложениями: *Снегу выпало* — *Снег выпал*; *Грибов не попадаетя* — *Грибы не попадаютя*. В личных предложениях формальный субъект, соответствующий семантическому подлежащему безличных предложений, обычно является определенным, известным.

В безличных предложениях со сказуемым — глаголом *быть* в отрицательной форме прошедшего или будущего времени родительный падеж существительного также указывает на отсутствие определенности этого существительного: *Детей не было в цирке*. Данное сообщение можно понимать как утверждение, что вообще какие бы то ни было дети в цирк не ходили. Чтобы подчеркнуть определенность существительного, используется именительный падеж и личная структура предложения: *Дети в цирке не были* = *Известные, определенные дети в цирк не ходили*. Иначе говоря, различие между личной и безличной структурой предложения связано с О/НО существительного, служащего семантическим или формальным подлежащим.

В русском и болгарском языках имеются также иные типы безличных предложений, выражающие неопределенность субъекта действия: *...и палим мы так, что дух захватывает* (15); *...пошел дождь и загремело* (23); *...в щелке светиться стало* (154); *...ноги ломит* (171); *...в горле у него от страха пересохло* (18). Ср. болг.: *Гърми*; *Свечерява се*; *Беше се мръкнало*; *Боли го под мишницата* и проч. Бесподлежащий глагол стоит в форме 3-го л. ед. ч., а в прошедшем времени — среднего рода. Подлежащее устраняется как неизвестная причина того явления, которое обозначено глаголом.

В ряде других русских безличных предложений с глаголом в форме 3-го л. ед. ч. семантическим подлежащим служит дополнение, имеющее форму творительного падежа: *Корабль несет ветром* (63); *Грозой ударило в лозину* (56); *Когда застлало сени дымом...* (27). Здесь значение орудийности грамматического допол-

нения, являющегося семантическим подлежащим, в какой-то мере приглушает неизвестность, неопределенность отсутствующего грамматического подлежащего.

В русском языке в предложениях, где подлежащим служит именная группа «числительное *пять* и больше + существительное в родительном падеже», сказуемое может не согласовываться с подлежащим в числе и роде. Наряду с *Пять человек пришли* возможна безличная конструкция *Пять человек пришло*. Исследователи утверждают, что в современном русском наблюдается тенденция употреблять личную конструкцию, если речь идет об определенных людях, и безличную — в противном случае. Это пример выражения О/НО согласовательными средствами, см. [Ревзина, Ревзин 1973].

Подводя итог, можно заключить, соглашаясь с И. И. Ревзиным, что противопоставление по О/НО в формах числа существительного и глагола в русском и болгарском языках остается вторичным и неграмматикализованным, но все же достаточно глубоко проникает в грамматическую систему [Ревзин 1977: 160]. Кроме того, как должно быть ясно из изложенного, морфологические средства выражения категории О/НО, т. е. формы родительного и винительного падежей в русском языке, а также формы числа существительного; глагольные формы 3-го л. мн. ч., 2-го л. ед. ч. и форма 3-го л. ед. ч., в прошедшем времени имеющая значение среднего рода, в русском и болгарском языках функционируют лишь в некоторых синтаксических условиях. Имеются в виду позиция прямого дополнения, неопределенно-личная, обобщенно-личная, безличная и в ряде случаев отрицательная структуры предложения [Молошная 1999]. Данные морфологические средства выражения категории О/НО зависят также от порядка слов внутри предложения и от лексико-семантических разрядов существительных и глаголов в его составе. Очень важно и то, что морфологические показатели О/НО выступают вместе с супрасегментными средствами (с фразовым ударением и фразовой интонацией). Последнее относится не только к русскому, но и к болгарскому языку, несмотря на то, что он обладает формальным морфологическим показателем определенности существительного (постпозитивным артиклем).

#### Л и т е р а т у р а

Бондарко А. В. Семантика лица // Теория функциональной грамматики. СПб., 1991.

Булыгина Т. В. Грамматические и семантические категории и их связи // Аспекты семантических исследований. М., 1980. С. 320—355.

*Булыгина Т.В., Шмелев А.Д.* Референциальные, коммуникативные и прагматические аспекты определенности и обобщенности // Теория функциональной грамматики. СПб., 1991. С. 41—62.

*Гак В.Г.* Неопределенность в плане содержания и в плане выражения // Теория функциональной грамматики. СПб., 1991. С. 72—86.

*Гладков В.* Семантика и выражение определенности/неопределенности // Теория функциональной грамматики. СПб., 1992. С. 232—266.

*Иванчев Св.* Приноси в българското и славянското езикознание. София, 1978.

*Ицкович В.А.* Очерки синтаксической нормы. М., 1982.

Межкатегориальные связи в грамматике. СПб., 1996.

*Молошная Т.Н.* Корреляции категории определенности/неопределенности и категорий числа, лица и рода глагола в современном русском литературном языке // Die grammatische Korrelationen (GraLiS-1999). Graz, 1999. S. 137—142.

*Николаева Т.М.* Акцентно-просодические средства выражения категории определенности — неопределенности // Категория определенности — неопределенности в славянских и балканских языках. М., 1979. С. 119—174.

*Николаева Т.М.* Категориально-грамматическая цельность высказывания и ее прагматический аспект // Изв. АН СССР. Сер. лит. и яз. 1981. Т. 40. № 1.

*Николаева Т.М.* Семантика акцентного выделения. М., 1982.

*Пешковский А.М.* Русский синтаксис в научном освещении. М., 1956.

*Поспелов Н.С.* О выражении категории определенности/неопределенности временными значениями русского глагола в форме прошедшего совершенного // Памяти акад. В. В. Виноградова. М., 1971.

Русская грамматика. Т. 1. М., 1980.

*Ревзин И.И.* Так называемое «немаркированное множественное число» в современном русском языке // Вопросы языкознания. 1969. № 3.

*Ревзин И.И.* Современная структурная лингвистика. М., 1977.

*Ревзина О.Г., Ревзин И.И.* Выражение согласовательными средствами значения определенности в славянских языках // Кузнецовские чтения. М., 1973.

*Степанов Ю.С.* Имена. Предикаты. Предложения. М., 1981.

*Томсон А.И.* Винительный падеж прямого дополнения в отрицательных предложениях в русском языке. Варшава, 1902.

*Шамрай Т.* Членувани и нечленувани имена в българския език. София, 1989.

*Шахматов А.А.* Синтаксис русского языка. Л., 1941.

*Шелякин М.А.* О семантике неопределенно-личных предложений // Теория функциональной грамматики. СПб., 1991. С. 62—72.

С. А. Мызников

## Субстратный языковой ландшафт русских говоров Северо-Запада

Изучение межэтнических контактов на материале языковых данных имеет давнюю традицию исследований. Хотя в штудиях, посвященных языковому субстрату, довольно часто приоритет отдавался топонимии и фонетико-грамматическим данным, несомненно, наиболее значительные материалы фиксируются на уровне апеллятивной лексики. Под лексическим субстратом нами понимается весь корпус неисконных лексем, представляющих собой результат прямых межязыковых взаимодействий, следствие билингвизма и перехода с одного языка на другой<sup>1</sup>. Субстратная лексика обладает рядом характеристик, присущих только ей, она статична и стабильна в пространстве, всегда отражая субстратный тип языка-донора, не выходит за границы его распространения в прошлом. Лексический субстрат неоднороден и является комплексом с разными характеристиками в диахронии. Нами выделяются следующие виды субстрата.

1. Действительный, или полный, субстрат, проявляющийся в различных частях территории Северо-Запада, может соотноситься с тем или иным языковым типом, но никогда не возводится напрямую к определенным лексическим данным. Причем нередко весьма сложно говорить об определенном языковом типе. Так, например, мерянский субстрат можно трактовать как явление с финно-угорскими чертами, однако весьма дискуссионен вопрос о его более точной соотнесенности с прибалтийско-финским типом или с исчезнувшим языком, который был близок по своим характеристикам к марийскому<sup>2</sup>. Такой вид субстрата является наиболее ранним по времени возникновения.

---

<sup>1</sup> *Абаев В.И.* О языковом субстрате // Доклады и сообщения Института языкознания АН СССР. М., 1956. № 9. С. 65—59.

<sup>2</sup> См.: *Ткаченко О.Б.* Мерянский язык. Киев, 1985; *Матвеев А.К.* Субстратная топонимия Русского Севера и мерянская проблема // Вопросы языкознания. 1996. № 1. С. 3—21.

2. Неполный субстрат представляет собой более позднее явление, его ареал не находится в зоне живых межъязыковых взаимодействий, но представляет таковую в прошлом. Информация об этнической и языковой ассимиляции в этих зонах обычно базируется на целом комплексе сведений<sup>3</sup>. Такой вид субстрата может сопоставляться с материалами живых языков, хотя фиксируется вне зоны контактов, репрезентирует бывшее языковое взаимодействие и последовавшую за этим этническую и языковую ассимиляцию. Неполный субстрат, по нашим данным, является доминирующим в русских говорах Северо-Запада.

3. Адстратный субстрат фиксируется в контактных зонах и представляет собой результат недавней ассимиляции, обычно он обладает большей интенсивностью и узкой локализацией.

Кроме того, исходя из возможности соотнесения неисконных лексических данных с тем или иным языком-источником (или группой языков), следует говорить о типе языкового субстрата. На территории Северо-Запада по русским диалектным данным выделяются следующие типы субстрата: финно-угорский (общий тип не выделяется), включающий в себя общеприбалтийско-финский, карельский (может подразделяться на севернокарельский, ливвиковский, людиковский), вепсский, водско-эстонский, коми-зырянский, саамский (с возможностью более дробного членения), а также балтийский и скандинавский<sup>4</sup>.

При сопоставлении видов и типов субстрата намечается следующая картина. Для полного субстрата обычно невозможно привести языковые данные, которые определяли бы конкретный языковой тип таких материалов. Данные неполного субстрата чаще всего можно сопоставить с обобщенными характеристиками языковых типов, а для адстратного субстрата возможна даже конкретизация диалектного (неисконного) типа источника.

Тюркские по происхождению материалы, которые отмечаются в русских говорах Северо-Запада, по своим ареальным характеристикам — фиксация в различных частях региона без образования территориально сгруппированных данных. Ввиду невозможности опоры на какой-либо автохтонный субстратный тип исследуемого региона они трактуются нами как заимствования.

<sup>3</sup> См.: Основания регионалистики: Формирование и эволюция историко-культурных зон / Под ред. А. С. Герда, Г. С. Лебедева. СПб., 1999.

<sup>4</sup> См.: *Лауцмоте Ю.А.* Словарь балтизмов в славянских языках. Л., 1982; *Thörnqvist C.* Studien über die nordischen Lehnwörter im Russischen // Труды по славянской филологии. Т. 2. Uppsala, 1948.

Лексические материалы в зависимости от места и времени фиксации могут иметь либо субстратную, либо заимствованную природу. Так, например, слово *соломя* 'пролив', отмечаемое под 1391 и 1505 гг. у Срезневского, представляет собой заимствованное на древнерусской почве и адаптированное по полногласному типу прибалтийско-финское *salma* 'пролив'<sup>5</sup>. Тогда как на территории Карелии бытует более поздний и достаточно частотный вариант *sálma* 'пролив' (Прионежский, Кондопожский, Медвежьегорский, Беломорский, Пудожский районы), что следует трактовать как единицу адстратного субстрата карельского типа, а фиксация этой же лексемы в Каргопольском районе, вне зоны живых контактов, дает возможность рассматривать ее как явление неполного субстрата общеприбалтийско-финского типа.

Кроме того, неисконная лексическая единица, бытующая в неавтохтонном ареале, априори трактуется нами как заимствование. Так, например, лексика прибалтийско-финского происхождения, зафиксированная в русских говорах Сибири, не может рассматриваться как субстратная.

Кроме субстратной и заимствованной лексики, бытующей в русских говорах Северо-Запада, отмечаются также лексические единицы, отличающиеся по своим характеристикам от этих двух разрядов. Они имеют следующие особенности: 1) бытование в зоне этно-языковых контактов; 2) нечастотность фиксаций; 3) отсутствие ареала (нередко единственная фиксация у одного информанта); 4) отсутствие базы для существования в русских говорах (эти единицы, не представляя нового денотата, являются полными синонимами к словам исконного происхождения либо к заимствованиям, уже утвердившимся в русском языке). Такие единицы предлагается трактовать как адстратные проникновения<sup>6</sup> — результат живого адстратного влияния смежных языков. Они обычно индивидуализированы и отражают специфику личностного проявления иноязычного влияния в контактной зоне, не представляя диалектных лексических особенностей какого-либо диалектного континуума в целом. Адстратное проникновение всегда можно не только связать с каким-либо определенным языковым типом, но и возвести к кон-

<sup>5</sup> О финно-угорских заимствованиях в древнерусском языке см.: *Мызников С.А.* Лексика прибалтийско-финского происхождения в древнерусском языке (по материалам И. И. Срезневского) и ее судьба в русских народных говорах // И. И. Срезневский и современная славистика: Наука и образование: Сб. науч. трудов. Рязань, 2002. С. 102—104.

<sup>6</sup> См.: *Лотте Д.С.* Вопросы заимствования и упорядочения иноязычных терминов и терминологических элементов. М., 1982.

кретному языку или диалекту-источнику. Несмотря на то что период существования таких единиц достаточно короток, в современной региональной лексикографии они достаточно стабильно фиксируются, хотя их подача в словарях как обычных лексических материалов, без комментариев, на наш взгляд, не совсем корректна, поскольку, репрезентируя такого рода данные, информанты обычно делают ремарку: так карелы, вепсы и т. п. говорят. Примеры адстратных проникновений в различных контактных зонах, естественно, не будут однотипными, однако непременно соблюдается их семантическое тождество и фонетическая близость к лексической единице языка / диалекта, послужившей источником. Но если такая контактная зона представляет собой островной ареал (как русские старожильческие говоры в Литве) в иноязычном окружении, то число таких данных увеличивается, а их статус меняется, ср.: *amatókas* 'учащийся ремесленной школы' при лит. *amatõkas* 'то же', *gáндрас* 'аист' при лит. *gañdras* 'то же', *лиóндра* 'снег с дождем, гололедица' при лит. *lijùndra* 'то же'<sup>7</sup>. Чрезвычайно разнообразна тематически отмечаемая картина адстратных проникновений в русско-прибалтийскофинской контактной зоне. Фиксируются наименования растений: *кáрбола* 'клюква', представленная в Бологовском районе (Сеглино) по данным ПЛГО, явно восходит к кар. твер. *karbalo* 'клюква' [СКЯП: 88]; *недáй* 'сосна' (Прионеж.) [СРГК 4: 419] — из вепс. *pedai* 'сосна' [СВЯ: 405]. Отмечаются наименования предметов домашнего обихода: *вейч* 'нож' (Лодейноп.) [КСРГК], восходящее к вепс. *veiç* 'нож' [СВЯ: 633] и *вэйчи* 'нож' (Кандалакш.) [КСРГК] — из кар. *veiçši* 'нож' [СКЯП: 329], т. е. ареальная дистантность и незначительные, но характерные различия в форме свидетельствуют в пользу разных типов языкового воздействия.

Таким образом, ввиду сложностей анализа неисконных лексических данных в русских говорах Северо-Запада наиболее действенным инструментом верификации этимологических версий может быть ареальный анализ, поскольку в целом лексический субстрат представляет собой адаптированные реликты, обычно связанные с определенным субстратным типом со статичной и стабильной зоной распространения. Однако при анализе ареалов лексем, широко распространенных в севернорусских говорах, в ряде районов эти единицы не проявлялись или имели более широкую территорию распространения, чем первоначально выбранный регион обследования. Поэтому только исследование лексического ареала (по дан-

<sup>7</sup> Лауцште Ю. А. Словарь балтизмов в славянских языках. С. 86—88.



ным лексикографических источников, картотек и ПЛГО) не давало ответа на некоторые существенные вопросы: 1) по какой причине отсутствует слово (например, прибалтийско-финского происхождения) в зоне, где оно должно было, вне всякого сомнения, проявляться? 2) Существует ли в этом районе еще какое-либо иноязычное влияние, проявляющееся на лексическом уровне? 3) Если такое влияние существует, какого типа ареалы (коррелирующие или смешанные) будет оно репрезентировать?

Ответы на такого рода вопросы может дать только работа, в основу которой положены лингвогеографические методы исследования выявленных эмпирическим путем концептов с доминирующей неисконной лексической манифестацией. Естественно, что в таком исследовании должна быть дана полная картина лексического субстрата в русских говорах контактного региона, каким является Северо-Запад России в его широком понимании, но также должны выделяться и ареалы с доминированием исконных лексических данных. Таким образом, выявляемая совокупность разных видов и типов субстратных ареалов, наряду с ареалами исконной и заимствованной лексики, трактуется нами как субстратный ландшафт.

Попытка исследования неисконной основы русских говоров Северо-Запада была предпринята в авторской работе «Атлас субстратной и заимствованной лексики русских говоров Северо-Запада»<sup>8</sup>. Территория обследования для атласа была максимально широкой, поскольку одной из целей работы было выявление границ ареалов различных субстратных типов, что возможно осуществить в масштабах крупного региона. В ходе диалектологических экспедиций были изучены районы Псковской (частично), Новгородской, Вологодской, Архангельской (не полностью), Тверской (частично), Костромской (частично), Ярославской (частично) областей, Республики Карелия — всего 237 населенных пунктов (к настоящему моменту). На карте обследованные пункты для большей наглядности и репрезентативности сведены к 131 номеру. Полевое исследование проводилось с использованием программы-вопросника, полученного эмпирическим путем. Он не повторяет Программу ЛАРНГ<sup>9</sup>, а нацелен на выявление реалий, концептов, в основе которых доминирует неисконная лексическая манифестация. Хотя в

<sup>8</sup> Атлас субстратной и заимствованной лексики русских говоров Северо-Запада подготовлен к изданию, насчитывает 51 карту, которые сопровождаются комментариями.

<sup>9</sup> Программа собирания сведений для Лексического атласа русских народных говоров. СПб., 1994. Ч. 1, 2.

редких случаях наблюдается формальное тождество вопросов. Так, например, в нашей программе имеется вопрос 'кустистая ива; заросли ивы' (в Программе ЛАРНГ — Л 55 Ива<sup>10</sup>), однако, не включая в анализ общенародные единицы, по нашим полевым данным можно выделить лексику, относящуюся к различным субстратным типам. Слова *бред*, *бредина* являются результатом влияния балтийского типа, ср. предположение А. И. Попова об «отношении данного элемента лексики к лит. *briedis* 'лось', латыш. *briedis* 'олень', др.-прусск. *braydis* 'лось', так как бредина есть один из основных видов пищи этих животных. Охотоведческая практика полностью подтверждает возможность и даже высокую вероятность подобной этимологии»<sup>11</sup>. Фиксация гнезда *бредá* в псковских, новгородских, тверских, костромских, ярославских говорах, на наш взгляд, только подтверждает балтийскую этимологию.

Преимущественно на северо-востоке региона отмечаются лексемы *epá*, *épa*, *éрка* (Мезенский, Пинежский, Лешуконский, Верхнетоемский, Павинский районы), они образуют ареал влияния коми языка, ср. коми ижем. *jera* 'карликовая береза' [SYRW: 77]; еще А. Подвысоцкий относил слово *epá* 'общее название разных пород ивы в Запечорском крае' к зырянским источникам [Подвысоцкий: 42]<sup>12</sup>. Место коми слова на финно-угорской почве не обсуждалось<sup>13</sup>, однако, на наш взгляд, вполне возможно композит *jör-pu* 'карликовая березка' [Wiedemann: 82] разложить на значимые части — коми *йöpa* 'лось' [ССКЗД: 142] и коми *пу* 'дерево' [ССКЗД: 305], что наглядно демонстрирует способ номинации; на аналогичный указывал А. И. Попов для лексемы *бредá* (см. выше).

Прибалтийско-финское влияние, как наиболее значительное в исследуемом регионе, проявляется лексической манифестацией нескольких лексем. Более других частотно гнездо *райда*, *райдина*, *райдóвник*, фиксируемое в Медвежьегорском, Прионежском, Пудожском, Вытегорском, Вашкинском, Кирилловском, Усть-Кубенском, Вожегодском, Каргопольском, Няндомском районах. Слово *райда* имеет устоявшуюся карельскую этимологию, ср. кар. *raida* 'ива'

<sup>10</sup> Программа собирания сведений... С. 20.

<sup>11</sup> Попов А. И. Диалектные материалы в этимологических словарях русского языка // Диалектная лексика. 1969. Л., 1971. С. 213.

<sup>12</sup> См. также: Kalima J. Syrjänschen Lehngut im Russischen // Finnisch-ungrische Forschungen. 1927. Bd. 18. N. 1—3. S. 1—56; Кабинина Н. В., Матвеев А. К., Теуш О. А. Материалы для «Словаря финно-угро-самодийских заимствований в говорах Русского Севера» (Г—И) // Ономастика и диалектная лексика. III. Екатеринбург, 1999. С. 254, 255.

<sup>13</sup> В КЭСЯ рассматривается только *йора* 'лось' (с. 113).

[Погодин: 54; Kalima: 195; SKES: 719]. На наш взгляд, широкий ареал не дает возможности говорить только об одном языковом типе прибалтийско-финского субстрата; бытование анализируемых лексем в зонах карельского и вепского воздействия дает основание для предположения о смешанном карельско-вепском происхождении слова *páйда*; ср. вепс. *raid* 'ива' [СВЯ: 462], ливв. *raidu* 'широколистная рослая ива' [СКЯМ: 297], кар. твер. *raida* 'ива, ветла' [СКЯП: 229], но только при его рассмотрении как общерегиональной единицы. Однако при ареально-этимологическом анализе в зависимости от зоны распространения можно проследить проявление неполного субстрата прибалтийско-финского типа, связав его с конкретным языковым воздействием: карельским в Заонежье и Каргополье, вепским в южном Прионежье, карельско-валдайским — в Валдайском районе.

Также репрезентирует прибалтийско-финское влияние лексема *пайняк*, отмечаемая в Пудожском районе; несомненна ее связь с карельско-вепскими диалектами, ср. кар. *paju* 'ива' [KKS 4: 118], ливв. *paju* 'ива', *pajukko* 'ивняк', *pajuine* 'ива', 'ивовый' [СКЯМ: 251, 252], вепс. *paju* 'ивовое корье' [СВЯ: 394], люд. *paju* 'ива', при саам. кильд. *pajj* 'ива', коми *bad* 'ива' [SKES: 465]. См. также: [Kalima; Погодин: 48]. Суффикс *-няк* вряд ли следует сопоставлять с прибалтийско-финским *-ine*, скорее всего, в данном случае образование, аналогичное слову *ивняк*.

Лексема *вигняк*, фиксируемая в Белозерье и смежных районах, трактуется нами как единица полного субстрата, поскольку не имеет точно сопоставимых данных возможных языков-источников, хотя в этимологической литературе ее рассматривают как заимствование прибалтийско-финского происхождения. Калима сопоставляет с фин. *viita* 'кустарник, чаща, молодой лесок' [Калима: 85], предлагая искать этимон в вепсских или ливвиковских диалектах. Однако и в новых и более полных лексикографических источниках нет материала, который бы соотносился с русскими диалектными словами, ср. ливв. *viidu* 'мелкий, но густой ельник', *viidakko* 'ельник' [СКЯМ: 432], кар. твер. *viida* 'густой островной еловый лес' [СКЯП: 335], вепс. *vida* 'еловая чаща, молодой ельник' [СВЯ: 630] при фин. диал. *viita* 'густой молодой лиственный или смешанный лес, растущий на открытой местности (ольшаник, ивняк, березняк)', 'лиственный лес, выросший на подсеке', *viitikko*, *viitikisko* 'молодой, густо выросший лиственный или смешанный лес', эст. диал. *viderik*, *vidervik* 'молодой лес из тонких деревьев' [SKES: 1754, 1755]. Причем эстонские данные авторы SKES предположительно возводят к скандинавским источникам, ср. швед. *vide* 'ива', а финские, со

значениями, относящимися к подсечному земледелию, — к древнескандинавским, ср. др.-швед. *svidh* ‘место в лесу, где валят и сжигают деревья’ [SKES: 1755]. См. также [SSAP 3: 445]. На германской почве данное гнездо имеет преимущественно значение ‘ива’: нем. *Weide* ‘ива’, англ. *withe* ‘ивовый прут’ с балто-славянскими соответствиями, ср. лит. *vytis* ‘прут, лоза’, русск. диал. *витвина* ‘прут, лоза’ [EWD: 1951]. На наш взгляд, приводимые скандинавские и прибалтийско-финские данные вряд ли можно напрямую сопоставлять с русскими диалектными материалами. Исходя из ареала (Белозерье), нельзя исключать предположение о субстрате саамского типа, ср. саам. *veŋŋa* ‘плаун’, ‘коряга’ [KOLTKS: 733], что может являться саамским поздним рефлексом.

На юго-западе обследуемого региона фиксируются лексемы тюркского происхождения: *та́лина*, *та́льник* — костромские говоры (Межевский, Парфеньевский, Чухломской районы). Е. Н. Шипова приводит в качестве источника татар., казах., кирг., алт. *тал* ‘ива, верба’<sup>14</sup>, причем гнездо тюрк. \**tal* ‘ива, верба’ широко представлено на тюркской почве [СГТЯЛ: 125], см. также [Фасмер 4: 13, 14]. Но ввиду того, что слова *тал*, *та́льник* ‘кустарниковая ива’ являются единицами литературного языка<sup>15</sup>, их иррадиация не всегда может быть ареально значима. Так, кроме костромских говоров лексема *та́лина* ‘ива’ фиксируется в Ленском районе (говоры Архангельской области).

Таким образом, лексическая манифестация, полученная на вопрос нашей программы ‘кустистая ива’, репрезентирует данные балтийского, прибалтийско-финского, саамского, коми-зырянского, тюркского происхождения<sup>16</sup>.

В сфере полеводства и огородничества, напротив, отмечается сильное влияние русского (восточнославянского) языкового континуума на автохтонные языки Северо-Запада<sup>17</sup>, однако и по этой тематике лексическая манифестация ряда концептов представляет единицы субстратной и заимствованной природы. Например, вопрос ‘листва картофеля, свеклы’, заявленный в Программе ДАРЯ (№ 178), но отсутствующий в картографической разработке III вы-

<sup>14</sup> Шипова Е. Н. Словарь тюркизмов в русском языке. Алма-Ата, 1976. С. 303.

<sup>15</sup> У Срезневского слово *тал* отсутствует.

<sup>16</sup> О тюркизмах, близких к финно-угорской лексике, см.: Мызников С. А. Лексика финно-угорского и тюркского происхождения в русских диалектах (Разграничение и определение конечного источника) // Известия Уральского государственного университета. Гуманитарные науки. Вып. 4. Екатеринбург, 2001. № 20. С. 103—106.

<sup>17</sup> Kalima J. Slaavilais peräinen senastomme. Helsinki, 1952.

пуска<sup>18</sup>, был задействован и нами в виде 'картофельная ботва'. Полученные лексические данные также репрезентируют результаты финно-угорского и балтийского влияния.

В Беломорье фиксируются лексемы *táimína*, *táimень*, *táйбина*, восходящие к карельским источникам, ср.: кар. *taimen* 'росток, саженец' [ILKS: 143], люд., вепс. *taimen* 'то же' [SKES: 1197, 1198], кар. твер. *taimen* 'рассада' [СКЯП: 291], ливв. *taimen* 'рассада' [СКЯМ: 373], при фин. *taimi*, эст. *taim*, водск. *taimi* 'росток, саженец, рассада' [SKES: 1198]. Следует отметить, что основное значение на прибалтийско-финской почве 'росток, саженец', вероятно, ранее доминировало и в русских говорах, ср.: *táйбина* 'молодая ботва картофеля' (Беломорский район), *táймина* 'всходы, ростки картофеля, репы' (Кандалакшский район); однако в настоящее время большая часть фиксаций данного материала имеет значение 'картофельная ботва'. Сдвиг значения, скорее всего, произошел уже на русской почве. На востоке региона для обозначения ботвы используются единицы иного субстратного типа; значительный ареал образует лексема *лыч*, распространенная в вологодских, ярославских, костромских говорах, что позволяет предположить влияние источников коми языка, ср. коми *лыч* 'ботва (редьки, репы и т. п.)', 'жалка листа, черешок листа' [ССКЗД: 209]. Авторами КРОЧК слово *лыч* 'ботва (картофеля, репы, брюквы)' [КРОЧК: 291] трактуется как диалектное. Смущает, однако, то обстоятельство, что картофель получил у народа коми распространение только с середины XIX века, а по данным конца XIX века наивысший удельный вес посадок картофеля в Коми крае был в Вологодской губернии<sup>19</sup>.

Лексемы *ведельё*, *вядеріна*, *вяденіна*, которые рассматриваются нами как варианты русской адаптации одного типа субстратного воздействия, имеют ареал на территории псковских говоров и на р. Ояти (Тихвинский район). Данное гнездо не исследовалось с точки зрения его происхождения. На наш взгляд, вряд ли возможно его этимологизировать на исконной почве. Исходя из ареала, вполне вероятно балтийская версия, ср.: лит. *vītis* 'картофельная ботва', 'усы хмеля', *rutis* 'хлыст, прут, розга', 'ус ползучего растения' [Fraenkel 2: 1268].

<sup>18</sup> Программа собирания сведений для составления Диалектологического атласа русского языка. М.; Л., 1947. С. 135; Диалектологический атлас русского языка. Центр Европейской части России: Комментарии к картам: Справочный аппарат. М., 1996.

<sup>19</sup> Народы Поволжья и Приуралья: Коми-зыряне. Коми-пермяки. Марийцы. Мордва. Удмурты. М., 2000. С. 61.

Лексема *náтина* (отмечаются также варианты *нъятина*, *нётина*, *нйтина*), отмечаемая в западной части ареала, традиционно рассматривается на славянской почве, ср. укр. *нать*, *натиня* 'ботва', белорусск. *націна*, польск. *nać* [Фасмер 3: 48], а имеющиеся прибалтийско-финские данные возводят к славянскому (русскому) влиянию, ср.: фин. *naatti*, кар. *noatti*, ливв. *noatti*, люд. *nuatti*, вепс. *nat*, водск. *nātt* 'ботва' [SKES: 363]. Лексема *тіна*, обозначающая ботву в новгородских говорах, относится сюда же, ср. праславянское \**natь*, которое интерпретируется как образование, возникшее на основе переразложения: \**natina* — *nat-ina* — \**natь* [ЭССЯ 23: 187].

Лексема *тетіва*, отмеченная в костромских говорах (Пыщугский, Павинский, Шарьинский, Мантуровский районы), вряд ли может сопоставляться с русск. *тетива́* 'бечева, струна, стягивающая концы лука', 'туго натянутая веревка, бечева, трос в некоторых снастях, орудиях', 'боковая наклонная балка лестницы, в которую вделывают концы ступеней' [БТС: 1321]; праслав. \**tetiva* сравнивают с лит. *tīnklas* 'сеть' [Фасмер 4: 53]. Ареал этого слова дает возможность предположить его субстратную финно-угорскую природу, ср.: фин. *tyvi* 'нижняя часть дерева, пень', эст. *tüvi* 'нижняя часть дерева, растения, соломины', эст. диал. *tüi*, *tüü*, *tive* 'обрубок чего-л.', 'жнивье', мар. *tül* 'комель дерева' [SKES: 1464, 1465].

Таким образом, лексическая манифестация, выявленная по концепту 'картофельная ботва', позволяет выделить карельскую зону влияния (*тáйміна*), кома ареал (*лыч*), территорию с доминированием данных балтийского происхождения (*ведельё́*, *вяденіна*).

В заключение следует отметить, что лексическая манифестация по тематически разнородным концептам репрезентирует лексический субстрат довольно дифференцированно, но с сохранением ареальных тенденций его проявления. Однако выделение понятий и реалий для лингвогеографического анализа не носит системного характера.

#### Принятые сокращения источников

- БТС — Большой толковый словарь русского языка. СПб., 1998.  
 ДАРЯ — Диалектологический атлас русского языка. М., 1986—1997. Вып. I—III.  
 КРОЧК — Коми-роч кывчукор. Коми-русский словарь / Сост. Л. М. Безносикова, Е. А. Айбабина, Р. И. Коснырева. Сыктывкар, 2000.  
 КСРГК — Картотека СРГК (см.).  
 КЭСЯ — *Лыткин В.И., Гуляев В.И.* Краткий этимологический словарь коми языка. М., 1970.  
 ЛАРНГ — Лексический атлас русских народных говоров (тема, разрабатываемая в ИЛИ РАН, Санкт-Петербург).  
 ПЛГО — Авторские материалы полевого лингвогеографического обследования.

Погодин — *Погодин А.Л.* Севернорусские словарные заимствования из финского языка // *Варшавские университетские известия*. 1904. Вып. 4.

Подвысоцкий — *Подвысоцкий А.* Словарь областного архангельского наречия в его бытовом и этнографическом применении. СПб., 1885.

СВЯ — Словарь вепского языка / Сост. М. И. Зайцева, М. И. Муллонен. Л., 1972.

СГТЯЛ — Сравнительно-историческая грамматика тюркских языков: Лексика. М., 1997.

СКЯМ — Словарь карельского языка (ливвиковский диалект) / Сост. Г. Н. Макаров. Петрозаводск, 1990.

СКЯП — Словарь карельского языка (тверские говоры) / Сост. А. В. Пунжина. Петрозаводск, 1994.

СРГК — Словарь русских говоров Карелии и сопредельных областей. СПб., 1994—1999. Вып. 1—4.

Срезневский — *Срезневский И.И.* Материалы для словаря древнерусского языка по письменным памятникам. СПб., 1893—1912. Т. 1—3.

ССКЗД — Сравнительный словарь коми-зырянских диалектов / Сост. Т. И. Жилина, М. А. Сахарова, В. А. Сорвачева. Сыктывкар, 1961.

Фасмер — *Фасмер М.* Этимологический словарь русского языка. М., 1964—1973. Т. 1—4.

ЭССЯ — Этимологический словарь славянских языков. Праславянский лексический фонд / Под ред. О. Н. Трубачева. М., 1974—2001. Вып. 1—28.

EWD — *Etymologisches Wörterbuch des Deutschen*. Berlin, 1989. Bd. 1—3.

Fraenkel — *Fraenkel E.* Litauisches etymologisches Wörterbuch. Heidelberg; Göttingen, 1962. Bd. 1—2.

ILKS — *Impilahden karjalan sanakirja*. Helsinki, 1998.

Kalima — *Kalima J.* Die ostseefinnischen Lehnwörter im Russischen. Helsingfors, 1915.

KKS — *Karjalan kielen sanakirja*. Helsinki, 1986—1997. O. 1—5.

KOLTKS — *Itkonen T.J.* Wörterbuch des Kolta- und Kolalappischen. Helsinki, 1958.

SKES — *Suomen kielen etymologinen sanakirja*. Helsinki, 1955—1981. O. 1—7.

SSAP — *Suomen sanojen alkuperä*. Helsinki, 1992—2000. O. 1—3.

SYRW — *Syrjänischer Wortschatz* / Aufl. Y. Wichmann, T. E. Uotila. Helsinki, 1942.

Wiedemann — *Wiedemann F.I.* Syrjänisch-deutsches Wörterbuch nebst einem Wotjakisch-deutschen im Anhang und einem deutschen Register. Spb., 1880.

#### Перечень районов, приводимых в работе (по современному административному делению)

Архангельская область: Верхнетоемский, Каргопольский, Ленский, Лешуконский, Мезенский, Няндомский, Пинежский.

Вологодская область: Вашкинский, Вожегодский, Вытегорский, Кирилловский, Усть-Кубенский.

Карелия: Беломорский, Кондопожский, Медвежьегорский, Прионежский, Пудожский.

Костромская область: Мантуровский, Межевский, Павинский, Парфеньевский, Пыщугский, Чухломский, Шарьинский.

Ленинградская область: Лодейнопольский, Тихвинский.

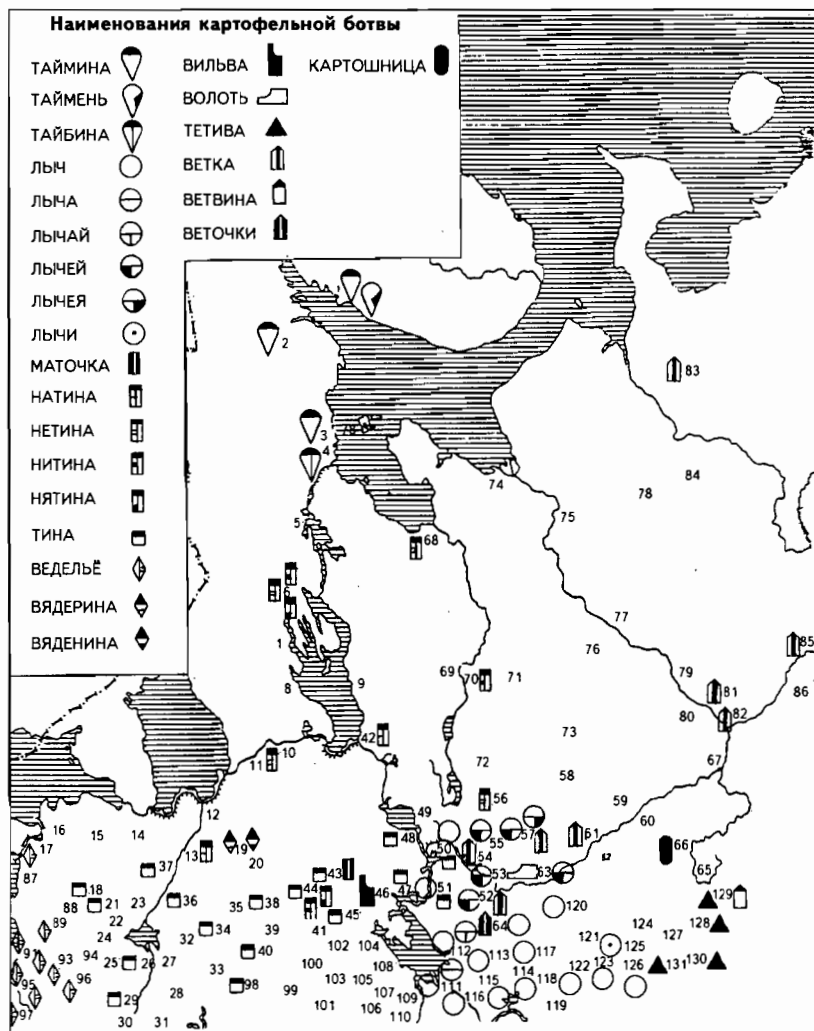
Мурманская область: Кандалакшский.

Новгородская область: Валдайский.

Тверская область: Бологовский.

Перечень обследуемых районов, имеющих номер на карте, по их принадлежности к субъекту Российской Федерации

- |                               |                               |
|-------------------------------|-------------------------------|
| 1. Мурманская область.        | 68—86. Архангельская область. |
| 2—9. Республика Карелия.      | 87—97. Псковская область.     |
| 10—20. Ленинградская область. | 98—107. Тверская область.     |
| 21—41. Новгородская область.  | 108—116. Ярославская область. |
| 42—67. Вологодская область.   | 117—131. Костромская область. |





*А. А. Плетнева*

## **О языке народной письменности XVIII—XIX веков**

Лубки (т. е. цельногравированные картинки с подписями) печатались в России с XVII по начало XX в. В лубочных изданиях картинка и текст неразрывно связаны и часто одно бывает непонятно без другого. Однако если лубочные картинки уже достаточно хорошо изучены искусствоведами, то говорить об изученности лубочных текстов еще рано. А язык лубка как специфического явления народной письменности вообще остался вне сферы внимания специалистов. Объяснить такую невнимательность лингвистов к лубочным изданиям можно тем, что филологи всегда отдают предпочтение древним текстам. К тому же построение вузовских курсов по истории языка просто не оставляет места для такого явления, как народная письменность нового времени. Для периода XVIII—XIX вв. историков языка интересуют исключительно те факты, которые проливают свет на формирование и развитие нового литературного языка, а все остальные языковые явления остаются за бортом филологического корабля, движущегося строго по курсу. Между тем стихия народной письменности достойна всяческого внимания, хотя бы потому, что число читателей лубка во много раз превосходило число читателей Пушкина и Гоголя.

Читатели русской классической литературы и читатели лубочных изданий принадлежали к разным сословиям. Первые — представители дворянского сословия и духовенства, чьи дети получали образование в гимназиях и семинариях, где, судя по программам, был довольно основательный курс русского языка. Читатели лубочной продукции — в основном мещане и крестьяне — в лучшем случае получали начальное образование, в рамках которого не изучалась системная грамматика родного языка, а из русской классической литературы читались в основном басни Крылова. Для крестьянских детей в большинстве случаев дело ограничивалось лишь домашним обучением чтению по церковным книгам [Кравецкий, Плетнева 2001: 23—41]. Таким образом, можно утверждать, что языковая компетентность представителей разных сословий в дореволюционной России была разной. Но разным было не только владе-

ние русским литературным языком, но и церковнославянским. Как уже упоминалось, крестьянские дети буквально до начала XX века учились читать по средневековой модели — по Азбуке, Часослову и Псалтири. В результате такого обучения они выучивали наизусть значительный по объему корпус церковнославянских текстов. Представителям дворянского сословия французский был, безусловно, понятнее и ближе, чем церковнославянский [Там же: 33—34].

Тип образования определял круг чтения. Мещане и крестьяне несли с базара не Белинского и Гоголя, а лубочные издания, которые были им ближе не только по содержанию, но и по языку. Полиграфическая техника стала своеобразным водоразделом между элитарной и народной культурой. В языковом отношении способ печати разделял нормированные языки (богослужебный церковнославянский и русский литературный) и письменный (ненормированный) язык народной лубочной литературы. Причины этого разделения носили экстралингвистический характер. Дело в том, что жесткой государственной цензуре в первую очередь подвергались тексты, которые печатались с типографского набора. Гравированные издания цензура рассматривала как изображение, а не как текст. Поэтому текстовая часть лубочных изданий оказывалась на периферии внимания цензоров. Другая причина изоляции языка народной литературы состоит в том, что создатели лубочных изданий принадлежали к тому же социальному слою, что и их читатели. Не получив соответствующего образования, они не владели (или же владели лишь пассивно) русским литературным языком и при этом неплохо знали наизусть церковнославянские тексты. Таким образом, выделение народной литературы в самостоятельный вид словесности совершенно оправданно<sup>1</sup>.

В народной (лубочной) литературе, как и в любом другом виде словесности, существует множество жанров. Однако здесь эти жан-

---

<sup>1</sup> Место лубочной литературы в системы словесности было показано Н. И. Толстым, который предложил пятичленную парадигму видов литературы и фольклора: художественная литература, народно-городская литература, общенародный фольклор, социальный фольклор, литературное или фольклорное творчество индивида.

Комментируя понятие народно-городской литературы, Н. И. Толстой поясняет: «Ее выделение в отдельную совокупность письменных произведений редко практикуется в русском литературоведении, а входящие в ее состав произведения и памятники XIX в. и начала XX в. в наше время почти не изучаются. Между тем в польской и хорватской исследовательской традиции ей уделялось серьезное внимание <...> Подобно просторечию, адаптировавшему по своим меркам литературный язык, народно-городская, или “лубочная” литература приспособливалась ряд произведений, сюжетов и тем элитарной литературы к народным представлениям и мещанским вкусам Никольской улицы» [Толстой 1997—1999 2: 14—15].

ры обслуживают не функциональные стили одного языка, а два языка: русский (нелитературный) и церковнославянский. Причем содержание текста определяет ориентацию на один из этих языков [Плетнева 2001а: 275—278].

Значительный объем лубочной продукции составляют тексты, воспроизводящие издания церковных типографий. Это отрывки из Библии, евангельские притчи, жития святых, отдельные молитвы, т. е. тексты на церковнославянском языке. Однако этот язык в некоторых аспектах отличается от языка богослужбных книг (что мы рассмотрим ниже). Рассказы из истории, календари, предсказания, географические карты с пояснениями, виды и описания святых мест (т. е. в некотором смысле научно-популярная литература<sup>2</sup>) представлены гибридным церковнославянским языком. Сюда же относятся и произведения древнерусской литературы конца XVI—XVII в., вошедшие в лубочную традицию (притчи из «Зеркала великого» и др.). Соотношение русских и церковнославянских элементов в этих текстах может быть самым разным. В некоторых случаях вернее было бы говорить даже не о гибридном церковнославянском, а о русском языке с вкраплением церковнославянских форм.

И наконец, сказки, басни, забавные листы, пересказы газетных статей связаны с русским языком. Однако это не нормированный русский язык. Здесь наблюдается большое количество диалектизмов и просторечных выражений, значительно отличается синтаксическая структура фразы, которая часто бывает ориентирована на фольклорные тексты, практически не ставятся знаки препинания. Тем не менее здесь отчетливо прослеживается влияние церковнославянской письменности: часто тексты отнюдь не благочестивого содержания выгравированы церковной кириллицей. И если для ученого-лингвиста облик буквы не столь важный показатель, то для массового сознания славянский от русского отличается прежде всего начертанием букв. Такая устойчивая ориентация на церковнославянский язык объясняется тем, что для создателей лубка, так же, как и для читателей этого рода текстов, он является языком учения и соответственно культуры и книжности.

Для нормированных языков, какими являются русский литературный и церковнославянский нового времени, орфография является тем уровнем, где норма практически не знает отступлений. В массовом сознании именно орфография является важнейшим уровнем языка. Недаром споры по поводу орфографических реформ

---

<sup>2</sup> Описание картины мира, реконструированное на основе этих текстов, см. [Плетнева 2001б: 50—57].

зачастую приобретают массовый характер, при этом люди даже с гуманитарным образованием искренне считают, что реформа орфографии есть реформа самого языка. В лубочных текстах нет орфографической нормы. Более того, орфография оказывается тем языковым уровнем, где следование какой-либо традиции оказывается необязательным.

Лубочные тексты, написанные на церковнославянском языке (это фрагменты Священного Писания, краткие жития, подписи к иконам и т. д.) более-менее строго сохраняют морфологические особенности этого языка, однако орфографический облик текстов претерпевает существенные изменения. Прежде всего это касается надстрочных знаков. Во многих текстах наблюдается хаотическая постановка не только знаков придыхания, но и знаков ударения.

Так, в Библии Василия Кореня<sup>3</sup> (1692—1696) несистемная постановка надстрочных знаков наблюдается не только в части «Сотворение мира» (текст которой имеет несколько источников, в том числе Толковую палею<sup>4</sup>), но и в «Апокалипсисе», который является прямым воспроизведением текста Библии 1663 года. Если в нормированных церковнославянских текстах тяжелое ударение ставится только на конечном гласном, то в Библии Кореня оно может появляться где угодно, в том числе и на односложных предлогах и частицах, где ударение по правилам вообще не ставится: **чѣтъри** (л. 25), **ѡвѣтра** (л. 24), **часть** (л. 27), **наземлю** (л. 29). Часто знак ударения стоит не на месте **резалъ василин корень** (л. 27), **видѣхъ** (л. 29). Многие слова имеют два или даже три знака ударения (знаки острого и тяжелого ударения в любых сочетаниях) **клевръѣти**, **бѣлаа** (л. 23), **вѣтры** (л. 25), **кадилницѣ** (л. 26) и т. п.

Такое положение дел характерно не только для Библии Кореня, но и для других церковнославянских текстов: знак ударения часто пропускается, ставится не на месте или вообще не ставится. И это при том, что текст достаточно точно воспроизводится с синодального издания (см. [Хромов 1998, рис. 42]). Создается впечатление, что знаменщики<sup>5</sup> и граверы (а это были люди примерно с тем же уровнем языковой компетенции, что и читатели лубочных текстов) часто не понимали, зачем ставятся знаки ударения и придыхания, а воспринимали их скорее как своеобразное украшение, орнамент.

<sup>3</sup> Мы ссылаемся на факсимильное воспроизведения экземпляра, хранящегося в ГПБ; см.: Библия Василия Кореня 1692—1696 из Государственной публичной библиотеки им. М. Е. Салтыкова-Щедрина в Ленинграде [V 4.2]. М., 1983.

<sup>4</sup> Об этом см. [Сакович 1983: 17].

<sup>5</sup> Так назывался человек, который писал тексты для лубочного издания.

Знаки титла также использовались не всегда верно. В послениконовских богослужебных книгах в соответствии с грамматическими руководствами знак титла ставится лишь над словами, имеющими сакральное значение (ср. *àngelъ* — ‘ангел’ и *àngelъ* — ‘злой дух’, *мѣти* — ‘Богоматерь’ и *мѣти* — ‘любая другая мать’)<sup>6</sup>. В лубочных церковнославянских текстах знаки титла ставятся над словами, не относящимися к сакральной сфере (*чѣвкъ*, *Ѡцъ*<sup>7</sup>, *гднъ*, *снъ* — «Притча о блудном сыне» [Ровинский 1881 3: № 695]).<sup>8</sup> Однако, как правило, все эти слова в случаях наименования лиц Троицы действительно должны писаться под знаком титла. Таким образом, знаменщик, учившийся читать по церковнославянскому букварю, где есть специальный раздел о словах под знаком титла, знал те слова, которые пишутся сокращенно, но выделить случаи, когда эти слова пишутся полностью он не мог, так как не имел специальной грамматической подготовки. Знаменщик механически воспроизводил слово в том облике, который он знал с детства, не задумываясь о его значении. Раздела о значении слов в Букваре не было, так как задача этой книги была научить правильно произносить слова, а не правильно писать.

В некоторых лубках упрощается и графический облик церковнославянского текста. Так в картинке «Смерть Авесалома» издания Ахметьевской фабрики (№ 839) отсутствует буква *ѣ*, а вместо нее употребляются *є*: *вслєдъ*, *вєѣѣ*, *на дѣѣ* (стандартное написание *вслѣдъ*, *вѣѣѣ*, *на дѣѣ*). Однако все-таки в лубочных церковнославянских текстах таких примеров не так уж и много. Графический облик лубков, соотносимых с церковнославянским языком, как правило, не претерпевает существенных изменений.

Если графические особенности церковнославянского языка во многих лубочных текстах сохраняются, то орфографические правила нарушаются регулярно. Прежде всего это касается распределения дублетных букв. Правила написания *н/ї*, *ѡ/ѡ*, *ѡ/ѡ*, *є/є*, *ѡ/ѡ* не работают практически нигде. Таким образом, орфографические правила церковнославянского языка, сформированные в конце XVII в., в лубочных текстах не соблюдаются. Правила остаются в

<sup>6</sup> Безусловно, это правило знает исключения, однако справщики и редакторы богослужебных книг, особенно в XIX и XX вв., исправляли подобные ошибки.

<sup>7</sup> В богослужебных книгах XVIII—XX вв. это слово никогда не пишется через букву *Ѡ*. В зависимости от значения оно может писаться как *Ѡцъ* или *Ѡтѣцъ*.

<sup>8</sup> Так как в издании Д. Ровинского нумерация сплошная, далее мы будем указывать лишь номер цитируемого текста.

ведении специалистов — справщиков синодальных и лаврских типографий. Только они, научившиеся специальным навыкам, могли следить за тем, чтобы облик церковнославянского текста богослужебных книг соответствовал грамматическим предписаниям и сложившейся в конце XVII в. традиции<sup>9</sup>. Орфография текстов XVIII — первой половины XIX века, написанных на гибридном церковнославянском и на русском языке, произвольна еще в большей степени.

Среди текстов, содержание которых не связано с церковной книжной традицией, особое место занимают лубки, которые Д. Ровинский объединяет в раздел «Забавные листы». Эти тексты представляют собой лубочный вариант народной площадной культуры. Многие тексты написаны рашным стихом, широко используется диалог. Тематика большинства из них не имеет никакого отношения к церковной культуре. Тексты весьма физиологичны: широко распространена тема еды, пьянства, испражнения, любовных походов и т. д. По своему происхождению эти листы несомненно связаны с городскими народными праздниками и площадным театром<sup>10</sup>.

При обращении к этим текстам ожидается, что в языковом отношении они будут ориентированы на городское просторечие и ни коим образом не на церковнославянский язык. Поскольку даже во времена своего максимально широкого распространения церковнославянский язык не обслуживал сферу народной культуры, кажется, что «Забавные листы» ни в коей мере не относятся к числу источников, в которых имеет смысл искать сколько-нибудь заметный пласт церковнославянизмов. Действительно, в «Забавных листах» мы находим массу элементов городского просторечия Москвы, относящихся к XVII—XIX вв. Прежде всего эти элементы фиксируются на лексическом уровне: *харя* (№ 101), *спасибоста* — по аналогии с *пожалуйста* (№ 102), *обжирливый* (№ 107), *токмо* (№ 110), *вчерась* (№ 112), *помога* (т. е. помощь) (№ 111), *страм* (т. е. срам) (№ 114), *скрость* (т. е. сквозь) (№ 115), *хоша* (т. е. хоть) (№ 120, 132), *незамати* (№ 120), *замарати* (№ 120), *небось* (№ 123), *помурзиться* (№ 132) и т. д. Некоторые слова вызывают интерес по родовой принадлежности (*мою пузу* — № 98) или по типу склонения (*на постелю* — № 111, 120). Обращают на себя внимание случаи, где реализуется управление глагола, отличное от модели русского

<sup>9</sup> Некоторые особенности церковнославянской орфографии не были закреплены в грамматических руководствах.

<sup>10</sup> О сходстве лубочных листов с площадным театром см. [Лотман 1999].

литературного языка: *буду я в рыле играть, вдудочку играть стану* (№ 100) (русс. — *играть на музыкальных инструментах*). Материал «Забавных листов» может дать информацию и по исторической фонетике. Так, например, написание *и вгрезную лужу повалился* (№ 114) показывает, что ударение в выделенном слове падает на окончание.

Однако, как это ни парадоксально, в «Забавных листах» отчетливо прослеживается и влияние церковнославянской книжной традиции. Как указывалось выше, многие тексты весьма фривольного содержания напечатаны церковной кириллицей. При этом вплоть до середины XIX в. в них сохраняются буквы ѡ, Ѡ, ѡ, Ѣ, Ѥ, исключенные из гражданской азбуки (исволь лишь са мной брести — № 123, ѡбжирливый ѡбусіло — № 107 и т. д.). Довольно часто встречаются знаки титла и выносные буквы (№ 106, 107, 117, 123, 131 и др.). В некоторых лубках используется славянская цифирь (№ 100, 104, 107 и др.).

Некоторые грамматические формы имеют два варианта: церковнославянский и русский. Так, инфинитивные формы оканчиваются на *-ти* и *-ть*, причем оба варианта могут встретиться в одном тексте: *поднести* (№ 99), *потанцовать, побалансировать* (№ 101), *обрэгати, невдати, пить, пити, дуплити* (№ 107). Подобных примеров довольно много в конце строки в текстах, написанных раешным стихом. В таком стихе рифма бывает мужской, женской и дактилической, поэтому выбор между *-ти* и *-ть* совершенно произвольный. Инфинитивы на *-ти* и *-ть* оказываются полными синонимами.

Ныне спохмелья много мы имели вздохати  
 Да прїнуждены кь тебѣ иди винца поискати  
 И ты насѣ похмельныхъ немоги оставити  
 Прикажи ендѡеку и пива поставити  
 А мы впредь готовы будемъ хотѣ деньги плотить  
 Или тебя жгутами молотить (№ 112).

В «Забавных листах» встречается довольно много специфической церковнославянской лексики: *зело* (№ 120, 125), *паче* (№ 102) *сей* (№ 103), *воздвигнути* (№ 104), *аще* (№ 104, 107, 109, 115), *егда* (№ 106), *глаголати* (№ 106), *понеже* (№ 107), *посемѣ* (№ 107), *велми* (№ 107), *ибо* (№ 111, 120), *купно* (№ 129), *втунѣ* (№ 133), *потщати-ся* (№ 134), *уязвитися* (№ 135) и т. п.

Обращает на себя внимание тот факт, что в качестве средств синтаксической связи церковнославянские союзы и союзные слова встречаются чаще, чем аналогичные русские. *Видиши пицчат трубы яко кошки* (№ 102); *усердно прїими дабы тебѣ было вѣстно* (№ 119);

*аще содружится со мною кая власть, постигнетъ его лютая напасть,  
аще содружится сомною протополь, и сънь будетъ глупый пусто-  
поль* (№ 107).

С позиции носителя современного русского языка сочетание в одном тексте элементов просторечия и церковнославянизмов создает эффект стилистической неоднородности, а текст при этом воспринимается как примитивный и комичный:

Руцѣ развратны и велми трясутся  
а колѣни скорчатся и жилы сволокутся  
Лице събрюзгло сотворится и вес(ь) непотребен явится  
Посемь весь сдряхлѣет и нѣ чемь невладѣет:  
сер(д)це и умь ѿшалѣетъ

(№ 107, «Пьянственная страсть»).

В процессе своего формирования русский литературный язык избавился и от значительного пласта славянизмов, и от элементов просторечия. Однако читателям лубка подобные тексты не казались столь нелепыми. Элементы просторечия делали тексты понятными и «своими», а церковнославянские формы вводили их в культурный контекст, придавали статус письменного текста.

В литературе, посвященной лубкам, часто встречается утверждение о том, что язык лубка подвергался сознательной порче для того, чтобы создать комический эффект<sup>11</sup>. Это утверждение основано на явном недоразумении. Отступление от нормы (порча) как литературный прием работает только тогда, когда эта норма является достаточно жесткой и присутствует в сознании как создателя текста, так и его читателей. Однако читатели лубочной письменности, вне всякого сомнения, не имели никакого представления о норме русского литературного языка и весьма приблизительное — о норме церковнославянского.

Язык лубочных текстов воспринимается испорченным и смешным из перспективы современного русского литературного языка. На самом деле мы имеем дело со специфической языковой системой, возникшей в конце XVII в. и предназначенной для письменной фиксации фольклорных текстов. Как известно, в XVII—XVIII вв. городские жители начинают активно записывать фольклорные произведения (песни, былины и т. д.). В рукописных сборниках XVIII в. фольклорные тексты находятся рядом с произведе-

<sup>11</sup> «Темные», испорченные или даже имитирующие смысл, но бессмысленные надписи могли существовать в лубке лишь в одном качестве: как символическая форма. Она представляла собой намек на уже известный, часто устный, текст — для грамотных, и знак приобщенности к письменной культуре — для неграмотных» [Соколов 1999: 107].



ниями литературного происхождения [Сперанский 1963: 74—78]. Следует подчеркнуть, что эти записи для домашнего чтения принципиально отличаются от записей, сделанных фольклористами. Фольклористы записывают «чужую» культуру, в то время как составители рукописных сборников — свою. Фольклористы пытаются максимально точно зафиксировать особенности уходящей (чужой) культуры, в то время как составители рукописных сборников готовят текст, который будет легко и интересно читать. Славянизмы являются одним из средств приблизить фольклорный по происхождению текст к языковому стандарту и тем самым ввести его в письменную культуру.

Таким образом, язык лубочной письменности является ненормированным и ориентированным в первую очередь на церковнославянский, а не на русский литературный язык. В зависимости от жанра эта ориентация оказывается представленной в большей или меньшей степени. В текстах, восходящих к традиционной книжной культуре, ненормированность проявляется в первую очередь в орфографии, в то время как остальные уровни языка более или менее соответствуют норме. В лубках, ориентированных на народный театр и фольклорные тексты, русский язык представлен в варианте городского просторечия, а церковнославянское влияние отчетливо прослеживается в графике и средствах синтаксической связи.

#### Л и т е р а т у р а

*Кравецкий А. Г., Плетнева А. А.* История церковнославянского языка в России (конец XIX — XX в.). М., 2001.

*Лотман Ю. М.* Художественная природа русских народных картинок // Мир народной картинки. Гос. музей изобразительных искусств им. А. С. Пушкина: Мат-лы науч. конф. «Випперовские чтения — 1997». Вып. 30. М., 1999.

*Плетнева А. А.* Социоллингвистика и проблемы истории русского языка XVIII—XIX вв. // Жизнь языка: Сб. статей к 80-летию М. В. Панова. М., 2001а.

*Плетнева А. А.* Образ России в лубочной традиции // Образы России в научном, художественном и публицистическом дискурсе: Материалы междунар. науч. конф. Петрозаводск, 2001б.

*Ровинский Д. А.* Русские народные картинки. Т. 1—5. СПб., 1881.

*Сакович А. Г.* Народная гравированная книга Василия Кореня 1692—1696. М., 1983.

*Соколов Б. М.* Художественный язык русского лубка. М., 1999.

*Сперанский М. Н.* Рукописные сборники XVIII века: Материалы для истории русской литературы XVIII века. М., 1963.

*Толстой Н. И.* Избранные труды. Т. 1—3. М., 1997—1999.

*Хромов О. Р.* Русская лубочная книга XVII—XIX веков. М., 1998.

*С. К. Пожарицкая*

## **Говоры северных территорий и их место в диалектном членении русского языка**

Территория «Диалектологического атласа русского языка» (ДАРЯ), на основании которой была составлена карта диалектного членения русского языка, как известно, включает в себя говоры, условно называемые говорами территории раннего формирования — приблизительно в границах тех регионов, которые вошли в состав русского государства до XV века. Но эти соображения никак не могли быть отнесены к говорам северной части территории Архангельской области, которая была отрезана 62-й параллелью и осталась за пределами атласа. В этом случае решение было принято на основе одного из положений теории лингвистического картографирования, созданной Р. И. Аванесовым, которое состояло в том, что сетка обследования населенных пунктов для атласа должна быть равномерной. Территория Архангельской области, за исключением самых южных ее районов (Каргопольского, Коношского, Вельского, Устьянского, Красноборского, Котласского, Вилегодского, Няндома), не давала такой возможности: она была заселена только по течению рек Онеги, Северной Двины, Пинеги, Мезени и Вашки, расстояние между которыми исчисляется десятками, а иногда и сотнями километров.

Таким образом, за пределами обследованной по программе атласа и картографированной территории остались северные районы Архангельской области (Верхнетоемский, Виноградовский, Ленский, Лешуконский, Мезенский, Онежский, Пинежский, Плещецкий, Приморский, Холмогорский, Шенкурский), которые представляют собой территорию древнейшей Новгородской и Ростово-Суздальской колонизации.

Очевидно, эти говоры должны были быть представлены как-то иначе, но одновременно с материалами ДАРЯ, поскольку синхронная сопоставимость диалектных данных — это тоже одно из важнейших положений лингвогеографической концепции Р. И. Аванесова.

Однако работа над атласом потребовала концентрации усилий всех диалектологов, и в течение десятилетий говорями северной части Архангельской области занимались диалектологи, преследовавшие частные научные цели — некоторые проблемы фонетики (работы Л. Л. и Р. Ф. Касаткиных), морфологии (работы Г. Я. Сибиной о говорах по течению р. Пинеги), синтаксиса (работы В. И. Трубинского), лексики («Лексический атлас Архангельской области» Л. П. Комягиной и работа над «Архангельским областным словарем» под руководством О. Г. Гецово́й).

В результате в настоящее время у нас нет отчетливого представления о лингвогеографических характеристиках той территории, которая лежит за пределами ДАРЯ, и, в частности, о том, подтверждается ли существование там особой единицы диалектного членения русской территории — Поморской группы говоров, которая обозначена на карте Н. Н. Дурново, Н. Н. Соколова и Д. Н. Ушакова (условно называемой картой МДК — мы используем это название) и охарактеризована ими в приложении к «Опыту диалектологической карты русского языка в Европе» [Дурново и др. 1915].

Нам неизвестна и северная граница Вологодской группы говоров, важнейшие изоглоссы которой не замыкаются на картах ДАРЯ, а уходят куда-то на север. Как далеко уходят они на север? Идут ли они до самого Белого моря (в этом случае говоры всей территории крайнего севера должны быть включены в Вологодскую группу говоров) или замыкаются южнее, оставляя место для еще одной группы севернорусского наречия?

Это нельзя не считать белым пятном в лингвистической географии русского языка, поскольку, как уже говорилось, север Архангельской области, как и некоторые районы Карелии, представляет собой территорию древнейшей русской колонизации.

Некоторые сведения лингвогеографического характера (т. е. полученные в виде ответов на вопросы определенной программы) могут быть почерпнуты из материалов, собранных для Общеславянского лингвистического атласа (ОЛА), но программы ОЛА и ДАРЯ совпадают только частично, к тому же сетка ОЛА содержит всего 27 пунктов к северу от 62-й параллели, а этого явно недостаточно для воссоздания лингвогеографической картины столь обширной территории. Программа ДАРЯ, вероятно, могла бы быть реализована путем изучения большого архива фонограмм тех говоров, которые обследовались для составления диалектных словарей — но это требует очень больших усилий, сопоставимых со специальной экспедиционной работой. Поэтому в настоящее время мы не располагаем возможностью картографировать эту территорию

по программе ДАРЯ, «подключить» ее к уже имеющимся картам и сделать полностью обоснованные выводы относительно места интересующих нас говоров в диалектном членении русского языка.

Однако имеющиеся в диалектологической литературе сведения, а также наши собственные наблюдения над говорами разных районов Архангельской области дают основание высказать некоторые соображения относительно лингвогеографических характеристик территории «за чертой ДАРЯ» и о том, существует ли там еще одна группа севернорусского наречия.

На карте МДК южная граница Поморской группы говоров проходит немного севернее границы ДАРЯ, но проведена она прямой линией, что свидетельствует о недостаточно ясном и документированном представлении авторов карты о границе между Восточной (Вологодско-Вятской) и Поморской группами говоров.

Авторы фундаментального труда о диалектном членении русского языка, основанного на материалах ДАРЯ, высказывают предположение об отсутствии специфических особенностей у говоров, отнесенных авторами МДК к Поморской группе: «Мы не встретим таких сочетаний ареалов собственно местных явлений, которые дали бы основание для выделения самостоятельной группы северного наречия, а лишь повторение в новом размещении черт расположенных к югу от Поморской группы межзональных говоров северного наречия, что отмечали и авторы “Опыта...”, указывавшие на преобладание в этой группе черт, известных и за ее пределами» [Захарова, Орлова 1970: 121—122].

Следует вспомнить, однако, что и никакая другая группа русских говоров не обладает ни одним уникальным признаком, который мог бы служить дифференциальным для той или иной группы, а выделение единиц диалектного членения авторами ДАРЯ осуществлялось на основании некоторых пучков изоглосс; при этом каждая единица членения совмещает в себе признаки соседних единиц — в этом состоит специфика диалектного ландшафта русского языка. Поэтому такой аргумент для отрицания самостоятельности Поморской группы говоров не может быть принят. К тому же эти говоры должны все-таки как-то вписаться в лингвистическую карту русского языка! Если они не Поморские, то какие?

Соседями гипотетических Поморских говоров на юго-западе являются говоры Онежской и Лачской групп Межзональных говоров (Олонекские по терминологии «Опыта») и Вологодской группы говоров севернорусского наречия; можно ли отнести говоры северной части Архангельской области к какой-либо одной из этих групп или поделить их территорию на продолжение соседних с ними

групп? В этом случае границы уже известных групп сместились бы далеко на север, и вологодскими пришлось бы называть, скажем, говоры Мезенского и Лешуконского районов, а онежскими или лачскими — говоры Плесецкого и Онежского районов Архангельской области.

Или все-таки совмещение особенностей межзональных и вологодских говоров дает такой комплекс признаков, который не позволяет назвать их ни вологодскими, ни онежскими, ни лачскими, а требует какого-то иного обозначения?

Происшедшее в последние десятилетия существенное пополнение сведений о говорах Севера позволяет не только проследить наличие в них тех признаков, которые были предусмотрены программой ДАРЯ, но и выявить целый ряд таких признаков, о специфичности которых для данной территории судить очень трудно, поскольку они не были предусмотрены программой ДАРЯ и, следовательно, не могут быть сопоставлены с изоглоссами и ареалами атласа. О специфическом характере таких признаков для говоров предполагаемой Поморской группы можно судить уже не по материалам ДАРЯ, а по монографическим описаниям говоров соседних территориальных групп.

Очевидно, что характерные черты Поморских говоров следует искать в первую очередь в тех районах Архангельской области, которые максимально удалены от говоров вологодского типа — Онежском, Приморском, Мезенском и Лешуконском.

Если окажется, что характерные особенности говоров крайнего севера Архангельской области не совпадают с комплексом признаков какой-либо из соседних групп и дают основание видеть там особую единицу диалектного членения, которая может быть названа Поморской или Архангельской группой, то следующей задачей должно быть определение границы между ней и соседними группами говоров.

На карте МДК эта граница проходит по территории Архангельской области, однако имеется ряд весьма важных изоглосс, которые делят территорию Вологодской группы говоров на северную и южную части. Естественно предположить, что признаки северной ее части распространяются на архангельскую территорию; в таком случае северная граница Вологодской группы говоров могла бы пройти южнее, а вопрос о лингвогеографическом статусе говоров за чертой ДАРЯ должен был бы касаться также и говоров северной части Вологодской группы.

И наконец, предстоит выяснить, насколько существенно сходство говоров, находящихся в бассейнах главных северных рек —

Онеги, Северной Двины с Пинегой и Мезени с Вашкой. Совершенно очевидно, что полного единообразия там нет; но насколько существенны различия между ними? Составляют ли эти говоры одну группу, в составе которой выделяются некоторые ареалы, или это несколько разных групп? Насколько социальная обособленность жителей этих регионов, сформировавшихся по течению рек, сказалась на их речи?

На эти вопросы предстоит ответить для того, чтобы ликвидировать это белое пятно на лингвогеографической карте русского языка.

Рассмотрим те признаки, на основании которых авторы карты МДК обозначили существование Поморской группы говоров.

1. Важнейшим основанием для членения севернорусского наречия на отдельные группы говоров авторам «Опыта» представлялись рефлексы старого \*ĕ. Поморским говорам приписывалось произношение узкого [ê] во всех позициях (в том числе между мягкими согласными) в отличие от Олонецких и Вологодских, которые авторы карты МДК считали сходными, но различающимися предупредительным рефлексом \*ĕ: в обеих группах под ударением перед твердым констатировался закрытый или дифтонгический звук типа [ê], перед мягким — [и]; в предупредительном слоге в Олонецких говорах перед твердым — только [е], в Вологодских — [о] и [е]; перед мягким в обеих группах [и].

2. Поморским говорам, как и Вологодско-Вятским, приписывалось под ударением чередование [а] перед твердым / [е] перед мягким согласным ([шл'áпа] / [фшл'ép'и]), в 1-м предупредительном слоге — только [е] ([т'ену́] — [т'ен'и]). В Олонецких говорах [а] преимущественно сохраняется во всех позициях.

3. Варьирование [е]/[о] на месте \*е, \*ь с преобладанием [е] в предупредительном слоге приписывалось Поморским говорам, более регулярное ёканье — Вологодско-Вятским.

Среди признаков консонантизма авторы указывают только два таких, которые, по их мнению, не повторяются ни в Олонецких, ни в Вологодско-Вятских говорах.

1. В Поморских говорах губно-зубное [в] чередуется с [ф]; в Олонецких и Вологодско-Вятских — с [ǃ].

2. Веляризованная реализация твердой фонемы <л> в Поморских говорах сохраняется во всех позициях; в Олонецких и Вологодско-Вятских говорах <л>, которая преимущественно реализуется невеляризованным [л] перед гласными непереднего ряда, представлена как [ǃ] на конце слова и перед согласным.

Относительно морфологии сведения чрезвычайно скудны: имеется только указание на то, что в тв. падеже мн. числа существительные в Поморской группе оканчиваются на [-мы], прилагательные — на [-ма], а в Вологодско-Вятской имеется единое окончание [-м] (сведения об Олонецкой группе не приводятся).

Обратимся к материалу современных говоров изученных нами северных районов Архангельской области (Онежского, Мезенского и Лешуконского), которые мы будем условно называть «поморскими»; насколько здесь подтверждаются особенности, приписанные Поморской группе говоров авторами карты МДК?

Полностью подтверждаются характеристики вокализма, которые для авторов «Опыта» имели решающее значение:

- 1) характер рефлексов \**ě* как под ударением, так и в безударном слоге ([e] во всех позициях);
- 2) чередование гласных в ударном слоге после мягких согласных: [a] перед твердыми / [e] перед мягкими; в предударном слоге только [e];
- 3) нерегулярное ёканье в соответствии \**e*, \**ь* перед твердыми согласными.

Подтверждаются также и такие особенности консонантизма:

- 1) чередование [в]/[ф];
- 2) [л] во всех позициях.

Сведения об окончании формы тв. падежа мн. числа имен существительных современными говорами не подтверждаются: регулярной флексией для них является <-ам'и>, тогда как для прилагательных, действительно, <-има>.

Таким образом, по тому признаку, который авторами карты МДК был принят за основу выделения групп северного наречия (рефлексы \**ě*), основания для выделения Поморской группы действительно были и остаются.

Список, представленный в «Опыте», на основании имеющихся в настоящее время сведений может быть дополнен еще целым рядом признаков. Рассмотрим их в сопоставлении с теми признаками онежских, лачских и вологодских говоров, которые приписываются им картами ДАРЯ, учитывая только те из них, по которым изученные нами говоры отличаются хотя бы от одной из соседних территориальных групп атласа: это позволит определить степень близости «поморских» говоров к тем группам, которые показаны на карте ДАРЯ.

Целый ряд признаков консонантизма является общим для всех севернорусских говоров, включая и «поморские»:

- всем им свойственно мягкое цоканье;
- долгие мягкие шипящие характеризуются многообразием твердых реализаций как с затворным элементом, так и без него;
- губные согласные на конце слова преимущественно тверды;
- ассимиляция по назальности имеет место только в группе губных согласных ([бм] > [мм]);
- конечные сочетания [ст], [с'т'] теряют смычный элемент.

По ряду признаков «поморские» говоры сходны с северновологодскими и отличаются от южновологодских:

- отсутствие ассимилятивного прогрессивного смягчения заднеязычных согласных (как и в говорах Лачской и Онежской групп);
- чередование [в]/[ÿ] на конце слова и перед согласным относительно регулярно в южной части вологодских и в некоторых онежских говорах и в целом не свойственно говорам лачским и «поморским», но встречается и там в виде нерегулярных речевых реализаций;
- фонема <л>, показанная на вологодской и частично онежской территории достаточно регулярным чередованием [l]/[ÿ], в «поморских» и лачских говорах обычно реализуется веляризованным [л] во всех позициях, но встречается и невеляризованный [l], чередующий с [ÿ] на конце слова и перед согласным;

- сочетания <л'н>, <л'ш> как в северной части Вологодской группы, а также в Онежской и Лачской группах говоров, в отличие от <лн> <лш>, характерных для южновологодских говоров.

Как видим, «поморские» говоры, не отличаясь принципиально по особенностям консонантизма от говоров соседних групп, обнаруживают черты сходства с говорами Лачской и северной части Вологодской группы говоров.

В морфологии картина представляется значительно более содержательной: склонение существительных и местоимений в «поморских» говорах обнаруживает существенное сходство с западными говорами Межзональной группы, а также и с говорами Ладого-Тихвинской группы и Западной зоны вообще:

1) в 1-м склонении единая флексия форм род., дат. и предл. падежей <-и> (*без жены, к жены, о жены*); в Вологодской — <-и> в род. падеже, <-е> в дат. и предл.;

2) во 2-м склонении в предл. падеже — регулярная флексия <-и> (в Вологодской группе — <-е>);

3) 3-е склонение не обнаруживает признаков влияния 1-го: в дат. и предл. падежах флексия <-и>, в тв. <-ju> (в Вологодской и восточной части Лачской группы — флексии 1-го склонения <-е>, <-oj>);



4) в тв. падеже мн. числа существительных регулярна флексия <ам'и> (*домами, коровами*), распространенная также и в северных районах Вологодской обл., в отличие от односложной флексии <ам>, характерной для основной территории Вологодской группы говоров. Онежские говоры характеризуются двухсложной флексией с твердой согласной <ами> ([амы]);

5) в тв. падеже мн. числа прилагательных, местоимений и числительных — флексии <има>, <ма>, не координированные с флексией существительного (*сухими дровами, с двумя мужиками, с имá*).

Следует заметить, что флексии тв. падежа мн. числа <ам'и> в субстантивном склонении и <има> в адъективном составляют яркую характерную особенность говоров почти всей территории к северу от границы ДАРЯ (впрочем, начало этих ареалов обозначено уже на карте ДАРЯ в Вельском, Котласском и Вилегодском районах Архангельской обл.), притом особенность, несомненно, очень существенную, поскольку флексия <има> адъективного склонения восходит непосредственно к формам двойственного числа.

6) флексия род. падежа ед. числа муж. рода прилагательных и местоимений <ого> как в Онежской и западной части Лачской группы, в отличие от <ово> в Вологодской и восточной части Лачской группы;

7) суффикс сравнительной степени <é> (*скорé*), характерный для говоров Западной зоны, в том числе среднерусских псковских и южнорусских смоленских;

8) местоимение 3 лица жен. рода имеет единую форму всех косвенных падежей — <jej> (<н'ej>) как в Межзональной и в северной части Ладого-Тихвинской группы говоров;

9) форма мн. числа местоимения 3 лица и местоимения-прилагательного *один* в говорах по течению Онеги сохраняет твердый согласный основы при флексии <и> ([оны], [одны]), характерный для говоров Западной зоны; дальше на восток они сосуществуют со смягчающей флексией <e> ([одн'é]), свойственной говорам Вологодской группы.

Как видим, в области именного словоизменения говоры, условно названные нами «поморскими», близки своим соседям с запада и не разделяют характерных признаков Вологодской группы говоров. Уникальной их особенностью можно считать флексии тв. падежа мн. числа адъективного склонения или некоординированное сочетание субстантивных и адъективных флексий тв. падежа мн. числа. Глагольное словоизменение в основных своих чертах представляет весьма единообразную картину для всех севернорусских говоров, но по тем признакам, которыми различаются межзональ-

ные и вологодские говоры, «поморские» сближаются с вологодскими.

10) флексия 2-го лица мн. числа глаголов со стабильным флективным ударением <-ит'ё> объединяет «поморские» говоры с северновологодскими (южновологодским свойственно <-ит'о>, тогда как в межзональных не отмечено ударение на конечном гласном флексии);

11) возвратный постфикс после согласных <-с'е> как в говорах Вологодской группы;

12) [e] в флексии 3 лица ед. числа перед возвратным постфиксом (чередование[o]/[e]: ве[д'от] — ве[д'ец'ц'е]);

13) отсутствуют «деепричастные» формы на *-вши, -миши, -ши*, характерные для говоров Северо-Запада.

Можно назвать еще целый ряд черт, несомненно характерных для «поморских» говоров, которые мы не имеем оснований считать дифференцирующими, поскольку не можем соотнести их с признаками соседних групп, так как эти признаки не были предусмотрены программой ДАРЯ и поэтому не отражены на картах:

1) фонетические признаки фонологической противопоставленности согласных по напряженности/ненапряженности [Касаткин, Касаткина 1992];

2) конечное [o] в формах им. и вин. падежей существительных мужского рода [Касаткин 1996];

3) семантика и функционирование глагольных приставок, в том числе «двойных» и «тройных» (типа *завыходить, поехать, сосделать, занезавидеть*), очевидно, могут свидетельствовать об особенностях выражения видо-временных отношений в говорах;

4) глагольные формы с вторичной имперфективацией (так наз. «многократные») типа *бегивал, бирал* [Пожарицкая 1991];

5) глагольное сказуемое, включающее форму прошедшего времени глагола *быть*, согласованную либо не согласованную с формой прошедшего времени основного глагола, которое может быть охарактеризовано как реликт древнерусского плюсквамперфекта, типа *вся деревня была сгорела; тиво было варивали* [Пожарицкая 1996]. Эти формы были предусмотрены программой ДАРЯ в разделе «Синтаксис» (вопрос № 127), однако полученные ответы не дали материала для составления карты — не есть ли это признак того, что широко распространенная и живая для «поморских» говоров конструкция не является таковой для других групп севернорусского наречия?

6) Существенную (а может быть, и решающую) роль в определении лингвогеографического статуса «поморских» говоров мог-

ли бы сыграть лексические изоглоссы; однако имеющийся атлас Архангельской области [Комягина 1995] имеет частный характер, а работа над лексическим атласом русского языка находится еще в стадии собирания материала.

Однако и сейчас уже есть данные, свидетельствующие о своеобразии лексического состава говоров этой территории, например:

- указательное местоимение *тоттам* с внутренней флексией (*тотам, татам, тойтам, тутам, тетам*), существующее практически во всех говорах Архангельской области, по-видимому, составляет их отличительную особенность;

- есть основания предполагать, что в состав различительных явлений могут войти служебные и модальные слова и частицы; в частности — исторически производные от глаголов *быть, бывать*: *бы, буде, бывает* ([бывáт], [бат], [ба], [бывáй], [бай]), семантика и функции которых не совпадают с тем, что известно об их существовании в других диалектных системах.

Лингвогеографическое изучение фундаментальных просодических характеристик говоров, как показывают работы С. С. Высотского [Высотский 1973], Р. Ф. Пауфошима (Касаткиной) [Пауфошима 1983], также могло бы дать весьма ценные результаты — однако в этой области еще не существует практики картографирования.

Итак, сопоставление имеющихся в настоящее время сведений об особенностях некоторых говоров из числа тех, которые авторы карты МДК в 1915 г. назвали Поморскими, с признаками Вологодской, Онежской и Лачской групп говоров, охарактеризованных авторами ДАРЯ, показывает, на наш взгляд, следующее.

Говоры крайнего севера Архангельской области, которые авторы «Опыта» отнесли к Поморской группе говоров, действительно разделяют многие существенные признаки соседних диалектных групп, однако именно это «совмещение» не позволяет отнести их к какой-либо из групп севернорусского наречия, определенных в ДАРЯ (Вологодской либо Межзональной). Вместе с тем они обладают некоторыми признаками, которые могли бы считаться различительными именно для них, например:

- специфика рефлексов \**ѣ*, послужившая авторам карты МДК основанием для отделения этих говоров от соседних Вологодско-Вятских и Олонецких, подтверждается и для современных говоров этой территории;

- флексия тв. падежа мн. числа адъективного склонения <-има>, восходящая к формам двойственного числа и не координированная с одноименной флексией субстантивного склонения <-ам'и>, может считаться едва ли не уникальным различительным призна-

ком группы говоров, которую можно было бы назвать Поморской, или Поморско-Архангельской, или просто Архангельской.

Нет сомнений в том, что этот список может быть продолжен, и в первую очередь путем привлечения данных лексических изоглосс; мы же ограничились минимальным количеством достаточно достоверных из ныне известных признаков.

Это свидетельствует о том, что за пределами ДАРЯ все-таки имеется еще одна группа говоров севернорусского наречия, южную границу которой (границу с Вологодской группой) предстоит определить, для того чтобы картина диалектного членения русского языка обрела цельность и законченность.

### Л и т е р а т у р а

Высотский 1973 — *Высотский С.С.* О звуковой структуре слова в русских говорах // Исследования по русской диалектологии. М., 1973.

Дурново и др. 1915 — *Дурново Н.Н., Ушаков Д.Н., Соколов Н.Н.* Опыт диалектологической карты русского языка в Европе с приложением очерка русской диалектологии. М., 1915.

Захарова, Орлова 1970 — *Захарова К.Ф., Орлова В.Г.* Диалектное членение русского языка. М., 1970.

Касаткин 1996 — *Касаткин Л.Л.* Гласные звуки на конце слова в современных севернорусских говорах на месте редуцированных гласных древнерусского языка // Русистика. Славистика. Индоевропеистика: К 60-летию А. А. Зализняка. М., 1996.

Касаткин, Касаткина 1992 — *Касаткин Л.Л., Касаткина Р.Ф.* Противопоставление согласных по напряженности-ненапряженности в севернорусских говорах // Русистика сегодня: Функционирование языка: лексика и грамматика. М., 1992.

Комягина 1994 — *Комягина Л.П.* Лексический атлас Архангельской области. Архангельск, 1994.

Пауфошима 1983 — *Пауфошима Р.Ф.* Фонетика слова и фразы в севернорусских говорах. М., 1983.

Пожарицкая 1991 — *Пожарицкая С.К.* О семантике итеративных глаголов в севернорусских говорах // Современные русские говоры. М., 1991.

Пожарицкая 1996 — *Пожарицкая С.К.* Отражение эволюции древнерусского плюсквамперфекта в говорах севернорусского наречия Архангельской области // Общеславянский лингвистический атлас: Материалы и исследования. 1991—1993. М., 1996.

Программа ДАРЯ — Программа собирания сведений для составления Диалектологического атласа русского языка. М.; Л., 1947.

Сими́на 1976 — *Сими́на Г.Я.* Пинежский говор. Материалы по русской диалектологии. Калининград, 1976.

Трубинский 1984 — *Трубинский В.И.* Очерки русского диалектного синтаксиса. Л., 1984.

*А. В. Птенцова*

**Глаголы *кѣдѣти* и *знати*:  
сопоставительный семантический анализ  
(на материале оригинальных русских житий  
Успенского сборника и майского тома  
Великих Миней Четьих)**

0.1. Вынесенные в заглавие статьи глагольные лексемы, выражающие одну из центральных для любого языка идей — идею знания, несомненно, обладают значительным смысловым сходством. В связи с этим кажется чрезвычайно интересным и полезным для адекватного понимания древних текстов, с одной стороны, определить, в чем состояли различия между данными словами, как они «делили» общую семантическую область, и, с другой стороны, выяснить, существовали ли контексты нейтрализации указанных глаголов.

Необходимо оговориться, что, помимо *кѣдѣти*, к анализу была привлечена и лексема *кѣдати* — регулярный глагол, постепенно вытеснявший нетематический *кѣдѣти* и, по-видимому, не имевший сколь-нибудь существенных семантических отличий от него. Поэтому *кѣдѣти* и *кѣдати* принимаются за одну лексему (в дальнейшем обозначаемую как *кѣдѣти* (*кѣдати*)). Кроме того, учитывались употребления двух приставочных образований от указанных глаголов — *оукѣдѣти* и *познати*, которые во всех зафиксированных случаях являлись видовыми парами к исследуемым лексемам.

0.2. Материалом для данной работы послужили следующие памятники:

- оригинальные русские жития в составе Успенского сборника (УС) рубежа XII—XIII вв. [Успенский сборник 1971];
- 15 оригинальных русских текстов из майского тома Великих Миней Четьих (ВМЧ) XVI в.

0.3. Прежде чем перейти к изложению результатов наблюдений над указанными памятниками, необходимо привести некоторые лексикографические данные.

Согласно словарю М. Фасмера, кѣдѣти этимологически связан с кидѣти (в глагольных корнях представлено чередование по аблауту) [Фасмер 1: 283].

В словаре И. И. Срезневского [Срезневский 1893: ст. 481—482] и «Словаре русского языка XI—XVII вв.» [СлРЯ XI—XVII 2: 45—46] для кѣдѣти указываются следующие значения:

— значение, близкое современному ‘знать’, которое и предлагается в качестве перевода, причем приводимый словарями материал позволяет выделить два основных типа употреблений в данном значении: 1) кѣдѣти в конструкции с винительным падежом отвлеченного существительного; 2) кѣдѣти в конструкции с предикативными единицами, вводимыми при помощи *яко* или представляющими собой — в терминах синхронии — «косвенный вопрос».

Кроме того, в словаре И. И. Срезневского приводится контекст из Остромирова евангелия, где данный глагол употреблен в конструкции с винительным падежом местоимения, обозначающего лицо [Срезневский 1893: ст. 481].

— значение, близкое современному ‘уметь’.

Для кѣдати словарь И. И. Срезневского, помимо употреблений, выделяемых и для кѣдѣти, указывает контексты, где для кѣдати предлагается перевод ‘управлять’, ‘заведовать’ [Там же: ст. 478—479], а Словарь XI—XVII вв. дает контексты, для которых переводит указанный глагол, во-первых, как ‘относить к чему-либо в административно-хозяйственном отношении’ и, во-вторых, ‘быть в дружбе’ [СлРЯ XI—XVII 2: 43—44] (приводимые в обоих словарях примеры относятся к деловым памятникам XIV—XVI вв).

Глагол знати возводится, по М. Фасмеру, к и.-е. корню \*gên-, причем «и.-е. \*gên- — “знать”, несомненно, тождественно \*gên- — “рождать(ся)” и происходит из этого последнего» [Фасмер 2: 101].

Глагол знати, по данным словарей, имел значительно больше значений, чем кѣдѣти (кѣдати). Так, в словаре И. И. Срезневского перечислены:

— знати в конструкции с винительным падежом существительного/местоимения, обозначающего лицо;

— знати в значении, близком современному ‘признавать’;

— знати, примерно соответствующее современному ‘познавать’;

— знати в конструкции типа знати мужа (женоу);

— знати, сходное с современным ‘соблюдать’;

— знати, близкое современному ‘исполнять’;

— знати, переводимое как ‘быть подведомственным’;

— знати, соотносимое с современным ‘отличить’;

— знати в сочетании с предикативными единицами, вводимыми при помощи или с «косвенным вопросом»;

— знати в конструкции знати *єсть*, переводимое как ‘увидеть’, ‘заметить’ [Срезневский 1893: ст. 991—992].

В Словаре XI—XVII вв., кроме перечисленных, выделяются еще такие значения данного глагола:

— знати — ‘уметь’;

— знати — ‘иметь’. Сюда же отнесена конструкция *женѣ, мѣжа знати* [СлРЯ XI—VII 6: 49—50].

Таким образом, по данным словарей, семантика *кѣдѣти* (*кѣдати*) уже, чем семантика *знати*, причем, за исключением конструкции с винительным падежом отвлеченного существительного, нет такого употребления первых двух глаголов, где не было бы возможно и употребление *знати* (за исключением отдельных, очевидно, развившихся позднее и связанных с некнижным языком, значений *кѣдати*).

1. Обратимся к исследованному материалу. Необходимо отметить, что употребление исследуемых лексем значительно разнообразнее в житиях ВМЧ, чем в УС — это, весьма вероятно, связано прежде всего со значительным превосходством материала ВМЧ по объему, тем более что в текстологически близких или тождественных фрагментах УС и ВМЧ<sup>1</sup> данные глаголы употребляются единообразно.

Лексема *кѣдѣти* (*кѣдати*) значительно более употребительна по сравнению со *знати* (129 случаев против 34). С нее и начнем описание.

1.1. В абсолютном большинстве случаев *кѣдѣти* (*кѣдати*) употребляется в сочетании с предикативными единицами или отдельными лексемами, заполняющими валентность *содержания знания*<sup>2</sup>.

Зависимые предикативные единицы вводятся, как правило, при помощи *яко* или — в случае, если они представляют собой, условно говоря, «косвенный вопрос» — при помощи относительных местоимений и наречий. Ср.<sup>3</sup>:

<sup>1</sup> В составе обоих памятников имеется Житие Феодосия Печерского; кроме того, текстологически близки Сказание и страсть и похвала святым мученикам Борису и Глебу (УС) и Житие Бориса и Глеба, Слово на перенесение мощей Бориса и Глеба (ВМЧ).

<sup>2</sup> О понятии семантической валентности слова см. [Апресян 1995: 119—133].

<sup>3</sup> При цитировании примеров из УС текст сохраняется без изменений; при цитировании примеров из ВМЧ сохраняются выносные буквы и титла; не передаются знаки придыхания, ударения и прочие диакритики, точки и запяты; все лигатуры даются в «расшифрованном» виде. Кроме того, не отмечается деление

(1) СИ ЖЕ КЪДѢТИ КСТА ИАКО ЖЕ И ДОНЪИГѢ МЛѢТКАМИ ЕГО КАСА ОУМНОЖАЮТЪ СѦ ВЪ МАНАСТЫРИ — «Известно, что и доньше молитвами его все преумножается в монастыре» (УС, Жит. Феод. Печ., 65а2);

(2) ШНИ ЖЕ ОУКО МОЛЧАХЪ НЕ ВЪДЪЩЕ ЧИМЪ ШЪКЪЩАТИ СТОМОУ — «Они же молчали, не зная, чем отвечать святому» (ВМЧ, Жит. Ефросина Пск., л. 525, ст. 2).

В отдельных случаях зафиксировано бессоюзное присоединение предикативной единицы, ср.:

(3) НЕ КЪСИ ЛИ ВЕЛИКЪ БГЪ РОУСКЪИИ И ДИВНА ЧУДЕСА ТВОРИТЪ — «Не знаешь ли ты разве, [что] велик Бог русский и дивные чудеса творит» (ВМЧ, Чудо св. Николы о половчине, л. 411 об., ст. 1).

Еще один способ заполнения валентности содержания — синтаксический оборот *accusativus duplex*, ср.:

(4) ГИ МОИ КЪМЪ ТЪ РЕКЪША КЪ СКОИМЪ АПОСТОЛОМЪ <...> — «Господи мой, знаю, что ты сказал своим апостолам <...>» (УС, Сказание и страсть и похвала святым мученикам Борису и Глебу);

(5) КСИ ВШ ВЕЛИКАГО ШЦА ЕФРОСИНА ИМЪАХОУ ИАКО БЖІА АГЛА ВЪДАХОУ ВШ ЕГО ПРИАЪЖНА ТРОУДЪЛАТЕЛА ВЕЛИКИМЪ ДОБРОДѢТЕЛЕМЪ — «Все считали великого отца Ефросина Божиим ангелом, потому что знали, что он прилежен в служении великим добродетелям» (ВМЧ, Жит. Ефросина Пск., л. 519, ст. 2).

Валентность содержания может также быть заполнена абстрактным существительным или местоимением типа *се*, то, подчиненным къдѣти (къдати) в винительном падеже и служащим для обозначения какой-либо ситуации<sup>4</sup>. Ср., например:

(6) СЛЪШАА ЖЕ БЖІИ ЧАКЪ ПРИХОА ПОСЛАНИИКИ И ВЕЛМИ КОРАДОКАСА ПРИХОДЪ ИХЪ <...> ВЪДЪИ ПРОЗОРИВЪИМЪ ДАРОВАНІЕМЪ СТГО ДХА ШРОУДІЕ ПОСЛАНИИКИ — «А божий человек, услышав о приходе посланных, очень обрадовался приходу их <...> зная дело посланных, потому что имел от Святого Духа дар прозорливости» (ВМЧ, Жит. Ефросина Пск., л. 520, ст. 2);

(7) А НА БЛЖЕНАГО БОРИСА ПОМЪШЛАШЕ КАКО ИЛИ КИМЪ ОБРАЗОМЪ — ПОГОУБИТИ ОУКЪДАВ ЖЕ ТО СТЪИИ ГЛѢВЪ ВЪСХОТЪ ВЪЖАТЪ НА ПОЛЪНОШНИИ СТРАНИ — «А против блаженного Бориса замышлял, как и каким образом погубить [его]. Узнав об этом, святой Глеб захотел бежать на север» (ВМЧ, Сл. на перен. мощей Б. и Г., л. 159, ст. 2).

текста на строки. Пропуск в цитировании обозначается знаком <...>. В ссылках на УС приводятся название памятника, лист, столбец, строка; в ссылках на ВМЧ — название памятника, лист, столбец.

<sup>4</sup> В терминах Н. Д. Арутюновой [Арутюнова 1976] в таких случаях имеет место номинализация (или — как в (6) — прономинализация) пропозиции.



В некоторых случаях при одном глаголе валентность содержания оказывается заполненной дважды: винительным падежом абстрактного существительного и самостоятельной предикативной единицей, ср.:

(8) посланнїи же ѿ нека столпа видѣше стго неоуклонна на нхъ обзычан оувѣдѣша истинноу яко не оувѣщанъ бл҃г прпѣнъи старецъ ѿ нхъ — «А посланные Иова Столпа, видев, что святой не желает принимать их обычай [троекратную аллилуйю], поняли истину: что они не убедили преподобного старца» (ВМЧ, Жит. Ефросина Пск., л. 526, ст. 1).

1.2. В отдельных случаях — их отмечено три (все из ВМЧ) — винительный падеж в конструкции типа (8) заполняет другую валентность — *валентность темы* (при этом соответствующие словоформы относятся к разряду предметной лексики), ср.:

(9) нама бо сице кѣдѣшимъ та яко живѣ ти сѣщѣ и по смѣрти — «Мы знаем о тебе, что ты жив и после смерти» (ВМЧ, Жит. Никиты Столпника, л. 623, ст. 2).

Следует отметить, что валентность темы знания заполняется при кѣдѣти (кѣдати) весьма редко, при этом, кроме описанного способа, возможно также использование предложно-падежной конструкции «о + мест. п.» (такой способ, однако, представлен всего один раз), ср.:

(10) а мы не кѣмъи ѿ сен кеци кромѣ шезчан наших издрекле оустакленъихъ — «А мы не знаем об этой вещи [о двоекратной аллилуйе] ничего, кроме обычаев наших, установленных издавна» (ВМЧ, Жит. Ефросина Пск., л. 518 об., ст. 2).

1.3. В восьми случаях (все из ВМЧ) зафиксирован существенно иной тип употребления кѣдѣти (кѣдати), имеющий место в таких контекстах, где данный глагол обнаруживает валентность *объекта знания*, которая заполняется винительным падежом предметных имен (формальное отличие от контекстов типа (9) состоит здесь в отсутствии соподчиненной глаголу предикативной единицы, выражающей содержание знания). Ср.:

(11) ваше бо филиппъ тѣ <...> моудрѣ сѣло шком кѣдѣи писанїа дрекнаа и новаа — «Ибо был тот Филипп <...> весьма мудр и знал оба Писания — древнее и новое» (ВМЧ, Жит. Ефросина Пск., л. 520, ст. 1).

Важно отметить, что дважды объект знания выражается при исследуемой лексеме именем, обозначающим лицо. Забегая вперед, скажем, что такое употребление является, вообще говоря, специфичным для знати, регулярно использующегося для описания ситуации знакомства с каким-либо человеком. В связи с этим ка-

жется полезным привести и обсудить оба контекста. Первый из них интересен тем, что как «лицо» в нем выступает Христос, ср.:

(12) но иже паче и сами кѣсте ꙗко псковичи ежѣи народе кое лоуцшее благочестіе како мнѣса възѣти приложити ли славы къ ежѣтѣвоу или ѡложити славы ѡ ежѣтѣа — «Но вы и сами знаете Господа, псковичи, Божий народ. Что вам кажется большим благочестием: добавить славу к божеству или убавить славу от божества?» [речь идет о троекратной и двукратной аллилуйе] (ВМЧ, Жит. Ефросина Пск., л. 526 об., ст. 1).

Что же касается второго контекста, необходимо пояснить, что цитируемый пример представляет собой рассуждение монастырской братии о своем настоятеле Феодосии:

(13) ѡше<sup>а</sup> хоцетѣ скрѣтити сѧ въ танинѣмѧ мѣстѣ и жити еди<sup>н</sup> намѧ не кѣдоущѣимѧ его — «Отойдя, скроется в потайном месте и будет жить один, а мы его знать не будем» (ВМЧ, Жит. Феод. Печ., л. 187 об., ст. 1).

Понятно, что речь здесь идет не о том, что Феодосий станет для своих монахов незнакомым человеком, а о том, что у них не будет сведений о нем. Поэтому в данном случае кажется более точным перевод кѣдѣти его как 'знать о нем; о том, как он живет'. Тем самым местоимение его не передает здесь идею объекта знания в строгом смысле и, по-видимому, является свернутой пропозицией<sup>5</sup>.

Таким образом, в обоих случаях кѣдѣти не выражает в чистом виде ситуацию знакомства одного человека с другим.

1.4. Существует еще один тип употребления кѣдѣти (кѣдати) (зафиксированный также лишь в ВМЧ), где описываемая лексема передает значение, близкое современным 'уметь', 'знать, как сделать что-либо'. «Содержание» умения выражается в этом случае инфинитивом, ср.:

(14) кѣста ко кѧ съблюдати своѧ угодникѧ — «Ведь Бог умеет заботиться о своих угодниках» (ВМЧ, Жит. Пафнутия Боровского, л. 63 об., ст. 1).

1.5. Наконец, в ВМЧ достаточно регулярно встречается и абсолютное употребление кѣдѣти (кѣдати), оно зафиксировано в девяти случаях, при этом незаполненной во всех зафиксированных случаях является валентность содержания, ср.:

<sup>5</sup> По Н. Д. Арутюновой, свернутая, или «стянутая», пропозиция — это пропозиция, преобразованная в атрибутивное сочетание [Арутюнова 1976: 139], результат редукции пропозиции к конкретному имени [Там же: 143]. Ср. еще: «Имена конкретно-предметного значения могут служить полноценным эквивалентом пропозиции» [Там же: 146].

(15) НЕ КЪДЪИИ ЖЕ СЪТЪИИ ОУЧАШЕ ЕГО ЯКО КРАГЪ ДЪКОЛЪ ЕСТА — «Святой же, не зная [что рядом с ним в образе его спутника находится дьявол], учил его [спутника], что дьявол — враг» (ВМЧ, Жит. Ефросина Пск., л. 516, ст. 1).

Таким образом, лексема кѣдѣти (кѣдати) употребляется в первую очередь в контекстах, где речь идет о *содержании знания*, при этом соответствующая валентность может быть заполнена подчиненной глаголу предикативной единицей, оборотом *accusativus duplex*, винительным падежом существительного с отвлеченной семантикой или указательного местоимения, отсылающего к упомянутой выше ситуации. Валентность *темы знания*, также существующая у кѣдѣти (кѣдати) в контекстах подобного типа, заполняется — однако существенно реже! — винительным падежом предметных имен или конструкцией «о + мест. п.».

Значительно реже встречается иной тип употреблений данной лексемы, где у нее обнаруживается валентность *объекта знания*, заполняемая предметными именами в форме винительного падежа. Такой тип, видимо, следует признать отдельным значением.

Безусловно отдельным нужно признать значение кѣдѣти (кѣдати), близкое современному 'уметь'; в случае реализации лексемой данного значения она подчиняет себе глагол в форме инфинитива.

## 2. Рассмотрим особенности употребления лексемы *знати*.

2.1. В большинстве контекстов, содержащих данную лексему (24 из 34), речь идет о знакомстве кого-либо с кем-либо, а также об узнавании, распознавании по внешним признакам человека или объекта. Ср.:

(16) вѣхшимъ же и<sup>м</sup> на крестѣ видѣ некто незнае<sup>м</sup> ко игумену — «И когда они были на берегу, вошел некто неизвестный к игумену» (ВМЧ, Сл. на перен. мощей Феод. Печ., л. 191 об., ст. 2);

(17) оуздръ же ю лазора и познакъ ю вѣста оужасна — «Увидел ее Лазарь и, узнав ее, сделался ужасен» (УС, Сказание о чудесах св. страстотерпцев Романа и Давида, 22613—14).

*Знати*, таким образом, обнаруживает здесь *валентность объекта*, заполняемую винительным падежом предметных имен. Как отмечалось выше (см. 1.3), сходный тип употребления возможен (хотя не характерен) и для кѣдѣти (кѣдати). Однако, как кажется, между двумя исследуемыми лексемами имеется весьма существенная разница. Во-первых, «безупречных» контекстов, где лексема кѣдѣти (кѣдати) выражала бы идею знакомства с человеком, зафиксировано не было (см. комментарий к (12) и (13)). Во-вторых, не встретились и контексты с кѣдѣти (кѣдати), где бы речь шла об

«опознании» человека или предмета. Последнее нужно пояснить немного подробнее. Сравним (11) и (17). Понятно, что в первом случае речь идет отнюдь не об узнавании объекта по каким-то внешним признакам: *кѣдѣти писанїа* значит 'знать, о чем там сказано'. В противоположность этому контекст (17) подразумевает именно опознание объекта по его «внешнему облику».

2.2. Как и *кѣдѣти* (*кѣдати*), *знати* встречается в контекстах иного типа — таких, где у него обнаруживается валентность *содержания знания*. Однако для данного глагола такой тип употребления не является основным (10 случаев из общего числа 34; все из ВМЧ).

Как и в случае *кѣдѣти* (*кѣдати*), соответствующая валентность может быть заполнена «косвенным вопросом», ср.:

(18) *ѡкѣща емоу полшкчинѣ не знаю кѣто ты еси* — «Отвечал ему половец: “Не знаю, кто ты”» (ВМЧ, Чудо св. Николы о половчине, л. 410 об., ст. 2).

Кроме того, содержание знания может быть выражено оборотом *accusativus duplex*, что также сближает исследуемые глаголы, ср.:

(19) *тогда изникѣ виднѣ и познакѣ князѣ его соущи кѣ страстѣ кнѣз не ѡкрѣзе кратѣ* — «Тогда он [привратник] принял [к воротам], видит [князя] и, узнав, что перед ним князь, испугавшись, не открыл врат» (ВМЧ, Жит. Феод. Печ., л. 176 об., ст. 2).

Таким образом, употребление *знати* в (16) аналогично употреблению *кѣдѣти* (*кѣдати*) в соответствующем типе контекстов (см. (1)—(3), (5)). Интересно, однако, что дважды использование *знати* связано с такими контекстами, где речь опять-таки идет об узнавании человека. Видимо, случаи такого типа следует признать зоной нейтрализации глаголов.

Как и у *кѣдѣти* (*кѣдати*), валентность содержания *знати* может быть заполнена отвлеченными именами в форме винительного (родительного при отрицании) падежа, ср.:

(20) *и злого не познахѣ* — «И зла я не познал» [цитата из пророка Давида] (УС, Сказание о чудесах св. страстотерпцев Романа и Давида, 23а21);

(21) *понеже бже весь естествомъ нехъзрѣмлемо око еѣ <...> вса знаѣ и преоумѣкаѣ досточюдно* — «Потому что Бог весь по сути своей есть недремлющее око <...> знающий все и чудесным образом [во все] проникающий умом» (ВМЧ, Жит. Ефросина Пск., л. 23, ст. 1).

Контексты такого рода, видимо, также составляют область нейтрализации исследуемых глаголов.

Говоря о способах заполнения валентности содержания знания при глаголе *знати*, отметим еще возможность употребления более сложных по сравнению с рассмотренными выше синтаксических конструкций, ср.:

(22) и се пакѣ моужа нѣкъи хотѣ ѿйти на поу<sup>т</sup> имѣ<sup>т</sup> лѣкѣнцѣ мало полно соущѣ сребра принесе в манастиръ блженаго ѿца нашего феоодосїа и предасть на съблюденїе черноризцѣ конанѣ яко емоу другѣ соущѣ знаемѣ — «И вот некий муж, собираясь уехать, имея маленькое луконце, полное серебра, принес [его] в монастырь блаженного отца нашего Феоодосия и передал на сохранение черноризцу Конану, потому что знал о нем, что тот его друг» (ВМЧ, Жит. Феод. Печ., л. 189, ст. 1; с несущественными текстологическими изменениями — УС, Жит. Феод. Печ., 65в19—20).

Данная валентность оказывается здесь заполненной оборотом *dativus absolutus*, который, в свою очередь, семантически зависит от *знати* в форме страдательного причастия, на синтаксическом уровне входящего в тот же самый «дательный самостоятельный». Относительно процитированного контекста заметим еще, что и здесь *знати* употребляется для указания на знакомство с человеком.

Таким образом, можно выделить два основных типа употребления *знати* (которые, по-видимому, следует счесть отдельными значениями данной леммы). Во-первых, *знати* фиксируется в контекстах, где речь идет о знакомстве с каким-либо человеком или описывается ситуация узнавания человека или объекта по его внешним признакам. В подобных случаях данный глагол имеет *валентность объекта*, заполняемую предметными именами (обычно обозначающими лицо, реже — иные материальные объекты) в форме винительного падежа. Данное употребление является для *знати* основным.

Во-вторых, *знати* используется в контекстах, где речь идет о *содержании знания*, и обнаруживает здесь соответствующую валентность, заполняемую самостоятельными предикативными единицами, оборотом *accusativus duplex* и отвлеченными именами в форме винительного падежа. Отмечено также заполнение данной валентности оборотом *dativus absolutus*. С некоторыми оговорками данный тип употребления можно считать областью нейтрализации *знати* и *къдѣти* (*къдати*).

Итак, проведенный анализ показывает, что в оригинальных русских сочинениях, входящих в состав ВМЧ, исследуемые глаголы имеют вполне четкую семантическую оппозицию.

*Вкъдѣти* (*къдати*) главным образом вводит *содержание знания*, т. е. имеет валентность на некоторую *ситуацию*. Лишь в отдельных

контекстах данный глагол обнаруживает валентность объекта знания, заполняемую предметной лексикой, однако для всех подобных случаев есть основания предполагать, что такой объект репрезентирует ситуацию. Особняком стоят контексты иного типа, в которых *вѣдѣти* (*вѣдати*) способен — в сочетании с инфинитивом — передавать иное значение, примерно соответствующее современным 'уметь', 'знать, как сделать'.

Основное назначение *знати* — описывать ситуацию знакомства или опознавания лица/объекта по внешним признакам. При таком употреблении данный глагол имеет *валентность объекта*, заполняемую конкретными именами. Введение содержания знания для *знати* является второстепенной функцией, причем и при таком употреблении эта лексема тяготеет к контекстам, предполагающим ситуацию знакомства или узнавания.

Используя термины Н. Д. Арутюновой [Арутюнова 1976], можно сказать, что описанные глаголы (по крайней мере, в своих центральных употреблениях) являются предикатами разных рангов: *знати* выступает преимущественно как предикат первого ранга, *вѣдѣти* (*вѣдати*) — второго. Ср.: «Предикаты первого порядка сочетаются только с конкретными (предметными) субъектами, предикаты второго ранга относятся к абстрактным субъектам»; т. е. выражают «суждения о событиях, действиях, качествах, свойствах и пр.» [Там же: 139]. При этом «если вторичные предикаты отнесены к конкретному имени, то это последнее утрачивает предметную референцию и расшифровка смысла предложения требует его развертывания в пропозицию» [Там же] (ср. в связи с этим (13), где его в контексте *вѣдѣти* означает, как отмечалось, именно ситуацию «как он живет»).

В заключение заметим, что семантические отношения между *вѣдѣти* (*вѣдати*) и *знати* очень похожи на отношения между французскими глаголами *savoir* и *connaître*<sup>6</sup> [Фр.-рус. словарь 1991: 896, 219]. Первый из них подчиняет себе изъяснительные придаточные (ср.: *Je ne sais pas que faire*) или имена с отвлеченной семантикой (ср.: *Il sait sa leçon <plusieurs langues, la vérité>*) и, кроме того, в сочетании с инфинитивом может выражать значение, соответствующее русскому 'уметь', 'мочь' (ср.: *Il sait jouer du piano*). *Connaître* может сочетаться с конкретной лексикой, обозначающей лиц или неодушевленные объекты (ср.: *Je connais de vue votre soeur; Je connais ce quartier*), способен подчинять себе и отвлеченные имена (ср.: *Il connaît bien son metier*), причем в последнем случае может приоб-

<sup>6</sup> Отмечено Е. А. Галинской.

ретать значение «познать, испытать» (ср.: *Il a connu de grosses difficultés*).

#### Л и т е р а т у р а

- Апресян 1995 — *Апресян Ю.Д.* Лексическая семантика. Синонимические средства языка // *Апресян Ю.Д.* Избранные труды. М., 1995. Т. 1.
- Арутюнова 1976 — *Арутюнова Н.Д.* Предложение и его смысл. М., 1976.
- СлРЯ XI—XVII — *Словарь русского языка XI—XVII вв.* М., 1975—2002. Вып. 1—26.
- Срезневский 1893 — *Срезневский И.И.* Материалы для словаря древнерусского языка. СПб., 1893. Т. 1.
- Успенский сборник 1971 — *Успенский сборник XII—XIII вв.* М., 1971.
- Фасмер — *Фасмер М.* Этимологический словарь русского языка. М., 1964—1973. Т. 1—4.
- Фр.-рус. словарь 1991 — *Французско-русский словарь / Под ред. В. Г. Гака и Ж. Триомфа.* М., 1991.

*Е. Н. Ремчукова*

## **Креативные возможности грамматики в разных типах русской речи**

Изучение творческих возможностей говорящего, степени его лингвистической компетенции, различных форм и способов речетворчества привлекает внимание лингвистов разной специализации и является одним из самых актуальных направлений современной русистики. Соотношение стереотипа и творчества в грамматике относится к области малоизученных проблем, не детализированных с точки зрения механизмов и форм этого процесса. Языковое творчество гораздо реже связывается с функционированием грамматических форм и категорий, чем с использованием единиц других уровней языка, так как известно, что первые отличаются высокой степенью автоматичности и, как принято считать, малой степенью осознанности. Этим, как правило, объясняются достаточно «скромные» возможности грамматики в формировании экспрессивно-прагматического потенциала высказывания. Однако при анализе текстов самых разных типов и жанров (поэтических, разговорных, газетных, рекламных) выясняется, что средства авторской актуализации грамматических компонентов достаточно разнообразны. Рефлексия над грамматическими значениями обуславливает «**осознавание**» грамматической семантики, приводит к расширению ее информативности, а также к созданию разного рода эффектов — не только семантических, но и экспрессивных.

В исследованиях последних лет все более осязаем интерес к тому, что Я. И. Гин назвал «**означиванием**» грамматики [Гин 1996], А. В. Бондарко — «**интенциональностью**» в грамматике [Бондарко 1994], а Б. Ю. Норман — ее **динамическим аспектом** [Норман 1994]. В работах этих лингвистов убедительно показано, что «**осознавание**» смысла (его актуализация, индивидуально-авторская интерпретация) возможны и по отношению к грамматическим элементам языка — *формам, значениям, категориям*. Заметим, что свойства **интенциональности** в грамматике изучены в гораздо меньшей степени, чем в лексике и словообразовании: например, **грамматические окказионализмы** (далее ГО) встречаются во всех типах речи



реже, чем словообразовательные или лексические, соответственно, и описаны они в меньшей степени. Грамматическая парадигма литературного языка немислима без понятия нормы, но в синтагматике происходит «высвобождение слова из грамматических оков» — снятие ограничений и запретов возможно в рамках **любых грамматических категорий**. Кроме того, «грамматическая сетка» (выражение Б. М. Гаспарова) «накинута» на язык, преломляющийся в разных жанрах и типах речи; в некоторых из них **зоны вариативности** активизируются, предоставляя говорящему возможность и право выбора, а значит — и языкового творчества. По отношению к грамматике в большей степени, чем по отношению к другим ярусам языка, важно такое понимание *речетворчества*, в котором проявляется и яркая индивидуальность языковой личности, и «процесс обнаружения потенциала языка, не реализованного в узусе и норме» [Гридина 1996: 3]. Проблемы лингвокреативного мышления, отнесенные в область грамматических значений и категорий, позволяют выявить экспрессию смысла, соединенную с экспрессией формы.

Напомним, что *интенциональность* (как понятие теории речевых актов) включает в себя не только аспект **смысловой информативности**, но и аспект связи с **намерениями говорящего**. А. В. Бондарко пишет: «Говоря об интенциональности по отношению к грамматическим категориям слова, мы имеем в виду связь семантических функций грамматических форм с намерениями говорящего, с коммуникативными целями речемыслительной деятельности, способность содержания, выражаемого данной формой (во взаимодействии с ее окружением, т. е. средой), быть одним из **актуальных элементов речевого смысла**... проблема смысловой информативности (релевантности), связанная с возможной осознаваемостью смысла, его включением в фокус внимания участников коммуникации, актуальна и по отношению к грамматической семантике, к функциям грамматических форм» [Бондарко 1994: 29—30].

Оставляя в стороне крайние случаи экспериментирования в области функционирования грамматических форм в литературе постмодернизма, прежде всего — в современной поэзии (см. работы Л. В. Зубовой, например [Зубова 2000]), остановимся на некоторых аспектах преодоления стандарта в морфологии как форме проявления коммуникативного замысла говорящего. В качестве языкового материала мы предлагаем рассматривать *любые* тексты — разговорные, художественные, поэтические, газетно-публицистические, т. е. относящиеся к тем типам и жанрам речи, которые можно назвать «творческими». Под «творческим текстом» мы по-

нимаем высказывание или несколько высказываний, представляющих собой минимальный контекст с точки зрения проявления речевого замысла, который включает в фокус говорящего *привычные языковые механизмы* (в нашем случае — грамматические), но в аспекте их нарушения, интеллектуальной и эмоциональной оценки, толкования или метафоризации. Результатом этих «операций» становятся языковая игра, языковая рефлексия, языковой эксперимент и метафора.

Грамматические единицы актуализируются в речи следующими способами:

1) путем образования грамматического *потенциализма* или *окказионализма*<sup>1</sup>. Например, в поэзии постмодернизма потенциальные (среди них и селецизмы) и окказиональные грамматические формы имеют лавинообразный характер, что обусловлено той ситуацией языкового конфликта, которая культивируется постмодернистским сознанием: *...медузу между персей не ложжи* (К. Кузьминский); *Зима желта в фонарных выменах* (О. Юрьев); *Духотворить судьбу твою и мысль!* (О. Охупкин)<sup>2</sup>. Однако подобные инновации достаточно широко распространены и в других типах современной речи (см. ниже);

2) путем *концентрации* в высказывании однородных грамматических форм (как стандартных, так и нестандартных).

а) «накапливание» *стандартных форм* представляет собой грамматический повтор, который является менее тривиальным экспрессивным средством, чем лексический повтор, так как не приводит к тавтологии, а «заданность» формы компенсируется ее разнообразным лексическим наполнением. «Нанизывание» нормативных грамматических форм позволяет «прочувствовать» структуру грамматической модели: *Никто не знал, что начинается новая история. Ее еще придется прожить, просмеяться, проплакать* (Г. Щербакова). Парадигматическая стандартность форм (в данном случае — глаголов ограничительного способа действия) дополнена теми тонкими семантическими сдвигами, которые происходят в синтагматике: возвратный глагол *просмеяться* мыслится как переходный; дополнение акцентирует не привычное временное, а интенсивное значение глагола;

б) «накапливание» *нестандартных грамматических форм* или различные комбинации стандартных и нестандартных форм в

<sup>1</sup> В докладе мы не останавливаемся на вопросе разграничения окказионализмов и потенциализмов в грамматике.

<sup>2</sup> Примеры Л. В. Зубовой.

большей степени характерны для поэтического текста, отдельные фрагменты которого представляют собой зоны концентрации однородных именных и глагольных форм. В поэтическом тексте окказиональность (в том числе и грамматическая) имеет системный и концентрированный характер как в рамках определенного идиостиля, так и в конкретном произведении (*Соловьиных глоток // Гром — отсюда родом! // Рыдью, медью, гудью...* (М. Цветаева)), а в других стилях и жанрах речи нестандартные формы в пределах высказывания являются, как правило, единичными. Иногда подобное «нанизывание» встречается и в разговорной речи: *У них в комнате страшно душно: накурено, всего натаскано, народу много — надыхано!* Ср. у М. Цветаевой, в поэзии которой подобные ряды являются одним из любимых приемов: *Надыхано, накурено, а главное — насказано! // <...> // Нащучено, насмеяно, а главное — насчитано! // Наласкано, налюблено, а главное — натискано! // Нащипано...* В свободно творимых кратких формах страдательного залога, образованных от кумулятивных глаголов, синтезируются залоговое, безличное и акциональное (кумулятивное) значение;

3) путем *сопоставления* в пределах высказывания грамматических форм, противопоставленных по частному грамматическому значению (по выражению А. В. Бондарко, «контрасты времен, видов и т. п.» [Бондарко 1996: 66]): *Я пришел в диспансер и сказал, что болит голова и что читаю, не понимаю, не понимается читаемое* (А. Минчин. «Факультет»).

Семантический и грамматический контраст между членами оппозиции, естественно, усиливается в условиях нарушения стандарта одной из сопоставляемых форм: *Сню тебя или снюсь тебе...* (М. Цветаева). Такой прием позволяет представить грамматическую оппозицию не в статике, а в динамике: она как бы «разворачивается» на наших глазах. Столкновение в пределах одного контекста стандартного непереходного и нестандартного однокоренного переходного глагола создает иллюзию «рассматривания» ситуации с разных сторон: *Ничего о себе не знаю — в Канаду я не еду и меня не едут* (из письма В. Маяковского Л. Брик); *Она, ночной житель, утилизировала меня; мы разбалтывались; она разбалтывала меня* (А. Белый о З. Гиппиус); *Он мог прожить и больше, но «уложился» ровно в срок — один год. Они его уложили* (А. Минчин. «Факультет»).

Сфера распространения подобных примеров гораздо шире, чем принято думать: это не только художественные и поэтические тексты, но и разговорная речь, язык рекламы, заголовки: *Всегда ли побеждает побежденный?* («Литературная газета», 26.04.2000); на-

звания передач, концертов, выставок: «Спасающий спасется» (благотворительный концерт для ветеранов Московской филармонии). Фрагмент падежной парадигмы в стихотворной цитате становится названием телевизионной передачи — «Судьба, судьбою, о судьбе»; строка О. Мандельштама «*вранье вранью враньем хребет ломая*» используется в названии главы «Вранье вранью враньем» книги А. Наймана «Славный конец бесславных поколений»;

4) путем **метафоризации грамматических значений** (подобные явления мы относим к области «грамматического символизма»). Книга воспоминаний поэта Е. Долматовского называется просто — «*Было*». Благодаря позиции заглавия и эллиптической конструкции (позиция подлежащего не замещена) актуализируется не только своеобразие лексической семантики, в которой значение глагола *быть* предстает как синкретичное (семантический комплекс, соединяющий: 1) *быть* — существовать; 2) *быть* — присутствовать; 3) *быть* — происходить), но и его грамматическая форма, в комплексе значений которой (наклонение, время, число, средний род) именно грамматическая семантика **прошедшего времени** является принципиально значимой (ср. название стихотворения З. Гиппиус — «*Будет*»).

Подобная **метафоризация** грамматического значения может быть связана и с фрагментом парадигмы. Спряжение глагола *быть* становится для героини рассказа В. Токаревой «*Я есть, ты есть, он есть*» символом обретения смысла жизни: сложности, противоречивости жизни преподавательница французского языка противопоставляет четкость и ясность французской грамматики, олицетворением которой является предсказуемая логика спряжения глагола *être* (быть).

5) путем **толкования грамматических форм, значений, категорий**. Мы называем данное явление **грамматическим психологизмом**, под которым понимаем процесс выбора грамматической единицы, предполагающий не только «осознавание», но и **толкование** грамматического смысла, не просто включение его в прагматический компонент высказывания, но и **мотивацию** этого включения. **Грамматический психологизм**, с нашей точки зрения, является проявлением **рефлексивного дискурса** [Вепрева 2000]. Именно при вербализации языкового самосознания принято говорить о **метаязыковой функции** языка. В подобных высказываниях говорящий, объясняя свой выбор, *интерпретирует, квалифицирует, оценивает* грамматические единицы: *А почему ты стала о музыке мало писать? — Я же не пишу «о». О музыке. О сексе. О смерти. О детях. Я пишу не в предложном, а в винительном падеже* (интервью с поэтессой

В. Павловой, журнал «Огонек», 30.10.1999). Актуализация значения прямого объекта, связанная с мотивированной говорящим заменой предложного падежа в сочетании с предлогом *о* на винительный беспредложный, означает «предмет непосредственного, прямого и полного приложения действия»: прагматика авторского эгоцентризма предполагает, что стихи создают, творят объект, а не описывают его. *Стоит на полке польская книга — «Ады и Орфеи». Эссе рассказывают о Кафке, Джойсе, Фолкнере, Рембо... Не умея читать по-польски, я мог оценить только удивительное заглавие книги: Орфеи и Ады во множественном числе! Конечно, русская грамматика «разрешает» быть множеству «адов», но русская стилистика — против. Однако, какая верная — нежная! мысль, что у каждого Орфея — свой ад, куда он не может спуститься за своей Эвридикой. Наверное, это самое содержательное в метафоре Збышка: у каждого Орфея — своя Эвридика, и вернуть ее к жизни на прежней воле так и не удастся... (Даниил Данин. «Бремя стыда. Книга без жанра»). Множественное число существительных *singularia tantum*, относящихся к разным лексико-грамматическим разрядам (*ad* — существительное, обозначающее, согласно религиозным представлениям, место, где души грешников предаются вечным мукам, поэтому по своей лексической семантике в данном контексте оно близко к существительным-топонимам; *Орфей* — имя собственное), характеризуется особой выразительностью, которая в контексте данного высказывания становится объектом не только семантической, но и эстетической актуализации.*

Мы не рассматриваем в качестве отдельного способа актуализации **языковую игру**, так как при установке на языковую шутку или языковой эксперимент, при ярко выраженном комическом или эпатирующем эффекте любой из перечисленных приемов может принимать форму языковой игры<sup>3</sup>.

**Тенденция к творчеству**, характерная для русской языковой культуры, достаточно ярко проявляется и в грамматике, хотя ее потенциал обычно исследуется или по отношению к художественному, прежде всего — поэтическому, тексту, см. [Ионова 1986], или по отношению к определенному идиостиллю (см., например, работы Л. В. Зубовой, О. Г. Ревзиной и др.). В то же время речетворчество на грамматическом уровне может быть соотносено, как уже отмечалось выше, с любым «творческим» высказыванием. Подчеркнем еще раз, что существенное различие состоит лишь в том, что в поэтическом тексте нетривиальная грамматика может иметь

<sup>3</sup> О языковой игре см. подробнее: [Гридина 1996; Санников 2000].

**системный и концентрированный** характер как в идиостиле в целом, так и в конкретном отдельном произведении (см. кроме приведенных выше морфологические и морфолого-словообразовательные «цепочки» в поэзии М. Цветаевой: *И за то, что в учетах, сучках, позолотах, зевотах, ватах... Так вслушиваются... так внюхиваются... так вчувствуывается... так влюбляются...*), а в текстах других стилей и жанров такие примеры не концентрируются, не «нанизываются», являясь, как правило, единичными. Например, типы и техника **ГО**, наиболее разнообразно представленные в поэтическом дискурсе, тем не менее проявляют себя и в других жанрах речи, таких как **эпистолярный, интервью, мемуары, дневники, реклама**. Экспансия инноваций, характерная для языка современной газеты, включает и грамматические (парадигматические или синтагматические) «неправильности», проникающие как в сами тексты, так и в заголовки: *«В каждой мужчине скрывается женщина»* — заголовок статьи, в которой речь идет о возможностях театрального грима; *«Конвейр человеков»* — статья о клонировании. В каждом случае предпочтение нестандартной формы представляется мотивированным: так как клонов нельзя назвать людьми, употребляется форма множественного числа *человеки*, широко распространенная в поэтической и разговорной речи.

Механизмы «высвобождения» грамматической формы зависят от **жанровой разновидности** текста и от **языковой компетенции** говорящего. Современная публичная речь стремится избегать банальностей. Большая свобода личности в обществе, снятие всяких запретов не только на информацию, но и на и степень ее экспрессивной окрашенности, установка определенных жанровых разновидностей речи на «суперэкспрессию» влекут за собой и большую свободу в стремлении говорящего к «изошренности» в создании семантических и стилистических эффектов (в данном случае мы оставляем за пределами статьи дискуссионный вопрос о негативных последствиях этой «изошренности»). Опираясь понятием **«творчески говорящий»** (ср. понятия «верхов языковой культуры» в работах В. П. Нерознака, «носитель элитарной языковой культуры» в работах О. Б. Сиротининой), мы соотносим его с понятием **«человек пишущий»**, к которому относим не только писателей и журналистов, но и актеров, режиссеров, деятелей культуры, наконец, самих лингвистов — всех тех, кому присущ лингвистический вкус и «преобразовательное» отношение к языку. Речь в таких случаях всегда идет о **Личности**, языковой мир которой отражает ее неординарность.

Не только состав прагматически окрашенной лексики, но и прагматически окрашенная нетривиальная грамматика может служить одной из типологических характеристик языковой личности. Вот некоторые примеры нетривиальных грамматических форм в жанре интервью: *Любить человека надо таким, какой он есть, потому что других человек у нас не будет* (режиссер А. Кончаловский); — *Вас носили на руках?* — *Я не очень любила «носиться»* (балерина Е. Максимова); *Кажется, что сам становишься участником описуемых событий* (режиссер А. Сокуров); *Сейчас нет дружб* (режиссер и актер И. Дыховичный); *Любить легко — разлюбивается трудно* (писательница М. Арбатова); *Верите вы в чудеса? Чуды — это охломоны, которые растут у меня* (актер М. Трухин); *Если человек беден — он легко прогнозируем* (писательница Т. Толстая); *Я не выбирал ему профессию — она выбралась сама* (Генрих Боровик о сыне Артеме).

Интересно проявляется «свободная» грамматика и в эпистолярном жанре: *Влияние матери на меня, маленькую, было огромно и ничем не перебиваемо* (из письма Ариадны Эфрон). Показательны в этом смысле замечательные письма Ф. Раневской — человека яркого, самобытного: *Не угнетайтесь! В этом виноваты не вы, а ваш талант; Я все сердцем беру. Читала и волновалась Вами* (из письма актрисе М. Нееловой). Письма поэтов не только важный раздел их литературного наследия, но и одна из форм реализации их лингвистической индивидуальности. Эпистолярный текст, безусловно, отражает некоторые особенности и свойства, характеризующие идиостиль. Присущая В. Маяковскому как футуристу жажда словесного обновления, стремление избежать «прилизанности» проявляется и в языке его писем: *Ты спрашиваешь о подробностях моей жизни. Подробностей нет* (из письма Л. Брик). Потенциальная форма родительного падежа множественного числа создает в данном случае эффект грустной иронии, а «соположение» стандартной и нестандартной формы актуализирует оппозицию падежных значений. Нестандартное использование вариативных окончаний родительного падежа множественного числа (наиболее сложного в парадигматическом отношении падежа с набором вариативных флексий) — излюбленный прием В. Маяковского: *Котенок, не бери никаких работ до моего приезда; Нет от тебя никаких писем; Я глажу всех встречных собак и кошек* и т. п. Однако очевидно, что в данных примерах нарушение грамматического стандарта не мотивировано семантикой конкретного текста, проистекая, очевидно, из природы мировосприятия поэта с его настойчивым стремлением к бесконечному эксперименту.

В телеграмме Лиле Брик (*Скучаем, любим, целуем*), отправленной В. Маяковским только от себя, можно увидеть обыгрывание омонимии личных форм и кратких страдательных причастий настоящего времени: к «скучному» *любим* добавлены окказиональные (если рассматривать их как причастные) грамматические формы — *скучаем, целуем*. Даже в скупом жанре телеграммы Маяковский умел оставаться новатором. Аналогичным образом проявляется яркая, «гиперэкспрессивная» индивидуальность М. Цветаевой не только в ее поэзии и прозе, но и в письмах и дневниках. Приведем отрывки из ее писем Л. Пастернаку, в которых также встречаются случаи нарушения грамматического (морфологического и словообразовательного) стандарта: 1) *Пишу Вам среди трезвого белого дня, переборов соблазн ночного часа и первого разбега. Я дала Вашему письму остыть в себе, погрестись* (погрести — **погрестись**) *в щелке двух дней, — что уцелеет; 2) Осень 1921 г. Моя труппа в Борисоглебском переулке. Вы в дверях. Письмо от Ильи Григорьевича. Перебарывая* (перебороть — **перебарывать**) *первую жадность, заглушая радость ропотом слов (письмо так и лежит нераспечатанным) — расспрось: — Как живете?.. И Ваше — как глухо! — «Река... Паром... Берега ли ко мне, я ли к берегу... А, может быть, и берегов нет... А, может быть, и — ...». И я, мысленно: Косноязычие большого. — Темноты* (темнота — форма множественного числа **темноты**); 3) *Это мое последнее видение* (видеть — **видение**) *Вас. Ровно через месяц — день в день — я уехала. Хотела зайти, чтобы обрадовать Эренбурга живым рассказом о Вас, но чувство, что: чужой дом — наверно, не застану и т. д. Мне даже стыдно было потом перед Эренбургом за такое слабое рвение во дружбе; Как встретились с Эренбургом? Мы с ним раздружились* (подружились — **раздружились**), *но я нежно его люблю; 4) Вы не бойтесь. Это одно такое письмо. Я ведь не глупей стала и не нищей* (нищий — **нищей**), *оттого что вами захлебнулась.*

Анализируя письма поэтов с точки зрения проявления лингвокреативного мышления, необходимо учитывать и фактор адресата (Личность обращается к Личности). В первом случае поэт пишет не просто любимой женщине, а женщине яркой, неординарной; не поэту, но «соратнице» по футуризму, более того — вдохновительнице, поэтому языковая игра, в том числе и грамматическая, — неотъемлемая часть любовного «лепета»; во втором — Женщина-Поэт обращается к Мужчине-Поэту. Письма к Л. Брик наиболее яркие в эпистолярном наследии В. Маяковского; эпистолярный роман с Л. Пастернаком занимает совершенно особое место в творчестве М. Цветаевой. С языковой точки зрения и те и другие осо-



бенно интересны, поскольку в них отчетливо проступает уникальность языковой Личности.

В письмах В. Маяковского к Л. Брик можно найти почти все возможные трансформации и потенциальные образования в рамках парадигм грамматических категорий:

- «двойные» суперлативы (*размилейший*) и окказиональные компаративы (*Каждый хочет выставить свой шедевр показистей*);

- различные индивидуальные образования в рамках способов глагольного действия, например начинательного: *Наконец я получил твои письма. Зарадовался страшно; Ужасно устал и сознательно даю себе 2—3 недели отдыха — а потом сразу запишу всюду* (совмещение в приставке начинательного и интенсивного значения); *Пробуду в Париже немного, чтоб самому принять машину с завода, упаковать и послать, а то заканителится на месяцы; Пожалуйста, возлелей милого товарища;*

- нестандартные видовые пары, как перфективные (*Мы разошлись, чтоб подумать о жизни в дальнейшем, длить отношения не хотела ты* (длить — продлить); *Я стыдливо тупил глазки* (тупить — потупить)), так и имперфективные (*Живу в Ялте с Горожаниным и с ним же в большинстве случаев разъездываю* (разъезжать — разъездывать); *Оля тебя страшно благодарит. Мы тоже все тобой благодетельствованы, прямо ты растрогиваешь* (растрогать — растрогивать); *Не разлюбляй меня совсем* (разлюбить — разлюблять));

- превращение несклоняемых имен существительных в склоняемые (прием, чрезвычайно характерный для поэтического языка Маяковского): *Шлялся по кафам; Не пошел ни в какие кафы* (ср.: *В кафам коммуны славя...*);

- окказиональные императивы: *Пишите, телеграфьте;*

- нестандартные возвратные и невозвратные глаголы: *Я экономлюсь; Тебя всякий раз ежит мысль... Если у меня уничтожится эта мысль;*

- в письмах прослеживается и одна из любимых В. Маяковским форм грамматической игры — изменение родовой принадлежности слова: *Ехал с нами в поезде престарелый обезьян; Машин симпатичный; Сейчас как раз прем через Тропик. Самой Козероги* (в честь которой назван этот тропик), *впрочем, я пока еще не видел.* В аспекте прагматической оценки «мужской экспрессивный» может быть сатирически окрашен, указывая на некоторую «мужественность» описываемой женщины (*после отъезда Волынского с женом*).

Таким образом, в письмах В. Маяковского Л. Брик обнаруживаются черты, присущие его идиостилю: стремление к заполнению

лакун в парадигме, к языковой компрессии, к соединению словообразовательных и морфологических компонентов в рамках языковой игры. Сопоставление писем В. Маяковского с письмами М. Цветаевой и А. П. Чехова (оставшиеся за пределами данной статьи) позволяет говорить о том, что творческая манера художника сохраняет присущие ей черты и в его письмах.

Грамматические краски в палитре речевого портрета могут быть достаточно яркими. Замечательный пример творческой активности **потенциальной вторичной имперфективации** находим в книге Ю. Айхенвальда «Силуэты русских писателей» [Айхенвальд 1994]. Ю. Айхенвальда не раз называли лучшим литературным критиком. Его творческую манеру можно охарактеризовать как импрессионистическую, и это проявляется не только в своеобразии его таланта литературного критика, но и в языке его очерков: **свободном в образовании необходимых ему форм**, метафорически глубоком, стилистически утонченном. Потенциальные имперфективы в прозе Ю. Айхенвальда не только широко распространены, но и отличаются удивительной уместностью:

*Растрогивающе* действуют «эти бедные селенья» (о Ф. Тютчеве); *Но было бы ошибкой думать, что элегический колорит делает поэзию Каролины Павловой унылой и подавляющей. Нет, ее печаль светла... и так растрогивающе просит бедная одинокая путница; Он лучше всех художников мира явил психологический закон сохранения и показал, что ничего не пропадает в душе человека, ничто не затеряется в ней; Он не растерялся в подробностях мира. Микроскопия, опасная для другого, ему никакого ущерба не наносит. Он раздробляет душу, но и восстанавливает, собирает ее; Он переносится в каждого и каждое и навеки отпечатлевает в себе и свои и чужие... хотя бы мгновенные состояния духа* (о Л. Толстом); *Та область существования, в которой нужна любовь и помощь, область нужды и муки, подолгу задерживала в себе Толстого.* (Далее рассуждение о силе Любви. — Е. Р.). *Так Любовь устрояет. Она — последнее слово Толстого.*

Обратим внимание на два глагола, в образовании которых используется возможность вариативности суффиксов имперфективации, — *восстанавливает* и *устрояет*. Непредсказуемость этих форм, возникающая вследствие авторского стремления избежать стандарта, позволяет трактовать эти глаголы как «ложные» архаизмы, ведь «как представляется, носители языка постепенно “предпочитают” улавливать (а не уловлять — устар. и прост.), затопливать (а не затоплять)...» [Черткова 1996: 123]. Нестандартная форма имперфектива (ее **намеренная архаизация**) дает автору возможность из-

бежать семантической связи с такими ЛСВ глагола *устраивать*, как 1) *создать, организовать*; 2) *поседействовать; учинить* и, создавая видимость «ложного» архаизма, указывать на более «высокое» значение; 3) *наладить, придав нужный вид, порядок* (Словарь Ожегова). В контексте с глаголом *восстанавливает* используется прием аллитерации, так как чередование *в//вл* следует за чередованием *б//бл* (*раздробляет* — *восстанавливает*); повторяется и сам суффикс *-а*.

Подобная прагматическая окрашенность грамматической формы, связанная с тем, что говорящий отдает предпочтение некодифицированному варианту, возможна и в разговорной речи. Говорящий может выбрать или форму с чередованием — при наличии в кодификации формы без чередования: (с иронией) — *Ты почему себе года убавливаешь?* (ср. *убавляешь*), или с «запасным» (вариативным) аффиксом: (реклама) *Зацени новый «Супер»!* (ср. *оцени*). Мы называем подобный процесс «манипулированием вариативностью» и отличаем его от процесса неосознанного поиска нужной формы («поиск варианта»): — *Ты все марафетишься?* — *Есть для кого, вот и марафечусь, марафетюсь...* Замечательный пример «обыгрывания» вариативной имперфективации находим в поэзии Геннадия Шпаликова, отличающейся не только щемящей философичностью, но и мягкой ироничностью: *Не прикидываясь и прикидывая, не прикидывая ничего, покидаю вас и покидываю. Дорогие мои, всего.*

Выразительные возможности грамматики широко используются и в языке рекламы. В этом типе текстов прослеживаются определенные приемы, связанные с оригинальными интерпретациями грамматических коррелятов — членов грамматических оппозиций, в высказываниях, включающих соотношение грамматических форм времени, залога, падежа, числа. «Броскость» же рекламного текста обеспечивает их «включение в фокус внимания участников коммуникации» [Бондарко 1994: 30]. Например, интересны случаи комбинаторики лексических и грамматических компонентов в рамках категории залога (*Соседи уже обставились. Обставь соседей* — реклама мебели; *Изменится сам, не изменяя хозяину* — реклама мобильного телефона); вида (*Диван, на который можно не только ложиться, но и положиться*). В рекламных текстах широко используется возможность актуализации смысловой двуплановости грамматической формы, спровоцированной контекстом (прием, типичный для языка поэзии XX века): *У меня для вас новость, но вы ее выдержите. «Золотая бочка» — выдержанное пиво (выдержать — 1) устоять, стойко перенести, 5) долгим хранением довести до высокого качества ср. выдержанный человек — выдержанное пиво).* Создание «ложной» грамматической оппозиции позволяет предста-

вить ее в динамике, демонстрируя принцип коррелятивности как организующий принцип грамматики.

Обратимся к категории залога. Продуктивность кратких страдательных причастий прошедшего времени, обуславливающая возможность образования не только нормативных, но и ненормативных форм, позволяет продемонстрировать системно-языковой потенциал пассива в русском языке. Неканонические краткие страдательные причастия повсеместно и легко образуются, если это необходимо говорящему: — *А ты в психушке не был?* — *Спрошено было на всякий случай* (А. Минчин); — *Тебе заплатили* (речь идет о сделанной работе)? — *Я был благодарен; Что бы он нам ни говорил, будет поступлено так, как будет поступлено* (из разговорной речи); *Но сказано, предупреждено* (журнал «Столица»). Краткие формы страдательных причастий настоящего времени менее активны, чем формы прошедшего времени, следовательно, и нестандартные образования встречаются гораздо реже, однако именно вследствие этого они еще более выразительны: *Целую Ваши руки, которые должны быть только целуемы, а они двигают шкафы и поднимают тяжести* (М. Цветаева); *Поэт раним и даже убиваем; Был отвергаем — но зато какими!* (В. Вишневский). Вопрос о том, считать ли эти и подобные формы окказиональными или потенциальными, остается открытым в лингвистической литературе. Мы видим здесь реализацию в дискурсе парадигматического потенциала языка.

Граница между солецизмом и потенциальной формой не всегда является четкой: например, потенциальные вторичные имперфективы, о которых уже говорилось выше, легко образуются, если это необходимо говорящему, хотя некоторая «странность» подобных образований или их структурное неудобство могут им ощущаться, вынуждая «оправдываться»: *Он никак не научается выходить из сложных ситуаций. Наверное, это неправильное слово, но как иначе передать, что он каждый раз не может ничему научиться? Мы всегда, когда со свечами ужинаем, закапываем скатерть. Кажется, это какое-то другое «закапывать», но, впрочем, неважно* (ср.: *капать в нос — закапать — закапывать* и одновидовой глагол *закапать* в значении *испачкать*). Такая оценка грамматических фактов речи, безусловно, является одним из проявлений рефлексивного дискурса. Иногда подобной «странности» грамматической формы находят оправдание, «списывая» на кого-то более авторитетного, как это делает интеллигентная героиня рассказа Ирины Муравьевой «Дневник Натальи», рассуждая так: *Она любит мужчин, но людей она не любит, она не умеет их «полюблять»*. Чье это

слово? Не помню, кого-то знаменитого. Так вот: «*полюблять*» моя дочь не умеет. В аспекте диахронии замечательный пример подобного рода обнаруживается в письмах И. С. Тургенева: *Итак, Вы опять отсрочили свой приезд, любезнейший Анненков. Боюсь я только, как бы Вы, все отсрачивая да отсрачивая (экое странное слово), совсем к нам не приедете* (цитируется по [Санников 2000]).

Некоторые солецизмы, будучи активно «задействованными» разговорной речью, превратились в «морфологические штампы»: *никаких мечт, надежов не знает, всего и делов-то, мы академиев не кончали*. В роли таких своеобразных клише могут выступать не только ставшие привычными грамматические ошибки, но и творческие инновации: *его поступили в институт; на что это вы намекиваете; что-то там наблюлось* и некоторые другие. Некодифицированная форма родительного падежа множественного числа существительного *надеж* приобрела поистине концептуальное значение, символизируя полное незнание основ родного языка. Статья в «Независимой газете» (27.01.2001) называется «*Мы запутались в надежах и оборотах*». Рассуждая о состоянии русского языка, о проблемах языковой политики, авторы призывают: «*Помните о надежах. Надежи — наша головная боль (“надежов не знаем”)*».

Необходимо выделить те факторы, которые определяют творческий потенциал русской морфологии. Прежде всего, это разнообразие и синкретизм грамматических форм, что позволяет творчески использовать их не только в языковой игре, но и при любой актуализации грамматического смысла. Логика грамматической формы, наиболее последовательная в языке, определяет «*поэтику грамматики как поэтику необходимости*» (Я. И. Гин). Развитая парадигматика, с одной стороны, а *rigor* предполагает лакуны — отсутствие в узусе каких-либо форм слова; с другой — при необходимости «*позволяет*» говорящему легко ликвидировать эти лакуны, «выравнивая» формообразование. Дефектность некоторых частных парадигм является постоянным «искушением» для говорящего, так как стремление к заполнению лакун на всех уровнях языка характерно для дискурса. Парадигматически развитая грамматика русского языка так же активно участвует в языковой игре, как и средства других языковых уровней, а широко распространенное мнение о том, что облигаторность грамматических значений и их структурированность сдерживают проявление ее креативных возможностей, является скорее заблуждением. Русская грамматика, обладая, несомненно, богатейшей палитрой создания эффектов разного рода, как бы «подталкивает» говорящего к необходимости использовать ее возможности: «С точки зрения носите-

лей языков с развитой системой грамматических категорий, языки “без грамматики” являются слишком неэксплицитными и приближительными: *это разреженный горный воздух, которым трудно дышать*» [Плунгян 2000: 112]. В рамках именной и глагольной парадигм представлены не только «неправильные» формы, появившиеся в результате грамматической аналогии (*деньгов, делов, хочем*), сфера реализации которых — языковая игра или стилизация неграмотной речи, но и потенциальные формы: падежные (*мечт, человек*); числительные (*брюки — брюка, джинсы — джинса* (ед. ч.); см. также продуктивные и многочисленные формы множественного числа от существительных *singularia tantum*); залоговые (1) *поступлен, благодарен, пробужден развеселена*; 2) *угнетаться, взволноваться, вставаться, миноваться*); аспектуальные (чаще формы вторичной имперфективации: *разлюбивать, научиваться и научаться, растрогиваться, зацепливаться*; реже перфективные: *протащился от ее ножек; зародовался страшно*); формы компаратива (*ангелее, трансвеститее, циркее: Наш цирк циркее всех цирков!*) и многие другие.

Второй важнейший фактор — морфолого-словообразовательный характер основных русских грамматических категорий — рода, залога, числа, вида. Например, в рамках категории рода это порождает продуктивный в языковой игре прием «обратной деривации» — десуффиксацию, в результате которой образуется «псевдокоррелят» мужского рода. Ср.: широко известные *тарел, собак, кукуш, русал* и индивидуальные *прим, кокет, муз* (*Нижинский был обввлен примом; Явлинский — политический кокет; Художница и ее муз*).

Третий важнейший фактор — лексико-грамматическая природа русских грамматических категорий, определяющая ту нерасторжимую связь лексики и грамматики, которая подчеркивается, декларируется русской лингвистической традицией. Именно «сплетенность» лексического и грамматического значения в словоформе позволяет говорящему, актуализируя грамматические смыслы, «рассчитывать» на стилистические и семантические эффекты, что подтверждают примеры, приведенные выше.

Таким образом, к креативной (творческой) грамматике, реализованной в дискурсе, с нашей точки зрения, следует отнести следующие явления: 1) грамматическую окказиональность (с разграничением *окказионального* и *потенциального*); 2) грамматическую интенциональность, к которой мы относим различные случаи актуализации грамматической семантики, связанные не только с сопоставлением, но и с концентрацией однородных и разнородных

грамматических значений; 3) различные формы и способы языковой игры в морфологии; 4) грамматический символизм и грамматический психологизм, а также некоторые другие аспекты «динамической» грамматики.

#### Л и т е р а т у р а

- Айхенвальд Ю.И.* Силуэты русских писателей. М., 1994.
- Бондарко А.В.* К проблеме интенциональности в грамматике (на материале русского языка) // Вопросы языкознания. 1994. № 2.
- Бондарко А.В.* Проблемы грамматической семантики и русской аспектологии. СПб., 1996.
- Вепрева И.Т.* Рефлективы как источник информации об изменениях в русской языковой картине мира // Русский язык сегодня. М., 2000.
- Гин Я.И.* Поэтика грамматических категорий. СПб., 1996.
- Гридина Т.А.* Языковая игра: стереотип и творчество. Екатеринбург, 1996.
- Зубова Л.В.* Категория рода и лингвистический эксперимент в современной русской поэзии // Категории морфологии и синтаксиса в высказывании. СПб., 2000.
- Ионова И.А.* Морфология поэтической речи. Кишинев, 1986.
- Норман Б.Ю.* Грамматика говорящего. СПб., 1994.
- Плунгян В.А.* Общая морфология (введение в проблематику). М., 2000.
- Санников В.З.* Русский язык в зеркале языковой игры. М., 1999.
- Черткова М.Ю.* Грамматическая категория вида в современном русском языке. М., 1996.

*О. Г. Ровнова*

## **Специфика взаимоотношений формы и значения в аспектуальной системе русских говоров**

Направление «от формы к семантике» необходимо в любой грамматике — как в традиционной (уровневой), так и в функциональной. Лишь опора на форму дает возможность выявить и определить значения, выражаемые именно в данном языке, во всей их сложности, в их непредсказуемом многообразии.

*А. В. Бондарко*

**0.** Грамматическая категория глагольного вида в современных славянских языках характеризуется значительной общностью ее основных черт. К ним относятся, например, тесная связь категории вида с лексическим значением и способом действия глагола; непосредственно коррелятивный тип этой категории, что выражается в существовании одновидовых глаголов СВ и НСВ; приставочная перфективация и суффиксальная имперфективация как основные механизмы видообразования; отсутствие специализированного средства перфективации. Вместе с тем в каждом литературном славянском языке и его говорах обнаруживается идиоэтническая специфика как в формальной организации категории вида, так и в семантике, употреблении видов, их сочетаемости с аспектуально значимыми элементами контекста, текстовых функциях [Петрухина 2000: 56—106]. Идиоэтническое своеобразие формального представления аспектуальной семантики проявляется и на уровне глагольного слова — в сфере акциональной деривации. Особенности взаимоотношения между формой и аспектуальным значением (собственно видовым и акциональным, связанным со способом действия) рассматриваются в докладе на материале современных русских говоров. Доклад по преимуществу основан на данных диалектных словарей, поскольку именно они дают представление о системном устройстве категории вида в диалектах; используется также материал, собранный автором во время экспедиций и полученный в результате прослушивания магнитофонных пленок с записями диалектной речи.



1. В аспектуальной системе русских говоров разнообразно проявляет себя тенденция к облигаторности (обязательности) формального выражения аспектуального значения. Мы сосредоточим внимание на материале, дающем представление о взаимоотношениях формы совершенного вида (СВ) и значения ограниченности действия пределом, которое, вместе с признаком целостности действия, составляет суть самого абстрактного, категориального значения СВ [Бондарко 1996: 101—114].

1.1. В видовой системе русского языка выделяется небольшая группа бесприставочных глаголов типа *бросить, дать, кончить, купить, лечь, решить, стать, хватить, явиться*, выражающих значение СВ основой. Некоторые из этих глаголов имеют в литературном языке перфективные приставочные варианты, в которых значение предельности маркируется приставкой, семантически согласующейся с тем или иным компонентом лексического значения исходного глагола. Например, такие приставочные дублиеты имеются у всех пяти приведенных в МАС лексико-семантических вариантов (ЛСВ) глагола *кончить*: *закончить/окончить* (повесть) (1) 'довести до конца'; *закончить* (цитатой); (2) 'сделать что-л. в заключение, завершить чем-л.'; *закончить/окончить* (гимназию); (3) 'завершить обучение где-л.'; *покончить* (со службой); (4) 'положить предел чему-л.; прекратить что-л.'; *прикончить* (конокрада); (5) 'лишить жизни, умертвить'. Важно подчеркнуть, что мы имеем в виду только такое распределение приставок по ЛСВ глагола *кончить*, которое происходит по правилу семантического согласования между приставкой и исходным ЛСВ глагола. Интересно, что ЛСВ (1)—(4) ведут себя в выборе этой чистовидовой приставки так же, как... инхоативные глаголы, обозначающие, как известно, постепенное становление (*густеть — загустеть, слепнуть — ослепнуть*) или постепенную утрату (*меркнуть — померкнуть*) признака. Эта аналогия в аспектуальном поведении станет понятной, если принять во внимание наличие в лексической семантике *кончить* скрытой «ретроспективной ориентированности», а значит, и смысла 'постепенность': стадии «кончить» с необходимостью предшествуют стадии «начать» и «продолжить». В обоих случаях синонимичные приставки *за-*, *о-* соотносятся с исходными глаголами по признаку постепенного доведения действия (состояния) до предела, *по-* — по признаку направленности действия на уничтожение и утрату предмета [Шелякин 1983: 136—138, 143]. Выбор приставки *при-* обусловлен наличием в ней общего с *кончить* (5) семантического компонента 'исчезновение живого существа в результате контакта с кем-, чем-л.' (ср.: *душить — разг. придушить*). Таким обра-

зом, дополнительное маркирование предельных бесприставочных глаголов СВ приставкой подчиняется тому же закону семантического согласования приставки и исходного глагола, которому подчиняется приставочное образование перфективных видовых пар.

Рассматриваемое явление проведено в литературном языке не последовательно. Так, одни бесприставочные перфективы так и не получили приставочного формального варианта (*купить, лишить, стать* 'начать', *ступить*); другие вышли из употребления (*кусить, стрелить*); третьи получили такой вариант, но он тоже вышел из употребления (имперфектив *покупать* свидетельствует о былом существовании перфектива *покупить*); у четвертых он есть только в части значений (*бросить* 'устранить как ненужное; выкинуть' — *выбросить* (мусор в корзину), 'прекратить чем-л. заниматься' — *забросить* (занятия спортом)).

В видовой системе русских говоров дополнительное маркирование приставкой предельного значения охватывает более широкий круг бесприставочных глаголов СВ. Так, помимо приведенных в [Ровнова 1997: 173] образований волог. *покупить, улечь, прохватиться*, а также габ. гр. *покупить* — *покуплять*, турч. *скончить* (какое-нибудь дело) и *скончать* (жизнь) [Ровнова 2002: 162], арх. *спустить* — *спускать* (с модальным значением разрешения) [Ровнова 2001: 64], следует назвать еще волог. *застать* (семантическое согласование между *стать* и *за-* по признаку начинательности, пример: *Только у котят глаза застали показываться, я их и убила* [СРГК 2: 208]) и арх. *додать, кар. надать*.

По поводу *додать* следует оговориться, что имеется в виду не «привычный» для носителя литературного русского языка и существующий в говорах ЛСВ 'добавить дополнительно к отданному ранее', а собственно диалектные лексико-семантические варианты 'дать, отдать кому-н. в обладание, пользование': *Обидно, надо сказать, чтобы йей медаль додали; Кто не сядет, тому рыбниг додаст (пирог)* и 'дать возможность, позволить сделать что-н.': *Йему-то пікнуць-то не додали-то* [АОС 11: 247]. В семантике глагола *дать* есть пространственный компонент, связанный с перемещением объекта от одной точки (субъекта) действия к другой (адресату) и соответствующий одному из значений приставки *до-* (ср.: *дойти от метро до дома за пять минут*). Таким образом, глагол и приставка семантически приравниваются друг к другу по признаку перемещения в пространстве. В случае с глаголом *надать* основанием для их приравнивания является общий признак 'наделить' (ср.: *налить гостю кофе*): кар. *Мне-то бог надал ету козу, а на жару-то* [в теплое, жаркое время года] *резать плохо* [СРГК 2: 35].

В некоторых случаях приставочным перфективам рассматриваемого типа в литературном языке и в говорах могут соответствовать глаголы с разными приставками. Например, литературному глаголу *збросить* 'прекратить' соответствует диалектный *прибросить*, в котором приставка и исходный глагол имеют общий семантический компонент 'исчезновение': кар. *Ето для курицы житіі [жилые], теперь-то нет, мы всё прибросили* [СРГК 2: 67].

Однако и в диалектной видовой системе есть глаголы, которые «сопротивляются» рассматриваемой тенденции. Это прежде всего широко представленный в северо-восточных и северо-западных говорах глагол *пасть*, который там чрезвычайно многозначен (словарная статья на ПАСТЬ в [СРГК 4] содержит 23 значения, не считая оттенков значения, а МАС фиксирует 12 значений, причем во многих случаях при глаголе стоит помета «устар.»). Он употребляется как глагол СВ без морфемного показателя перфективности и в тех значениях, которые в литературном языке выражаются глаголом *упасть*. Приведем примеры: арх. *Самолет у нас года три в лесе пал, в сосновой боровіне* [СРГК 1: 97]; арх. *Дряблы верно бревны, дак павши* [СРГК 2: 7] ('повалиться на землю, устремиться сверху вниз под действием собственной тяжести, перестав удерживаться где-л. '); волог. *Я бы на ёроховатом [шероховатом] льду не подскользнулась, на ёроховатом не падешь*; волог. *Боюсь и ходить к ней, крыльцо всё живое [расштанное], недолго и пасть* [СРГК 2: 28, 56] ('повалиться на землю, потеряв опору'); лен. *На забóрину пала: «Жить не буду»* [СРГК 2: 84] ('быстрым, резким движением опуститься или резко устремиться куда-л. ').

В говорах продолжают употребляться бесприставочные глаголы СВ, вышедшие из употребления в литературном языке полностью (*кусить* 'укусить', *стрелить* 'выстрелить') или в части значений (*решить* в значениях 'убить, прикончить' и 'уничтожить, упразднить'), а также общерусский глагол *ступить* 'сделать шаг, шагнуть'. Примеры: кар. *Прыщик, так воль, и стукнут где-нибудь, так воль, или оса кусит, так волдырь такой встаёт, так это тоже воль*; лен. *У меня тоже здесь было кушено, жолбан такой был вскочивши, такой булдырь [шишка, волдырь] был соскочивши* [СРГК 1: 91, 136]; лен. *Я стрелил, а медведь ушел, дымом завалило, мне не видно было* [СРГК 2: 90]; арх. *Ну, брызкий [надоедливый, противный] кот, решу я тебя, не буду с тобой жить; ну, вредный кот*; кар. *Церкви стали решать, он и говорит: «Я большак [начальник, руководитель хозяйства], я буду, не ваше дело»* [СРГК 1: 127, 92]; арх. *Гадюк на том острове жутко, куда ни ступлю, шипят* [СРГК 2: 78].

«Сопротивление» приведенных глаголов приставочной экспликации значения предельности тоже находит объяснение с точки зрения значения и формы: предельность ярко выражена в них лексически (в лексическом значении заключен семантический признак мгновенности и/или интенсивности), а отсутствие приставки обеспечивает морфологическую простоту образования имперфективного коррелята (ср.: *кусить* — *кусать*, *пасть* — *падать* и *кусать* — *куситься*, *падать* — *упасть*).

1.2. В процесс приставочного маркирования значения предельности вовлечены старые двувидовые глаголы. В тех случаях, когда они употребляются в речи со значением СВ, они получают приставку, например:

*велеть* СВ — кар. *завелѣть*: *Кому завелѣят рыть могилу, тот и выроет* [СРГК 2: 93];

*женить* СВ — габ. гр. *оженить*: *Так хочѹ его оженить!*; *И так я своѹ Дѹсю оженила, и живут*;

*жениться* СВ — арх. *пожениться*, мурм. *зажениться*: арх. *Он гулял сразу, как поженился* [АОС 10: 147]; мурм. *Тот опять заженится* [СРГК 2: 121];

*казнить* СВ — пск. *сказнить*: *Забѣли, сказнили, на стадион свезли. Смотрят, рѹки связанные — сказненный!* [Королева 2000: 77];

*контузить* СВ — арх. *оконтузить*: *У нас дагады [догадки, понимания] не хватило, я такая, он переранен весь, оконтужэн* [АОС 10: 230];

*крестить* СВ ('совершить обряд крещения над кем-л.') — габ. гр. *окрестить*, арх. *скрестить*: *Янѹ последнюю сестру окрестили; И мне, гыт, свѣтѣя, скрестѣ девок, дак я сам это, допѣлно (дочитаю молитву)* [АОС 11: 438];

*ранить* СВ — лен. *заранить*: *Я с донесением получил крест, заранило* [СРГК 2: 189].

1.3. В видовой системе русских говоров довольно часто наблюдается приставочное дублирование предельного значения в глаголах СВ, имеющих связанный корень или переживших опрощение на стыке приставки и корня:

*понять* — арх. *допонять*, пск. *распонять*: *Чѣ-то не могу боле допонять* [АОС 11: 440]; — *У тебя яблоки с корицей? — Да. — Значит, распонял!* [Королева 2000: 63];

арх. *пристать* 'устать' — арх. *опристать*, *упристать*: *Так опристанут рѹки од грѣби* [АОС 10: 41]; *Севѣдня дотого договорила, опристалла вся; Ой, дотого доделала, упрестала уши* [АОС 11: 240, 247] (см. диалектный пример с *пристать* 'устать', а также пример из художественной литературы, свидетельствующий об употребле-

нии этого глагола в литературном языке XIX в.: арх. *Приста́ли, навёрно, дотого́ доба́или, э́ка плетёнь* [АОС 11: 176] и *Если одна из них [кляч] начинала приставать, то он отпрягал ее <...> и бросал на дороге* (А. С. Пушкин. «Кирджали»);

*проведать* — арх. *попрове́дать*: *Думаю до Ма́шки добежа́ть, попрове́дать йейо́* [АОС 11: 177];

*проводить* — арх. *спровожа́ть* (← *спроводить*): *Он́и на та́нцы не иду́т, их ребя́та спровожа́дь бу́дут, гра́бить* [обнимать] [АОС 10: 15];

*спросить* — лен. *заспроси́ть*, лен. *заспра́шивать*: лен. *Моего в милицию взяли попусту, да там заспроси́ли, за что и пустили*; лен. *Стал он меня спра́шивать, а я сижу молчком* [СРГК 2: 206];

*успеть* — арх. *зауспе́ть*: *Пойду сейчас толокно толчь, ой, я не зауспе́ю, наверно* [СРГК 2: 228];

*устать* — арх. *зауста́ть*, мурм. *зауства́ть*: арх. *Сядь, порасказывай, я уж зауста́ла*; мурм. *Годы не те уж, зауства́ть уж начала* [СРГК 2: 228].

См. также турч. *сполучи́ться, спойма́ть, сподня́ть, сподыма́ть*-ся в [Ровнова 2002: 162].

В глаголах рассматриваемого типа роль специального показателя предельности может выполнять не только приставка, как в приведенных выше примерах, но и перфективный суффикс *-ну-*:

*добыть* ‘достать что-н.’ — лен. *добы́нут*: *Добы́нут продукты хорошие от воинской части-то* [СРГК 1: 466].

1.4. В некоторых случаях отмечается аффиксально избыточное выражение категориального значения СВ: оно, кроме приставки, маркируется и суффиксом *-ну-*:

*дождаться* — арх. *дожда́нуться*: *То́лько коро́в дожда́нуться́* [АОС 11: 260];

*дописать* — арх. *дописну́ть*: *Дописну́те уж за́ра́с* [АОС 11: 425];

*зажать* — новг. *зажана́уть*: *Что ты грабловище-то зажана́ул в руках-то; Бани топили для невесты, она зажана́ет косу и будет реветь, а ей расплетают косу и в баню поведут* [СРГК 2: 121];

*отколоться* — волог. *откольну́ться*: *Рыльце у чайника откольну́лось* [СРГК 4: 300];

*перезжать* ‘отжать (белье)’ — лен. *перезжана́уть*: *Выполощу, перезжана́у все* [СРГК 4: 443].

Возможна и обратная ситуация, когда в роли дополнительного маркера значения СВ выступает не суффикс *-ну-*, а приставка:

*сверкнуть* — арх. *засверкнута́*: *Мо́лния засверкнута́, громова́ стрела́ в ызбу, труба́ не была́ закрыта́* [АОС 10: 78].

Диалектные примеры не дают основания считать, что варианты с суффиксом *-ну-* экспрессивнее, чем без суффикса, что подтверждается и их словарными толкованиями. Так, глагол арх. *допехнуть* (*Кто-нибудь допѣхнул*) толкуется через отсылку к значению (б) глагола *допехать* ‘рассказать, сообщить что-н., передать какие-н. сведения’ с пометой «экспресс.» (*Йемү допехают, што она с йим*) [АОС 11: 423], — т. е. являются экспрессивными оба варианта. По данным СРГК, одинаково экспрессивны варианты арх. *закатануть* ‘закрыть с силой, захлопнуть’ и кар. *закатить*: арх. *Она двери закатанѣт да и давай меня венчить.* — кар. *Закатите двери-то, хозяев нет, так я замну* [СРГК 2: 127, 128]. И наоборот, нейтральны варианты кар. *задлянуться* ‘задержаться, остаться где-н., на какое-н. время’ и кар., арх. *задляться* ‘то же, что задлянуться’: кар. *И надолго вы в поселке задлянулись?*; *Сего в хате задлянусь, а завтра уж на покос пойду.* — кар. *Ну и задлялся ты*; арх. *Задляйтесь, дак приходите прямо ко мне* [СРГК 2: 115].

2. В видовой системе говоров существуют глагольные образования, в которых значение предельности выражено двумя приставками. Важно отметить, что первая от корня приставка модифицирует лексическое значение исходного глагола НСВ и придает ему значение СВ, вторая же приставка никакого смыслового оттенка в значение глагола не вносит. Она выполняет функцию дополнительного, избыточного с точки зрения литературного языка средства выражения предельности. Такая функция второй приставки возможна только в том случае, если обе приставки синонимичны друг другу или имеют общий компонент значения.

2.1. Наиболее ярко рассматриваемое явление представлено в глаголах однонаправленного движения (в первичных и вторичных значениях) с приставочным композитом *запри-*:

*заприбежать* ‘прибежать’: мурм. *В своей-то деревне внуки бы кажный день заприбежали, видели бы, как подрастают* [СРГК 2: 184];

*заприехать* ‘приехать’: мурм. *В потом-то у ей много заприехало [народу]*; мурм. *Как свои заприедут, все удивятся*; ‘вернуться назад, приехать обратно’: арх. *Они уезжали в Архангельск, а теперь заприехали опять, ухаживать-то за има некому*; к этому глаголу отмечен имперфективный коррелят *заприезжать* ‘приезжать’: кар. *Сын скоро заприезжает*; кар. *А из Сегежи заприезжали ко мне, у меня раньше четыре помещения было*; мурм. *Заприезжали моряки* [СРГК 2: 185];

*заприйти* ‘прийти’: мурм. *Это он заприиёл когда со службы, вино попить стал*; мурм. *Вызвали врача, заприиёл, надобья прописал* [СРГК 2: 185];

*запринести* ‘родить’: арх. *Ушла в поле да и запринесла* [СРГК 2: 185].

К объяснению этого явления можно подойти с двух сторон — словообразовательной и аспектологической. Словообразовательный объяснительный подход заключается в том, чтобы попытаться непременно найти у приставки *за-* значение, отличное от значения *при-*, и таким образом приписать ей словообразовательную функцию. Действительно, именно так обстоит дело в кругу глаголов неоднаправленного движения, когда *при-* имеет пространственное значение, а *за-* — начинательное, что наглядно демонстрирует следующая цитата из диалектного словаря: «*Запривозить, сов. Начать привозить*. Красить дома после войны стали, как краску *запривозили*» [СРГК 2: 185]. Однако в кругу глаголов одинаправленного движения дело обстоит иначе. Словообразовательных значений, которые имеют глаголы типа *зайти* (‘с помощью действия, названного мотивирующим глаголом, поместить(ся), переместить(ся) за что-н., в какое-н. место, иногда — отдаленное’; ‘попутно, мимоходом совершить действие, названное мотивирующим глаголом; ненадолго отклониться от основного направления действия’ [Русская грамматика 1982: 360]), — диалектные глаголы с *за-* + *при-* не имеют.

Для аспектологического объяснения фактов такого рода прежде всего необходимо найти у обеих приставок общий семантический признак. Сравним два примера, в которых описывается одна и та же ситуация: *он зашел в дом* и *он пришел в дом*. Смысловое отличие между ними заключается в том, что у приставки *за-* есть специальное значение ‘нахождение предмета внутри локума’, которое не является специальным для приставки *при-*, в свою очередь имеющей в качестве такового значение ‘приближение предмета к локуму’. Синонимичность этих высказываний основана на общем семантическом признаке приставок — ‘близость предмета к локуму’. Таким образом, с синхронной точки зрения в двуприставочных глаголах одинаправленного движения типа *запрйти* значение предельности выражено двумя приставками с синонимичным компонентом значения и вторая от корня приставка функционально ведет себя как чистовидовая. Для удовлетворительного объяснения этой диалектной специфики выражения категориального значения СВ необходимо обращение к данным исторической аспектологии. Но прежде чем это сделать, остановимся еще на нескольких наблюдениях.

2.2. Диалектные образования, подобные приведенным выше, представляют трудность для диалектной лексикографии. Так, у

глаголов *запробы́ть* и *запрыви́вать* в [СРГК 2: 185] указано одинаковое значение ‘начать прибывать, подниматься (о воде)’, что неверно.

Следует принять во внимание, что в сочетании с пространственными приставками глагол *быть* ведет себя как глагол однонаправленного движения. Ср., с одной стороны, *выбыть, отбыть, убыть* (значение удаления предмета от локума, как в *выбежать, отлететь, уехать*) и *прибыть* (значение приближения предмета к локуму, как в *прибежать, прилететь, приехать*) — с другой стороны. Об этом свидетельствует и следующий диалектный пример: волог. *Ну-ко, с Акишева добы́ться пешком, все ноги испортишь* [СРГК 1: 466]. В своем прямом значении глагол *прибыть* обозначает результат перемещения в пространстве (достижение какого-либо места) без указания на способ перемещения. У приставки *при-* в результате переосмысления пространственного значения развивается переносное значение ‘увеличиваться’, а у глагола соответственно появляется переносное значение ‘увеличиться, прибавиться по количеству, размеру, степени и т. п.’ (о механизме развития непространственных значений у пространственных приставок см.: [Кукушкина 1996]). Таким образом, прямое значение глагола *запробы́ть* так же, как глаголов *заприбежать, заприйти* и *заприехать*, связано не с начинательностью действия, а его результатом, достижением в пространстве некоторой точки. Следовательно, более адекватным толкованием в словаре переносного значения этого диалектного глагола было бы толкование ‘прибыть, подняться (о воде)’. Примеры: кар. *Вода севодни заприбыла рано, к бане уже подошла*; мурм. *Когда вода заприбудет, хорошо берет рыба* [СРГК 2: 185]. Что касается глагола *запрыви́вать*, то он действительно имеет начинательное значение: арх. *Чайки уже летали, вода запрыви́вала*; кар. *Вода запрыви́вает, положите доску, а то вам не войти будет* [СРГК 2: 185].

Важно подчеркнуть, что, в отличие от одноприставочных глаголов *прибыть* → *прибывать*, представляющих собой тривиальную имперфективную видовую пару, двуприставочные глаголы *запробы́ть* и *запрыви́вать* не находятся в отношениях формально-смысловой производности, так как оба глагола относятся к одному виду — совершенному, имеют разные лексические значения и в синхронном плане характеризуются разными семантико-словообразовательными связями: глагол СВ *запрыви́вать* образован от глагола НСВ *прибывать* с помощью приставки *за-* в начинательном значении, а глагол СВ *запробы́ть* — от глагола *быть* ‘находиться’ с помощью приставочного композита *запри-*.



2.3. Нуждается в комментарии глагол *заприходѣть*, который, вопреки форме с корнем *-ход-* (и вопреки аспектологии литературного языка!), зафиксирован в диалектном словаре не в начинательном значении ('начать приходить'), а в тех, которые имеет общерусский глагол *прийти*: 'возвратиться': кар. *Мужики с войны заприходѣли* [= пришли], *так девки замуж вышли*; 'прийти, вернуться': кар. *Миша заприходѣл* [= пришел] *с работы*; арх. *Коровушки заприходѣли* [= пришли]; 'наступить (о времени года, событии)': арх. *Холодно, холодно, а потом скажут: «Весна заприходѣла»* [= пришла]; мурм. *А вот первое сентября заприходѣт, тогда все уедут*; арх. *Пасха как заприходѣт* [= придет], *так весновать начинали, льду нет, мерѣжку ставили* [СРГК 2: 185]. Иначе говоря, в этих примерах должен бы использоваться корень глагола однонаправленного движения *-ид-*, а не *-ход-*. Замена корня может быть объяснена следующим образом.

Противопоставление по характеру движения свойственно именно бесприставочным глаголам НСВ, в видовой паре приставочных глаголов оно нейтрализуется и на первый план выходит значение видовое, а не акциональное: глаголы в примерах *он принес мне цветы* и *он приносил мне цветы* отличаются тем, что *принес* имеет конкретно-фактическое значение СВ, а *приносил* — неопределеннократное значение НСВ. Нейтрализация семантического противопоставления по признаку направленности движения проявляется в говорах и на формальном уровне: в приставочных глаголах может происходить мена корней однонаправленного и разнонаправленного движения, т. е., например, глаголы *сойтѣи* (*в магазин*), *съѣхать* (*в город*) будут обозначать то же самое, что *сходѣть* (*в магазин*) и *съѣздить* (*в город*). Подобное употребление широко представлено в говоре деревень Максáтихинского района Тверской области: твер. *или в мага́зин сойдѣу, за хлѣбом; сойдѣу на двѣр, с корѡвой поговорѡ; не сойтѣи мне тепѣрь в лес, не хожѣу за гриба́ми; в цѣрковь не хожѣу, мне тудá не сойтѣи; когда́ сойдѣу к дѡчке пообѣдаю; я съѣхала в тѣтке в Ленингра́д одѣн раз*. В этих примерах выравнивание корней идет по глаголам однонаправленного движения, но может быть и наоборот, см.: габ. гр. *А вы та́к, проходѣ́ця идѣ́те?* (= пройтись).

2.4. В группе глаголов однонаправленного движения возможны и другие сочетания приставок с синонимичным пространственным компонентом значения, например *зана-*: мурм. *занабежа́ть, перен.* 'прийти, наступить (о старости)': *Я утром пообряжаюсь и лежу, старость занабежа́ла* [СРГК 2: 162]. Данное явление наблюдается также в группе глаголов, лексическое значение которых

включает пространственный компонент 'перемещение из одной точки в другую':

*заположить* 'положить': кар. *Открою душник и трубу заположу туда;*

*запослать* 'послать': мурм. *Запослать всякого можно, кого куда запошлют, ехать надо;*

*запропихаться* 'пройти с трудом, пропихнуться': кар. *Он толстый, так ему бывало и не запропихаться в это устье* [СРГК 2: 180, 182, 186].

Небольшая группа подобных образований обнаруживаются в литературном русском языке: *привнести/привносить* (дополнительное значение), *преподнести/преподносить* (в дар), *приходящие (обстоятельства)*, *запродать* (душу), *преподать* (урок), — где они стилистически или эмоционально окрашены и/или имеют ограниченную лексическую сочетаемость, что представляется важным отметить.

Приведенный диалектный материал убеждает в том, что степень формальной экспликации категориального значения СВ в говорах выше, чем в литературном русском языке. Для объяснения этой диалектной специфики во взаимоотношениях между видовой формой и видовым значением необходимо привлечение данных исторической аспектологии.

3. В соответствии с гипотезой происхождения славянского глагольного вида, изложенной Ю. С. Масловым в его знаменитом докладе на IV Международном съезде славистов (1958 г.), именно глагольная префиксация создала в праславянском языке предпосылки и условия для морфологического выражения значения предельности, поскольку «приставка вносила значение направленности действия на достижение результата и могла указывать и на самый момент этого достижения» [Маслов 1958: 28].

3.1. Хорошо известно, что в древних славянских языках префиксация глагола не во всей глагольной лексике и хронологически не одновременно означала его перфективацию (см. примеры в работах [Кукушкина 1996: 140; Никифоров 1952: 41; Маслов 1958: 29—30]). Так, неопределенные глаголы состояния и положения в пространстве, соединяясь с приставкой, могли оставаться неопределенными. Следы древнего поведения подобных глаголов являются в современном русском литературном языке такие образования, как *предвидеть*, *предчувствовать*, *настоящий*, *предстоять*, *состоять*, *надлежит*, *подлежать*, а также *ненавидеть*. Остались неопределенными и приставочные глаголы неоднаправленного движения, превратившись впоследствии в имперфективный член видовой пары с пер-

фективным членом — приставочным глаголом однонаправленного движения.

Некоторые реликтовые образования, восходящие к довидовому состоянию языка, сохранились в современных русских говорах. Это глаголы с приставкой *до-*, присоединяющейся к неопредельным глаголам восприятия, — *довидеть* ‘обладать способностью зрения, видеть’, *дослышать*, *дочуять* с одинаковым значением ‘обладать слухом, слышать’ (в сочетании с отрицанием эти глаголы имеют значение ‘плохо видеть, слышать’): арх. *Онá йешишó малёнько до-видит*; *Онá не цюйот, не довидит*; *Немношко не довидит*; *У тебея зрэнийе плохойе, мójэст, не довидиш, так тебея оцста́вят*; *Не обижáйеця рýба на менея, порáто не дови́жу, не дочу́ю*; *Тó не довидиши́, тó не дослы́шиши́* [АОС: 223]; *Не фсё дослы́шу, не фсё допонима́ю* [АОС 11: 440]; кар. *Я, я плохо дослы́шу* [СРГК 1: 494].

Сюда же, возможно, относится глагол *доглядать*, который в южнорусском по происхождению говоре старообрядцев (семейских) Забайкалья имеет одинаковое с глаголом *глядать* (3) значение ‘присматривать, ухаживать за кем-, чем-л.’, ср.: сем. *Сыны́-та за мной яляда́ють ма́ла де́ла, да чо то́лку* и *За ста́рыми да ма́лыми дагляда́ють на́да*; *Бывáла, брóшу дом, уби́гу куда́-нибудь: фсё сусе́ди дагляда́ють* [Словарь говоров старообрядцев... 1999: 99, 120]. В севернорусских говорах *доглядать* является имперфективным коррелятом к приставочному глаголу СВ *доглядеть* [СРГК 1: 468].

Перфективации глаголов состояния и положения в пространстве с приставкой *до-* способствует аспектуально благоприятный контекст. Таковым в севернорусских говорах является, в частности, контекст с наречиями *дото́го, доче́го*, указывающими временной предел длительного действия: арх. *Онi дото́го добо́ялись, што́бы он не верну́лся*; *Онá уш, наве́рно, вы́сохла, доче́о довисе́ла* [АОС 11: 186, 223].

Отсутствие перфективирующей функции отмечается у приставки *за-* в сочетании с неопредельными глаголами рассматриваемой семантики. В значении НСВ зафиксированы в севернорусских говорах глаголы ментального состояния *зазна́ть* ‘знать, располагать сведениями о чем-н.’, эмоционального состояния *заува́жать* ‘любить, заботиться о ком-н.’, слухового восприятия *заслы́шать* ‘обладать слухом, слышать’: кар. *Я ниче́го досю́льного не зазна́ю, всё забы́ла*; кар. *Молоды не зазна́ют досю́льного, говоря́т, было до се́го ниче́го*; арх. *Как заува́жат бу́дет мачеха чу́жих ребя́т?*; арх. *Не заслы́шит она, ина́че скаже́м, не услы́шит* [СРГК 2: 124, 224, 202].

3.2. Важно иметь в виду, что в древнейшую эпоху приставка могла не выполнять функцию перфективации, соединяясь и с гла-

голами однонаправленного движения. Заслуживает внимания наблюдения В. Б. Силиной, обнаружившей в памятниках древнерусской письменности XI—XII вв. редкие примеры употребления приставочных глаголов с корнями *-ид-*, *-вѣд-* в имперфективном значении. Отсутствие подобных примеров в более поздних памятниках позволило ей заключить, что перфективация приставочных глаголов однонаправленного движения была закончена к XIII в. [Силина 1982: 200—201].

Таким образом, существование в современных русских говорах двупроставочных глаголов однонаправленного движения и глаголов, включающих сему 'перемещение из одной точки в другую', в которых приставки имеют синонимичный компонент значения, является рефлексом того древнего состояния глагольной префиксации, когда присоединение приставки не сопровождалось обязательной перфективацией исходного глагола. В русских диалектах перфективация была достигнута за счет присоединения второй приставки с синонимичным компонентом значения.

4. Выражение значения предельности глаголов СВ с помощью двух синонимичных приставок, или приставочного композита, охватывает и сферу способов действия. В частности, данное явление широко представлено в глаголах начинательного способа действия. Вопрос о различных модификациях глагольной формы под давлением акциональной семантики начинательности рассматривался в работе [Ровнова 2001]; здесь мы остановимся только на глаголах с приставочными композитами.

4.1. В русском языке значение начинательности наиболее ярко выражается приставками *за-*, *по-*, *вз-*, *у-*. Они распределяются по определенным лексико-семантическим группам глаголов и формируют два подтипа начинательности — ингрессивную и инхоативную (см. [Авилова 1976: 271—283]). В говорах распределение начинательных приставок по глагольным основам может отличаться от литературного языка, что создает благоприятные условия для варьирования приставочных композитов с начинательным значением обеих приставок. В севернорусских говорах чрезвычайно высокую продуктивность имеет приставка *за-*, присоединяясь к тем глаголам, которые в литературном языке оформляются другими начинательными приставками, например: арх. *завѣрить* (лит. *поверить*): *Я говорка́ была́, йй меня́ никто́ не унимáл, а на гуля́нки не ходи́ла, — ну́, ко грѣху́, жэ́нá йеи́це́ не завѣ́рит* [АОС 10: 51]; арх. *заненави́деть* (лит. *возненавидеть*): *Дото́го догу́литѣ, што́ дру́г дру́шку заненави́дете* [АОС 11: 246]. Поэтому именно *за-* выступает

в роли дополнительного маркера значения начинательности, образуя такие композиты, как *запо-*, *завз-*, *зау-*:

*запохотѣть* 'захотеть': кар. *Вот если бы ты запохотѣла замуж, надо бы у матери спросить* [СРГК 2: 183];

*завспомнить* 'вспомнить': арх. *Вот маму завспомнишь, как зовут*; новг. *Я не могу заспомнить ранее-то, что было-то* [СРГК 2: 99, 206];

*заувидеть* 'увидеть': волог. *Пей чай, пока коленки видишь, а как напешься, так и коленок не заувидишь* [СРГК 2: 225];

*зауснуть* 'уснуть': арх. *Эг грóмушко гремѣл, а потóm уж заусну́ла; Вѣчером пойдут — дотогó добáчяця [договорятся], дотогó долóмьяца, придут — опѣть не зауснут* [АОС 10: 79, 176].

**4.2.** Распределение начинательных приставок в группе глаголов движения выглядит в литературном языке следующим образом: *по-* присоединяется к глаголам однонаправленного движения (*пойти в комнату*, ингрессивная начинательность), *за-* — к глаголам разнонаправленного движения (*заходить по комнате*, инхоативная начинательность). В говорах же приставка *за-* может присоединяться и к глаголу неоднаправленного движения, образуя формальный вариант начинательного глагола *спо-*, например: *зайти́* 'пойти куда-н': лен. *Всѣ дома сделала, наладилась, зашла́ вон косить, молоко в корзинке несу, малость оступилась и на каменицу грудям* [СРГК 2: 125]. Этот глагол, как и *пойти* в литературном языке, может выступать с модальным значением намерения 'собраться, направиться': мурм. *Куда зашёл, сиди дома* [Там же]. Добавочное присоединение к приставочным начинательным глаголам однонаправленного движения приставки *за-*, таким образом, связано не только с ее общей продуктивностью в сфере начинательного способа действия, но и с указанной особенностью, см.: *заполетѣть*: волог. *Как самолеты заполетя́т, он и приезжает* [СРГК 2: 179]. В некоторых случаях аспектуальное значение начинательности сопряжено у таких глаголов с модальным значением намерения совершить действие: арх., волог., кар., лен., мурм. *запоезжа́ть* 'собраться ехать': кар. — *Привозить надо. — А запоезжа́ют, так крикну тебе*; мурм. *Совсем туда запоезжа́ла было, а потом отговорили* [СРГК 2: 179]; кар. *Но то он как запоезжа́ат, дак она и придет, значит. <...> Она придет дак: «Кóмушко, привези ты мни́-кава э́тых, «Душѣс и глóрию».*

**5.** Обратимся к диалектной специфике взаимоотношений формы и значения в перфективной видовой паре.

**5.1.** Приведенный выше материал свидетельствует о том, что в русских говорах на всех уровнях приставочной аспектуальной де-

ривации могут использоваться иные по сравнению с литературным языком приставки. Это свойство аспектуальной системы говоров обнаруживается и при образовании приставочных перфективных коррелятов видовой пары. При этом в говорах, также как в русском литературном языке и других славянских языках, действуют два универсальных правила: 1) правило семантического согласования приставки и исходного глагола НСВ по какому-либо общему семантическому признаку (только в этом случае приставка выступает в чистовидовой функции) и 2) правило ориентированности приставки на ЛСВ многозначного глагола (имеется в виду возможность оформления разных ЛСВ разными приставками, типа *сохнуть* — *высохнуть* (о белье) и *сохнуть* — *засохнуть* (о цветах)).

Условия для широкой вариативности в говорах перфективного члена видовой пары создаются свойствами самой русской аспектуальной системы, такими как разнообразие приставок, способных выступать в качестве чистовидовых, их многозначность и широко развитая синонимия, а также отсутствием в говорах кодифицированной нормы. Вследствие этого в разных говорах и литературном языке реализуются различные из предлагаемых языком возможностей перфективации глагола. В качестве примера приведем два ряда приставочных перфективных вариантов из работы [Ровнова 2002], в которой дан анализ семантического согласования между приставками и глаголом:

*знакóмиться* ‘вступать в знакомство с кем-л.’ — лит., габ. гр. *познакóмиться*, турч. *прознакóмиться*, синыйц.-харб. *ознакóмиться*, донск. *признакóмиться*;

*крестítь* ‘совершать обряд крещения над кем-л.’ — лит., габ. гр. *окрестítь*, синыйц.-харб. *покрестítь*, турч. *прокрестítь*, арх. *скрестítь*.

**5.2.** Некоторые приставки имеют в говорах отличную от видовой системы литературного языка функциональную нагрузку. Например, приставка *при-*, которая в литературном языке выступает в качестве чистовидовой в небольшой группе глаголов типа *мерить* — *примерить*, *сниться* — *присниться* и семантически согласуется с исходными глаголами по признаку приближения [Авилова 1976: 224—225; Шелякин 1983: 139], — в севернорусских говорах имеет более широкую сочетаемость с глагольными основами. С нашей точки зрения, она выполняет чистовидовую функцию в группе глаголов с общим значением ‘порча, нанесение ущерба’, соглашаясь с ними по семантическому признаку ‘исчезновение предмета или лица в результате контакта с кем-, чем-л.’ Имеются в виду такие видовые пары, как:

*ломать* — *приломать*: арх. *Гулёбныйе сánки* [праздничные, используемые в праздник], *мáленькийе, деревянныйе вёрески, приломáли фсѣ* [АОС 10: 139];

*рвать* — *прирвать*: арх. *Вóлк по спíны грáбал* [скреб, царапал], *пальтó прирвáл у стóрожа* [АОС 10: 9]; арх. *Дáй такое, что не жалётное* [такое, которого не жаль], *а то она прирвёт* [СРГК 2: 32];

*рваться* — *прирваться*: арх. *Мѣсяц не одíн кулубáйемя, зделáйте другú гужú, этú прирвалíсь* [АОС 10: 135];

*кусать* — *прикусать*: арх. *Когдá гуляют собáки, попада-ка в íх стáдо, онú и прирвúт, фсю прикусáют* [АОС 10: 147].

К этой группе относятся пары *душить* — *придушить*, *резать* — *прирезать* в разговорной литературной речи, а также диалектные пары инхоативных глаголов:

*стареть* — *пристарать*: арх. *Выводиласе — пристарéла да* [АОС 10: 176];

*мереть* — *примереть*: волог. *Никоó стáрых уж нёт, все при-мерли*.

5.3. В литературном русском языке глагольная приставка *до-* не выступает в чистовидовой функции. В архангельских говорах, где она чрезвычайно многозначна (в [АОС 11: 170—173] у нее выделено 14 значений, в отличие от трех в литературном языке), она эту функцию выполняет. По предварительным наблюдениям, чистовидовая приставка *до-* охватывает небольшие группы глаголов различной семантики.

Прежде всего это группа переходных глаголов с общим семантическим признаком ‘нанесение ущерба’, которому соответствует значение (4) приставки *до-* ‘полное израсходование, уничтожение чего-н.’ [АОС 11: 171]:

*кара́ть* — *докара́ть* ‘покара́ть, наказа́ть’: арх. *Завéдушиша настрада́лась, бóх йейá докорáл, она́ болéла, умира́ла, как спíчка была* [АОС 11: 296];

*мучи́ть* — *домучи́ть* ‘застави́ть испытать физические или нравственные страдания, замучи́ть’: арх. *Онú Ёсифа поря́дочно́ домучи́ли; И вóт йей́ домучи́ли* [АОС 11: 398—399];

*пуга́ть* — *допуга́ть* ‘испуга́ть’: кар. *Платье-то большо́, долгоё, как побежу́, дак всех людей допуга́ю* [СРГК 1: 488]

*конáть* — *доконáть* ‘привести в плохое состояние кого-, что-л. вплоть до полного уничтожения’: арх. *Софсём доконáли нáши колхóзы; Послédний ухвáт доконáл, типёрь и горшкá нечём ис пéчи до-стáть; Как увезли́ в больни́цу, так уш и доконáли* [АОС 11: 303].

Чистовидовую функцию выполняет приставка *до-* при перфективации глагола *валиться*, согласуясь с ним по признаку ‘движе-

ние вниз': *Боюсь я — вдрук полézуд да доваляцца* [АОС 11: 216]. Требуется дополнительного аспектологического изучения приведенные в словаре образования типа *доцелова́ть* 'поцеловать', *дозва́ть* 'позвать', *досла́бнуть* 'ослабеть, ослабнуть', *достаре́ть* 'состариться, постареть' и др. Однако обнаружение в видовой системе архангельских говоров чистовидовой приставки, нехарактерной для русского литературного языка, представляется чрезвычайно важным и является еще одним свидетельством диалектной специфики в языковом представлении аспектуального содержания.

#### Л и т е р а т у р а

Авилова 1976 — *Авилова Н.С.* Вид глагола и семантика глагольного слова. М., 1976.

АОС — Архангельский областной словарь / Под ред. О. Г. Гецовой. М., 1980—2001. Вып. 1—11.

Бондарко 1996 — *Бондарко А.В.* Проблемы грамматической семантики и русской аспектологии. СПб., 1996.

Королева 2000 — *Королева Е.Е.* Диалектный словарь одной семьи (Пыталовский район Псковской области). Ч. 2. Даугавпилс, 2000.

Кукушкина 1996 — *Кукушкина О.В.* О механизме развития непространственных значений у приставок // Актуальные проблемы современной русистики: Диакрония и синхрония. М., 1996.

Маслов 1958 — *Маслов Ю.С.* Роль так называемой перфективации и имперфективации в процессе возникновения славянского глагольного вида. М., 1958.

Никифоров 1952 — *Никифоров С.Д.* Глагол, его категории и формы в русской письменности второй половины XVI века. М., 1952.

Петрухина 2000 — *Петрухина Е.В.* Аспектуальные категории глагола в русском языке в сопоставлении с чешским, словацким, польским и болгарским языками. М., 2000.

Ровнова 1997 — *Ровнова О.Г.* Современные русские говоры в аспектологическом плане // Труды аспектологического семинара филологического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова. Т. 3. М., 1997.

Ровнова 2001 — *Ровнова О.Г.* Принципы функциональной грамматики в диалектной аспектологии // Теоретические проблемы функциональной грамматики: Материалы Всероссийской науч. конф. (Санкт-Петербург, 26—28 сентября 2001 г.). СПб., 2001.

Ровнова 2002 — *Ровнова О.Г.* Говоры старообрядцев зарубежья как источник нового материала по диалектной аспектологии // Материалы и исследования по русской диалектологии. Вып. 1 (7): К 100-летию со дня рождения Р. И. Аванесова. М., 2002.

Русская грамматика 1982 — Русская грамматика. Т. 1. М., 1982.

СГСЗ — Словарь говоров старообрядцев (семейских) Забайкалья / Под ред. Т. Б. Юмсуновой. Новосибирск, 1999.

СРГК — Словарь русских говоров Карелии и сопредельных областей / Гл. ред. А. С. Герд. СПб., 1994—1999. Вып. 1—4.

МАС — Словарь русского языка: В 4 т. / Под ред. А. П. Евгеньевой. М., 1981—1984.



Силина 1982 — *Силина В.Б.* История категории глагольного вида // Историческая грамматика русского языка. Морфология. Глагол. М., 1982.

Шелякин 1983 — *Шелякин М.А.* Категория вида и способы действия русского глагола (теоретические основы). Талли, 1983.

#### Сокращения в подаче примеров

- арх. — архангельское
- волог. — вологодское
- габ. гр. — говор старообрядцев, живущих в д. Габовы Гронды (Польша)
- донск. — донское
- кар. — карельское
- лен. — ленинградское
- лит. — литературное
- мурм. — мурманское
- новг. — новгородское
- разг. — разговорное
- сем. — говор старообрядцев (семейских) Забайкалья
- синьц.-харб. — говор старообрядцев — «синьцзянцев» и «харбинцев», живущих в штате Орегон (США)
- твер. — тверское
- турч. — говор старообрядцев-«турчан», живущих в штате Орегон (США)

Т. В. Тарасенко

## Этикетные речевые жанры: современное состояние

Одной из задач жанроведения в настоящее время является не только теоретическое осмысление, но и создание энциклопедии речевых жанров, представляющей серию «портретов» жанров. В последнее время эта задача активно решается исследователями. Так, появились описания отдельных речевых жанров<sup>1</sup>, непосредственное использование понятие РЖ нашло в работах по изучению корпоративного общения<sup>2</sup>, общения в городском транспорте<sup>3</sup>, в педагогической науке и дидактической практике<sup>4</sup>.

Данная статья посвящена описанию группы этикетных речевых жанров (далее — ЭРЖ): благодарности, извинения, поздравления и соболезнования, их специфике функционирования в современный период (за последние десять лет).

Эти жанры выделены в особую группу по следующим признакам: 1) ЭРЖ представляют собой *реакцию на событие*, в отличие от таких этикетных жанров, как приветствие, прощание, объявление, которые являются жанрами-событиями; 2) ЭРЖ представляют собой реакцию на событие *с перфектной перспективой*, в отличие от таких этикетных жанров, как просьба, предложение, приглашение,

---

<sup>1</sup> См. тематику диссертационных работ последних лет: *Рытникова Я.Т.* Семейная беседа: обоснование и риторическая интерпретация жанра: Автореф. дис. ... канд. филол. наук. Екатеринбург, 1996; *Шурина Ю.В.* Шутка как речевой жанр: Автореф. дис. ... канд. филол. наук. Великий Новгород, 1997; *Тарасенко Т.В.* Этикетные жанры русской речи: благодарность, извинение, поздравление, соболезнование: Дис. ... канд. филол. наук. Красноярск, 1999; *Данилов С.Ю.* Речевой жанр *проработки* в тоталитарной культуре: Автореф. дис. ... канд. филол. наук. Екатеринбург, 2001.

<sup>2</sup> *Подберезкина Л.З.* Корпоративный язык. Принципы исследования и описания (на материале языка столбистов): Автореф. дис. ... канд. филол. наук. М., 1995.

<sup>3</sup> *Киселева Л.А.* Общение в городском транспорте. Опыт филологического описания (на материале Красноярска): Автореф. дис. ... канд. филол. наук. Новгород, 1997.

<sup>4</sup> *Ладыженская Т.А.* Курс школьной риторики (V—IX классы) // Русская словесность. 1996. №2. С. 51—54; Педагогическое речеведение: Словарь-справочник / Под ред. Т. А. Ладыженской, А. К. Михальской. М., 1998.

отказ, согласие, угроза, которые являются жанрами — реакциями с футуральной перспективой; 3) ЭРЖ имеют особое языковое воплощение: глаголы-перформативы, выражающие одновременно акт речи и действия. В основу описания ЭРЖ положена концепция речевого жанра М. М. Бахтина<sup>5</sup> и методика описания речевого жанра Т. В. Шмелевой<sup>6</sup>.

Русский речевой этикет всегда находился в поле зрения ученых, начиная с классических трудов по риторике и красноречию, а именно с риторики М. В. Ломоносова (1748) и общей риторики Н. Кошанского (1829), в которых широко трактовался, говоря современным научным языком, коммуникативный аспект речевой деятельности, в том числе и этикетный. Собственно научное изучение системы русского речевого этикета было начато в 60-е годы Н. И. Формановской, А. А. Акишиной, В. Е. Гольдиным. Речевой этикет рассматривался Н. И. Формановской как функционально-семантическое поле единиц доброжелательного общения в ситуациях знакомства, приветствия, прощания, благодарности и т. п. Выделение этикетных речевых жанров обусловлено существованием в обыденном сознании и речи (а также в профессиональной, научной, официальной и политической речи) таких категорий, как «благодарность», «поздравление» и т. д. Этикетные высказывания и тексты, достаточно фиксированные языковые реакции на стандартные ситуации социального общения, осознаются как лингвистический объект, обладающий специфическими свойствами, и описываются в терминах теории речевых жанров, прагматики и теории речевых актов, т. е. как речевые жанры.

Вслед за Н. И. Формановской, к русскому речевому этикету мы относим совокупность правил речевого поведения, касающихся внешнего проявления отношения между людьми в речи (в рамках оппозиции «принято/не принято»); выделено не менее 15 этикетных позиций: формы обращений и приветствий, правила учтивости, правила общения с должностными лицами в соответствии с их рангом, согласие и несогласие с мнением собеседника, поздравления, пожелания, благодарность и т. д.<sup>7</sup>

Итак, ЭРЖ — жанры, относящиеся к «миру ритуальной действительности, организуемой социальными отношениями, обы-

<sup>5</sup> Бахтин М. М. Проблема речевых жанров // Бахтин М. М. Эстетика словесного творчества. М., 1979.

<sup>6</sup> Шмелева Т. В. Речевой жанр (Возможности описания и использования в преподавании языка) // Russistik. Русистика. Berlin, 1990. № 2. С. 20 — 32.

<sup>7</sup> Формановская Н. И. Русский речевой этикет: лингвистический и методический аспекты. М., 1982.

чаями»<sup>8</sup>. М. Ю. Федосюк предлагает отнести этикетные жанры к группе эмотивных, так как они направлены на поддержание эмоционального состояния адресата или на улучшение этого состояния<sup>9</sup>, хотя функционирование ЭРЖ может носить исключительно фатический характер, который никак не отражается на состоянии адресата, так как «общая ситуативно-целевая задача фатического речевого поведения — *говорить, чтобы высказаться и встретить понимание*»<sup>10</sup>.

Что нового мы наблюдаем в функционировании ЭРЖ и каковы причины изменений?

За последние десять лет наблюдается «расшатывание» этикетных ситуаций, это связано с изменением бытования тех или иных традиций, ритуалов, праздников или появлением новых; «современное российское общество переживает период ломки, разрушения устоявшихся стереотипов, в том числе поведенческих, ментальных. Это приводит к разрушению речевых стереотипов и возникновению новых»<sup>11</sup>. Изменения в социальной жизни российского общества, открытость общества приводит к тому, что появляются новые социальные, финансовые и т. д. институты, предметы быта, происходит заимствование не только новых слов, отражающих новые реалии изменившейся жизни, происходят заимствования и в культурной жизни общества, вернее сказать, часто не заимствования, а прямой перенос в российскую действительность телевизионных шоу и программ, журналов, праздников и т. п. Следствием такого культурного «переноса» становится 1) появление новых речевых жанровых форм, в том числе и этикетных, и закрепление их в языке; 2) расширение сферы функционирования ЭРЖ: не только в бытовой, но и в деловой, политической, церковной и светской; 3) изменение функционирования ЭРЖ.

1. В связи с вручением всевозможных премий — литературных, телевизионных, театральных, кинематографических и т. п. — в средствах массовой коммуникации закрепляется такой жанр, как

<sup>8</sup> Шмелева Т. В. Русская речь как лингвистический объект // Русистика сегодня. Функционирование языка: лексика и грамматика. М., 1992. С. 5—15.

<sup>9</sup> Федосюк М. Ю. Комплексные жанры разговорной речи: «утешение», «убеждение» и «уговоры» // Русская разговорная речь как явление городской культуры. Екатеринбург, 1996. С. 78.

<sup>10</sup> Винокур Т. Г. Говорящий и слушающий. Варианты речевого поведения. М., 1993. С. 137.

<sup>11</sup> Китайгородская М. В., Розанова Н. Н. Современная городская коммуникация: тенденции развития (на материале языка Москвы) // Русский язык конца XX столетия (1985—1995) / Под. ред. Е. А. Земской. М., 1996. С. 349—350.

**ответная благодарственная речь**, причем за образец жанра был взят американский аналог, например, при вручении премии «Оскар»<sup>12</sup>. При этом можно было наблюдать, как происходило освоение данного жанра или неприятие (неосвоение) западного образца. Ср. следующие примеры: (1) *Лауреатам было заранее предложено написать речи. Справился с этим тяжелым заданием лишь Гандлевский (кстати, совсем недавно он был обласкан и малым Букером). Савельев после долгой паузы устало выдал одно слово: «Спасибо». А Бакин вообще не пришел, поручив зачитать текст в три строчки своей супруге* (газ.) и (2) *Господа тривиально шутили, дивы бессловесно раздирали конверты, публика визжала, награжденные благодарили жюри, маму, президента и пускали слезу* (М. Арбатова). В первом случае журналист описывает вручение премии Букер современным литераторам и новые этикетные правила церемонии вручения: лауреат после вручения премии должен признести ответную благодарственную речь. Данная речь должна быть написана заранее, произнесена или прочитана на церемонии вручения самим лауреатом. Как мы видим, предметом обсуждения в СМИ становится нарушение или несоблюдение в жанровой форме «ответная благодарственная речь» или церемонии. Это должна быть именно речь: развернутый текст, состоящий не только из одного стандартного клише «Спасибо»; как показывает пример (2), в благодарственной речи должны быть упомянуты те лица, имена которых лауреат хочет отметить особо (причем набор лиц может быть стандартным или оригинальным; как показывает церемония вручения «Оскара», американские звезды обычно благодарят Бога, близких родственников: родителей и супругов, съемочную группу). В первом примере обсуждается также неявка лауреата на церемонию вручения и перепоручение своих обязанностей супруге. Жанр «ответная благодарственная речь» может включать в себя и невербальные элементы: слезы, поклоны, прижимание рук к груди, воздушный поцелуй, которые обычно функционируют в коммуникации как эквиваленты ЭРЖ благодарности<sup>13</sup>.

Другим примером появления новых этикетных речевых жанровых форм и закрепление их в языке — это **поздравления с Днем святого Валентина и Хэллоуином**. В современном российском обще-

<sup>12</sup> Интересны в этой связи наблюдения Д. С. Лихачева о смене литературного этикета; подробнее см.: Лихачев Д. С. Историческая поэтика русской литературы: Смех как мировоззрение и другие работы. СПб., 1997. С. 208—231.

<sup>13</sup> См. об этом подробнее: Тарасенко Т. В. Этикетные жанры: благодарность, извинение, поздравление, соболезнование: Дис. ... канд. филол. наук. Красноярск, 1999. С. 93—95.

стве произошли изменения в семиотике праздников: наравне с советскими (которые воспринимаются молодым поколением как выходные дни) праздниками — это Первомай, День примирения и гражданского согласия — 7 ноября, отмечаются даты, которые потеряли свою идеологическую окраску, — День защитников Отечества (23 февраля) и Международный женский день (8 марта); отмечаются старинные русские (Масленица, День Ивана Купала, Радуница) и христианские праздники (Рождество, Пасха). Новый год празднуется трижды: традиционно в ночь с 31 декабря на 1 января, потом отмечается Старый новый год и по лунному календарю — Восточный (китайский) новый год. В молодежной среде закрепились праздники, пришедшие с Запада: День святого Валентина (14 февраля) и Хэллоуин (31 октября).

Следует отметить, что День святого Валентина закрепился и получил широкое распространение не только в молодежной среде, но и в СМИ. Например: *День святого Валентина хорош и тем, что его нет в официальном календаре. А для подарка достаточно какой-нибудь мелочи, которая непременно должна иметь «знак» Дня влюбленных — сердце. Это может быть самодельная открытка, а в ней несколько нежных слов, коробочка конфет или ароматного чая в форме сердца, вкусный пирог, а впрочем, — любая вещь, преподнесенная вместе с «валентинкой»* (журн.). При этом в СМИ, как правило, не сообщается тот факт, что празднование Дня святого Валентина в западных странах носит более шуточный характер, чем в России; а для американцев «валентинка» это не только поздравление, но и уведомление об увольнении с работы<sup>14</sup>. Главный атрибут Дня всех влюбленных — это «валентинка», поздравительная открытка в форме сердца или с его изображением. Вот какое наставление дается в молодежном журнале: *Ты, конечно, помнишь, какой самый важный день в феврале. Без сомнения, День святого Валентина! Если тебе приятно радовать своего парня и подружек, делая им маленькие сюрпризы, настало время действовать! В этом месяце не обойтись без валентинок. Хорошо бы соблюсти два условия: валентинка не должна быть слишком дорогой и еще ее принято дарить инкогнито. А значит, ты можешь с утра пораньше бросить в почтовый ящик своего молодого человека или друзей открытку без подписи. Получить валентинку приятно всем без исключения, тем более что кто-то, может быть, еще не нашел себе пару и обречен провести День все влюбленных в одиночестве* (журн.). В Англии и США «валентинки» — это открытки с уже напечатанными поздрав-

<sup>14</sup> См. об этом подробнее: *Томахин Г.Д.* Реалии — американизмы. М., 1992.

лениями-четверостишиями, которые не требуют дополнительного текста, анонимные. Эта же традиция закрепляется в России: можно купить открытку с текстом, в которую можно при желании вписать подходящее имя, например: *Хочу быть с тобой в День Св. Валентина... и всегда!* или *Неважно, мы счастливы или грустны... или ужасно раздражены... Неважно, богаты мы... или бедны... А важно лишь то, что мы влюблены!* Особенность подобных поздравлений в том, что в них не присутствует сама формула поздравления *Поздравляю с Днем Влюбленных (Днем Святого Валентина)*, которая была бы обязательной при написании поздравления от руки. Эта же тенденция наблюдается в поздравительных открытках последних лет, их можно не подписывать от руки, так как текст в них уже присутствует; например, поздравления с Новым годом: *Папочка, ты напоминаешь мне Деда Мороза — своим веселым смехом, добрым сердцем... и даже фигурой. С Новым Годом!* или поздравление с Днем рождения: *Мама, спасибо, что ты всегда рядом... когда мне так нужна твоя поддержка! С Днем Рождения!*

Как мы видим, в текстах таких открытках уже указан адресат: *Мама, папочка, мой дорогой, сестренка* и т. д., что делает их универсальными, т. е. автору поздравления нет необходимости называть адресата, адресат уже указан на открытке, нет необходимости и подписываться автору поздравления. Мы видим, что произошло прямое копирование как праздника Дня святого Валентина, так и поздравительных открыток, поздравительных текстов. Почтовые поздравительные открытки еще сохраняют традиционную форму: текст должен быть написан от руки с указанием адресата, например: *Здравствуй, Лена! Петя! Ваши дети! Поздравляю вас с наступающим Новым годом! Желаю не болеть ни большим, ни маленьким, не хандрить и не скучать! Все благ! Ольга* (из частной переписки).

Празднование Хэллоуина отмечается менее широко, чем День святого Валентина. Обычно Хэллоуин празднуют старшеклассники и студенты, познакомившиеся с этим праздником при изучении английского языка или по видеофильмам. Следует отметить, что Хэллоуин — это карнавальное (игровое) действие, которое не имеет поздравительных клише в английском языке, в русской традиции праздник закрепился также без специальных поздравительных форм.

2. Первичная и основная и сфера функционирования ЭРЖ — бытовая (или обыденная, повседневная): первичные РЖ реализуются в процессе непринужденного общения; вторичные реализуются в сфере научного, делового, политического общения, а также

в художественной речи<sup>15</sup>. В настоящее время можно наблюдать активное использование ЭРЖ в деловой, политической, церковной и светской сферах общения. Причина этого — изменение роли данных сфер общения в жизни рядового носителя языка. Внимание лингвистов переместилось с изучения повседневной на другие сферы общения, это показывают и исследования последних лет<sup>16</sup>.

**ЭРЖ в деловой сфере** общения приобретают новую функцию: они становятся одним из элементов рекламной продукции и имиджа, поэтому широко представлены в городской коммуникации. При использовании ЭРЖ рекламодаделец преследует особую цель — доставить удовольствие себе и адресату, привлечь внимание потенциального клиента; и таким средством становится щитовая реклама: *Поздравляем. 2001. С Новым тысячелетием. Красалка* (Красноярский ликеро-водочный завод); *С днем Победы! Петр I* (реклама сигарет); *С Новым годом! Coca-cola*; *Банк «Российский кредит» поздравляет с 370-летием Красноярска!* или другие формы: магазинные чеки *Спасибочки за покупочку* (на чеке в супермаркете «Красный яр» г. Красноярск); открытки *Фирма Паркер желает Вам успеха в Новом году! Parker*; объявления в маршрутном такси *Спасибо, что Вы выбрали наше такси*. Кроме того, ЭРЖ активно используются для создания благоприятного имиджа организации независимо от формы собственности или муниципального статуса. Например: *Центральному району 60 лет! Поздравляем жителей Центрального района с этим праздником!* (щитовая реклама в центре г. Красноярск); *Спасибо, что Вы не курите* (объявление в кафе); *Уважаемые посетители! Приносим извинения за неудобства в связи с ремонтом бассейна. Будет только лучше, а не хуже!* (объявление в фойе бассейна). Интересно, на наш взгляд, наблюдать и случаи «неправильного» функционирования ЭРЖ, например, когда официальная информация соседствует с новогодним поздравлением из повседневной сферы в пределах одного объявления: *С Новым годом! С новым счастьем мы спешим поздравить вас! Пожелать здоровья, счастья и поднять бокал за вас! Уважаемые жильцы! Просим вас погасить задолженность по квартплате за год. ЖПЭТ*; или случай, описанный в газете: *Необычное поздравительное послание накануне праздника Победы обнаружили в своих почтовых ящиках ветераны, проживающие на одной из улиц Орла. Как выяснилось,*

<sup>15</sup> Бахтин М.М. Проблема речевых жанров // Бахтин М.М. Эстетика словесного творчества. М., 1979.

<sup>16</sup> См., например: Культура парламентской речи. М., 1994; Маланчук И.Г. Роль языковой картины мира в политической коммуникации: Автореф. дис. ... канд. психол. наук. М., 1998.



поздравил их некто Шмыга, «авторитет» уголовного мира, контролирующий со своей группировкой район, в котором они проживали. В поздравительном послании он заверил, что все фронтовики находятся под его надежной защитой и поэтому могут ничего не опасаться (газ.). В последнем примере мы видим, что в официальном поздравлении уголовный «авторитет» заменил администрацию района или города (или выступил параллельно с ней), не имея представления об этических нормах вообще и коммуникативных нормах в частности.

Политическая сфера общения. В данной сфере ЭРЖ функционируют в качестве элементов тактик предвыборных кампаний. Как известно, основная деятельность политика направлена на завоевание и удержание симпатий и доверия электората через создание у населения определенных иллюзий, что знания и убеждения политика как раз соответствуют интересам населения. Имидж политика является одним из средств воздействия на чувства, эмоции и подсознание адресата. Рассмотрим, как использовались ЭРЖ в ходе предвыборной кампании на пост губернатора Красноярского края, проходившей весной 1998 г. На последний этап выборов на пост губернатора вышли два кандидата — В. М. Зубов, действующий губернатор, и генерал А. И. Лебедь. У А. И. Лебеда до губернаторских выборов в Красноярске был имидж «жесткого политика с солдафонскими замашками», вызывающий уважение и пользующийся популярностью. В ходе предвыборной кампании к этому имиджу добавился имидж «чужого» (неместного), которому противопоставлялся «свой» (сибиряк) В. М. Зубов. Так, в ходе первого тура выборов произошла корректировка имиджа А. И. Лебеда — генерала представили как политика вежливого, благодарного, внимательного. Одним из таких средств корректировки имиджа стали ЭРЖ благодарности и поздравления. После первого тура выборов всюду появились плакаты: *Красноярцы! Спасибо за поддержку! Александр Лебедь*; в почтовых ящиках — листовки: *По результатам первого тура ясно главное — для 45 человек из 100 я уже не «чужой». Спасибо всем, кто пришел на выборы. Спасибо за доверие. Спасибо за гражданскую позицию. Моя задача — задача чести — не обмануть Вашу надежду. Для многих она — последняя. Я Вас не подведу. А. И. Лебедь*. Поскольку время выборов совпало с майскими праздниками, то были вывешены плакаты, посвященные Дню Победы: *С Днем Победы, дорогие ветераны! А. И. Лебедь*. Так как в ходе предвыборной кампании весь город был оклеен предвыборными плакатами в самых неподходящих местах, это вызвало негативную реакцию у горожан. Штаб в поддержку А. И. Лебеда

выпустил следующую листовку: *Дорогие красноярцы! Просим извинить за неудобства, связанные с расклейкой агитационных материалов Лебеда А. И. Из-за информационной блокады, объявленной губернатором, мы вынуждены были это делать. Вы знаете, что мы начали расклейку последними. Мы обещаем, что в день субботника мы очистим город от плакатов всех кандидатов. Штаб поддержки А. И. Лебеда.* Можно сказать, что, используя ЭРЖ извинения в тексте листовки, авторы преследуют и косвенную цель — дискредитация другого кандидата через подачу субъективного мнения штаба поддержки в виде объективного факта, не требующего доказательств<sup>17</sup>.

Другой претендент на пост губернатора — действующий губернатор (имидж академического профессора и интеллигента) использовал в ходе предвыборной кампании только ЭРЖ поздравления и уступил более «агрессивной» предвыборной кампании А. И. Лебеда. Стоит добавить, что этот же тактический ход — привлечение внимания избирателей с помощью этикетных жанров — в 2001 году использовало общественно-политическое объединение «Наши», политические оппоненты А. И. Лебеда на выборах в Законодательное собрание Красноярского края.

В связи с вхождением вновь в коммуникацию рядового носителя сферы церковного общения, в том числе и через СМИ, в храмах появляются тексты-инструкции «Как вести себя в храме», где регулируется поведение (в том числе и этикетное) человека, непосвященного в религиозное таинство. Из этой инструкции можно узнать, как следует обращаться к священнослужителю или как правильно извиниться: *Если Вы случайно кого-то задели или побеспокоили, Вам нужно извиниться. Следует извиниться и в том случае, если причиной беспокойства является не Вы, а задели Вас.*

В светской жизни ЭРЖ служат показателем взаимоотношений известных людей, звезд шоу-бизнеса, политиков и т. п. Например, мнение Галины Вишневской о конфликте с художником Глазуновым: *На Глазунова подали в суд, когда узнали, что он сказал в какой-то телепередаче: «Меня упрекают, что мне принадлежит какой-то зал, а вот Собчак Растроповичу подарил за 60 тысяч (даже не сказал чего) особняк на Неве. И теперь, мол, мне в Смольном пред-*

<sup>17</sup> Накануне губернаторских выборов в местных СМИ появилась информация о тиражах предвыборных материалов штаба А. И. Лебеда. «По словам специалиста по технологиям управления выборов Ефима Островского... только на первом этапе кампании было выпущено 7 миллионов экземпляров газет, более сотни листовок (тиражами от 500 тысяч экземпляров каждая)» (Комсомольская правда. 2002. 11 июня).

*лагают квартиру в этом доме за 600 тысяч долларов. Он бежит теперь за нами, просит извинения, пишет письма. Звонит по телефону. Когда у Растроповича был концерт в Москве, то он просто нахально вылез на сцену с букетом роз и повис на шее. Нас потрясла эта ложь Глазунова... (газ.). Или: К мировому соглашению Любимов, Петровская и адвокаты не пришли. Текст, предложенный адвокатом Любимова, не содержал извинений. Петровская добавила к нему «редакция сожалеет». Любимов попросил, чтобы и автор тоже извинился. Петровская добавила «редакция и автор сожалеют». И тут Любимова не устроила формулировка как таковая: «Пусть извинится за клевету, ваша честь. Иначе получается, что человека долго били, а теперь сожалеют». Извиниться Петровская не захотела (газ.)<sup>18</sup>.*

3. ЭРЖ из жанров интимного общения (по линии: автор — адресат) **становятся жанрами городской (массовой) коммуникации.** Так, в Красноярске зафиксирована щитовая реклама с частными поздравлениями: *С Днем рождения, Аленка; С Днем рождения, котенок; С Днем рождения, Оксана Юрьевна.* В апреле 2002 г. друзья поздравили с Днем рождения депутата Законодательного собрания Красноярского края С. Блинова подобным образом: в городе появилось восемь поздравительных щитов, а местные СМИ обсуждали стоимость такого поздравления. ЭРЖ благодарности, извинения, поздравления заняли прочное место на страницах газет, радио и телеэкранов, например поздравление в газете «Красноярский рабочий»: *Пашкеевых Николая Кирилловича и Галину Никитичну поздравляем с золотой свадьбой. Желаем счастья и здоровья, желаем бодрости и сил, чтоб каждый день обычной жизни вам только радость приносил! Дети, внуки Борт, Лыковы, Пашкевы, Христолюбовы (1998, 8 сентября).*

Другой пример изменения функционирования ЭРЖ связан с изменением содержательной части ЭРЖ. Так, наблюдается частичная десемантизация этикетного речевого жанра извинения. По наблюдениям Т. М. Николаевой, формулы извинения употребляются

<sup>18</sup> Причиной судебного иска телеведущего А. Любимова послужило интервью И. Петровской с пресс-секретарем политика В. Брынцалова Толмачевым, опубликованное в «Известиях». Господин Толмачев утверждал, что за участие в передаче Любимова у Брынцалова попросили 15 тысяч долларов, а получили 5. Журналистка не захотела извиниться, так как считает, что отвечать за ложную информацию должен господин Толмачев (или Брынцалов), а не газета «Известия», которая эту информацию напечатала. Подробности конфликта освещала газета «Коммерсантъ-Daily» (1996. 26 октября).

<sup>19</sup> Николаева Т. М. Две заметки о «новом» в русской речевой коммуникации // Русский язык в его функционировании. М., 1998. С. 82.

как формулы привлечения внимания вместо традиционной рамки «стимул (пожалуйста, будьте добры, скажите и под.) + реакция (слова благодарности)»: *Извините, как пройти на Новый Арбат?*, или вместо жанра благодарности в нейтральных ситуациях функционирует жанр извинения<sup>19</sup>. С нашей точки зрения, десемантизация ЭРЖ связана с влиянием на русский язык романо-германских (особенно — английского) языков. В русской культуры «извинение» всегда связывалось с понятием вины, если коммуникант не чувствовал за собой вины, он отказывался приносить извинения или заменял его жанром «сообщение». Сравните примеры: (1) *Насколько я понимаю теперь, Анна Андреевна не хотела со мною поссориться окончательно; она желала вызвать с моей стороны вопрос: «За что вы на меня сердитесь?» Тогда она объяснила бы мне мою вину, я извинилась бы, и она великодушно простила. Таков, кажется мне, был ее умысел. Но, к великому моему огорчению, совесть меня не мучила, никакой вины перед Анной Андреевной я найти не могла. Ни в слове, ни в мысли* (Л. К. Чуковская. «Записки об Анне Ахматовой»); (2) Объявление о причинах задержки рейса самолета: *По техническим причинам вылет откладывается на два часа.* Администрация авиакомпании не приносит пассажирам никаких извинений, а сообщает им только причину задержки<sup>20</sup>.

Итак, изменения в социальной и культурной жизни современного российского общества привели к изменению функционирования ЭРЖ: они стали использоваться не только в личной сфере коммуникантов, но и стали достоянием общественности; ЭРЖ стали активнее использоваться в таких сферах общения, как деловая, политическая, светская и церковная; появились новые формулы и клише ЭРЖ как следствие культурного «переноса» в российскую действительность западных праздников и телешоу. Современное общество терпимо относится к новым коммуникативным и языковым формам, это подтвердили и исследования функционирования русского языка в Восточной Сибири<sup>21</sup>. Так, респондентам было предложено ответить на вопрос: считают ли они, что в русском

<sup>20</sup> Это подтверждает и наблюдение австрийской исследовательницы Р. Ратмайр: «Чувство вины является условием успешности извинения в русской культуре скорее, чем в немецкоговорящей, где степень десемантизации и клишированности выше» (Ратмайр Р. Функциональные и культурно-сопоставительные аспекты прагматических клише (на материале русского и английского языков) // Вопросы языкознания. 1997. № 1. С. 17).

<sup>21</sup> Михайлов А. В., Михайлова Т. В., Тарасенко Т. В. О состоянии русского языка в Красноярском крае (к некоторым итогам новейшего исследования) // Пайдейя (Ежеквартальный вестник образования). Красноярск. 2002. № 1. С. 7—15.

языке произошли изменения, какие, от чего зависят эти изменения. Положительный ответ на этот вопрос дали более 80% респондентов; среди изменений в основном были отмечены заимствования (90%), упрощение и деградация языка. Среди причин были названы: экономическое, политическое и социальное развитие страны, изменение уровня образования, большая свобода слова, равнодушное отношение к языку (60%); усиление влияния Запада и других культур (30%). Наблюдения над функционированием ЭРЖ в современной российской действительности показывают, что по отношению к родному языку каждый носитель языка в большинстве случаев проявляет себя как знаток и законодатель, который довольно терпимо относится к появлению новых форм в языке и без труда их осваивает.

*Т. С. Тихомирова*

**Узуально-ситуативные речевые элементы  
как объект сопоставительного изучения  
(на примере средств выражения согласия/  
несогласия в русском и польском языках)**

Сопоставительное языкознание может исходить из различных общетеоретических постулатов и обращаться к разным пластам рече-языковой действительности, что позволяет устанавливать межъязыковые эквиваленты не только на уровне системно-языковом или же функционально-речевом, но и в сфере собственно коммуникативной.

Основой сопоставительных исследований может, следовательно, быть и активно развивающаяся в последнее время теория актов речи с привлечением социолингвистического и прагматического аспектов.

Теория актов речи постулирует, в частности, что каждой типовой коммуникативной ситуации свойственны не менее типовые речевые высказывания, которые вербально ее обслуживают наряду с другими средствами (например, перформативными и подобными им конструкциями), несут в себе, воплощают иллокутивный замысел. В типовой коммуникативной ситуации проявляется социально-обусловленный вариант поведения членов социума, в том числе и речевого. Ситуация, как писал польский ученый Ст. Грабяс, навязывает вербальную формулу. Эти выражения — формулы приветствия, просьбы, возражения и т. д. — устойчиво закреплены речевым обычаем социума за определенными ситуациями и проявляют высокую степень зависимости от ее социолингвистических и прагматических особенностей. Типизированные высказывания, обусловленные типическими ситуациями и получающие благодаря им определенные коммуникативные функции, становятся — независимо от полноты или неполноты своей структуры — самостоятельными и самодостаточными коммуникативными единицами. Своей воспроизводимостью они и отличаются от свободных развернутых речевых актов, базирующихся в большинстве случаев на

перформативных глаголах. Основные особенности этих высказываний кроме привязанности к речевой ситуации и к определенному иллокутивному намерению — это стандартность и узуальность, они общеприняты в данном социуме. Привычные узуально-закрепленные и даже конвенциональные выражения тяготеют к лексикализации и фразеологичности и в каждом языке образуют ряды функционально-ситуативных и иллокутивно-синонимичных слов и оборотов, которые, однако, значительно дифференцированы как по социолингвистическим и прагматическим параметрам, так и — в стилистическом и экспрессивно-эмоциональном отношении. Применительно к каждой речевой ситуации и речевому акту число их может быть значительно, хотя и не безгранично. Во всех работах отмечается их клишированность и даже шаблонность, а для их именования используются весьма различные термины: устные речевые жанры, типические формы высказывания (М. М. Бахтин), устойчивые формы общения (Н. И. Формановская), коммуникативные клише, ситуационно обязательные формы (В. Н. Комиссаров) и др. Ввиду того что эти выражения общеприняты, конвенциональны, обусловлены коммуникативной ситуацией, ситуацией акта речи, коммуникативно воспроизводимы и обладают высоким уровнем лексикализации, их можно было бы назвать **узуально-ситуативными речениями**.

Единицы данного типа, обладающие разной степенью стереотипности, выступают в разных речевых сферах. Преимущественная их сфера — разговорно-речевая, сфера непосредственного контактного общения, хотя могут они функционировать и в официальном варианте языка. Будучи принадлежностью акта непосредственной коммуникации, эти речения, как правило, адресны, т. е. ориентированы на адресата — конкретного или обобщенного. Для многих узуально-ситуативных речений (далее — УСР) характерна яркая стилистическая и экспрессивная окрашенность, нередко подавляющая их первоначальный смысл (см. современное популярное прощание *давай*, польск. *buwaj*). В устной речи их выделяет определенная интонационная оформленность. Отталкиваясь от известных классификаций Дж. Остина и Сёрля, современные лингвисты предлагают новые критерии оценки и типологии речевых актов и опосредованно — узуально-ситуативных речений (см. [Nęcki 1996; Awdziejew 1987; Богданов 1990; Формановская 1987] и др.). Центральную позицию обычно занимают речевые акты, объединенные понятием речевого этикета (Н. И. Формановская, К. Oźóg и др.). Возможны также узуальные речения вне этикета и правил вежливости — это призывы на помощь, предостережения и др., а с

противоположным знаком невежливости и грубости — выражения с иллюкутивной силой угрозы, брань (см. русск. *вот ужас!*, *смотри!*, польск. *wolnego!*). Иногда в разряд ситуативных речений включают абсолютно ритуализованные и более того — закрепленные соответствующими уставами воинские команды. Узуально-ситуативны также команды и призывы животных, охотно изучаемые в диалектологии.

Достаточно узуально-устойчивыми являются «значащие» вторичные междометия — типичные выразители эмоционального и психического состояния — удивления, досады, презрения и т. п., так как именно это состояние определяет вербальную реакцию говорящего, составляя внутреннюю ситуацию акта речи с иллюкутивной силой оценки.

Особое место среди узуально-ситуативных высказываний занимают реплики диалога, специфической особенностью которых следует признать их «реактивный» характер, в силу чего они обнаруживают зависимость от речевого контекста, иногда довольно значительную. Узуально-ситуативные реплики отражают широкий спектр иллюкутивных намерений: верификацию реплики адресата, подтверждение, согласие и несогласие, оценку и т. п.

Безусловно, сведенные воедино, все эти выражения — семантически, структурно, коммуникативно, стилистически — представляют собой довольно пеструю картину, репрезентируют весьма разнородные речевые акты, но, как кажется, обладают общими признаками: обусловленностью коммуникативной ситуации, устойчивостью, узуальностью, воспроизводимостью, что и может оправдывать наименование их узуально-ситуативными речениями. Вместе с тем именно все эти свойства и прежде всего — зависимость от стандартной коммуникативной ситуации, сходство самих коммуникативных ситуаций у народов, принадлежащих к одному культурно-цивилизационному кругу, — все это предрасполагает к тому, чтобы узуально-ситуативные речения стали объектом сопоставительных исследований.

Целью таких исследований могло бы стать установление межъязыковых узуально-ситуативных эквивалентов. Такой аспект сопоставительного анализа уже предусматривался в славистике в трудах А. Вежбицкой, Х. Фонтаньского, Ст. Сятковского, А. Богуславского, Н. И. Формановской и др., имеются и соответствующие описания (см. работы по этикетным словам в разных языках Н. И. Формановской, Л. Г. Кашкуревича и Н. Р. Рыболовлева), которые подтвердили обоснованность такого подхода.



Предполагается, что установление межъязыковых эквивалентов в области узуально-ситуативных речений необходимо проводить в опоре на тождество типовой коммуникативной ситуации, иллокутивной цели высказывания с учетом всех непосредственных условий речевого акта, общности смысловых, социолингвистических и прагматических особенностей. Условия межъязыковой эквивалентности для узуально-ситуативных речений предполагают совпадение всех этих показателей — т. е. максимально достижимую идентичность всех компонентов базовой ситуации, не только иллокутивных намерений говорящего и возможных сопутствующих дополнительных прагматических смыслов, степень узуальности и клишированности, но и одинаковую допустимость использования их в идентичных обстоятельствах конкретного речевого акта (обстановка, соотношение коммуникантов и т. п.). Особая значимость приписывается экспрессивно-стилистическому соответствию исследуемых языковых фактов, что очевидно. Естественным компонентом узуально-ситуативных речений, остающимся пока, к сожалению, вне досягаемости лингвистического анализа, является вся аудио-визуальная «оболочка» речи (интонационный рисунок, мимика, жесты, тональность голоса и т. п.), так как требует совершенно иной методики и технологии, включая мультимедиаальную технику.

Сопоставительное языкознание выделяет несколько типов межъязыковой эквивалентности — структурно-системный, функциональный, узуально-стилистический (Ст. Сятковский, Вл. Барнет, А. Г. Широкова). Узуально-ситуативные эквиваленты, как кажется, имеют черты сходства с узуально-стилистическими, но и отличаются от них. Первые являются единицами коммуникативно-речевого, а не номинативно-системного плана, они семантически и прагматически обусловлены ситуацией и связаны с ней иллокутивной функцией, в то время как этими чертами обладает только часть узуально-стилистических эквивалентов типа стандартных вопросов о времени или распространенных табличек и вывесок, остальные же функционируют как компоненты связного текста, объединенные тождеством значения при узуально-различном строении структуры. Не совпадают также у двух видов узуальных эквивалентов и условия, которым должно соответствовать признание эквивалентности.

В качестве достаточно общей попытки приложения этих теоретических постулатов и требований к конкретному материалу предлагается рассмотрение одного типа узуально-ситуативных речений, а именно тех выражений, которыми русские и поляки могут выразить свое согласие или несогласие с собеседником.

Содержательную основу таких выражений составляет намерение, коммуникативное задание, которое можно свести к репликам: рус. *да-нет*, польск. *tak-nie*; *да, конечно*; *a to*; *само собой*; *и не подумаю*; *как бы не так*; польск. *tak jest*; *ależ skąd*; *no właśnie*; *ani mi się śni!*; *no nie!* (оставляю в стороне паралингвистические средства выражения согласия/несогласия). Узуальные формулы и речения с данной функцией составляют общность ввиду своего узуально-ситуативного характера и иллюкутивной силы, они относятся к примарным речевым жанрам, так как реализуются *face to face*, здесь и сейчас. Оба типа речений — согласия и несогласия — характеризуют обусловленность диалогом, в котором они являются обязательным компонентом, ответной репликой-реакцией, вызванной репликой-стимулом: именно императивность условия диалога, необходимость реакции составляет, по всей вероятности, его характерную примету. Наряду с некоторыми другими речевыми действиями выражения согласия/несогласия связаны не только с внешней ситуацией речевого акта, но и значительно ориентированы прагматически — ответная реплика носит личностный характер и выражает субъективную реакцию говорящего. Как все диалоговые реплики, эти речения адресативны, что вызывает необходимость с особым вниманием трактовать взаимоотношения и социальные роли коммуникантов.

При всей своей клишированности они не принадлежат к этикетным словам, а, напротив, охватывают стилистически безграничную сферу — от вежливых и общественно-конвенциональных до предельно раскованных и сниженно-просторечных и даже агрессивно-вульгарных показателей несогласия.

Объединенные функционально-прагматической и ситуативной общностью, данные речения как целое не слишком привлекали внимание грамматистов и лексикологов. В категориальном отношении они трактуются предельно разнообразно и распределяются в современных польских и русских грамматиках по совершенно разным частям речи (см. [Грамматика 1980; Русский язык 1997; Gramatyka 1998; Encyklopedia 1991] и др.). Часть этих речений рассматривается как вводные или модальные слова (рус. *конечно*, *разумеется*, *безусловно*, польск. *rzeczywiście*, *oczywiście*), другие же как частицы (польск. *jak najbardziej*, *własnie*), либо их выделяют как особые частицы, способные функционировать в диалоге в качестве реплицирующего элемента (рус. *да*, *хорошо*, *ладно*), либо включают в междометия, при том что в функции выражения согласия/несогласия действительно выступают междометия и другие нечленораздельные звучания, по-разному передаваемые на письме: *aga*, *угу*, *aha*, *yhm*.

Лишь в последнее десятилетие эти речения стали анализировать (в том числе и в лексико-прагматическом отношении) в рамках изучения речевых актов согласия/несогласия, но, как правило, не выделяя среди прочих средств выражения (см., например, серию кандидатских диссертаций, написанных под руководством проф. В. А. Белошапковой [Добрушина 1993; Хоанг Ань 1993; Галактионова 1995; Фомина 2000]), в польской лингвистике [Dobraczewski 1998]). Работы по сопоставительному анализу этой группы лексики нам неизвестны.

Описание межъязыковых польско-русских узуально-ситуативных эквивалентов с интенциональным содержанием согласия/несогласия предусматривает использование единой классификационной модели, построенной по определенным параметрам.

Первый аспект дает возможность оценить место узуально-ситуативных речений среди прочих видов выражения данного интенционального содержания. В качестве исходного репрезентанта, выступающего и в русском, и в польском языках, выделяются конструкции, базирующиеся на перформативных глаголах типа рус. *я согласен — не согласен, не возражаю — возражаю*, польск. *zgodzam się — nie zgodzam się, nie zaprzeczam* и др., а также их модальные модификаторы и синонимические выражения: рус. *Не могу с вами согласиться; Я так не считаю; Вы не правы* и др., польск. *Trudno mi się z panem zgodzić; Jestem innego zdania* и под. Далее отмечаются структуры полного и/или частичного повтора, копирование реплики-стимула, представленной, в частности, общим вопросом, с отрицанием и без него: рус. *Ты сдала экзамен? — сдала/не сдала, Ты не сдала экзамен? — сдала/не сдала*. Широко используются также опосредованные речевые акты, выраженные косвенными ответами, искомым смыслом которым придает именно коммуникативная ситуация и ее иллокутивная нацеленность, а также и реплика-стимул или же более широкий контекст диалога. Так, иллокутивной цели может служить обоснование говорящим своего положительного или отрицательного ответа на предложение: рус. — *Придете вечером? — Всегда рад с вами встретиться/Я буду занят*, польск. — *Może weźmie pan proszek od bólu głowy — Chyba nie warto*. В этом качестве согласия или отказа может использоваться благодарность, комплимент или другая оценка собеседника. И, наконец, выразителем иллокутивного согласия/несогласия выступают собственно узуально-ситуативные речения типа рус. *да, идет, я всегда пожалуйста, ну!, слушаюсь, всенепременно, да ради бога, пожалуйста, ну уж нет, ни за что, с чего бы?, вот еще* и др., польск. *ano tak, owszem, zgodza się, właśnie, prawda, słusznie, jeszcze by nie, rozkaz, naturalnie,*

*pewno, faktycznie, nie, ależ nie, skąd, jeszcze czego, no nie* и под. В каждом из языков они составляют довольно замкнутый круг. При сопоставлении текстов, оригинальных и переводных, при установлении особенностей речевой ситуации и возможно выявление межъязыковых эквивалентов. При рассмотрении узуально-ситуативных эквивалентов учет вышеуказанных узуально-незакрепленных высказываний обусловлено тем, что все эти средства выражения составляют общий корпус реализации РА согласие/несогласие, а в конкретном диалоге тесно взаимодействуют друг с другом. Стандартные реплики, будучи привычными показателями согласия/несогласия, являют собой вполне коммуникативно завершенные единицы, способные при поддержке ситуации, стимулирующей реплики и интонации самостоятельно осуществить коммуникативное задание, однако передают это значение в достаточно общем плане. Поэтому нередко (хотя и не всегда) говорящий для достижения большей успешности РА может расширить краткую реплику за счет менее конвенциональных, но содержательно более полных высказываний: рус. — *Вы ходите в театр? — Еще бы. Я безумно люблю театр* (Вампилов); польск. — *Jakoś doniosę. Włożę do siatki. — Nie, Misiu, trzeba zawiązać, tak nie można.* Польский язык располагает также синтаксической конструкцией конкретизации общего показателя согласия/несогласия с помощью союза *że*: *oczywiście, że...; pewno, że...; właśnie, że...*, служащей часто для введения частичного повтора стимулирующей реплики: — *Mama jeszcze nie śpi? — Pewnie, że nie śpi. Także coś. Zamartwiła się, że Alek nie wraca* (Andrzejewski). Тем самым узуально-ситуативная реплика становится «камертоном» всего дальнейшего высказывания. О других типах распространителей будет сказано ниже.

Исследования по польскому и русскому диалогу (см. [Nęcki 1996; Awdziejew 1987; Data 1991; Warchała 1991; Винокуп 1993] и мн. др.) свидетельствуют о значительной общности закономерностей построения диалога и речевого акта согласия/несогласия в обоих языках (см. роль препозиции, проблема истинности/ложности, критерий информированности и т. п.). Это позволяет при анализе узуально-ситуативных речений сосредоточиться на собственно языковых факторах. Наиболее существенными представляются лишь синтагматические показатели, а именно формально-семантические характеристики иницирующей реплики-стимула: какой тип высказывания — информативный, общевопросительный или побудительный — она представляет, связано ли ее содержание непосредственно со сферой говорящего или слушателя и т. п.

С формально-структурной точки зрения исследуемые речения в обоих языках весьма неоднородны. Это и самостоятельные лексемы различного происхождения типа рус. *разумеется, ясно, прям!, правда*, польск. *nie, jasne, skąd, rzeczywiście*, лексикализованные сочетания с разной степенью фразеологизированности, восходящие к частицам, союзам и другим частям речи типа рус. *еще бы; да вы/ты что; еще чего; само собой; вот и нет; и не говорите* и др.; польск. *jeszcze czego; ale nież; także coś; nic podobnego* и под. Часть из них несет на себе следы происхождения — это эллиптические выражения так называемого «осколочного» характера, которые могут быть «дорощены» до грамматически полной фразы, т. е. включены в ее структуру. Так, выражение *z jakiej racji* — ответ-отказ, который может выступать и в составе предложения (*Z jakiej racji ja tam odpowiadać za twoje tchórzostwo?* (Sł JP 7: 779), ср. рус. *Ты ему напишешь? — С чего бы/с какой стати? (это я буду ему писать?)*). Другие же представляют собой вполне изолированные лексические единицы, а если и допускают распространение, то не грамматического, но семантико-прагматического плана (рус. *именно — вот именно; точно — так точно; нет — вовсе нет*).

Как показывают исследования данного РА, семантическое поле согласия/несогласия, иными словами, варьирование исходного интенционального содержания, охватывает по крайней мере четыре семантические зоны, которые в рамках общей типовой ситуации с помощью всех возможных средств фиксируют различные коммуникативные установки говорящего и соотносимы в польском и русском языках.

Первая зона — это согласие/несогласие как верификация истинности, подтверждение/отрицание предположения или информации о тех или иных фактах, подлежащих верификации и заключенных в реплике-стимуле, сформулированной в виде общего вопроса. Для подтверждения истинности («да, именно, так есть, было, будет в действительности») используются в русском языке выражения: *да, конечно, верно, естественно, так точно, ага, правда, еще бы нет* и др., в польском: *rzeczywiście, prawda, zgadza się, tak jest, a tak, naturalnie*, модное словечко *dokładnie* и др. При отрицании же истинности допущения, содержащегося в вопросе: рус. *нет, неверно, никак нет, да нет, не-а, да ты что* и др., польск. *nie, nieprawda; coś ty, także coś, skąd* и др.

Разновидностью согласия-верификации можно признать реплики, означающие, что говорящий услышал и принял к сведению информацию («буду теперь знать»): рус. *хорошо, ладно*, польск. *dobrze, dobra, OK*.

Вторая семантическая зона включает реплики, выражающие согласие/несогласие с мнением собеседника, признание его правоты/неправоты, солидарность с ним или же признание его мнения неправильным. По нашему мнению, это всегда связано с категорией оценки («одобряю/не одобряю»), что и отличает в частности данную разновидность от предыдущей (см. [Богданов 1990]: разграничение экспозитивов — соглашения, допущения, оспаривания от вердиктивов — одобрения-неодобрения). Принятие мнения выражают рус. *да, во-во, еще бы нет, именно, воистину, неужто нет, да неужели, без сомнения, несомненно, правильно* и др., польск. *tak, właśnie, no, owszem, słusznie, ano tak, zapewne, oczywiście, jakbyś zgadł, dokładnie* и др. Отрицательная оценка и несогласие с суждением собеседника реализуется как возражение, оспаривание — «не одобряю, не верю, я так не думаю»: рус. *вот и нет; что ты/вы; да нет; брось; да брось (те); бог с вами; ну что ты/вы; ну да, рассказывайте; ну не скажи (те)* и др., польск. *ależ nie; e tam; skąd; no wiesz; nic podobnego* и др. Как положительное, так и отрицательное отношение может проявляться в реплике, оценивающей содержание или словесную форму услышанного или же самого собеседника, что в данной ситуации равносильно с высказанным мнением или соответственно — резкому неприятию, возражению: рус. *золотые твои/ваши слова; глупости; ерунда; скажешь тоже; с ума сошел*, польск. *glupstwa gadasz; zwracanie głowy; coś ty, z byka spadłeś* и др.

Необходимо отметить, что в конкретной ситуации общения указанные семантические зоны — верификация истинности, солидарность с мнением — могут иметь весьма лабильные границы, равно как и то, что их операторы могут нести дополнительные функции — фатическую (*да-да, no tak, zgoda* — как сигнал получения информации) и экспрессивную.

Согласие в третьей зоне может быть определено как согласие-разрешение, санкция, позволение в ответ на прямой или косвенный запрос, просьбу или сообщение о намерениях: рус. *да, пожалуйста, безусловно, идет, валяй, так уж и быть*, польск. *tak, proszę, oczywiście, naturalnie, niech ci będzie* и под. Отметим, что несогласие не имеет характера императивного запрета (ср.: *нельзя, nie wolno*), но является лишь негативной оценкой, негативным отношением к предполагаемым намерениям, это лишь отсутствие разрешения: рус. — *Я тебя отвезу. — Нет уж* (Маринина), польск. *Nie, co znowi*. В этом, в частности, находит отражение отсутствие полной зеркальности в семантике согласия/несогласия, что фиксируется и в других случаях.

Четвертую семантическую разновидность составляет согласие как выражение готовности совершить действие в ответ на выраженное собеседником предложение, просьбу, приказ (прямой или косвенный): рус. *да, конечно, разумеется, ладно, лады, добро, есть, будет сделано* (со всеми шутливыми фонетическими модификациями); польск. *tak, zgoda, dobrze, dobra, zrobi się, rozkaz*, отсутствие же согласия является отказом, нередко весьма решительным: рус. *нет, да уж нет, нетушки, (да) ни за что, вот уж нет, вот еще, и не подумаю, фиг вам*, польск. *ani mi się śni, za nic w świecie, ależ nie, ależ coś ty, jeszcze czego, no nie* и под.

Каждая из этих семантических зон связана с теми или иными типами стимулирующих реплик, с их лексическим или грамматическим оформлением, так, например, акту солидарности с мнением присуще наличие ментальных глаголов или возможность их ввести в текст, наличие оценочных слов, преобладание форм I лица и некоторые другие черты.

Наряду с представленными выше параметрами семантического варьирования при анализе межъязыковых эквивалентов следует обращать особое внимание на наличие/отсутствие дополнительных прагматических смыслов, на передачу совмещенных значений, примером чего может служить сопряжение общего значения согласия — готовности с подчеркнутый вынужденностью такого решения, принятия его после сомнений и колебаний, ср. рус. *так уж и быть, так и быть*; соответственно польск. *niech będzie, trudno*. Настоятельное подтверждение своего высказывания, по мнению говорящего, должно нейтрализовать предполагаемое сомнение собеседника, см. рус.: — *По одежке встречаете?* — *А ты думал! На этой работе глаз — первое дело* (Вампилов), польск.: — *Mat tu poważne propozycje — Ty?* — *A żebyś wiedział* (Andrzejewski). Непременным условием реализации тех или иных значений или прагматических оттенков безусловно является наличие их общего интонационного рисунка, ср. рус. *ну да* — подтверждение и *ну да* — несогласие.

Анализ польского и русского материала в указанных аспектах позволяет, как кажется, высказать некоторые предварительные выводы.

В польском и русском языках наблюдается общее разделение на семантические зоны, что, однако, не гарантирует тождества в их дальнейшей дифференциации и различий в мощности и разнообразии лексического наполнения.

Все семантические различия в рамках РА согласие/несогласие тяготеют к двум оппозициям. Одна из них — это сфера говорящего и сфера собеседника, что, видимо, оказывается существенным для

части речений и проявляется не только в реплике-стимуле, но и в реплике-реакции (обсуждаемая информация или намерения могут затрагивать только одного, а не обоих собеседников). Вместе с тем зона верификации и зона одобрения, солидарности как зоны вербально ориентированные противопоставляются зонам, связанным с действием (согласие-готовность и согласие-разрешение).

Нельзя не отметить разную степень семантической обобщенности исследуемых речений, проявляющуюся в обоих языках. С одной стороны, существуют реплики, обладающие максимально широким семантическим диапазоном, своеобразной семантической глобальностью, выступающие во всех зонах, см. рус. *да, конечно, естественно, нет* и др., польск. *tak, oczywiście, owszem, no, no nie, ależ; skąd*. Однако эта полисеманτικότητα по существу является мнимой, так как в условиях живой речи, конкретной коммуникативной ситуации смысл реплики однозначно маркируется и самой ситуацией, и предшествующим контекстом речи, и, главное, специализированным интонационным оформлением, а также мимикой и жестом говорящего.

Вместе с тем наблюдается специализация отдельных речений. Наиболее отчетливо проявляют избирательность выражения, связанные с действием говорящего, например речения рус. *боже сохрани, спаси господь* или польск. *broń Boże* обслуживают только сферу говорящего, а выражения рус. *правильно*, польск. *śluszenie* оценивают мысли и действия собеседника. Обусловленность ситуацией способна разграничить даже сами коммуникативные тенденции и оттенки коммуникативного задания (так, рус. *ради бога* в реплике согласия обозначает разрешение, а вне ее — просьбу) или же лексическое значение (так, польск.  *pewnie* в реплике обозначает уверенное согласие — «конечно, безусловно», в функции же вводного слова — неуверенность).

Не требует особых доказательств то, что при сопоставительном анализе межязыковых узуально-ситуативных эквивалентов необыкновенно важно установить не только их репертуар, распределение и соотнесенность с различными модификациями смысла, но также их стилистические и экспрессивно-эмоциональные характеристики. В этом отношении оба языка обладают огромным диапазоном речений — от нейтрально-литературных до сниженно-разговорных и даже вульгарных, способных обслуживать диалоги в любой тональности — от вежливого спокойствия до предельного возбуждения. В обоих языках используются средства «тонирования» интенционального смысла — либо снижение, ограничения согласия (см. рус. *в общем да* — согласие с оговоркой), смягчения от-



каза либо наоборот особого подчеркивание, выделение ответа, демонстрация его безусловности. С этой целью в обоих языках широко практикуется повтор (см. рус. *да-да; вот-вот; как же как же, ну да ну да, нет-нет* и т. п., польск. *ale ale, tak tak, jakże jakże*), нанизывание синонимических речений (рус. *да, конечно; нет, ни в коем случае; да-да, точно; да, совершенно верно* и т. д., польск. *a tak owszem; ale trudno; ależ tak; ależ nie; nie bynajmniej* и др.), сочетание с усилительными частицами типа рус. *ну нет, ну да, да нет же, ну уж нет* и под., польск. *nie po nie, ależ co ty, nie po* и др.), а также сочетания с так называемыми модализаторами типа рус. *пожалуй, вроде, в общем, в целом* и др., польск. *chyba*.

Все указанные выше особенности, свойственные узуальным средствам выражения согласия/несогласия, — от формальной устроенности, способов включенности в диалог, семантико-прагматического варьирования интенционального задания до стилистических и экспрессивных характеристик, присущих им как языковым единицам, реализуются в типовых ситуациях данного РА. В каждой же конкретной ситуации речевого общения говорящий, обладая всем (или значительной частью) этого богатства речевых средств, распределенных по рассмотренным выше параметрам, и выполняя свое коммуникативное задание, иллюкутивную интенцию, осуществляет выбор. На этот выбор влияют как его индивидуальные свойства (уровень его языковой и коммуникативной компетенции, культуры и образованности, характер и актуальное эмоциональное состояние, привычки и т. п.), так и социолингвистические условия речевого акта (официальность/неофициальность обстановки, соотношение социальных ролей с собеседником, степень знакомства, возраст и даже языковая мода). Каждое из этих обстоятельств может существенно ограничивать его выбор в каждом из языков.

Установление и описание межъязыковых узуально-ситуативной эквивалентности может быть осуществлено только в опоре на все формальные, семантико-прагматические, стилистические, социолингвистические признаки тождества объектов.

При всей сложности осуществления этой задачи она, как кажется, заслуживает внимания, и не только лингвистов, но и культурологов, переводчиков, лингводидактиков и лексикографов. Результаты этой работы им остро необходимы.

#### Л и т е р а т у р а

Богданов 1990 — Богданов В. В. Речевое общение: Прагматические и семантические аспекты. Л., 1990.

Винокур 1993 — *Винокур Т.Г.* Говорящий и слушающий: варианты речевого поведения. М., 1993.

Галактионова 1995 — *Галактионова И.В.* Средства выражения согласия/несогласия в русском языке: Автореф. дис. ... канд. филол. наук. М., 1995.

Грамматика 1980 — *Грамматика русского языка*. Т. 1. М., 1980.

Добрушина 1993 — *Добрушина Е.В.* Верификация в современной русской диалогической речи: Автореф. дис. ... канд. филол. наук. М., 1993.

Кашкуревич, Рыболовлев — *Кашкуревич Л.Г., Рыболовлев Н.Р.* Речевой этикет. Вариативность социолингвистических моделей в польском и русском языках. М., 1996.

Русский язык 1997 — *Русский язык: Энциклопедия*. М., 1997.

Фомина 2000 — *Фомина Е.В.* Коммуникативные фразеологизмы с компонентами *что* и *как*. Структура и семантика: Автореф. дис. ... канд. филол. наук. М., 2000.

Формановская 1987 — *Формановская Н.И.* Русский речевой этикет: лингвистический и методический аспекты. М., 1987.

Хачкарек 1998 — *Хачкарек А.* Прагмалингвистическая категория вежливости как инструмент диалогового взаимодействия коммуникантов на русском языке (в сравнении с польским): Автореф. дис. ... канд. филол. наук. М., 1998.

Хоанг Ань 1993 — *Хоанг Ань.* Высказывания со значением разрешения и запрещения в русском языке: Автореф. дис. ... канд. филол. наук. М., 1993.

Awdziejew 1987 — *Awdziejew A.* Pragmatyczne podstawy interpretacji wypowiedzeń. Kraków, 1987.

Bogusławski 1997 — *Bogusławski A.* Zagadnienie jednostek przekładowych // Współczesny język polski i rosyjski. Konfrontacje przekładowe. Warszawa, 1997.

Data 1991 — *Data K.* Rodzaje replik w dialogu. Kraków, 1991.

Dobaczewski 1998 — *Dobaczewski A.* Cechy składniowe i semantyczne polskich dopowiedzeń potwierdzających. Warszawa, 1998.

Fontański 1980 — *Fontański H.* Rodzaje podstaw funkcjonalno-semantycznych w opisie konfrontatywnym // Семантика в badaniach konfrontatywnych języka rosyjskiego i polskiego. Katowice, 1980.

Encyklopedia 1991 — *Encyklopedia języka polskiego*. Oss, Wrocław, 1991.

Gramatyka 1998 — *Gramatyka współczesnego języka polskiego: Morfologia*. Warszawa, 1998.

Неcki 1996 — *Неcki Z.* Komunikacja międzyludzka. Kraków, 1996.

Оzog 1984 — *Оzog K.* Grzecznościowe akty wowy. Kraków, 1984.

SiJP — *Słownik języka polskiego / Pod red. W. Doroszewskiego*. Warszawa, 1958—1969. Т. 1—11.

Warchała 1991 — *Warchała J.* Dialog potoczny a tekst. Katowice, 1991.

Wierzbicka 1983 — *Wierzbicka A.* Akty mowy // *Tekst i zdanie*. Wrocław, 1983.

Zydek-Bednarczuk 1994 — *Zydek-Bednarczuk U.* Struktura tekstu rozmowy potocznej. Katowice, 1994.

*И. С. Улуханов*

**О новых возможностях  
изучения истории славянских языков  
(по материалам «Словаря древнерусского языка  
XI—XIV вв.»)**

В докладе рассматриваются те особенности «Словаря древнерусского языка (XI—XIV вв.)» (СДРЯ), которые отличают его от всех других славянских исторических словарей и которые, на наш взгляд, открывают новые возможности изучения истории как русского языка, так и других славянских языков.

Предложенная Р. И. Аванесовым — инициатором и первым редактором СДРЯ — система словарей восточнославянских языков древних периодов истории, как известно, выглядит следующим образом:



Указывая на необходимость одного словаря для периода XI—XIV вв., Р. И. Аванесов писал: «При выделении эпохи или исторического периода, письменные памятники которых служат источниками “Словаря древнерусского языка (XI—XIV вв.)”, необходимо учитывать в равной мере данные как истории русского языка, так и истории украинского и белорусского языков, так как древнерусский язык был языком всех восточнославянских народов последующих эпох и общей основой современных восточнославянских языков» [Словарь 1966: 11].

Новые возможности изучения истории славянских (прежде всего восточнославянских языков) определяются двумя главными особенностями СДРЯ: 1) это первый древнерусский словарь-тезаурус; 2) он основан на большом материале памятников, охватывающих

все разнообразие жанров письменности XI—XIV вв. Сочетание этих двух свойств — весьма редкое явление в исторической лексикографии. СДРЯ создан на базе картотеки, включающей каждое из полутора миллионов употреблений каждого слова во всех почти 800 памятниках, сохранившихся в списках XI—XIV вв. и явившихся источниками СДРЯ.

Благодаря наличию такого материала открываются новые возможности диахронического изучения всех уровней древнерусского языка.

Ниже мы остановимся главным образом на некоторых вопросах изучения исторической лексикологии и исторического словообразования.

1. Для исторической лексикологии весьма ценными являются имеющиеся в СДРЯ статистические данные об употребительности каждого слова. Возникла возможность составления частотного словаря лексики XI—XIV вв.

При этом возможны разнообразные сопоставления этого частотного словника с частотными словниками современного русского языка и других славянских языков. Для современного русского языка это сопоставление облегчается тем, что «Частотный словарь русского языка» под редакцией Л. Н. Засориной (далее ЧС) составлен на основании обработки одного миллиона словоупотреблений, что дало около 40 000 единиц словаря. Таким образом, материалы картотеки СДРЯ (1,5 миллиона словоупотреблений и более 30 тысяч слов) вполне сопоставимы с данными ЧС.

Частотные данные СДРЯ (тт. 1—6) сопоставляются ниже с данными еще двух словарей-тезаурусов славянских языков — старорукраинского XIV—XV в. (СУ) и старославянского (СС). Эти словари основаны на гораздо меньшем числе словоупотреблений<sup>1</sup>, поэтому показательна не столько абсолютная, сколько относительная частота приводимой в них лексики. СУ содержит ~ 12 000 слов, СС — ~ 10 000.

1.1. Наибольшей частотностью во всех четырех обследованных словарях характеризуются, естественно, служебные слова — союзы и предлоги. Так, в картотеке СДРЯ наиболее частотным словом является союз *и* (примерно 140 тыс. словоупотреблений); он же является наиболее частотным и в СУ (21 961) и в СС (> 17 000). В современном частотном словаре он занимает второе место (более

<sup>1</sup> СУ основан на 260 тысячах употреблений, а общее число словоупотреблений по всем 18 памятникам-источникам СС — не установлено (см. [СС: 10]). Ясно, однако, что это число гораздо ниже числа словоупотреблений, представленных в ~ 800 памятниках-источниках.

36 тысяч словоупотреблений), а первое место в этом словаре занимает предлог *в* (*во*) с частотой около 43 тыс. Однако, как показал А. Ф. Журавлев [Журавлев 1998], данные этого словаря, относящиеся к началу алфавитного списка (а—в), нуждаются в исправлении: истинная частота предлога *в* — 32 897, т. е. *и* в современном языке *и* является наиболее частотным словом. Четырехкратное уменьшение в истории русского языка частотности союза *и* вызвано, скорее всего, утратой сложных предложений с нерасчлененной структурой, для которой характерно «нанизывание» предложений, а также утратой противительного значения *у* этого союза.

Среди полнзначных слов наиболее частотным словом в СДРЯ является глагол *быти* (более 50 тыс. употреблений). Он же является наиболее употребительным полнзначным словом и в современном русском (по уточненным данным — 10 927), и в старославянском языках (> 7000). В языке староукраинских деловых документов — источниках СУ — он занимает третье место (7556) среди полнзначных слов после наиболее частотных *пань* (10 800) и *вѣра* (8522).

Частотность глагола *быти* — единственного полнзначного слова, входящего в первую десятку в древнерусском, старославянском и в современном языке, объясняется, видимо, тем, что он совмещает функции вспомогательного глагола и полнзначного слова, причем его большая частотность в древнерусском языке по сравнению с современным и объясняется, видимо, тем, что в качестве вспомогательного глагола он выступал в большем числе форм (*есмь, есть, соуть, баше, бы, бѣ* и др.).

Вторым по частоте полнзначным (и первым — чисто полнзначным) словом в древнерусском языке является слово *богъ* (более 11 тыс. словоупотреблений). Достаточно частотно оно и в СС (> 2100 — пятое место среди полнзначных слов после *быти* (> 7000), *глаголати* (> 3300), *азь* (> 2700) и *вы* (> 2500)) и гораздо менее частотно — в СУ (причина — деловой характер его источников) — 636 употреблений (46 место среди полнзначных слов). Даже производное *божїи* (848) частотнее в деловых староукраинских памятниках, чем слово *богъ*.

Частота слова *богъ* в современных текстах (речь идет о текстах, легших в основу частотного словаря, вышедшего в 1977 г.) весьма низка — 438 употреблений (по уточненным данным); в текстах последнего времени эта частота, видимо, больше. Наиболее частотным существительным в современном языке является *год* (более 2000 употреблений), в СДРЯ это слово менее частотно (182 употреблений).

Интересно изучить связь между частотностью слова в древнерусском языке и его дальнейшей судьбой. Материалы СДРЯ показывают, что подавляющее большинство частотных слов (например, с частотностью более 100) сохранилось в современном языке. Тем интереснее было бы рассмотреть судьбу всех частотных слов, вышедших из употребления, и описать причины (для разных слов различные) этого выхода. Речь идет о таких словах, как указательное местоимение *и*, *я*, *е* (25 тыс. употреблений), союз *аще* (10 тыс.), форма *людие* (10 тыс.), глагол *глаголати* (7 тыс.), местоимение *азь* (более 2 тыс.) и др.

1.2. В настоящее время трудно, конечно, предусмотреть все возможные перспективы исследования данных о частотности древнерусской лексики и ее сопоставления по этим данным с современной лексикой и лексикой других славянских языков. Остановимся на некоторых перспективах сопоставительного статистического исследования славянизмов и русизмов.

Соотношение и взаимодействие славянизмов (старославянизмов и церковнославянизмов) и русизмов является, как известно, центральной, но далекой от разрешения проблемой истории русского языка. Материалы картотеки СДРЯ позволяют делать заключения о частотности и сфере употребления славянизмов и русизмов как в языке вообще, так и в каждом из памятников — источников СДРЯ. Пока такие исследования проведены на весьма ограниченном материале (ср. [Белозерцев 1964; Улуханов 1969]).

В данной работе мы ограничимся исследованием семантически и формально соотносительных славянизмов и русизмов и рассмотрим возможные типы их распределения в следующих сферах употребления языка Древней Руси: 1) деловая речь и частная переписка; 2) летописный рассказ; 3) церковно-книжные памятники.

Слова каждого типа характеризуются одним и тем же распределением в указанных разновидностях языка Древней Руси и одной и той же сферой взаимодействия. Рассмотренный ограниченный материал (в данном случае лексика 1—6 томов СДРЯ) позволяет выявить 22 типа распределения славянизмов и русизмов, представленных на табл. 1, 2, 3. В строчках таблиц расположены типы распределений славянизмов и русизмов, представленные отдельными примерами (ср. *аще/аче* и др.), в столбцах — указанные выше разновидности языка Древней Руси. Плюс или минус в клетках таблицы означает соответственно наличие или отсутствие слов данного типа в картотеке СДРЯ; при этом первый знак (+ или -) в клетке таблицы относится к славянизму, а второй (следующий за вертикальной чертой) — к русизму. Табл. 1 включает 12 типов, характе-

ризующихся следующим распределением славянизмов и русизмов: в одних сферах представлены как славянизм, так и русизм, в других — только один из них. Например, тип № 1 характеризуется таким распределением: славянизм и русизм представлены в деловой речи и летописном рассказе, а в церковно-книжных произведениях — только славянизм. Табл. 2 включает пять типов, характеризующихся тождественным распределением славянизмов и русизмов, а табл. 3 — пять типов, характеризующихся дополнительным распределением.

Как видим, распределение соотносительных славянизмов и русизмов между разновидностями языка Древней Руси, судя по данным СДРЯ, довольно разнообразно. Кроме того, представленные на таблицах типы, во-первых, существенно отличаются друг от друга своей лексической наполняемостью, во-вторых, рассматриваемые слова весьма различны по своей частотности (см. приводимые ниже списки слов, относящихся к каждому из типов). Поэтому таблицы нуждаются в комментировании хотя бы с двух указанных точек зрения. Полное же описание распределения славянизмов и русизмов, включающее анализ контекстов их употребления, может быть предметом отдельной монографии.

Славянизмы первых шести типов на табл. 1 взаимодействуют с соотносительными русизмами в летописном рассказе; это взаимодействие имеет место и у типов № 1, 3, 4 на табл. 2. Летописный рассказ, как известно, — основная сфера взаимодействия славянизмов и русизмов, и полное описание этого взаимодействия необходимо для решения кардинальных вопросов истории русского литературного языка. Не имея возможности останавливаться на них в данном докладе, отметим лишь следующее: если правы те исследователи языка летописи [Львов 1975; Мельничук 1983; Франчук 1986 и др.], которые не считают этот язык церковнославянским (а факты, приводимые в их работах, на наш взгляд, подтверждают эти выводы; ср. также основанные на картотеке СДРЯ данные о распределении славянизмов и русизмов в летописях, отличные от их распределения в церковно-книжных памятниках, приведенные в [Белозерцев 1964; Улуханов 1969]), то следует говорить о функционировании древнерусского языка в этой сфере книжности. Это означает, что в Древней Руси не было того дополнительного распределения (книжная культура — церковнославянский язык, быт — древнерусский язык), которое постулируется сторонниками теории диглоссии, ср. [Успенский 2002].

Из девяти типов распределения (№ 1—6 на табл. 1 и № 1, 3, 4 — на табл. 2) славянизмов, в которых имеет место взаимодействие сла-

внизмов и русизмов в летописном рассказе, лексически ограничены типы № 1, 3 и 6 (на табл. 1) и типы № 1 и 3 (на табл. 2). Причина ограничения типов № 1, 6 (табл. 1) и № 1 (табл. 2) состоит в том, что славянизмы этих типов представлены в деловой речи, а это явление, как известно, достаточно редкое. О взаимодействии славянизмов и русизмов в деловой речи можно говорить лишь применительно к отдельным словам (*аще/аче*, *азь/язь* — тип № 1, табл. 1; *изити/выити* — тип № 1, табл. 2). Такова же причина лексической ограниченности типа № 2 на табл. 2 (не представленного в летописном рассказе).

Таблица 1

№№ типа	Примеры	Деловая речь	Летописный рассказ	Церковно-книжные памятники	Сфера совпадения употребления
1	<i>аще/аче</i>	+/+	+/+	+/-	деловая речь, летописный рассказ
2	<i>брегъ/берегъ</i>	-/+	+/+	+/+	летописный рассказ, церковно-книжные памятники
3	<i>градькъ/городькъ</i>	-/+	+/+	-/-	летописный рассказ
4	<i>градьць/городьць</i>	-/-	+/+	+/-	летописный рассказ
5	<i>влад ѣти/волод ѣти</i>	-/+	+/+	+/-	летописный рассказ
6	<i>вразьжда/ворожьда</i>	+/-	+/+	+/-	летописный рассказ
7	<i>кратькъи/коротькъи</i>	-/+	-/-	+/+	церковно-книжные памятники
8	<i>пець/печи</i>	-/-	+/-	+/+	церковно-книжные памятники
9	<i>клаколь/колоколь</i>	-/+	-/+ <sup>х</sup>	+/+	церковно-книжные памятники
10	<i>изстоупати/выстоупати</i>	-/-	-/+	+/+	церковно-книжные памятники
11	<i>крава/корова</i>	-/+	+/-	+/+	церковно-книжные памятники
12	<i>госпожда/госпожа</i>	-/+	-/-	+/+	церковно-книжные памятники



Таблица 2

№№ типа	Примеры	Деловая речь	Летописный рассказ	Церковно-книжные памятники	Сфера совпадения употребления
1	<i>изити/выити</i>	+/+	+/+	+/+	деловая речь, летописный рассказ, церк.-кн. памятники
2	<i>врань/воронь</i> (прил.)	+/+	-/-	-/-	деловая речь
3	<i>вرافي/вороби</i>	-/-	+/+	-/-	летописный рассказ
4	<i>гладь/голодь</i>	-/-	+/+	+/+	летописный рассказ, церк.-кн. памятники
5	<i>бремь/беремь</i>	-/-	-/-	+/+	церк.-кн. памятники

Таблица 3

№№ типа	Примеры	Деловая речь	Летописный рассказ	Церковно-книжные памятники
1	<i>вратити /воротити</i>	-/+	-/+	+/-
2	<i>вретище/веретище</i>	-/+	-/-	+/-
3	<i>благоболого</i>	-/+	+/-	+/-
4	<i>изскочити/выскочити</i>	-/-	-/+	+/-
5	<i>власатый/волосатый</i>	-/-	+/-	-/+

Лексически ограничены и типы № 3 на табл. 1 и № 3 на табл. 2. Причина этого состоит в том, что они включают старославянизмы (*градькъ, врабии*), представленные в летописи, но отсутствующие в церковно-книжных памятниках, что для старославянизмов нетипично.

Остальные типы славянизмов и русизмов, взаимодействующих в летописи (№ 2, 4, 5 на табл. 1 и № 4 на табл. 2) лексически достаточно многочисленны. Интересно, что наиболее многочисленными среди этих типов оказались типы № 2 на табл. 1 и № 4 на табл. 4, т. е. те типы, которые иллюстрируют наличие славянизмов и русизмов не только в летописном рассказе, но и в церковно-книжных памятниках, хотя в последних, как правило, славянизмы малочастотны.

Приведем данные о частотности некоторых слов, относящихся к каждому из представленных в таблицах типов:

### Таблица 1

тип 1: *аще* (~10 000) — *аче* (54);

тип 2: *властель* (218) — *волостель* (18), *власть* (918) — *волость* (497), *влась* (148) — *волось* (11), *врагь* (758) — *ворогь* (53), *възбрани-ти* (155) — *възборонити* (4), *глава* (~2000) — *голова* (143), *градь* (~1000) — *городь* (847), *градьскыи* (185) — *городьскыи* (21), *изходь* (207) — *выходь* (20), *излазити* (19) — *вылазити* (5), *излѣзти* (74) — *вылѣзти* (22), *изнести* (130) — *вынести* (19), *клада* (15) — *колода* (15), *кладль* (33) — *колодль* (8), *отвьѣцати* (741) — *отвьѣчати* (13); ср. *брегь* (78) — *берегь* (135) и *лакть* (17) — *локть* (105);

тип 3: *градькъ* (3) — *городькъ* (49); *градькъ*, отсутствующее в церковно-книжных текстах, возможно, в отличие от синонимичного старославянизма *градьць*, возникло в древнерусских летописных текстах;

тип 4: *без престани* (100) — *безперестани* (2), *вретено* (2) — *веретено* (1), *изпоуцати* (66) — *выпоуцати* (1); ср. *градьць* (11) — *городьць* (51);

тип 5: *владѣти* (167) — *володѣти* (14), *възвратити* (141) — *възворотити* (17), *изкоупити* (51) — *выкоупити* (7), *крамола* (52) — *коромола* (6), *крамольникъ* (6) — *коромольникъ* (3);

тип 6: *вражьда* (134) — *ворожьда* (5);

тип 7: *влага* (21) — *волога* (3), *гладьныи* (20) — *голодьныи* (3), *кратькыи* (53) — *коротькыи* (5);

тип 8: *брашьно* (427) — *борошьно* (1), *вредь* (179) — *вередь* (8), *врезжатисл* (11) — *верезжатисл* (1), *градьныи* (45) — *городьныи* (10), *изписати* (43) — *выписати* (1), *пець* (149) — *печи* (23); ср. *изсадити* (1) — *высадити* (8), *одежда* (3) — *одежа* (274);

тип 9: *клаколь* (4) — *колоколь* (13);

тип 10: *врании* (3) — *воронии* (3), *изникноути* (8) — *выникноути* (5), *изтечи* (38) — *вытечи* (2), *изтьргноути* (20) — *вытьргноути* (6); ср. *вождь* (3) — *вожь* (52), *изсадити* (1) — *высадити* (7), *изстоупати* (3) — *выступати* (5);

тип 11: *отвьратити* (66) — *отвьоротити* (2); ср. *крава* (7) — *корова* (10);

тип 12: *госпожда* (1) — *госпожа* (140).

**Таблица 2**

тип 1: *изити* (949) — *выити* (109); ср. *истоупити* (12) — *выступити* (23);

тип 2: *врань* (прил.) (2) — *воронь* (1);

тип 3: *вرافي* (1) — *вороби* (6);

тип 4: *влачити* (17) — *волочити* (5), *влеци* (130) — *волочи* (7), *врань* (сущ.) (31) — *воронь* (7), *врата* (310) — *ворота* (101), *вредити* (53) — *вередити* (8), *възвратитисА* (755) — *възворотитисА* (36), *гладь* (261) — *голодь* (26), *гражанинь* (99) — *горожанинь* (42), *износити* (87) — *выносити* (3), *изпоустити* (69) — *выпоустити* (10), *изрѣзати* (17) — *вырѣзати* (2), *исходити* (387) — *выходити* (9), *пещера* (154) — *печера* (84); ср. *вратитисА* (14) — *воротитисА* (107);

тип 5: *бремА* (77) — *беремА* (4), *вратило* (2) — *воротило* (1), *вращати* (1) — *ворочати* (1), *вредьный* (38) — *вередьный* (1), *врезасти* (32) — *верезжати* (1), ср. *врезжати* (5), *вратьникъ* (7) — *воротьникъ* (1), *възбранение* (30) — *възборонение* (1), *изметати* (29) — *выметати* (1), *класъ* (20) — *колосъ* (1), *красовьи* (4) — *короставьи* (3); ср. *ворона* (3) — *врана* (1).

**Таблица 3**

тип 1: *вратити* (4) — *воротити* (32), *врачатисА* (4) — *ворочатисА* (2);

тип 2: *властьный* (7) — *волостьный* (1), *вретнице* (58) — *веретнице* (2), *въздравие* (1) — *въздоровие* (1), *градьникъ* (2) — *городьникъ* (2), *кравии* (3) — *коровии* (2);

тип 3: *благо* (336) — *болого* (2), *брань* (478) — *боронь* (5), *главньи* (37) — *головньи* (2), *изкоупати* (7) — *выкоупати* (6);

тип 4: *вражьство* (3) — *ворожьство* (1), *възбранитисА* (38) — *възборонитисА* (1), *главнА* (3) — *головнА* (3), *изразити* (3) — *выразити* (1), *изскочити* (14) — *выскочити* (93), *крамолвати* (5) — *коромоловати* (1);

тип 5: *власатьи* (1) — *волосатьи* (1).

Таковы в беглом изложении типы распределения славянизмов и русизмов, выявленные с помощью материала картотеки СДРЯ. Естественно, что наиболее показательны данные о распределении тех слов, которые характеризуются достаточно высокой частотностью, причем частотность славянизмов, как правило, больше частотности соотносительных русизмов, что объясняется в первую

очередь гораздо большим объемом церковно-книжных памятников, представленных в картотеке СДРЯ, нежели памятников, отражающих язык повседневного общения.

Распределение в парах низкочастотных русизмов и славянизмов менее показательно, поскольку фиксация малоупотребительных слов может быть случайной; так, *воробии* (6) и *вرافي* (1) в СДРЯ представлены только цитатами из рассказа о четвертой мести Ольги («Повесть временных лет», 946 г.); например: голуби же и *воробье* полетѣша въ гнѣзда своя. ѿви въ голубники. *вработѣ* же жи подъ стрѣхи. ЛЛ, 1377, 17)<sup>2</sup>.

Не отражают сферу распространения русизмов в языке и такие их фиксации: сущ. *беремл* (4) (в СДРЯ) зафиксировано только в Изб 1076 и МПр XIV (лишь в XVI в. оно отмечено в деловой письменности: ААЭ I, 1571 г. — Сл XI—XVII, 1, с. 145) при 77 фиксациях сущ. *бремл* — только в церковно-книжных памятниках (в том числе 2 раза — в Изб 1076); сущ. *борощно* (1) — только в Изб 1076 при 427 фиксациях *брашно* в летописях и церковно-книжных памятниках (в том числе 8 раз в Изб 1076); сущ. *вередь* (8) — только в Изб 1076, МПр XIV и КН 1280 (в весьма далеких от церковно-книжных языковых норм «Вопросах Кирика, Саввы и Ильи с ответами Нифонта», 1130—1156 гг.) — при 179 фиксациях сущ. *вредь* в летописях и церковно-книжных памятниках (в том числе 6 раз в Изб 1076) и т. п.

Вместе с тем для членов пар, состоящих из низкочастотных слов или из низкочастотных и высокочастотных слов более типично «ожидаемое» распределение, ср. *бородатыи* (1 — летопись) — *брадатыи* (8 — церк.-книжн.), *бородьнии* (2 — летописи) — *брадьньии* (1 — Пал 1406) или *болого* (2 — РПр) — *благо* (336 — летописи, церк.-книжн.), *боронь* (5 — грамоты) — *брань* (478 — летописи, церк.-книжн.), *воротити* (32 — грамоты, летописи) — *вратити* (4 — церк.-книжн.) и др.

Таблицы и приведенный материал иллюстрируют не только тот известный, но незаслуженно игнорируемый факт, что летописный рассказ — основная сфера взаимодействия славянизмов и русизмов в письменности XI—XIV вв., но и главным образом то, что сферы взаимодействия различны для разных категорий славянизмов и русизмов. Задача состоит в том, чтобы показать, чем обусловлены эти различия и как они связаны с дальнейшей судьбой русизма и славянизма в русском языке. Решить эту задачу можно в

<sup>2</sup> Здесь и ниже используются сокращенные названия памятников, принятые в СДРЯ (см. т. 1, с. 28—68 и добавления и изменения в т. 6, с. 9—65) и Сл XI—XVII (см. Сл XI—XVII. Спр. вып., с. 267—388).

результате изучения надежных и обильных данных (содержащихся в частности в СДРЯ) о сфере распространения и контекстах употребления славянизмов и русизмов.

Данные о частотности и сфере употребления славянизмов, содержащихся в СДРЯ и его картотеке, позволяют изучать разнообразные закономерности, касающиеся судьбы славянизмов в русском языке. Так, изучение всех старославянизмов, представленных в СДРЯ (буквы А, Б, Г, Д), показало, что в светские памятники проникло менее 30% всех старославянизмов (158 из 555), причем степень распространенности старославянизмов весьма строго связана с их частотностью: почти все старославянизмы с частотностью от 400 до 10 000 употреблены не только в церковно-книжных, но и в светских памятниках, из славянизмов с частотностью от 100 до 399 — 83%, с частотностью от 10 до 99 — 34,9%, а с частотностью 1—9 — 8,3% (подробнее см. [Улуханов-Солдатенкова 2002: 48—49]).

Методы, использованные выше для изучения славянизмов и русизмов на материале СДРЯ можно использовать для изучения любых пар и групп слов, как-либо связанных между собой (синонимы, антонимы, гипонимы и гиперонимы и т. п.).

1.3. Имеющиеся в словаре и картотеке многочисленные контексты употребления слов открывают новые перспективы изучения их семантики: возникает возможность в деталях проследить путь семантической эволюции слова, причины которой нередко выявляются в контекстах, совмещающих старое и новое значение, причем появление последнего нередко обусловлено контекстами (в частности, типизированными). Это характерно для семантической эволюции лексики языка церковно-книжных памятников.

Известно, что этот язык (церковнославянский язык русской редакции) как язык культа и культуры более устойчив, традиционен, более нормирован, чем язык повседневного общения. В нем может сохраняться то, что (подобно, например, аористу, имперфекту, двойственному числу или супину) давно вышло из живой речи. Однако традиционность его своеобразна и даже парадоксальна. Это своеобразие и этот парадокс состоят в том, что устойчивость является одной из причин его эволюции. Так обстоит дело по крайней мере в области лексики. Устоявшиеся особенности употребления вели к изменению значений слов.

Статика стимулирует динамику — традиционность словоупотребления, свойственная текстам, написанным на церковнославянском языке, есть причина изменения значения слов и возникновения тех значений, в которых славянизмы употребляются в современном русском языке, в живой разговорной речи.

Естественно, что традиционность употребления ограничивает лексическую сочетаемость слова; так, наиболее типичным для славянизма *краткыи* было сочетание не с названиями конкретных предметов, а с названиями абстрактных понятий, действий, отрезков времени и т. п. (*врѣмѧ, житию, жизнь, вѣкъ, лѣто, цѣрквию, постъ, глаголъ, бестѣда, молитва* и т. п.). Эти сочетания постепенно стали единственно возможными, а сочетания типа *кратка одежда* были нетипичны для церковно-книжных памятников, в которых употреблялось слово *краткыи* — в отличие от *короткыи*, которое полностью сохранило способность сочетаться и с названиями конкретных предметов, употребляясь в светских памятниках.

Многие славянизмы постоянно употреблялись в контекстах, содержащих сопоставление или противопоставление материального и духовного: како же и градъ бестѣны оудобъ прѣять бывають ратьными. тако же бо и дѣла не огражена (мѣ тетειχισμένην) молитвами. скоро плѣнима юсть отъ сотоны (Изб 1076, 231); ср. в ... ѿружьє дѣвное ѿболкъсѧ ... воѿруживсѧ ѿгражьсѧ и тако оуповаѧ противоу нечѣтивѣи изиди брани (περιφραξάμενος) (ЖВИ XIV—XV, 716).

В дальнейшем глаголы *оградити(сѧ)*, *ограж(д)ати(сѧ)* постоянно сочетаются с названиями нематериальных явлений: *оумъ, доушу, любовь, чювьства; ѿ всакого зла, от лихих людєи; страхомъ биимъ, вѣрою и оупованиємъ, вѣрою и надежею, любѣвию и вѣрою, постъмъ и мѣтвою, мѣлчаниємъ, дѣлы благо-ч(с)тъю, кр(с)тъмъ, крѣстьнымъ оружиємъ, силою честнаго креста, знамениємъ крѣста, гл(с)мъ, духомъ стѣмъ, свѣтълымъ бгѣтствомъ, застоуплѣниємъ, страхомъ, страхомъ господнимъ, знамениємъ, кр(с)тънымъ знамениємъ, заповѣдми, тѣцею, доброусобьемъ, писаниємъ Ветхаго и Новаго закона, дѣхоннымъ оружьимъ* и т. п.

На базе таких сочетаний и развились «нематериальные» значения многих слов с исконным «материальным» значением (которое у *оградить* в современном языке является устаревшим); помимо *оградити* можно назвать, например, *погрязнути*, которое употреблялось как в прямом значении 'погрузиться (в воду)' (сѣве же Иилєвы проидоша по суху посрѣди моря и изидоша на брѣгъ, сступися вода о фараонѣ и погрязоша вси (Переясл. лет. (XV в.), 23 — Сл XI—XVII)), так и (в церковно-книжных памятниках) в переносном значении — 'погружаться в пучину зла, греха и т. п.': блгоизволи превести мѧ. житиискою поучиноу мнозѣми волънами грѣхоннами погрязноути хотѣщаю (СБЯр XIII (Молитва Кирилла Туровского, XIII в.), 201 об.).

Слова *подвигнути*, *подвигъ*, *подвиженьникъ* широко употреблялись в церковно-книжных памятниках для обозначения душевных движений или благородных поступков и утратили значения, связанные с материальным движением; ср. *подвигнути* в утраченном значении 'подвинуть': Государь... повелѣ князю Михаилу Воротыньскому подвигнути туръ къ ихъ рву (Ник. лет. XII, 212 — Сл XI—XVII), и в сохранившемся 'побудить, склонить, принудить к чему-л.': Нъ да не въ отчаяние я въведет глаголением, нъ да в покаяние подвигнет (Златоустр. XVI в., 37 — Сл XI—XVII), ср. также [Виноградов 1994: 475—484].

Из сказанного ясно, что семантические изменения, произошедшие в результате устойчивых традиций употребления, тесно связаны с особенностями стиля произведений, с набором устойчивых средств книжной риторики, во многом воспроизводящих греческие образцы.

В докладе невозможно изложить разнообразные перспективы, открываемые СДРЯ для исторической лексикологии восточнославянских языков. В заключение отметим лишь, что впервые возникает возможность построения надежных разнообразных классификаций лексики памятников XI—XIV вв. В частности, наличие в картотеке практически исчерпывающего лексического материала памятников, сохранившихся в списках XI—XIV вв., дает возможность определить место слова в системе разновидностей языка Древней Руси: а) слова, свойственные только языку повседневного общения; б) слова, представленные в различных жанрах; в) слова, представленные только в церковно-книжных памятниках. Эта функциональная классификация может быть соотнесена с генетической, создание которой стало возможным благодаря достижениям славянской этимологической лексикографии.

Такая функционально-стилистическая классификация была осуществлена для слов, начинающихся в СДРЯ на буквы А, Б, Г и Д (всего около 4000) слов, см. [Улукханов, Солдатенкова 2002].

2. В области исторического словообразования открываются новые возможности определения степени продуктивности того или иного типа или средства, разграничения узуальной и окказиональной лексики, а также центра и периферии в лексическом составе словообразовательного типа.

Рассмотрим кратко последнюю из названных проблем, никогда (насколько мне известно) не ставившуюся диахронически, да и в синхронном плане изученную слабо.

2.1. К центру относятся прежде всего наиболее частотные явления, поэтому слова любого словообразовательного типа целе-

сообразно изучать с точки зрения частотности. Анализ употребительности лексики позволяет выявить ряд закономерностей, касающихся функционирования и развития центральной и периферийной лексики словообразовательного типа. Рассмотрим в связи с этим тип отглагольных существительных с суфф. *-тель*. Главный признак «центральности», «периферийности» слова в составе словообразовательного типа — степень его частотности.

В памятниках XI—XIV вв. (по данным картотеки СДРЯ) 205 существительных с суфф. *-тель* располагаются по степени частотности следующим образом<sup>3</sup>: *родитель* (493 употребления), *оучитель* (474), *св.Ачитель* (233), *дѣлатель* (208), *моуитель* (163), *слоужитель* (161), *свьѣдѣтель* (145), *сѣдѣтель* (91), *хранитель* (79), *строитель* (74), *кръститель* (65), *предѣстатель* (54), *рѣвнитель* (49), *правитель* (46), *чиститель* (38), *гонитель* (37), *зижитель* (36), *приятель* (33), *гоубитель* (28), *кърмитель* (28), *рачитель* (28), *избавитель* (24), *сънаситель* (24), *грабитель* (23), *жнитель* (23), *податель* (23), *казатель* (16), *свьѣршитель* (16), *обрѣтатель* (15), *проповѣдатель* (15), *сѣказатель* (15), *датель* (12), *обличитель* (12), *предатель* (12), *роугатель* (12), *съписатель* (12), *изпытатель* (11), *побѣдитель* (10), *послушатель* (10), *цѣлитель* (10), *досадитель* (9), *томитель* (9), *заклинатель* (8), *защититель* (8), *наказатель* (8), *неоумѣтель* (8), *подражатель* (8), *сблжстель* (8), *държатель* (7), *питатель* (7), *потребитель* (7), *зѣдатель* (6), *изт.Азатель* (6), *изцѣлитель* (6), *казитель* (6), *любитель* (6), *сѣмотритель* (6), *даатель* (5), *изкоуситель* (5), *областель* (5), *оброучитель* (5), *соужитель* (5), *сѣзъдатель* (5), *сѣт.Ажатель* (5), *сѣлатель* (5), *мьститель* (4), *направитель* (4), *обутель* (4), *прогонитель* (4), *проситель* (4), *разоритель* (4), *сѣхранитель* (4), *жатель* (3), *желатель* (3), *изправитель* (3), *назиратель* (3), *писатель* (в значении лица) (3), *погоубитель* (3), *покровитель* (3), *поспѣшитель* (3), *свободитель* (3), *сблжодатель* (3), *сѣгладатель* (3), *сѣдържатель* (3), *творитель* (3), *тѣшитель* (3), *вѣниматель* (2), *вѣсегоубитель* (2) (одно из мотивирующих — глагол *вѣсегоубити*), *вѣнчатель* (2), *дѣтель* (2), *зѣватель* (2), *изкоушатель* (2), *написатель* (2), *насѣлитель* (2), *начинатель* (2), *несѣт.Ажатель* (2); *ноудитель* (2), *облыгатель* (2), *посѣлитель* (2), *похотитель* (2), *пребыватель* (2), *престатель* (2), *преятель* (2), *провидѣтель* (2), *просвѣтитель* (2), *раздаатель* (2), *разроушитель* (2), *разрѣшитель* (2), *садитель* (2), *слышатель* (2), *соудитель* (2), *сѣбиратель* (2), *сѣмиритель* (2), *сѣчиститель* (2),

<sup>3</sup> При составлении списка использована кн.: Словник — индекс и обратный словник к Словарю древнерусского языка (XI—XIV вв.): В 2 т. М.; Волгоград, 2002).



сѣчьтатель (2), тлѣжатель (2), оукоритель (2), оукраситель (2), хръститель (2), чьститель (2); одним употреблением представлены следующие слова: възноминатель, градитель, грохотатель, даритель, досажатель, държатель, запрѣтитель, зидатель, зиждатель, извѣститель, изгоубитель, изискатель, коумирслужитель (одно из мотивирующих — сложный глагол коумирслужити), кърмитель 'рулевой, кормчий', наставитель, нѣвѣститель, обльгатель, обновитель, обратитель, обрѣтитель, обядаватель, оклеветатель, отъдатель, отъриноутель, охранитель, писатель (в значении 'орудие письма'), повѣдатель, показатель, помагатель, поминатель, попираатель, поразитель, пороугатель, пороучитель, посрамитель, поставитель, потопитель, предисѣдатель, презиратель, преизкоуситель, преобидитель, преписатель, пресѣкатель, прииматель, прилежатель, притѣкатель, проводитель, продаватель, проповѣдѣтель, проститель, просьяатель, развратитель, раздѣлитель, разсѣмотритель, разсыпатель, разсѣкатель, разточитель, разтързатель, разоумитель, ровьнитель, рьпѣтатель, рлдитель, сквьрнитель, слоухатель, слоушатель, събьратель, съвькоупитель, съвѣститель, съдържатель, съдѣлатель, сънабѣдитель, сънаписатель, съобѣдатель, съповѣдатель, съноспѣшитель, сървьнитель, съставитель, съсѣдатель, съоучитель, тесатель, трезвитель, оугодитель, хвалитель, чоудитель, чьститель.

По данным СС, состав наиболее частотных слов с *-тель* старославянских памятников близок к их составу в СДРЯ. Приведем с указанием частности все 63 суффиксальных слова с *-тель*, представленные в СС: дѣлатель (>100), оучитель (>100), родитель (77), крьститель (47), съвѣдѣтель (43), мжчитель (25), съпаситель (13), избавитель (12), благодѣтель (10), защититель (8), свлтитель (8), тлѣжатель (8), датель (6), побѣдитель (6), съдѣтель (6), съзъдатель (6), цѣлитель (6), властель (5), гоубитель (5), зиждатель (5), хранитель (5), жлатель (4), ицѣлитель (4), приятель (4), строитель (4), чиститель (4), гонитель (3), обличитель (3), подражатель (3), досадитель (2), дѣлитель (2), искоуситель (2), обадитель (2), податель (2), подражатель (2), покръвитель (2), проповѣдатель (2), проситель (2), прѣдатель (2), рвьнитель (2), свободитель (2), слоужитель (2), сждитель (2); в одном памятнике представлены следующие слова: благодатель, въздатель, възискатель, въставитель, доводител, зьдатель, исправитель, казатель, лапатель, обрѣтатель, погребитель, подадатель, подѣятель, правитель, свѣтитель, слышатель, съврьшител, съказатель, томитель, тьлитель.

В современном языке, по данным ЧС, 41 слово на *-тель* (с частотой не менее 10) по их употребительности располагаются следую-

щим образом: *писатель* (271), *председатель* (233), *читатель* (192), *представитель* (176), *деятель* (113), *учитель* (99), *строитель* (87), *житель* (74), *двигатель* (70), *показатель* (63), *зритель* (62), *заместитель* (60), *родитель* (57), *победитель* (47), *приятель* (47), *исследователь* (38), *свидетель* (37), *любитель* (36), *слушатель* (31), *посетитель* (28), *краситель* (27), *издатель* (26), *водитель* (23), *потребитель* (23), *преподаватель* (21), *покупатель* (17), *изобретатель* (16), *обозреватель* (16), *создатель* (16), *вредитель* (15), *избиратель* (15), *наблюдатель* (15), *производитель* (15), *завоеватель* (13), *правитель* (13), *собираатель* (13), *истребитель* (12), *исполнитель* (11), *мыслитель* (11), *следователь* (11), *нарушитель* (10).

Приведенные данные могут быть подвергнуты анализу с самых разных точек зрения. Не претендуя в данном докладе на такой анализ, отметим лишь некоторые особенности этой лексики с точки зрения центра и периферии словообразовательного типа.

Одно из сходств в составе приведенных списков заключается в том, что все наиболее частотные слова (а для XI—XIV вв. — почти все слова) являются названиями лиц. Слова на *-тель* с другими значениями (в большом количестве появившиеся только в новое время) гораздо менее частотны.

В приведенных списках можно выделить слова, частотные в источниках обеих рассматриваемых эпох и представляющих собой своего рода постоянный центр данной лексики: *учитель* (> 100 — СС, 474 — СДРЯ и 99 — ЧС), *строитель* (4, 74 и 87), *родитель* (77, 93 и 57), *победитель* (6, 10 и 47), *приятель* (4, 33 и 47), *свѣ(у)детель* (43, 145 и 37); к этому постоянному центру можно отнести и слово *писатель*, наиболее частотное из слов на *-тель* в современных текстах, отсутствующее в СС и низкочастотное (3) — в СДРЯ, но достаточно употребительное, судя по Сл XI—XVII, в книжных произведениях XI—XVII вв.

Эти слова обладают и другими признаками (или частью признаков) «центральной» лексики: богатством словообразовательного гнезда, разнообразной сочетаемостью, полисемией. Для многих из таких слов типичны разнообразные процессы семантической эволюции. Всеми названными признаками обладает, например, слово *писатель*.

В древнейшую эпоху оно входило в синонимический ряд (и в одно гнездо) с другими названиями лиц, образованных от очень употребительного глагола *писати* — *писарь*, *писец*, имевшими, судя по данным Сл XI—XVII, три общих значения: «1. Тот, кто описывает, записывает, что-л.: сочинитель. 2. Тот, кто переписывает что-л.; 3. Живописец, художник». Кроме того, первое из этих зна-

чений выражалось словами *повѣстописатель* и *повѣстописецъ*, а второе — словами *писавецъ*, *писательникъ* и *съписатель*. Еще в XIX в., судя по словарю В. И. Даля, все эти значения могли быть выражены с помощью слова *писатель*, но уже предпочтительным было первое из них, ср. толкование слова *писатель* в [Даль 3: 113]: «пишущий что-либо, пером или кистью, но бол. в знач. сочинитель, литератор».

Еще одним признаком «центральности» слова в пределах словообразовательного типа следует признать жанровое разнообразие тех текстов, в которых оно употреблено, и минимальную стилистическую маркированность (или отсутствие таковой) по сравнению с менее «центральными» словами. Наиболее частотные слова этими свойствами обладают.

Изучение лексической периферии словообразовательных типов не менее важно, чем изучение центра. Малочастотные слова с суфф. *-тель*, зафиксированные в СДРЯ, представлены почти исключительно в церковно-книжных (переводных, реже — оригинальных) памятниках. Эти слова свидетельствуют о способности суфф. *-тель* создавать книжные окказионализмы. Ср., например, *насъятель* 'сеятель' (в прямом и переносном значениях), дважды отмеченное в одном памятнике — «Огласительных поучениях Феодора Студита» XIV в. и являющееся, возможно, одним из многих индивидуальных образований русского переводчика этого текста: *насъятель* ра(д)яеться съя съмена в землю (ФСт XIV, 3в); многохитрец бо. [сатана] иже грѣхи обрѣтаетъ. иже злыи насъятель (ФСт XIV, 89—90); в обоих случаях слово употреблено для перевода греч. *σπορέυς* 'сеятель', мотивированного глаголом *σπείρω* 'сеять'.

На периферии словообразовательного типа могут возникнуть явления, переросшие затем в его существенные свойства. Так, окказионализм *писатель* в значении 'орудие письма' (радуитесьа до-мове страньнолюбивни. и х(с)олюбивни. и моеи немощи за-ступници. радуитесьа мои(х) словесь рачители и теченье и сри-станье. и писатели явленъи тающеиса (γραφίδες) (ГБ к. XIV, 131в)), принадлежащий, в отличие от *писатель* (лицо), к периферии типа, является одним из первых слов на *-тель*, не обозначающих лица. У слова *писатель* это значение во все эпохи оставалось окказиональным (ср. в современной детской речи: «Мама, у карандаша сломался писатель» (Ленинградская правда, 15.XII.1968 г.)).

2.2. Сведения о частотности мотивированных слов, содержащиеся в СДРЯ, дают возможность исследовать центр и периферию не только отдельных словообразовательных типов, но и целых словообразовательных подсистем. Предварительное изучение по пер-

вым шести томам СДРЯ частотности употребления префиксальных глаголов (с префиксами *въ-*, *въз-*, *до-*, *за-*, *из-*, *на-*, *низь-*, *о-*, *обь-*, *от-*, *оть-*, *пере-*) показало, что для большинства глагольных префиксов наиболее частотным (т. е. центральным в типе) является глагол, мотивированный глаголом *ити*: *вънйти* (1212)<sup>4</sup>; *вьйти* (109), *дойти* (313), *изйти* (947), *отйти* (939), *перехити* (80). Глагол *възити* (476) занимает седьмое место по частотности среди глаголов с префиксом *въз-* (наиболее частотной — *въз.Ати*, > 2000), глагол *заити* (54) — одиннадцатое (наиболее частотный — *заповѣдати*, 401<sup>5</sup>, а с пространственным значением — *заложити*, 88). Лишь глаголы с префиксом *подь-* (*подъити*, 4) и непродуктивным *низь-* (*низъити*, 5) низкочастотны (наиболее частотный глагол с преф. *подь-* — *подъяти*, 141; с префиксом *низь-* — *низъложити*, 51).

Высокая частотность префиксальных глаголов, мотивированных глаголом *ити*, объясняется прежде всего тем, что *ити* — наиболее частотный (~3000) из всех глаголов, способных присоединять префикс в пространственном значении, присущем почти всем префиксам. Более частотными, чем *ити*, являются лишь глаголы *быти* (> 50 000), *глаголати* (> 7000) *видѣти* (~6000) и *имѣти*, *-амь* (> 5000), не способные присоединять пространственные префиксы и потому имеющие менее развитую систему префиксальных образований (а некоторые образования с *-быти* пережили опрощение: *добыти*, *забыти*).

Большое количество наиболее частотных префиксальных глаголов, мотивированных глаголом *ити*, объясняется, надо полагать, также тем, что часть этих глаголов свойственна языку светских памятников, где глаголы движения достаточно частотны; исходный *ити*, пятый по частотности в древнерусском, занимает весьма скромное место среди всех старославянских глаголов: по данным СС, он входит в большую группу 69 глаголов с частотой > 100; по частотности употребления эти глаголы в старославянском занимают места с 63 по 131.

<sup>4</sup> Указанная здесь частотность этого глагола значительно превышает приведенную в СДРЯ, поскольку к форме *вънйти* в СДРЯ ошибочно не отнесены многие употребления, помещенные в статью *вьйти* или учтенные при подсчете в качестве форм этого глагола (см. [Испр.: 597]).

<sup>5</sup> Приводимая в данной работе частотность многих глаголов выше, нежели указанная в СДРЯ, поскольку к указанной в СДРЯ частотности мы прибавляем частотность страдательных причастий прошедшего времени этого глагола (если таковые имеются), которые в СДРЯ даются в качестве отдельной словарной статьи. Так, например, приводимая нами частотность глагола *заповѣдати* (401) является суммой цифр, указанных в статьях *заповѣдати* (291) и *заповѣданыи* (110).

У небольшой части префиксов, как говорилось выше, наиболее частотными глаголами являются глаголы, мотивированные глаголом *яти* (*възати* — > 2000, *подъяти* — 139); у других префиксов эти глаголы также являются достаточно частотными: *вынати* (15 — шестой по частотности), *выкати* (7), *закати* (80 — пятый), *изати* (149 — шестнадцатый), *отъяти* (285 — восьмой), *перети* (27) (второй-третий — вместе с *перехати*).

Из изученных префиксов наибольшее число (23) частотных (с частотой более 100) глаголов по данным СДРЯ имеет префикс *въз-*: *възати* (> 2000), *възвратитиса* (755), *възхотѣти* (594), *възлюбити* (573), *възмочи (-ци)* (500), *възити* (476), *възприкати* (431), *възискати, -цоу, -цеть* (375), *възложити* (327), *въздвигоути* (303), *въздати* (295), *възвѣстити* (282), *възбранити* (265), *въззърѣти* (247), *възхытити* (196)<sup>6</sup>, *възвести* (190), *възненавидѣти* (184), *възсияти* (159), *въззвати* (147), *възвратити* (141), *възрадоватиса* (122), *възномлюти* (104); далее следуют:

*из-* (18): *изити* (939), *изповѣдати* (676), *избавити* (527), *избити* (397), *изгнати* (384), *избрати* (383), *изволити* (352), *извреци* (330), *изправити* (318), *изпытати* (287), *известити* (269), *изпълнити* (246), *изцѣлити* (198), *изповѣдати* (156), *изречи* (155), *изати* (148), *изнести* (130), *изпросити* (120);

*отъ-* (13): *отъити* (939), *отъѣцати* (747), *отъвреци* (524), *отълоучити* (436), *отъдати* (395), *отъпоустити* (390), *отъстоупити* (380), *отъяти* (311), *отъврезти* (204), *отъгнати* (162), *отъложити* (157), *отъсѣчи (-ци)* (127), *отъпасти* (117);

*въ-* (11): *вънити* (1212), *въстати* (785), *въдати* (705), *въпасти* (405), *въпросити* (403), *въложити* (339), *въвести* (330), *въслѣдовати* (201), *въкоусити* (176), *въвреци* (170), *вълѣти* (158);

*о-* (7): *оставити* (~2000), *остати* (285), *осоудити* (176), *огласити* (152), *одолѣти* (146), *очистити* (130), *осквърнити* (102);

*за-* (3): *заповѣдати* (401), *затворити* (230), *завидѣти* (117);

*вы-* (1): *выити* (109),

*до-* (1): *доити* (313).

Префиксальные глаголы с *пере-* и *низъ-* менее частотны; лишь пять глаголов с *пере-* и два глагола с *низъ-* имеют частотность более 10: *перети* (80), *перестоупити* (27), *перехати* (27), *перекати* (27), *перестрести* (12); *низъложити* (51), *низъвреци* (15).

Большое количество частотных глаголов с книжным преф. *въз-* объясняется наличием в картотеке СДРЯ большого количества

<sup>6</sup> По сравнению с данным СДРЯ (*възхытити* — 134 + *възхыщенны* — 61, всего 195) добавлен пример, перенесенный из статьи *възхыцати*, см. [Испр.: 597].

объемных книжных памятников, а низкая частотность глаголов с русскими префиксами *пере-* и *вы-* (выделительного значения) — гораздо меньшим по объему материалом светских памятников.

Если самые частотные глаголы с разными префиксами зачастую мотивируются одним и тем же глаголом, то в целом наборы мотивирующих у частотных глаголов с разными префиксами существенно отличаются друг от друга. Объясняется это тем, что различия в семантике префиксов определяют их разную сочетаемость с мотивирующими.

Очень близкую картину частотности префиксальных глаголов можно наблюдать в старославянском языке.

Самые частотные глаголы совпадают у префиксов *въ-*, *въз-*, *до-*, *из-*, *о-* и *подъ-*; в обоих языках наиболее частотны *вънйти* (в стсл. > 500) и *въстати* (> 400), *възати* (> 400), *доити* (44), *изити* (> 400), *оставити* (> 300) и *подъити* (13). У префиксов *на-* и *объ-* наиболее частотный глагол каждого языка совпадает со вторым по частотности другого: стсл. *начати* (> 200), *наречи* (> 100) — дрр. *наречи* (> 15 000), *начати* (1537); стсл. *облеци* (> 100), *обличити* (39) — дрр. *обличити* (340), *облеци* (91); у префикса *отъ-* второй по частотности в старославянском *отити* (> 100) является первым в древнерусском (частотность 939), а первый по частотности *отъпоустити* (200) — шестым в древнерусском (частотность 390); у приставки *за-* наиболее частотный в старославянском *запрѣтити* (95) является в древнерусском четвертым (с той же частотностью — 95), а наиболее частотный в древнерусском *заповѣдати* (401) в старославянском является третьим (с частотностью 51).

Не имея возможности в рамках данной работы сопоставлять списки наиболее частотных префиксальных глаголов древнерусского и старославянского языков, отметим, что в целом у одноименных префиксов их состав отличается незначительно, что вызвано, по-видимому, достаточно большим количеством церковно-книжных памятников, отраженных в СДРЯ. Достаточно указать, например, что из 10 наиболее частотных глаголов с приставкой *въ-* в древнерусском и старославянском языках совпадает 9.

В современной префиксальной подсистеме наиболее частотные глаголы со многими префиксами — те же, что и в древнерусском. Большая часть этих глаголов мотивируется глаголом *ити*: таковы глаголы с префиксами *в-*: дрр. *вънйти* (1212) — совр. *войти* (289); *вы-*: дрр. *выити* (109) — совр. *выйти* (551), *до-*: дрр. *доити* (313) — совр. *дойти* (102). Наиболее частотному древнерусскому глаголу с преф. *въз-* (*възати* > 2000) соответствует немотивированное *взять* (763) — наиболее частотное среди глаголов с начальным *вз-*,

дрр. *подъѣти* (139) — наиболее частотному среди глаголов с преф. *подъ-* — соответствует в современном второй по частотности *поднять* (252); первым же по частотности среди глаголов *спод-* является *подойти* (280) — в древнерусском, как уже говорилось, малочастотный (4).

У глаголов с приставками *отъ-* и *пере-* наиболее частотные в древнерусском *отъити* (939) и *перейти* (80) коррелируют с современными *отойти* (95) — третий по частотности после *открыть* (258) и *отдать* (178) и с *перейти* (121) — второй по частотности после *передать* (178).

Таким образом, можно констатировать, что «центральные» (наиболее частотные), старославянские, древнерусские и современные префиксальные глаголы в целом весьма близки друг к другу. Их более детальный сопоставительный анализ вскрыл бы, по-видимому, причины сходства и различий как в данной, так и в других словообразовательных подсистемах. Приведем лишь один пример, объясняющий причину возникновения расхождения между старославянским и древнерусским языком, с одной стороны, и современным русским, с другой. Наиболее частотному в древнерусском глаголу с префиксом *из-* — *изити* в современном соответствует малоупотребительный *изойти* (его частотность — 1). Широко представленный в книжных памятниках старославянизм *изити* в исходном и наиболее распространенном пространственном значении был заменен русским глаголом *выйти*.

2.3. Выше на ограниченном материале были показаны лишь некоторые возможности использования данных о частотности слов для изучения словообразовательной системы древнерусского языка и ее сопоставления со словообразовательной системой современного русского языка и других славянских языков (в частности, старославянского, староукраинского), т. е. тех, для которых имеются сопоставимые данные. Перспективным является, по-видимому, полное исследование материалов СДРЯ с указанной точки зрения.

Представления о словообразовательных системах (и прежде всего о лексическом наполнении их подсистем) могут быть пополнены, например, путем сопоставления частотных словников мотивированных слов. В древнерусском и старославянском языках такой словник возглавило бы слово *божии* (соответственно 5000 и >800 употреблений), в деловой разновидности староукраинского языка, по данным СУ, — сложное *воевода* (1639), а в языке советской эпохи (по данным ЧС) — *советский* (1137).

Возможно диахроническое изучение влияния степени частотности мотивирующих слов на словообразовательные процессы (ср.

изучение этого вопроса на материале современного языка, принятое нами в книге «Словообразовательная мотивация в русском языке», в печати).

Небезынтересны результаты простого сопоставления частотности мотивированного и мотивирующего: мотивирующее обычно частотнее, но интересно исследовать причины отклонения от этой вероятностной закономерности — иногда — очевидные (ср. в СС: *блждьникъ* — 3, *блудьница* — 23, в СДРЯ: *блудьникъ* — 94, *блудьница* — 131), чаще — требующие специального исследования.

Мы не касались возможностей использования СДРЯ для изучения других уровней языка. Обратим внимание лишь на то, что наличие в картотеке многочисленных контекстов употребления лексики XI—XIV вв. позволило бы создать грамматический словарь языка XI—XIV вв. Помимо указания словоизменительного типа (ср. такие данные для современного языка, содержащиеся в [Зализняк 1977]), в таком словаре могли бы быть приведены и частотные данные употребления каждой грамматической формы — подобно тому, как это сделано в СУ. В грамматических исследованиях, широко использующих материалы картотеки СДРЯ (из последних работ отметим [Крысько 1994; 1997; Ист. гр. 2000—2001]), выявляются новые факты и закономерности, относящиеся, например, к развитию категории одушевленности, форм множественного числа имени, лексической и синтаксической сочетаемости глаголов и т. д.

В докладе в самом общем виде были рассмотрены лишь некоторые из перспектив использования материала СДРЯ для изучения истории славянских языков. Эти перспективы будут расширяться по мере завершения как самого СДРЯ, так и других фундаментальных славянских исторических и этимологических словарей.

#### Л и т е р а т у р а

Белозерцев 1964 — *Белозерцев Г.И.* Соотношение глагольных образований с приставками *вы-* и *из-* выделительного значения в древнерусских памятниках XI—XIV вв. // Исследования по исторической лексикологии древнерусского языка. М., 1964.

Виноградов 1994 — *Виноградов В.В.* История слов. М., 1994.

Даль — *Даль В.* Толковый словарь живого великорусского языка. Т. 1—4. М., 1956.

Журавлев 1998 — *Журавлев А.Ф.* *Descipimur specie recti*, или Как нельзя делать словари (Опыт в жанре несвоевременной рецензии) // Филология. Международный сборник научных трудов: К 70-летию Александра Борисовича Пеньковского. Владимир, 1998.

Зализняк 1977 — *Зализняк А.А.* Грамматический словарь русского языка. Словоизменение. М., 1977.



- Испр. — Исправления к I—IV томам // СДРЯ. Т. 5. М., 2002.
- Ист. гр. 2000—2001 — Историческая грамматика древнерусского языка. Т. 1—2. М., 2000—2001.
- Крысько 1994 — *Крысько В.Б.* Развитие категории одушевленности в истории русского языка. М., 1994.
- Крысько 1997 — *Крысько В.Б.* Исторический синтаксис русского языка: Объект и переходность. М., 1997.
- Львов 1975 — *Львов А.С.* Язык «Повести временных лет». М., 1975.
- Мельничук 1983 — *Мельничук А.С.* О языке Киевской летописи XII в. // IX Міжнародний з'їзд славистів. Слов'янське мовознавство. Київ, 1983.
- Ожегов, Шведова 1992 — *Ожегов С.И., Шведова Н.Ю.* Толковый словарь русского языка. М., 1992.
- СДРЯ — Словарь древнерусского языка (XI—XIV вв.). Т. 1—6. М., 1988—2000.
- Сл XI—XVII — Словарь русского языка XI—XVII вв. Вып. 1— М., 1975—.
- Сл XI—XVII. Спр. вып. — Словарь русского языка XI—XVII вв. Справочный выпуск. М., 2001.
- Словарь 1966 — Словарь древнерусского языка XI—XIV вв. Введение, инструкция, список источников, пробные статьи. М., 1966.
- СС — Старославянский словарь (по рукописям X—XI веков). М., 1994.
- СУ — Словник староукраїнської мови XIV—XV ст. Т. 1, 2. Київ, 1977—1978.
- Улуханов 1969 — *Улуханов И.С.* Старославянизмы и народно-разговорные слова в памятниках древнерусского языка XI—XIV вв. (глаголы с приставками *пре-, пере- и предь-*) // Исследования по словообразованию и лексикологии древнерусского языка. М., 1969.
- Улуханов 1991 — *Улуханов И.С.* О некоторых перспективах изучения истории русского языка // Русский язык и современность. Проблемы и перспективы развития русистики. Ч. 1. М., 1991.
- Улуханов, Солдатенкова — *Улуханов И.С., Солдатенкова Т.Н.* О некоторых перспективах изучения исторической лексикологии русского языка // *Russian Linguistics*. 2002. № 26.
- Успенский 2002 — *Успенский Б.А.* История русского литературного языка (XI—XVII вв.). Изд. 3-е. М., 2002.
- Франчук 1986 — *Франчук В.Ю.* Киевская летопись. Киев, 1986.
- ЧС — Частотный словарь русского языка. М., 1977.

Н. А. Фатеева

## Открытая структура: Poem in Progress (о некоторых тенденциях развития русского поэтического языка рубежа XX—XXI веков)

XX век в корне изменил отношение к поэтическому творчеству. Стремление сказать новое слово заставляло поэтов искать необычные формы выражения, максимально использовать возможности, потенциально заложенные в структурах с вертикальным контекстом (когда текст получает не только линейное развертывание, но и членится на отрезки, не обусловленные синтаксическим делением). В то же время уплотненная художественно-информационная структура стихотворных текстов XX в. во многом была задана многомерными связями с другими текстами, среди которых данный текст определял свое. Рубеж веков обострил оба эти направления поиска, что привело к рождению поэтических структур, ориентированных на обнажение подсознательных мыслительных импульсов, и, соответственно, к множественности прочтений одного и того же текста. Это «новое искусство», снимая некоторые прежние запреты языка, требует и иного восприятия текста: оно ориентирует читателя на поэтическую игру с автором, который порой глубоко ироничен и, как бы «резвяся и играя», открывает неизвестные ранее измерения и ракурсы непостижимого до конца мира, иной раз даже трагические.

Средство расширения — ироническая рефлексия, свободная от готовых решений и включающая сам порождаемый автором текст в сферу метаязыковой рефлексии. Литература все решительнее прорывает с жизненной реальностью, углубляется в самопознание и ищет источники развития уже внутри себя. Образуется обширное поле метапоэтики, стирающей границы между собственно художественными и научно-филологическими жанрами. Ср. у С. Соловьева: *Если верить позднему Витгенштейну, / мир человека есть мир языка: / Будь то Непорочная Дева или стакан портвейна, / юное небо или плавающий музыкант («Лицом к стеклу»)*<sup>1</sup>.

<sup>1</sup> Ср. также у Е. Даснина: *ключ к лактации речи восходит к плаценте / в наре-  
че / горы млечные склонны к подножью / стремится язык к междуречью / вавилона  
(«Орфей»).*

В то же время отчетливо проявляется еще одна тенденция. Если начало XX в. в словесном творчестве связывают с «обнажением» глубин человеческого подсознания, то его конец доводит до предела «обнажение» формы, выводя на первый план такие параметры текста, как «фактурность» и «телесность». Характерно стремление поэтов вывести на поверхность текста не только его внутреннее содержание, но придать этому содержанию такой визуальный и звуковой облик, чтобы оно стало материальным и реально ощутимым. В какой-то степени даже можно говорить (эта идея предложена Ю. С. Степановым) о «втором рождении» русского формализма, который явно осознает свою «вторичность» и открыто играет на ней.

При этом надо отметить, что обнажение глубин «подсознания» и обнажение «формы» это два предельных состояния одного и того же творческого процесса, который можно уподобить процедуре психоаналитического анализа: когда глубинные, подавленные психические элементы выносятся в светлое поле сознания и обретают словесную форму, тогда становится возможным восстановить всю ассоциативную сеть воспоминаний-образов.

На первой «волне» формализма Р. О. Якобсон, Ю. Н. Тынянов и В. Б. Шкловский, пытаясь осмыслить практику современных им поэтических направлений, прежде всего футуристов (В. Хлебникова, А. Крученых, В. Каменского, братьев Бурлюков и др.), писали о том, что создание затрудненной формы (в пределах своем «заумной») увеличивает ее ощутимость, когда сам языковой материал доводится «до пределов материальности» — «фактурности»<sup>2</sup>. Причем еще в начале XX в. сами поэты понимали, что форма может стать видимой и осязаемой только в динамике<sup>3</sup>. Поэтому актуальным стало понятие «сдвига», которое в широком понимании можно рассматривать как стремление преодолеть единообразие и статичность визуальной, звуковой и ритмико-синтаксической формы стихового ряда. Окончательную материальность текст приобретает

---

<sup>2</sup> В работе «О фактуре и контр-рельефах» В. Шкловский определяет эту технику фактуры «как острабяющий прием, поскольку первичный эффект фактуры вызывает осложнение и «затруднение» восприятия — в противоположность академической «прозрачности» художественных средств, используемых исключительно как инструмент и потому обладающих автономной «ощутимостью» (см. [Хансен-Лёве 2001: 87]).

<sup>3</sup> Ю. Н. Тынянов в книге «Проблема поэтического языка» устанавливает связь между острабяющим принципом деавтоматизации и новым принципом динамики формы, ощутимость которой порождает эстетичность восприятия (см. [Тынянов 1924: 25—28]).

не только за счет того, что «сдвигаются» с места слова и их границы, но и в жестовых «ритмодвижениях» поэтов (например, Василиска Гнедова), которые можно считать основой зарождения перформанса.

Начиная с 1970-х гг., а особенно в начале 1990-х в России наметилась тенденция возрождения «формализма» (правда, многие поэты при этом сами уехали за рубеж, прежде всего в Германию), однако уже на основе синтеза разных форм существования поэзии — вербальной, визуальной, аудиальной (сонорной) и перформативной (акциональной)<sup>4</sup>. Эта тенденция в поэзии связана с общей направленностью современной культуры к интермедиальности (которая стала возможна во многом благодаря развитию компьютерной техники) и доминированию в ней визуальных кодов.

Существование поэтического текста в разных формах его репрезентации превращает в открытую структуру, позволяющую расширить представление о границах поэтического творчества. Недаром и сами названия журналов и альманахов, в которых на рубеже XX—XXI вв. печатаются выходящие за рамки традиционной поэтической формы произведения, несут в себе семантику «неокончателности» (например «Черновик», главный редактор и издатель — А. Очеретянский) и направленности в будущее (ср. «ФУТУРУМ-арт», главный редактор и издатель — Е. Степанов). Многомерность же и подвижность поэтической формы стиха запечатлелась в таких операциональных терминах поэтов, как «смешанная техника» (А. Очеретянский), транспонанс ('перенос' Ры Никонова и Сергей Сигей) и «роет in progress» ('стих в движении'; Д. Булатов).

Поскольку «новый формализм» напрямую связан с мультимедиальными возможностями компьютерного представления текста, его можно назвать «гипертекстуальным», т. е. включенным во всю систему созданных до него или параллельно с ним текстов разных искусств, получивших материальное воплощение (ср. заглавие одной из последних поэтических книг А. Вознесенского — «www. ДЕВОЧКА С ПИРСИНГОМ.ru. Стихи и чаты третьего тысячелетия» (2000), спроецированное на название и визуальный ряд картины В. Серова).

Однако многомерность и «многоформность» современного стиха не означают его невнимания к содержательной стороне поэ-

---

<sup>4</sup> Появились и книги, репрезентирующие эти направления поэзии. Это «Зевгма» (1994) и «Теория и практика русского поэтического авангарда» (1998) С. Бирюкова, две международные антологии Д. Булатова: «Точка зрения: Визуальная поэзия. 90-е годы» (1998) и «Номо sonogus. Международная антология саунд-поэзии» (2001).

зии. Ведь стремление поэтов выйти за рамки обычных моделей языка и стихосложения связано с их поисками «еще не бывшего состояния языка», отражающего «ранее не бывшее состояние мира» [Мухелишвили, Шрейдер 1989: 15]. В этом смысле многоформность стиха выступает как проявление его внутренней формы, что получает выражение еще в одном поэтическом термине — *transparence* от фр. ‘прозрачность’ < глагола *transparaître* ‘просвечивать; проявляться’.

Однако, как и все в мире, поэзия, возвращаясь к «аксиомам» начала XX в., не перестает колебаться между предельными состояниями форм своего существования: повышенная визуальность и мобильность формы могут поляризоваться в виде стремления зафиксировать «пустоту», интонация крика оборачивается нередко противоположным пределом — «поэтикой молчания», «немотой», а усиленная эмоциональность выражения и драматичность (акциональность) не находят адресата и замыкаются на самом творящем субъекте. Подобные противоположные качества могут сочетаться даже в одном произведении, что определяет его многослойное восприятие. Так, у В. Аристова в стихотворении «В контурах времени» (1992) намечается путь от людской «полноты» к их «полости», а сами люди уподобляются разбежавшимся безумным буквам из еще неоконченной книги:

*Эти полностью полье люди...*  
*Были полные, но схлынула*  
*полая в них вода*  
*Немота их ушла в бродившие в них невода*  
*И отсюда*  
*С высоты безвоздушного в небе моста*  
 <...>  
*Похожи они на безумные буквы,*  
*Что разбежались со страницы*  
*недописанной книги*

Нередко формы существования стиха (визуальная и сонорная) могут конкурировать между собой, как, например, в раннем стихотворении Г. Айги под заглавием

#### «ТИШИНА»

(стихи для одновременного чтения двух голосов)

—ма-á...—  
 (а во сне те же самые  
 живы глаза)  
 '.....á-ма

Как мы видим, само заглавие стихотворения Айги («Тишина») вступает в противоречие с его подзаголовком, призывающим к чтению — воспроизведению вслух: таким образом, «два голоса» становятся внутренними голосами зрительного образа (ср. *живы глаза*), а знаки препинания и надстрочные знаки, как и в более поздних стихотворениях поэта, одновременно выполняют визуальную функцию и обозначают интонацию и длительность.

Установка на постижение глубинного содержания, которое кроется в ранее несуществующей, но порождаемой поэтом в стихе последовательности звуков, связывается с понятием «зауми» или «заумного языка», осмысленным и освоенным футуристами. Рубеж XX—XXI вв. характеризуется распространением «разноязычной» зауми, когда звуковые последовательности одновременно принадлежат двум и более языковым системам, и поэт как бы осуществляет перевод с одного языка на другой<sup>5</sup>: на одном языке определенное звукосочетание может выступать как осмысленное знаковое образование, на другом — как новообразование; расподобление же фиксируется различной транслитерацией.

Своеобразный алгоритм построения такой «космополитанской» зауми можно найти в стихотворении А. Федулова, озаглавленном вопросительной формулой «Что-кошь?» (2001), где вторая часть может ассоциироваться как с космосом, так и быть просто междометной частицей. Если же мы обратимся далее к тексту стихотворения (переводы в нем даны нами), которое обращено к другу Александру:

*Что космос нам — Zeit? (нем. время)  
— Zeile? (нем. строка)  
— Zaun? (нем. забор)  
— Zaun? (нем. узда)*

*Да, Саня, — Zany — да, увы — (англ. из итал. шут, дурак)*

*наш космос — прояснившаяся  
заумь*

*из пыли снежной в мускул исполина*

*и вот —*

*две умерщвленные былины*

*чтоб было чем у головы в носу*

*пощекотать*

<sup>5</sup> Эта особенность человеческого языкового сознания отмечалась З. Фрейдом: при запоминании и воспроизведении слова и части слова могут вытесняться их переводом на другие языки. Он приводит пример, когда в славянском топониме Herzegowina его собеседник неосознанно вычленил фрагмент, связанный с немецким Herr — 'господин' и отраженный в части Signog итальянской фамилии Signorelli, которые он смешивал в своем сознании [Фрейд 1989: 205].

— то обнаружим, что русское слово «заумь» в других языковых системах (прежде всего немецкой) порождает сеть ассоциаций, связанных с понятиями «ограничения пределов» ('забор') и «сдерживания движения» ('узда'), которые в русском осмыслении ей противоположны, так как соединяются с понятием «космоса» (ср. *наш космос — прояснившаяся заумь*). Через итальянский и английский язык проясняется двойственная природа «зауми» — серьезное порою рождается из шутливого артикуляционного эксперимента. Интересно, что шутливое и серьезное образует не только интернациональную, но и интертекстовую рамку всего стихотворения Федулова, поскольку последние его строки памятью слова «щекотать» связаны с четверостишием О. Мандельштама о «времени»: ср. *Холодок щекочет темя, / И нельзя признаться вдруг, — / И меня срезает время, / Как скосило твой каблук* (1922). Обращаясь же затем к заглавию «Что-кось?» и первой строке (*Что космос нам — Zeit?*), обнаруживаем, что словесно-звуковые импровизации современного поэта отнюдь не случайны: они связаны с «косящим» и «скашивающим» влиянием времени на поэзию, и даже сама строка (*Zeile?*) также идет *вкось*. Таким образом, за счет поиска звуковых последовательностей в разных языках происходит общее расширение поэтико-языкового поля.

«Многоязычная» заумь может «просвечиваться» и в визуальной форме текста, что ведет к образованию так называемого «семиотического стиха» (А. Очеретянский), рождающегося из синтеза его вербального и визуального компонентов. Показательным с этой точки зрения является стихотворение В. Барского, в основе символики которого лежит «крест» (2001): ср.

БОГ  
 GOD  
 БОГ  
 GODСПОДИ  
 БЛАГОGODСЛОВИ  
 GODСПОДИ  
 БОГ  
 GOD  
 БОГ

Установка на семиотизацию стиховых явлений сигнализирует о том, что у современных поэтов доминирует ориентация на письменную форму текста — без своей структурно-графической формы текст не существует и не запоминается. Таким образом, художники слова как бы буквально реализуют тезис Ю. М. Лотмана, что поэтический текст есть именно «вторичная моделирующая система».

Вопрос о соотношении графики стиха и сонорного воспроизведения ставят стихотворные произведения А. Альчук, которые собраны в книгу под общим метапоэтическим заглавием «Словарево» (2000) — последнее отражает способ порождения текста, созданной этой поэтессой. Слова как бы «варятся» в своей собственной стихии, то свободно срастаясь друг с другом, то рассекаясь даже по разным строкам, создавая эффект «перемещающейся формы». Ср., к примеру, ее однострочное стихотворение:

спасиБо(г)де Ты(?)

В нем по-новому осмысленный А. Альчук тезис Ю. Н. Тынянова о «тесноте стихового ряда» и его «слитном групповом смысле» позволяет поэтессе создать особую компрессию смыслов и выработать при помощи знаков препинания нетривиальные способы их соединения, основанные на сдвиге границ слова<sup>6</sup>.

Рассмотрим еще одно стихотворение поэтессы, которое выполнено в индивидуальной поэтической технике:

с...

*дож дож дя  
сквозь длинлинии  
листья  
шелиться  
листья шёл(к)*

*плащ потерялся сиреновый  
в осенисотах*

Сразу обращает на себя внимание, что оно построено по принципу «обмолвки», «оговорки». Еще Р. Якобсон [1987: 290] в статье «Новейшая русская поэзия. набросок первый: Подступы к Хлебникову» писал, что «синтаксис Хлебникова характеризуется широким использованием ляпсуса, оговорки». У А. Альчук мы имеем дело с «синтаксическим сдвигом» в другом ракурсе: «дробь

<sup>6</sup> О. А. Хансен-Лёве [2001: 84] так определяет понятие подобного «сдвига»: «В более узком смысле “сдвиг” здесь означает смещение границ слова, прием, который как никакой другой демонстрирует графическую детерминацию семаиологизации — аналогично технике переноса в стихе (сдвиг границ стиха) <...> В обоих случаях слово в своей визуально-буквальной материальности выступает как порождающий значение элемент: графический сдвиг границы слога ведет к смещению семантической перспективы или связанных с ней гетерогенных интерпретационных ходов, интерферирующих с омофоничной идентичностью слова, отстраняющих ее, обнажая».



диссоциаций легко комбинируются в новые сочетания» [Якобсон 1987: 295], смыкая словообразовательный и грамматический уровни поэтического преобразования и одновременно «озвучивая» их. И строение этих новых грамматических неологизмов подчиняется принципу порождения «обмолвок», описанному З. Фрейдом: обмолвки, в его понимании связанные с «расстройством речи», возникают под «влиянием другой составной части той же речи — предвосхищением того, что следует впереди, или отзвуков сказанного, — или другой формулировкой в пределах той же мысли, которую собираешься высказать» [Фрейд 1987: 227]<sup>7</sup>. Но то что австрийским психоаналитиком рассматривается как «расстройство», русской поэтессой принимается за творческую установку — неправильность вызывает усиленное внимание («деавтоматизацию восприятия» в терминологии первых русских формалистов) и заставляет воспринимать текст как рождающий на наших глазах новые смысловые и синтаксические связи между словами и этим трансформирующий реальность за ним стоящую.

Неизвестно даже, каким путем правильнее воспроизводить данный текст: он музыкален, его можно читать голосом, однако при этом стиховые связи, образованные его визуальным рядом пропадут — ведь именно особая расстановка слов не только по строкам, но и внутри строк отражает их действительный смысл. В то же время, благодаря ориентировке на запись звучания, снимается разница между отдельными частями речи — с одной стороны, вместо предикативной основы *листья шелестят* (N + V) мы имеем две номинативные формы *листья шелестья* (N + N), однако при этом не ощущаем потери «глагольности» и динамизма стиха; с другой, — введенный глагол *шёл* в строке *листья шёл(к)* является лишь одной из альтернатив прочтения. Эта смазанность грамматических форм (которые по своей сути являются «дограмматизмами») придает стиху визуальность и одновременно плавность словообразования. Она также позволяет дистантные предикативные соединения на звукописной основе (ср. *дождь дождь дя* — в первой строке, а *шёл(к)* — в пятой), которые стирают границы между живым и неживым миром (ср. *дождь* или *дождь* и его «шёл(ковое)» действие), а также его звуковой или пространственной формой существования (ср. *плач* или *плащ*; пень *сирен* или *сиреневый цвет*), создавая в одной строке несколько параллельных высказы-

<sup>7</sup> В начале века сам А. Крученых отмечал, что прием «сдвига» построен на «обмолвках» в фрейдяном смысле.

ваний<sup>8</sup>. Получается, что тропы как семантические преобразования в подобном стихе перестают играть первостепенную роль, а на их место приходят своеобразные «формотропы», в которых транспозиция формы и смысловой перенос порождают единый трансформирующий поэтический сдвиг.

Тексты поэтессы указывают на ценность каждого звука и любой буквы текста, которые даже в роли служебных слов становятся смыслообразующими. Недаром у А. Альчук существует целый цикл визуальных стихов «Простейшие», которые из отдельных букв порождают «черные квадраты» стихов<sup>9</sup>. Визуализация значимости и значения звукобукв и отдельных частей слов при помощи различных шрифтов, смещений их расположения, а также их переворачивания создает изобразительность и иконичность текста — образный смысл в нем создается не только за счет значения языковых элементов, но и за счет семиотизации их формы: ср.

*в и на град падет З*  
*вон*  
*ТАЛ<sub>ыи</sub>ЛИН<sub>я</sub>лый асфальт :*  
*лиеврло*

Общий смысл текста при этом остается «размытым», как на акварели: в стоящей за ним картине фиксируются только основные опорные семантические элементы — город ТАЛЛИН, тающий снег, мокрый асфальт, обладающий способностью к отражению и звон над городом, точнее «градом» (словом, которое одновременно может означать и 'город', и 'атмосферные осадки в виде округлых частичек льда') — остальные же, аккомпанирующие элементы значения отчетливо не прописаны.

Динамическая система связей и грамматических форм в стихе, безусловно, общая тенденция современной поэзии. Недаром для разделов своей книги «Биомеханика» (1995) А. Левин также выбирает визуальные операциональные термины, характеризующие его манеру письма, — «Лингвопластика» и «Пластилистика». В самой книге прежде всего обращает на себя внимание тот факт, что А. Левин, как и А. Альчук, стремится нивелировать различия между име-

<sup>8</sup> У Д. Бурлюка в «заумном» стихотворении *плач/плац* образуют рифмующиеся строки: ср.

*Западу стрелется плач*  
*Запахов трепетных плац*

<sup>9</sup> Вспомним, что и в манифестах «заумников» (В. Хлебников, А. Крученых, 1913) графическим свойствам буквы (ее очертаниям, величине, цвету и т. д.) придается то же значение, что и звуковым свойствам поэтической речи: наряду со «словом как таковым» выделяется «буква как таковая».

нем и глаголом и создать грамматическую неопределенность форм. Сам же механизм нейтрализации грамматической «глагольности» у А. Левина и у А. Альчук разный: поэт ничего не меняет в строении слов, а лишь играет на их внешнем подобии и встраивает их в новые синтаксические структуры; поэтесса же вносит в порождение новых морфологических и синтаксических структур элемент формотворчества. Стремление нейтрализовать частеречную классификацию<sup>10</sup> у А. Левина часто основано на «омонимической» интертекстуализации. Так, в стихотворении «Суд Париса» грамматические неологизмы оказываются носителями межтекстовой связи. Это стихотворение является пародийным переложением стихотворения «Весенняя гроза» Ф. Тютчева. Глагольные (деепричастные) формы, заимствованные из текста классика, у Левина написаны с заглавной буквы — при внимательном чтении они оказываются именами собственными трех богинь (соответственно, судя по заглавию, Афины, Геры, Афродиты — *Резвьяся, Играя, Смеясь*): ср. *Когда Резвьяся и Играя / танцуют в небе голубом, / одна из них подобна снегу, / другая — рыжему огню. / <...> / а третья льется, как простая / громошипучая вода, / Смеясь зовется*. Как мы помним, первые два деепричастия у Тютчева соотносятся с грохотом грома, последнее — с ветреной Гебой, которая «Громокипящий кубок с неба, / Смеясь, на землю пролила». Такое интертекстуальное «вторение» вызывает в тексте новые преобразования: косвенная падежная форма *Громам* также становится именем собственным (*Трем богиням / все вторит весело Громам ...И лишь Громам все вторит, вторит*).

Лежащая в основе игровых грамматических неологизмов «Суда Париса» Левина интертекстуализация выводит на поверхность не только «вторичность» вновь созданного текста (недаром в новом тексте «все вторит, вторит»), но и подвижность грамматических признаков по оси «номинация-предикация». Подобная «вторичная номинализация» основана на переосмыслении формы слова, которая, будучи перенесена из одной грамматической парадигмы в другую, становится лишь формальной звукобуквенной оболочкой «подвижного содержания». Семантическое наполнение этой формальной оболочки определяется новым контекстом, однако в ней не исчезает «память» о прежних, нормативных контекстах, и создается эффект «просвечивания» одной формы через другую.

Свобода поэтической техники позволяет современным авторам нейтрализовать в структуре текста и оппозицию цельности/отдель-

<sup>10</sup> О частеречных трансформациях в современной поэзии см. [Зубова 1999].

ности слова, строки, высказывания. К примеру, С. Бирюков в стихотворении под заглавием «Основы фонологии» рассматривает сам процесс артикуляции и последующей ассимиляции звука как один из вариантов телесных соприкосновений (или «внутреннего движения в звуке речи») — недаром и весь его цикл называется «Тело языка. Язык тела»: в нем способы артикуляции «языка» отражены в строении строк так, что сама вербально-визуальная форма текста становится «телесной» и провоцирует движение поэтической материи. Ср.:

*подумать так неизбежно  
теловходитвтело  
отверстияокруглостимягкоститвердости  
зияниязаднийпереднийподъем  
фонетика*

Говоря о современном «орфографическом» представлении текста, нельзя обойти вопрос о прописных и строчных буквах, который плавно переходит в вопрос о новом «грамматическом» типе неологизмов в современной поэзии. Часто, как мы видели, весь текст записывается строчными буквами, а поэтому и имена собственные могут также писаться с маленькой буквы. Что это означает: их уравнение в правах с другими словами в поэтическом тексте (как это считает Л. В. Зубова [2001: 52]) или снижение в ранге? Нередко сам читатель должен догадываться, почему одни имена собственные в одном и том же тексте пишутся с маленькой буквы, а другие с большой, как, например, в стихотворении В. Кривулина «Метаморфозы»: *ночь на часах лобачевского млечных / <...> — где могила хлебникова? нигде / — где малевич бинтующий пустоту? / <...> лики озер духовных / и над ними Сири-Летатлин / с веткой хрустальной в клюве.*

С одной стороны, можно предположить, что при замене *строчная/прописная* буква мы имеем дело с простой метонимической трансформацией, с другой, — что подтверждает более широкий материал, становится очевидным, что мы выходим в широкую сферу грамматических неологизмов, порождение которых возможно благодаря общей подвижности и трансформации грамматических категорий и связей в поэтическом тексте. В связи с этим интересно, что почти все тексты Айги пишутся с маленькой буквы, но среди них появляются вкрапления с заглавными, прежде всего это новообразования, подобные цветаевским<sup>11</sup>, в которых орфографически

<sup>11</sup> Ср. ...*Лежит цвет-наш-трезвенник, / Как пьяный какой... / Крылышек про- между / Грудку-взял-ей-стан...* (М. Цветаева. «Царь-Девница», 1920).

«капитализируются» не только именные, но и глагольные комплексы-неологизмы. Ср.:

*раня себя понимаю что где-то Струится-свет-слез  
<...>*

*темя — преграда-приманка в игре  
для Плачется-ярче-чем-мозг-у-дарящего-выше  
и есть самомысль при которой гоцу*

(«Ты с конца»).

Наличие таких «инкорпорированных» структур еще раз подтверждает тот факт, что в современном стихе нейтрализуются различия между именем и глаголом, а также нивелируются границы между стиховым рядом, предложением и словом, и поэтическая «самомысль» приобретает «слитный групповой смысл».

Многие тексты последних лет вообще демонстрируют расшатывание категории залога на фоне общей аморфности субъектно-объектных связей и активной ассоциативно-визуальной роли знаков препинания. С подобными явлениями снова встречаемся в поэзии Г. Айги («Вдруг — мельканье праздника»):

*даль наполняли словно шумом мельничным  
и блеском девушки! — для праздника святое  
сиянием первичным —*

*(хотя всегда мы умираем и это нами и живет:  
блестим расплескиваясь тихостью  
себе не разрешая знать) —*

В данном случае семантический сдвиг происходит из-за того, что глагол неконтролируемого ментального состояния *знать* обычно не соединяется с каузативами типа *разрешать* (нормальный каузатив *позволить*); в то же время используется и семантическая многозначность творительного падежа имени и глагольных форм с *-ся*.

Еще в начале века в работе «Новые пути слова» Крученых определял грамматическую неправильность как первично остранный поэтический прием: «Отмена обязательности конвенциональных грамматических правил, правил правописания, пунктуации, словообразования, синтаксиса прежде всего проявляется в совершенно беспорядочном процессе разложения на составляющие и рекомбинации, единственная цель которого — провоцировать первичные эффекты остранения непонятностью и бессмысленностью текста» (цит. по [Хансен-Лёве 2001: 108]). Читателю же надо пытаться осмыслить все эти семантические и грамматические аномалии и постичь интенциональный смысл.

Однако деавтоматизация формы стиха и ее потенциальная открытость может достигаться и за счет минус-приемов — например,

за счет «минимизации» эксплицитного текста и снятию в нем проявленных грамматических связей. В этом случае автор заставляет читателя самого восстанавливать недостающие элементы текста, которые считает избыточными, для автора же текст достаточен как стих — ср. «Листья» Генриха Сапгира:

*нас не улов  
ни кисть ни слов —  
лишь музыка стиха  
Мы сами — муз  
сияем соверше  
мы — обл и не  
мы е и не —  
волнение в душе*

Подобная «недостаточность» ориентируется на вербальную память индивида и становится предметом языковой игры, она же выводит на поверхность и тенденцию современной поэзии к «негации» — на поверхности даже такой «минимизированной» формы стиха остается очень большое количество именно отрицательных частиц.

В связи с последним следует отметить, что в современной поэзии служебные элементы приобретают структурообразующее значение. Кроме операторов отрицания — частиц *не* и *ни*, а также противительного союза *но*, которые фиксируют невозможность адекватного выражения или неопределенность высказанного (см. [Фатеева 2001]), самостоятельную функцию приобретают предлоги и союзы, выполняющие функцию определения отношений между чем-то неопределенным (или «ничем»)<sup>12</sup> и лирическим субъектом. Ср. у А. Драгомощенко: *уже вторжение туда, где «в» и «вне» / пульсирует смиренно / в купели накопления «ни-что»*; *Все не то, а «то» всегда за спиной / или за. Предлогом, маркирующим / пространство, / взглядом, / словно / раковина ответа.*

Отдельные служебные элементы, одновременно являющиеся и «буквами как таковыми», могут выступать как надтекстовые элементы, определяющие организацию всего стиха. Так, в стихотворении о «доже дождя» А. Альчук предлог «с» выполнял роль эпиграфа, а у А. Цыбулевского буква-предлог «В» становится заглавием, значение которого раскрывается в последних строках текста. Ср.:

<sup>12</sup> Сам А. Драгомощенко дает этому состоянию такое толкование: «Открывалось то, чего не мог ни описать, ни понять, ни отнять у языка, учившегося зрению, однако в своей странной совокупности бывшего еще неопределенной нежели те несколько «образов», которые он предлагал сознанию, изумляя его доступностью» («Острова сирен»).

*Отступая, отступаясь в слово.*

*Волны слова — слоновые — слово-волны.*

*В, в, в, в, в, в*

*В*

«Отступление в слово», таким образом, оказывается отступлением в отдельный звук-предлог В, за которым ничего нет.

И тут мы подходим к очень важному моменту в искусстве XX в.: поиски необычной, изысканной формы в итоге оборачиваются выбором простейшей, почти нулевой (ср. цикл «Простейшие» А. Альчук). Таким образом, поэтическое мышление XX в. с самого начала полярно, и разные его пределы связаны оператором отрицания НЕ. В визуальном искусстве такой НЕ-предел был достигнут уже в начале века К. Малевичем, который назвал этот «предел» высшим — стиль, предложенный им, — супрематизм (от лат. *supremus*, «высший, последний»), последний смысл искал в геометрических абстракциях из простейших фигур (квадрат, прямоугольник, круг, треугольник). Т. Толстая в эссе «Квадрат» (2001) так определила то, к чему пришел Малевич: «По его собственным словам, он “свел все в нуль”. Нуль почему-то оказался квадратным, и это простое открытие — одно из самых страшных событий в искусстве за всю историю его существования» [Толстая 2001: 6]. При этом, отмечает писательница, весь «ужас» оказался в том, «что на вершине — ничего нет» [Там же: 13].

Неслучайно, на наш взгляд, и то, что на рубеже XX—XXI вв. «Черный квадрат» Малевича стал исходной точкой для визуальных и вербальных вариаций художников слова — все столетие прошло под знаком этого «квадрата», превратившего все в ничто, пустоту. Точно так же футуристическая «заумная» формула «дыр бул щыл» А. Крученых (которую можно семантизировать как «дыра в будущее») — определила, по мысли З. Н. Гиппиус, все то, «что случилось с Россией» (см. [Бирюков 1994: 229]). Эти два «произведения» обозначили визуальный и вербальный предел формы выражения.

Эти же два «предела» А. Федулов выбирает как определяющие для своего стихотворения «Беглец», жанр которого определяет как «Эссе». Эпиграфом к стихотворению служит положение, взятое поэтом из книги К. Малевича «От кубизма и футуризма к супрематизму» (М., 1915), ссылка дана им самим:

*«1. Устанавливается пятое*

*(экономию) измерение»*

*МАЛЕВИЧ К. «Установление “А” в искусстве» 1919 г. Витебск*

Само стихотворение разделено на пронумерованные части, первые четыре из которых мы процитируем:

1. *Не речью черен*
2. *монстр АРТ — сном*
3. *(о миссии): Там — Ёр-пустота*  
*и Тартар — давка: чи-ве-ла...*  
*Малевой Авеля, Малевич. А?*  
*Квадратъ рати.*  
*А тот —*  
*супрематии-и-ссимо:*
4. *«А» на бел холст — соло*

Как мы видим, прежде всего с эпиграфом корреспондирует третья часть, в которой звуковой состав слова «квадрат» разложен на слова ТАРТАР (в греческой мифологии это бездна в недрах земли, куда Зевс низверг титанов; царство мертвых) и ДАВКА (‘скопление теснящихся в беспорядке, давящих друг друга людей’), а фамилия МАЛЕВИЧ ассоциативно соединена с глаголом *малевать* (со значением ‘небрежно рисовать’) и библейским АВЕЛЕМ — невинной жертвой жестокости. Таким образом, «пятое измерение», заявленное Малевичем, оказывается провалом «в бездну» жестокости, поэтому и последняя часть стихотворения Федулова заканчивается словами о «дикаре», который способен произносить лишь отдельные, не складывающиеся в целое звуки: ср.

8. *«Принцип дикаря...»!*  
*— ра, Ки Д, П и Ц, Н и Р, П...*

(вспомним «безумные буквы» в стихотворении «В контурах времени» В. Аристова).

А. Вознесенский на рубеже веков также вновь открывает «Черный квадрат», в котором буквы имеют свой код. При этом в стихотворении «ОТКРЫТИЕ ЧЕРНОГО КВАДРАТА» сплошные вопросы и почти нет ответов. Один из вопросов: *Что стоит за понятием «К. Малевич»?* получает ответ в качестве аббревиатуры под вопросом *ЧК?* [черный квадрат. — Н. Ф.]. Сам же черный квадрат поэта состоит из вопросительного местоимения и предлога, которые визуально переводят друг в друга вопросы «За что?» и «Что за?», но последний из них со знаком вопроса уже вынесен «за» пределы квадрата: ср.

*что за что за что за*  
*что за что за что за*  
*что за что за что за*  
*что за что за что за*  
*что за что за что за*  
*что за что за что за что?*



Так, видимо, Вознесенский делает зримым предшествующий в тексте данному квадрату вопрос:

*Два тысячелетия имели двумерное сознание,  
третье тысячелетие имеет трехмерное — что за?*

Видимо, истинный смысл поэзии как раз и состоит в том, чтобы открыть «черный квадрат» и выйти «за».

Подводя итог, скажем что Жан-Франсуа Лиотару принадлежит парадоксальное определение постмодернизма как «будущего в прошедшем». В конце 1970-х годов постмодернизм осмыслялся Лиотаром «как возврат к истокам модернизма, к игре чистого эксперимента, который предшествовал утопической и тоталитарной серьезности, претендующей на переделку мира» [Эпштейн 2000: 287]. По мнению М. Эпштейна, осмысляющего высказывание Лиотара на рубеже XX—XXI вв., формула «накануне» более точна для современного состояния литературного процесса, чем «на исходе». «Если то, что понимается под постмодернизмом, — пишет он, — есть неограниченная игра неопределяемых значений, то почему бы не рассматривать будущее как более точную модель такой неопределенности, чем прошлое, которое в меру своей прошедшести уже всегда имеет предел, заданность, закрытость» [Там же: 288]. Большинство тех поэтов, поэтические опыты которых мы рассмотрели в данной статье, обычно возражают, когда их называют «постмодернистами», и неуклонно говорят о себе как о «футуристах». Однако нам кажется, что они не отказались бы от расширенного понимания сущности того, что они делают, как «будущего в прошедшем»: ведь «еще не» содержит разброс возможностей, которых лишено любое «уже».

#### Л и т е р а т у р а

*Бирюков С.* Зевгма. Русская поэзия от маньеризма до постмодернизма. М., 1994.

*Бирюков С.* Теория и практика русского поэтического авангарда. Тамбов, 1998.

*Булатов Д.* Точка зрения: Визуальная поэзия. 90-е годы. Калининград, 1998.

*Булатов Д.* Noto sonogus: Международная антология саунд-поэзии. Калининград, 2001.

*Зенкевич М.* О новом стихе // ФУТУРУМ-арт. Литературный выпуск. Москва, август 2001.

*Зубова Л. В.* Частеречная трансформация как троп в современной поэзии (взаимодействие рефлексов бывшего перфекта) // Труды по знаковым системам. XXVII. Тарту, 1999.

*Зубова Л. В.* Современная русская поэзия в контексте истории языка. М., 2000.

*Зубова Л.В.* Поэтическая орфография в конце XX века // Текст. Интертекст. Культура: Мат-лы междунар. конф. (4—7 апреля 2001 г.). М., 2001.

*Мухелишвили П.Л., Шрейдер Ю.А.* Постижение versus понимание // Труды по знаковым системам. XXIII. Учен. зап. ТГУ. Вып. 855. Тарту, 1989.

*Толстая Т.* День. М., 2001.

*Тынянов Ю.Н.* Проблема поэтического языка. Л., 1924.

*Фатеева Н.А.* Основные тенденции развития поэтического языка в конце XX века // Новое литературное обозрение. 2001. № 50.

*Фрейд З.* Психология бессознательного. М., 1989.

*Хансен-Лёве О.А.* Русский формализм. М., 2001.

*Эпштейн М.* Постмодерн в России. М., 2000.

*Якобсон Р.* Работы по поэтике. М., 1987.

Е. В. Хачатурян

## К проблеме образования дискурсивных слов

### 1. Введение

Как известно, в лингвистике существует несколько названий для обозначения класса лексических единиц, которые, во-первых, обеспечивают связность речи, во-вторых, указывают на взаимоотношения между говорящим и слушающим, а также передают отношение говорящего к сказанному. Такие единицы называют модальными и вводными словами, коннекторами, дискурсивными словами. Мы будем пользоваться термином дискурсивные слова (далее ДС), который представляется наиболее емким.

Многие ДС восходят к знаменательным лексемам. В русском языке при образовании ДС наибольшей продуктивностью обладают глагольные формы, наречия и местоимения.

Лексемы, выступающие в качестве ДС, утрачивают синтаксические и морфологические особенности, характерные для знаменательных частей речи, и приобретают черты дискурсивных единиц, в частности неизменяемую форму, обособленную позицию в предложении и определенную интонацию<sup>1</sup>. Например: *Дадим мы им... ну, скажем, пятьдесят пять процентов* (Безымянный) — *скажем* нельзя заменить на *скажу / можем сказать / сказал*. В то же время ДС сохраняют некоторую семантическую связь со знаменательной лексемой их образовавшей, что позволяет говорить лишь о частичной десемантизации.

Задача настоящего анализа состоит в том, чтобы проиллюстрировать соотношение, существующее между семантикой ДС и семантикой сходной по форме знаменательной лексемой. Объектом исследования служат дискурсивные единицы, образованные от глагола *сказать* в формах 1 лица мн.ч. и инфинитива, а также в сочетании с лексемой *так*: *скажем, так сказать, скажем так*.

---

<sup>1</sup> Произношение дискурсивных единиц, образованных от знаменательных лексем, сопровождается общей редукцией — «уменьшением раствора рта независимо от темпа речи. Такая растворная редукция маркирует семантический разрыв с исходной лексемой» [Кодзасов 1993: 187].

В подтверждение сохранившейся связи между отглагольным ДС и совпадающим с ним по форме знаменательным глаголом можно отметить, что в различных языках в качестве ДС часто выступают лексемы, которые описывают действия, выполняемые участниками коммуникации, в частности это глаголы говорения (*сказать, говорить*). Кроме того, глаголы в дискурсивном употреблении сохраняют определенную форму (как правило, дейктичную), которая указывает на соотношение, существующее между участниками коммуникации.

В то же время ДС, сходные по форме в разных языках, не всегда оказываются эквивалентными при переводе. Например:

(а) — *Вы, однако, смотрите, — предупреждая и хмуро сказал Филипп Филиппович, грозя пальцем, — все-таки, смотрите, не злоупотребляйте!* (М. Булгаков, «Собачье сердце», II) — «*Faccia attenzione pero'», ammoni' F. F., accigliato, minacciando col dito, «voglio dire, non abusi!»* (пер. на ит. V. Melander) — *Tout de meme, allez-y doucement, observa Ph. Ph. /.../: — Prenez garde tout de même, n'exagerez pas* (пер. на фр. A. Karvovskij).

В (а) *смотрите* в контексте предупреждения переводится как *будьте осторожны* (досл.), несмотря на существование и в итальянском, и во французском языках ДС от глагола *смотреть* (*guardare, regarder*), которое употребляется, однако, в контекстах типа: *Guarda, sospendiamo ogni discussione...* и переводится как: *Послушай, давай прекратим эти препирательства...* (А. Моравиа).

(б) Арт. Фил.: ... и нарочно посмотрите на детей: ни одно из них не похоже на Добчинского; но все, даже девочка маленькая, как вылитый судья. — Хл.: *Скажите пожалуйста! а я никак этого не думал* (Н. Гоголь, «Ревизор», IV, V) — *Ma guarda un po' tu! Non l'avrei mai pensato!* (пер. на ит. С. Moroni, L. Doninelli).

Невозможность дословного перевода лишней раз подтверждает влияние на семантику ДС отдельных компонентов плана содержания «родственной» знаменательной лексемы, а значит, и необходимость семантического анализа исходной лексемы.

## 2. Лексемы скажем и сказать

Знаменательная лексема *сказать*, по определению словарей, обозначает «словесно выразить свои мысли, сообщить суждение или мнение» (Ожегов), т. е. в семантике глагола *сказать* заложено присутствие двух собеседников: того, кто выражает свои мысли, и лица, к которому обращено сказанное, — а также предмета речи, т. е. того, что сообщается.

В рамках дискурсивной последовательности эти составляющие плана содержания слова могут интерпретироваться как неко-

торый фрагмент  $p$  (сфера действия дискурсивной единицы), который служит для выражения (описания или называния) реального положения вещей  $Z$ , а также участники коммуникации: говорящий и слушающий.

Таким образом, все ДС, в состав которых входит глагол *сказать*, устанавливают в контексте некоторое соотношение между фрагментом контекста  $p$ , который является одним из возможных способов описать мир  $Z$ , или теорией о  $Z$ , и реальным положением вещей  $Z$ , которое приобретает определенные свойства в зависимости от дискурсивного статуса  $p$ .

Анализируемые единицы (*скажем* и *сказать*) образованы от глагола совершенного вида (видовая пара *говорить* — *сказать*). Совершенный вид указывает на то, что совершение описываемого действия происходит не одновременно с моментом речи, а удалено вперед и произойдет через некоторое время. Под совершаемым действием в рамках дискурсивной последовательности следует понимать сказанное — фрагмент контекста  $p$ . Совершенный вид обозначает, что сказанное не зафиксировано *hic et nunc*, а его принятие откладывается на некоторый момент в будущем.

Сохранившаяся форма лица указывает на характер взаимосвязи между участниками коммуникации и тем, что говорится. Необходимо отметить, что обозначения говорящий и слушающий ( $S_0$  и  $S_1$ ) указывают не на реальных участников коммуникации, присутствующих в контексте, а обозначают априори существующих в любом высказывании — создателя (автора)  $p$  ( $= S_0$ ) и отличного от него  $S_1$ , от которого зависит принятие («узаконивание») или непринятие  $p$ . Основной характеристикой  $S_0$  и  $S_1$  является их различная позиция по отношению к  $p$ , даже принятие  $p$   $S_1$ -им не может привести к полному объединению с  $S_0$ <sup>2</sup>.

В ДС *скажем* окончание *-ем* является показателем сохранившейся формы 1 л. мн. ч. Это форма совместного действия: форма первого лица указывает на говорящего как на исполнителя действия, а множественное число обозначает, что говорящий совершает действие не один, а объединяется в единого исполнителя со слушающим<sup>3</sup>.

В рамках дискурсивной последовательности значение сохранившейся формы 1 л. мн. ч. можно проинтерпретировать так: говорящий ( $S_0$ ) — создатель  $p$ , объединяется со слушающим ( $S_1$ ) в едино-

<sup>2</sup> Подробнее об этом см.: [Culioli, Paillard 1987].

<sup>3</sup> Это основное употребление формы 1 л. мн. ч., как известно, у этой формы существуют и другие возможности употребления: «мы» *maiestatico*, например.

го субъекта речи. Так, сказанное *p* оказывается сообщением коллективного автора, обозначенного формой 1 л. мн. ч. Совместное авторство предполагает совместную ответственность за сказанное. Это значит, что никто не несет полной единоличной ответственности. Фрагмент *p* получает статус незафиксированного описания положения вещей *Z*.

В ДС *так сказать* окончание *-ть* является показателем инфинитива. Инфинитив не указывает на то, кто является исполнителем действия: с одной стороны, обозначенное действие не имеет исполнителя, с другой стороны, исполнителем действия может оказаться кто угодно. Инфинитив можно назвать своеобразным способом генерализации сказанного<sup>4</sup>.

В рамках дискурсивной последовательности значение формы можно проинтерпретировать следующим образом: говорящий, хотя и является автором высказывания, однако представляет *p* как не свою теорию о мире, беря таким образом дистанцию относительно выдвинутой теории и отказываясь нести полную ответственность за сказанное. Теория *p* не принадлежит никому, так как это не установлено, но в то же время может принадлежать любому произнесшему *p*, т. е. любой может оказаться временным и частичным ответственным за *p*. Так, выделенный фрагмент *p* получает статус «деперсонифицированного» сообщения, принятие которого никем не востребовано и ни от кого не зависит<sup>5</sup>. Фрагмент *p* можно назвать независимой теорией о *Z*.

Рассмотрим, как семантика формы проявляется в контекстах употребления ДС *скажем* и *так сказать*. При анализе мы будем пользоваться теоретическими и методологическими принципами описания ДС, разработанными российскими и французскими учеными в рамках международного проекта описания ДС (руководитель проекта Д. Пайар). Основной теоретический постулат состоит в следующем: установить семантическое своеобразие ДС — это значит определить дискурсивный статус, который ДС придает своей сфере действия. Путем анализа различных способов варьирования ДС в контексте становится возможным установить семантическую индивидуальность ДС.

---

<sup>4</sup> Ср. описание, предложенное в [Золотова и др. 1998: 141]: «... инвариантное модальное значение инфинитива — значение потенциального действия и независимости его от воли его потенциального же субъекта».

<sup>5</sup> В высказываниях, где присутствует деление на говорящего и слушающего, принятие *p* востребовано *S0* и зависит от *S1*.

### 3. Скажем

Одним из критериев, позволяющих различить типы употребления *скажем*, является статус выбранного фрагмента *p*. На основании этого можно выделить три ситуации употребления *скажем*:

- версия: выбор *p* как единственно возможного выражения *Z*;
- иллюстрация: выбор *p* как одного из возможных описаний/обозначений *Z*;
- уступка: выбор *p* как наиболее нейтрального выражения *Z* (иерархический выбор).

Примером первого типа может служить употребление *скажем* в контексте гипотезы. Выделенный фрагмент *p* является элементом, необходимым для построения гипотезы. Выдвижение гипотезы, основанной именно на версии *p*, а не на другом описании, как правило, ничем не мотивировано, в то же время сказанное *p* принимается в качестве точки отсчета для последующего предположения, а изменение *p* повлечет за собой дальнейшие изменения в контексте.

(1) *Находка была примечательная. Таких еще не попадалось. Никто из древних обитателей этих холмов — ни усуни, ни саки, ни кара-катаи не знали ничего подобного. Впрочем, сосуд мог быть привезен, скажем, из Согдианы, то есть территории нынешнего Таджикистана (тогда становился понятным и солнечный диск: согдийцы же солнцепоклонники). Но это была бы уж такая незапамятная древность, с которой мы еще здесь и не встречались* (Ю. Домбровский).

В (1) фрагмент *p* (версия происхождения сосуда) представлен как возможное, условное продолжение предыдущего описания, которое в то же время требует от говорящего последующего пояснения: далее говорящий выдвигает гипотезу о происхождении сосуда на основании сделанного предположения *p* (из Согдианы). В подобных контекстах *скажем* реже оказывается синонимичным *например*. Так, в (1) *скажем* можно заменить условным оборотом: *если p, то...* либо глагольной формой *предположим*.

Второй тип употребления представляют контексты, в которых фрагмент *p* интерпретируется как одна из иллюстраций, поясняющих общее описание действительности, которое присутствует в предыдущем контексте. Фрагмент *p* выбран из ряда равноправных элементов как один из возможных. Конструкция *скажем p* может быть дополнена (продолжена) другими описаниями.

(2) — *Вот здесь-то наши взгляды и расходятся. Такие средства есть. И самое действенное из них — это наша с вами работа. Видите ли, Полинг... Любое стихийное бедствие — ну, скажем, наводнение — было для троглодита «космической неожиданностью». Но лишь до тех пор, пока он не научился строить плотины* (С. Павлов).

В (2) обобщенное описание действительности *любое стихийное бедствие* уточняется с помощью конкретного примера *скажем, наводнение*. *Наводнение* представлено как одна из возможных иллюстраций предшествующего описания, можно продолжить: *скажем, наводнение или землетрясение*.

Одной из иллюстраций третьего типа может служить употребление *скажем* в диалоге в ответе на вопрос. Процесс ответа является уступкой, на которую идет говорящий, чтобы не нарушать хода коммуникации, говорящий принимает ту роль, которую отводит ему слушающий. Однако фрагмент *р* представлен не как единственно возможное описание действительности, а как своеобразный условный ответ. Говорящий не берет на себя полную ответственность за сказанное, *р* не может служить дальнейшей темой для разговора, зато может быть некоторым «мостиком» — необходимым знанием, дающим возможность продолжать беседу.

(3) *А вы мне не скажете, откуда вы узнали про листки и про мои мысли? — Не скажу, — сухо ответил Азazelло. — Но вы что-нибудь знаете о нем? — моляще шепнула Маргарита. — Ну, скажем, знаю. — Молю: скажите только одно, он жив? Не мучьте* (М. Булгаков).

В (3) говорящий, поддавшись на уговоры слушающего (ситуацию уговоров передают повторный вопрос и авторская ремарка *моляще шепнула*), дает ожидаемый ответ *р*, отметив, однако, с помощью *скажем*, что он не несет всей ответственности за сказанное. Сказанное *р* можно назвать условным ответом: слушающий, получив необходимую информацию *р*, может продолжать задавать вопросы (используя *р* как своеобразный фундамент, на котором строится последующий разговор), однако неизвестно получит ли он на них ответы. Условный ответ в данном случае предполагает неполное соответствие *р* действительности (ситуация типа «знаю, но не все»). В качестве продолжения сказанного можно представить себе следующий диалог: *Где он находится? — Вот этого я не знаю. Знаю только, что он жив.*

Таким образом, используя описание глагольной формы, а также анализ контекстов употребления можно сформулировать особенности ДС *скажем*.

Во-первых, *скажем* указывает на то, что теория *р*, выбранная из ряда возможных теорий для описания *Z*, условна, а значит, зафиксирована временно (в рамках созданного дискурсивного пространства).

Во-вторых, семантика формы I л. мн. ч может быть интерпретирована так: «мы, т. е. я — говорящий, создающий высказывание, и



ты — слушающий, от которого зависит принятие/непринятие сказанного (дающий сказанному законный статус), выбираем фрагмент *p* для описания/называния положения вещей *Z*».

Таким образом, пространство, образованное с помощью *скажем* — это пространство субъективного нейтралитета, где говорящий выдвигает *p*, но отказывается от своих абсолютных и единоличных прав на *p*. Теория *p* является основанием для объединения двух мнений: своей теории о *Z* и чужой теории о *Z*, где «свое» принадлежит говорящему (автору), а «чужое» — слушающему. Отказ от оппозиции «свое/чужое» в пользу объединения свидетельствует об отсутствии разделения на автора и слушающего и вместо этого об их объединении в совместного автора.

Таким образом, *скажем* создает дискурсивное пространство, в котором вместо разделения на два различных мнения о *Z* «своя теория / чужая теория» эти два мнения временно объединяются, выделяя совместную теорию *p*. Под объединением говорящего и слушающего понимается их сходное отношение к выделенному *p*. Говорящий и слушающий временно объединяются, отступив от своих взглядов, и вместе наблюдают за тем, как будет разворачиваться дискурсивная последовательность в случае принятия *p* для описания *Z*<sup>6</sup>.

#### 4. Так сказать

На семантику *так сказать*, кроме компонентов значения глагола *сказать* в форме инфинитива, влияет также значение лексемы *так*. Временно определим ее как элемент, служащий для фиксации сказанного.

Основанием для различения типов употребления *так сказать* может быть статус зафиксированного фрагмента *p*. Обозначим ситуации употребления *так сказать* следующим образом:

- клеймо: *p* позволит идентифицировать *Z* в дальнейшем;
- ярлык: *p* содержит необходимую информацию относительно *Z*, необходимую в данной ситуации употребления;
- форма-шаблон: *p* позволит соотнести *Z* с другими сходными положениями вещей.

Первый тип представляют употребления *так сказать* в ситуации названия нового положения вещей. Фрагмент *p* оказывается своеобразным клеймом, выбранным, возможно, без каких-либо оснований, но отныне зафиксированным для обозначения *Z*. По-

<sup>6</sup> Подробнее о семантике дискурсивного слова *скажем* см. [Хачатурян (в печати)].

ложение вещей  $Z$  наделяется таким названием  $p$ , которое может быть использовано в дальнейшем для идентификации  $Z$ .

(5) — *Все, что вы просили, все, что нам полагалось, мы сделали, а вот обрадовать вас нечем. Вот здесь все изложено, прочитайте, — Левин протянул собеседнику несколько машинописных страниц, сколотых скрепкой. — Это, так сказать, наш отчет...*

*По мере того, как Чекирда читал, лицо его как бы усыхало и серело, заметно дергался кадык, когда он нервно сглатывал слюну. И, наблюдая за ним, Левин философски думал: «К его лицу никто не прикасался, никакого физического насилия, а смотри, что с ним делается! Как это происходит в человеке за краткое мгновение? Что из мозга несется в мышцы человека, чтоб вдруг вызвать такие разительные перемены?! Жалко, конечно, его... Кто бы он ни был, все же хотел что-то производить, а не заниматься куплей-перепродажей... Интересно, что он предпримет?..» (Г. Глазов).*

В (5) фрагмент  $p$  (*наш отчет*) представлен как название предмета: *несколько машинописных страниц, сколотых скрепкой*. В последующем контексте приводится описание особенностей названного предмета: исходя из реакции героя, можно сделать вывод о содержании документа. Теперь предмет, имеющий отмеченные характеристики, можно будет называть  $p$ .

Во втором типе *так сказать* употребляется в контексте комментирования сказанного ранее. Фрагмент  $p$ , введенный с помощью *так сказать* — это дополнительное название  $Z$ , которое дается с учетом конкретной ситуации общения и фиксируется как обозначение  $Z$  именно в данной ситуации. Фрагмент  $p$  имеет иной статус по сравнению с окружающим контекстом. Название  $p$  не связано с предыдущим контекстом и не будет иметь продолжения в последующем контексте — это своеобразный ярлык, который можно отклеить и приклеить, не внося при этом дополнительных изменений.

(6) (основное обвинение, предъявляемое арестованному, наличие его отпечатков пальцев на чемодане русской радистки; он отрицает свою виновность) *Откуда на чемодане русской могли быть мои пальцы... Где она, кстати? Я думал, вы устроите нам свидание. Так сказать, очную ставку* (Ю. Семенов).

В (6)  $p$  — это название  $Z$ , которое выдвигает говорящий, учитывая ситуацию общения: *так сказать, очную ставку* можно перефразировать как «если вы считаете, что я арестован, то значит следует назвать эту встречу очной ставкой». На примере (6) становится очевидно, что  $p$  — это такое название  $Z$ , которое хотя и выбрано говорящим, однако не является его взглядом на мир, а существует независимо.

В третьем типе контекста *так сказать* употребляется, как правило, в постпозиции относительно сферы действия *p*, которая приобретает двойной статус. С одной стороны, *p* первоначально воспринимается как теория о мире, исходящая непосредственно от говорящего, за которую он несет ответственность. С другой стороны, *так сказать* в постпозиции устанавливает границы *p*, указывая на то, что выделенный фрагмент *p* — это готовая форма-шаблон, которая позволит соотнести *Z* с рядом похожих ситуаций.

(7) — *И помог он вам?*

— *Не помог — сам все сделал. Когда я два дня спустя после работы к нему поехала, как мы условились, рецензия была готова — напечатана в двух экземплярах, все честь по чести. Я его благодарить, а он головой покачал и сказал: «Не надо, Валя, это я в своих интересах, чтобы нам с вами сегодня не работать, а шампанское пить...» И глаза у него были в тот момент необыкновенные — грустные и какие-то сияющие, я таких ни у кого еще не видела. Наверное, в тот момент я в него и влюбилась. Что ж, я — человек решительный. Прямо при нем сняла трубку и позвонила домой, что буду ночевать у подружки.*

— *Любовь с первого взгляда, так сказать...*

— *Это что, ирония?* (А. Стругацкий).

В (7) слушающий описывает ситуацию, на которую говорящий надевает форму-шаблон (*любовь с первого взгляда*), отмечая тем самым в описанной ситуации те черты, которые позволяют причислить ее к группе ситуаций, называемых «любовь с первого взгляда».

Прежде чем дать семантическую характеристику ДС *так сказать*, следует уточнить семантические особенности лексемы *так*.

Словари не дают определения лексеме *так*, а перечисляют контексты ее употребления. Особенности *так* можно свести к двум основным функциям<sup>7</sup>. Во-первых, *так* устанавливает взаимосвязь введенного элемента с некоторым эталоном, существующим априори (*говорить так, как нужно*); или установленным в предыдущем контексте (*Ты так думаешь?; сделай так же*). Во-вторых, *так* указывает на самодостаточность (независимость) происходящего: сказанное не ведет ни к какому результату (*так это не пройдет*), не имеет последствий (*сказал просто так*), не испытывает влияния извне (*болезнь не пройдет так*).

Кроме того, *так* в роли ДС может употребляться при фиксации сказанного (= да), а также при выводе из сказанного ранее (*Вот картина Репина. — Так эту картину написал Репин!; Так давайте же, друзья, спокойно относиться к неприятностям*)<sup>8</sup>.

<sup>7</sup> Примеры из [Ожегов1990].

<sup>8</sup> Примеры из [Морковкин 1997].

У перечисленных функций *так* можно выделить ряд общих особенностей. Лексема *так* фиксирует сказанное, независимо от наличия/отсутствия дополнительных доказательств, устанавливая своеобразный замкнутый круг: *так* вводит элемент и позволяет охарактеризовать его относительно самого себя. Например: *Он бежал так быстро, что его не могли догнать* — существование *так* требует продолжения (введенного союзом *что*), где бы определялся введенный элемент *p* — *быстро*. В предложениях типа *Сделай это так*; *Не говори так* вторая часть, поясняющая *p*, отсутствует в контексте, однако ее существование предопределено: *Сделай это так* подразумевает *как нужно / как я говорю*; *Не говори так* — *как ты говоришь*.

В рамках дискурсивной последовательности значение *так* можно описать следующим образом<sup>9</sup>: *так* создает дискурсивное пространство, в котором введенный элемент *p* зафиксирован относительно *Z*, причем ответственность за адекватность *p* — *Z* лежит на самом элементе *p*, т. е. *p* приобретает статус самодостаточного элемента<sup>10</sup>.

Используя описание глагольной формы, слова *так*, а также анализ контекстов употребления можно установить, в чем состоит семантическая индивидуальность *так сказать*.

Во-первых, *так сказать* указывает на то, что теория *p* зафиксирована как описание *Z*, причем *p* принимается без гарантий и доказательств, ни в чью компетенцию не входит обсуждать *p*, слова оказываются ответственными сами за себя (влияние семантики *так*).

Во-вторых, семантика инфинитива в данном случае может быть интерпретирована так: «я, будучи автором высказывания, говорю *p* для описания *Z*, однако ни я, ни кто другой не отвечает за выбор *p*, ни за адекватность *p* — *Z*». Таким образом, дискурсивное пространство, образованное *так сказать*, — это ничье пространство, где и говорящий, и слушающий оказываются в одинаковом положении — положении пассивного наблюдателя, разделение на говорящего и слушающего снимается.

*Так сказать* является своеобразной перегородкой, за которой действует *p*, устанавливая свои позиции, определяя границы *Z* и находясь при этом вне сферы влияния говорящего и слушающего.

<sup>9</sup> Заметим, что предлагаемое описание требует уточнений и доработки.

<sup>10</sup> Ср. с описанием *так*, предложенным Ж. Веренком [Veyrenc 1986: 15]: «*так* offre la propriété singulière de réunir en une même forme deux valeurs antinomiques, l'une indéfinie... l'autre définie, ces deux valeurs étant liées l'une à l'autre par une relation d'identité établie entre leurs classes d'appartenance».

В этом отношении и говорящий и слушающий оказываются отстраненными от развития дискурсивной последовательности и объединенными со всеми возможными участниками коммуникации как потенциальные ответственные за р. В этом смысле р можно назвать всеобщей теорией о Z.

### 5. В заключение

Для того чтобы уяснить функциональные и семантические особенности ДС, часто используется метод взаимозамены сходных или синонимичных единиц. Сравним три дискурсивные единицы с одинаковыми составляющими: *скажем*, *скажем так* и *так сказать*. Все три вводят в контекст некоторую теорию р — название или описание реального положения вещей Z (влияние лексемы *сказ(ать)*). *Скажем* и *скажем так* свидетельствуют о временном объединении говорящего и слушающего в совместного автора, который несет ответственность за условную теорию р о Z (влияние формы 1 л. мн. ч). *Скажем так* и *так сказать* употребляются только при номинации, фиксируя выбранное лексическое средство р для называния/обозначения существующего концепта<sup>11</sup> (положения вещей) (влияние *так*).

В ситуации номинации *скажем* можно заменить на *скажем так*.

(8) *Так вот, мафия, — продолжал Мишель Потье, — подбирается к допингам, активно изучает их возможности. Мне доводилось встречаться с такими, скажем, гонцами, любезно и ненавязчиво интересовавшимися способами определения того или иного вещества в организме (И. Заседа). — Мне доводилось встречаться с такими, скажем так, гонцами...*

Однако замена *скажем так* на *скажем* возможна не всегда.

(9) *Прямо под ним открывалась бездна — так ему показалось — хотя при втором взгляде обнаружилось, что до бездны далеко. Скажем так: провал глубиной метра два. Валентин Борисович повел глазами и увидел огромную прямоугольной формы яму, в точности повторяющую своими очертаниями размеры дома в плане (А. Житинский).*

(10) *Короче, мы оказались в плену, или, скажем так, в гостях у тех самых соплеменников Ирины, которые гонялись-гонялись за нами и наконец достали.*

В (9, 10) замена на *скажем* невозможна. При переформулировке *скажем так* вводит в контекст новую теорию р о существующем положении вещей Z, при этом р не поясняет предшествующее название р (как в контекстах употребления *скажем*), а модифицирует сказанное ранее.

<sup>11</sup> Подробнее см. [Бонно, Кодзасов 1998].

Таким образом, *скажем так* фиксирует условную теорию р относительно Z, предохраняя ее от возможного обсуждения или модификации. Фрагмент р, введенный *скажем так*, получает статус условного, но при этом фиксированного описания Z, который, с одной стороны, принимается временно лишь для того, чтобы продолжить коммуникацию, но с другой стороны, может быть использован в дальнейшем как возможное название Z.

(11) *А любая автаркия ведет к застою и упадку. Даже если осуществляется в масштабах галактики. Поэтому они приняли решение — очень, кстати, нетривиальное — осуществить инверсию своего времени в достаточно больших масштабах и через созданный, скажем так, шлюз выйти в нормальную, нашу с вами вселенную. По ряду причин такое решение не устраивает нас. Но об этом позже. Вас указанное решение должно устраивать еще меньше, поскольку Земле отводится роль одновременно и «шлюза», и тет-де-пона...*

В (11) название р (*шлюз*), введенное с помощью *скажем так*, используется в последующем контексте как условное (в кавычках), однако временно зафиксированное обозначение Z.

*Так сказать* почти всегда можно заменить на *скажем так*, кроме тех контекстов, где заведомо невозможно объединение говорящего и слушающего. Так, в примере (7) говорящий занимает обособленную позицию комментатора, его цель не определить описанную ситуацию (в этом случае было бы возможно привлечение слушающего в соавторы), а высказать свое к ней отношение.

Замена *скажем так* на *так сказать* невозможна в том случае, если р является знанием (12) или личным мнением (13) говорящего.

(12) *И тут бортмеханик, имевший сейчас озадаченное, если не сказать глупое, лицо, что-то зашептал капитану:*

— *Объяснитесь, сударь, что происходит? Зачем вы шушукаетесь при посторонних, ведь это неприлично! — вклинулся я в их бормотание. <...> Ну, что за неполадки, Лукич? Почему вас все время надо тянуть за язык? Я ведь могу и за нос дернуть.*

— *Вы же простой угонщик и ничего не понимаете в ионных двигателях. Их на тракторах не бывает... Ну, скажем так: падение тяги на сеточных электродах. А, значит, проблемы с формированием ионного пучка (Тюрин).*

(13) — *Интересный у вас взгляд на работу инспектора.*

— *Скажем так — реалистичный. А вот ваш взгляд, если это действительно взгляд, если я вас правильно понял, меня удивляет (Казменко).*

Это еще раз подтверждает, что *так сказать* создает пространство «деперсонифицированного» нейтралитета, где сказанное ни от кого не зависит и никому не принадлежит. Отстраненность и

говорящего, и слушающего, а также отсутствие ответственных за сказанное ведут к тому, что р оказывается в ином дискурсивном пространстве: вне обсуждения, а значит, без возможности изменения. *Скажем так*, напротив, фиксирует выбранное название р, принимая во внимание присутствие слушающего.

(14) *Осталось совсем немного — чтобы он («Кинотавр») стал государственным. С одной стороны, его предстоящее «огосударствление» радует, поскольку подчеркивает значимость явления. С другой — огорчает, потому что первое, скажем так, романтическое удовольствие, связанное с появлением «Кинотавра», уже никогда не повторится, вокруг него уже складывается целый институт управляющих структур (из газет). — Ср.: ...первое, так сказать, романтическое удовольствие...*

Таким образом, многие ДС образуются путем частичной десемантизации от знаменательных лексем, которые при этом утрачивают ряд синтаксических и морфологических особенностей, но сохраняют некоторые компоненты плана содержания.

При описании семантики ДС следует учитывать семантические особенности «родственной» лексемы. Это поможет объяснить разницу между такими единицами, как, например, *в самом деле* и *на самом деле*, *вообще* и *в общем*, *действительно* и *в действительности*.

#### Л и т е р а т у р а

Бонно, Кодзасов 1998 — Бонно К., Кодзасов С.В. Семантическое варьирование дискурсивных слов и его влияние на лингвизацию и интонирование (на примере частиц *же* и *ведь*) // Дискурсивные слова: опыт контекстно-семантического описания / Под ред. К. Киселевой, Д. Пайара. М., 1998.

Золотова и др. 1998 — Золотова Г.А., Ошпенко Н.К., Сидорова М.Ю. Коммуникативная грамматика русского языка. М., 1998.

Кодзасов 1993 — Кодзасов С.В. Интонация предложений с дискурсивными словами. Группы: *едва, действительно, вообще, совсем, прямо* // Баранов А.Н., Плунгян В.А., Рахилина Е.В. Путеводитель по дискурсивным словам русского языка. М., 1993.

Лаптева 1999 — Современная русская устная научная речь. Тексты. Т. 4 / Под ред. О. А. Лаптевой. М., 1999.

МАС — Словарь русского языка: В 4 т. / Под ред. А. П. Евгеньевой. М., 1986.

Морковкин 1997 — Словарь структурных слов русского языка / Под ред. В. В. Морковкина. М., 1997.

Ожегов 1990 — Ожегов С.И. Словарь русского языка / Под ред. Н. Ю. Шведовой. М., 1990.

Хачатурян (в печати) — Хачатурян Е.В. *Скажем* // Дискурсивные слова русского языка: контекстное варьирование и семантическое единство / Ред. К. Л. Киселева, Д. Пайар.

---

Culioli, Paillard 1987 — *Culioli A., Paillard D.* A propos de l'alternance imperfectif/perfectif dans les énoncés impératifs / *Revue des études slaves*. 1987. LIX/3. P. 527—534.

Paillard 1997 — *Paillard D.* Les mots du discours comme mots de la langue: pour une typologie formelle / *Le Gré des Langues*. 1997. № 11. P. 68—90.

Paillard, Kisseleva 1999 — *Paillard D., Kisseleva K.* Les mots du discours: garant et point de perspective / *Revue de Sémantique et de Pragmatique*. 1999. № 5.

Veyrenc 1986 — *Veyrenc J.* L'agrégat 'tak i' en russe contemporain // *Les particules énonciatives en russe contemporain*. 1986. Vol. 1. P. 13—51.



*Т. Б. Юмсунова*

## **Язык забайкальских старообрядцев — семейских и их языковая прародина**

Настоящий доклад основан на материалах многолетних экспедиционных обследований говоров семейских — русских старообрядцев, переселившихся в Забайкалье в XVIII в. и ныне компактно проживающих в Тарбагатайском, Мухоршибирском, Бичурском, Заиграевском районах и отдельными поселениями в других районах Республики Бурятия, а также в Красночикийском районе Читинской области. Данные говоры представляют значительный интерес с точки зрения истории формирования и современного бытования. С поселением семейских Забайкалье стало средоточием яркой и колоритной культуры старообрядцев на востоке нашей страны.

Вопрос о прародине забайкальских старообрядцев — семейских относится к числу нерешенных в науке и сохраняет свою актуальность и в настоящее время. Начиная с А. М. Селищева [Селищев 1920], диалектологи и историки языка едины в своем определении говоров семейских как южнорусских по своей основе и своей прародине (см.: [Белькова 1970; Копылова 1973; Калашников 1966; Тынтуева 1974; Юмсунова 1992] и др.). Представители же других наук высказывали и иные предположения о происхождении семейских.

В результате перемещений семейских на территории Европы и в Сибирь их говоры испытали белорусское воздействие в районах Ветки и Стародубья и бурятское в Забайкалье. Особенно сильному влиянию в Забайкалье подверглись исследуемые говоры со стороны соседних русских сибирских старожильческих говоров, северно- и среднерусских в своей основе. В выявлении материнской основы исследуемых говоров существенную роль играют данные всех языковых ярусов. В настоящем докладе рассматриваются данные фонетики и грамматики.

## ОСНОВНЫЕ ФОНЕТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ

## Вокализм

1. Под ударением в исследуемых говорах, как и в литературном языке, различается пять гласных фонем: /a/, /o/, /e/, /i/, /y/.

2. Во всех говорах старообрядцев Забайкалья в настоящее время предупредительный вокализм после твердых согласных характеризуется недиссимилятивным аканьем. Такое произношение свойственно представителям всех поколений семейских.

Однако в говорах семейских Красночикийского района Читинской области В. И. Копыловой в 1970-е гг. зафиксировано и диссимилятивное аканье [Копылова 1973: 27]. Этот тип аканья обнаружен мною и Л. Л. Касаткиным в 2002 г. во время диалектологической экспедиции в с. Урлук Красночикийского района Читинской области: *n[a]шлi, до М[a]скви, х[a]хлуша, д[a]мой, х[a]мела, т[э]скать, д[э]ма, пом[э]гла* и т. п. Этот тип уже не выдерживается последовательно, в 1-м предупредительном слого после твердых согласных перед [a] в речи одного и того же информанта наряду с [э] может употребляться и [а]: *гр[а]жданка, сп[а]хал, н[а]кажыть, сн[а]чала, к[а]кая* и др.

3. В исследуемых говорах наблюдаются разные типы безударного вокализма после мягких согласных: сильное яканье, умеренное яканье, диссимилятивное яканье жиздринского типа, еканье, иканье.

В начале XX в. А. М. Селищев выделял в говорах семейских Забайкалья диссимилятивное яканье, иканье и непоследовательно проведенное еканье, отмечал наметившуюся тенденцию к смешению диссимилятивного типа яканья с ассимилятивным. Иканье в говорах семейских А. М. Селищев рассматривал как результат влияния соседей-сибиряков [Селищев 1920: 40, 44—46]. Эволюцию диссимилятивного яканья в ассимилятивное и сильное яканье и иканье отметили последующие исследователи говоров семейских [Калашников 1966; Копылова 1973]. Диссимилятивное яканье жиздринского типа сближает говоры семейских с говорами Юго-Западной диалектной зоны [ДАРЯ I: карта 8]. Умеренное яканье сближает исследуемые говоры прежде всего с такими южнорусскими говорами, как тульские, калужские, рязанские, сильное яканье — прежде всего со среднерусскими псковскими говорами [Там же: карта 3].

## Консонантизм

Система консонантизма включает фонемы, одинаково реализующиеся (так же, как в литературном языке) у всех носителей ис-

следуемых говоров: /п/, /п'/, /б/, /б'/, /м/, /м'/, /н/, /н'/, /л/, /л'/, /р/, /р'/, /ш/, /ж/. Остальные согласные фонемы имеют особенности в их реализации.

1. Звонкие заднеязычные фонемы повсеместно в русских старообрядческих говорах Забайкалья, даже в речи представителей старшего поколения, обычно реализуются звуками [г], [г']. Однако в некоторых позициях иногда могут выступать прежние реализации этих фонем — [γ], [γ'], повсеместно распространенные в южнорусских говорах [ДАРЯ I: карта 44; РД 1965: 71—73].

Эти звуки встречаются наряду с взрывными [г], [г'] чаще всего в интервокальном положении: *тялѣ[γ]а, и[γ]олка, о[γ]уриѡв, подрѹ[γ]и* и др. Реже встречаются [γ], [γ'] в других позициях: а) в начале слова перед гласными: [γ]а́дко, [γ]уля́нне и др.; б) в начале слова перед сонорными и [в]: [γ]рѹди, [γ]воздо́к и др.; в) внутри слова перед сонорными и звонкими шумными согласными: о[γ]ло́бли, з[γ]и́ла, [γ]де и др. На конце слова в соответствии со звонкой заднеязычной фонемой наряду с [к] чаще произносится [х]: *плу[х], лѣ[х]* и др.

2. Во всех обследованных населенных пунктах, особенно в традиционном говоре, широко распространено произношение [т'] ([т'']), [т'ʳ]), [д'] ([д'']), [д'ʳ]) на месте [к'], [г']: *[т']ирни́ч, ка́тан[т']и, на перя́т[т'ʳ]е, по-ру́с[т'ʳ]и, [д']екта́р, сапо[д']и́, и́чи[д'ʳ]и, де́нь[д'ʳ]и* и др., известное многим русским говорам, включая некоторые южнорусские. Наиболее компактный ареал оно имеет в среднерусских говорах, расположенных к северу и северо-востоку от Москвы [ДАРЯ I: карты 68, 69; РД 1965: 75].

В отдельных словах появляется произношение [к'] на месте исконного [т']: *[к']ѣсто, [к']и́на*, а также произношение слова *и[к']и* 'щи' (при более распространенном *и[т']и*). Возможно, это результат гиперкоррекции, возникшей под влиянием нормализованного типа языка в связи с прежним неразличением палатальных [т''], [д''] и [к''], [г''], см.: [Касаткин 1999: 119—120].

3. В соответствии с фонемой /в/ литературного языка в речи забайкальских старообрядцев могут произноситься следующие звуки: [w], [ў], [y], [v], [f].

*Перед гласными* в середине и в начале слова может произноситься [w]. Наряду с ним в этих же позициях возможно также употребление [v].

1) В интервокальной позиции: а) после ударных гласных — *де́[w]а, морко́[w]а* и др.; *бра́[v]ые, э́[v]он* и др.; б) перед ударными гласными — *тра[w]а́, жи[w]у́* и др.; *на голо[v]у́, пода[v]а́ть* и др.; в) между безударными гласными — *го[w]о́реть, по́сто[w]али* и др.; *коло [v]оде́, отсѣдо[v]а* и др.; 2) В середине слова после согласных

перед гласными: *д[w]ор, х[w]орáли* и др.; *дят[v]á, спер[v]á* и др.; 3) В начале слова перед гласными: *[w]арна́к, [w]ы́жнуть* и др.; *[v]ойна́, [v]оро́жила* и др.

*Перед согласными и в конце слова* могут произноситься звуки: *[w], [ý], [y], [v], [ф]*.

1) В начале слова: а) перед согласными, в том числе на месте предлогов, в традиционном говоре чаще всего произносится *[y]*: *[y]рэ́мя, [y]до́воль, [y]морхлóт* и др. В данной позиции употребляется также *[w]*: *[w]ро́де, [w]зойде́ть, [w]ку́зне* и др. В настоящее время возможно употребление и *[v]* перед сонорными и звонкими шумными согласными: *[v]ну́чки, [v]лес* и др. и *[ф]* перед глухими шумными: *[ф]сягдá, [ф]купе́ль* и др. 2) В середине слова: а) перед сонорными и звонкими шумными согласными чаще произносится *[w]* и *[ý]*: *дерé[w]ни, пра́[w]ду* и др.; *няда́[ý]но, за[ý]дове́ть* и др. Хотя в настоящее время возможно и употребление *[v]*: *ста́[v]ни, ди́[v]ньский* и др.; б) перед глухими шумными согласными чаще произносится *[ý]*, чем *[w]*: *лесто́[ý]ка, за́[ý]тре* и др.; *де́[w]ка, на [w]торы́м* и др. В настоящее время в данной позиции наблюдается также употребление *[ф]*: *колдо́[ф]ка, на́[ф]кать* и др. В единичных случаях в данной позиции наблюдается *[v]*: *за́[v]тре, к а[v]то́бусу* и др. 3) на конце слова в традиционном говоре преобладает *[ý]*: *дяло́[ý], дро[ý]* и др. Возможно употребление *[w]*: *ня проти́[w], годо́[w]* и др. Отмечаются случаи употребления *[ф]*: *кле[ф], нада́[ф]* и др., в единичных случаях зафиксировано *[v]*: *женихо́[v], тако́[v]* и др.

В говорах семейских довольно широко распространено употребление *[y]* на месте начального *[вы]*: *[y]бо́ра 'выборы', [y]зува́ли* и др.

В речи отдельных носителей исследуемых говоров старшего поколения наблюдается протетический звук *[y]* перед согласным: *[y]лэ́д, [y]ки́чка, [y]пойде́м* и др.

Реализации */в/* сближают исследуемые говоры главным образом с говорами Юго-Западной диалектной зоны, хотя данное явление отмечено и некоторых говорах северо-востока Европейской России, см. [ДАРЯ I: карты 56—59; РД 1965: 242—243, 254—256].

4. В речи семейских старшего поколения зафиксировано употребление *[uw], [уwa]* на месте предлогов и приставок *в* и *у*, что соотносит исследуемые говоры с говорами Юго-Западной диалектной зоны: *был [uw]áрмии, [уwa]сне́, [уwa]ши́и* и др. [ДАРЯ I: карта 59].

5. В соответствии с */ф/* литературного языка произносятся звуки *[xв], [xф]* и/или *[x]*, в соответствии с */ф'/* — *[xв'], [xф']* и/или *[x']*: *сара[xв]áн, сара[xф]áн, ин[x]áрт, [xв']и́рма; [xф']и́рма, [x']и́рма* и др., — черта, характерная для Юго-Западной диалектной зоны [Там же:

карты 54, 55]. В речи младшего поколения в соответствии с /ф/, /ф'/ литературного языка обычно произносится [ф], [ф'].

6. Исключительно в речи носителей говоров старшего поколения отмечено произношение [с'] на месте исконного х' в формах П. п. ед. ч. существительных 1-го склонения и И. п. мн. ч.: *Картóш-ти у шулу́се свáришь*; *Орэси жа лячёбные* и др.

По-видимому, эти формы представляют собой сохранение древнерусского произношения свистящего, возникшего по 2-й палатализации перед *ъ* и *и* дифтонгического происхождения. Об этом могут свидетельствовать и примеры с [с'] на месте х' и [з'] на месте з' в конце основы в форме В. п. мн. ч. возникшие, как можно предполагать, по аналогии с формой И. п.: *Толтёшь орэси*; *У но́зи клáняются*. Подобные формы отмечены и в белорусских говорах [Карский 1955: 367; 1956: 162, 166; ДАБМ: карты 65, 66, 74, 75; Нарысы 1964: 160, 162], и можно думать, что семейские сохраняют эту черту с того времени, когда их предки проживали в районе Ветки.

Звук [с'] на месте х' встречается и в других формах существительных 1-го склонения: *Дрòжжжи дéлали с солодúси*; *Молодúси жи́ли в одно́й избé* и др. Можно предположить, что звук [с'] в этих примерах — результат аналогического выравнивания основы.

7. Согласные на месте *ч* и *ц* различаются и произносятся как [ч'], [ц]: [ч']*ай*, [ц]эп и т. п., что характерно для большинства говоров южного наречия, а также для литературного языка [ДАРЯ I: карта 47; РД 1965: 82]. Однако в речи определенной части носителей традиционного слоя говоров на месте *ч* наблюдаются и звуки, переходные от шипящего к свистящему [ч<sup>ш</sup>], [ц<sup>ш</sup>], либо [ч<sup>с</sup>], либо свистящий [ц'], [ц<sup>с</sup>]: *дяў[ч<sup>ш</sup>]óнка*, *вé[ц<sup>ш</sup>]ером*, *сту[ч<sup>с</sup>]úть*, *све[ц<sup>с</sup>]á*, [ц<sup>с</sup>]úшек и др.

Произношение [ц] на месте *ц* и [ц'], [ц<sup>ш</sup>], [ц<sup>ч</sup>], [ч<sup>ш</sup>] на месте *ч* обычно связывают с исконным цоканьем [Орлова 1959: 51—53, 59, 73—76, 83—90, 95—97] либо с общим неразличением ряда шипящих и свистящих согласных [Касаткин 1999: 358—361]. Предположение А. М. Селищева о воздействии системы сибирских старожильческих говоров с мягким цоканьем на исконную систему говоров семейских с различием [ц] — [ч] представляется не вполне убедительным, см.: [Селищев 1920: 55].

8. Спорадически наблюдается утрата затвора у аффрикаты [ц]: [с]вятóк, огуp[с]ы и др. Подобное произношение сближает говоры семейских с западными южнорусскими говорами (см.: [Орлова 1959: 141—175; Котков 1963: 108—120; Касаткин 1999: 298—310]), хотя отдельными островками оно наблюдается в различных говорах Европейской части России [ДАРЯ I: карта 46; РД 1965: 84].

Утрата затвора у аффрикаты [ч'] отмечена в исследуемых говорах в единичных случаях: *бе[ш']ёя* 'бечева', *нё[ш']ки*, *[ш']исленник* и др.

9. Отмечаются так называемые шепелявые звуки на месте свистящих, мягких и твердых. Фонема /с'/ может реализоваться в исследуемых говорах звуками [с'], [с''], [с''ш'], [ш'], [ш'']: [с']*ляза́*, [с'']*ёно*, *выро[с''ш']тила*, [ш']*ёмя*, [ш'']*тида́ли* и др.

Фонема /з'/ может реализоваться звуками: [з'], [з''], [ж'], [ж'']: [з']*ёмник*, [з'']*дёлали*, *Во[ж']несённые*, [ж'']*ярно́* и др. В с. Десятниково Тарбагатайского района отмечен и пример с отвердевшим [ж] на месте фонемы /з': *дру[ж]ья́*.

Реже встречаются «шепелявые» звуки на месте твердых /с/, /з': [ш]*коворода́*, [ш]*ки́ну*, *Рожа[ш<sup>с</sup>]твó*, [ж] *горы́*.

Возможна обратная замена: на месте твердой /с/ может произноситься [ц]: [ц]*арай́*, [ц]*оло́ма*, *ко[ц]огóр*, *ру[ц]кий* и др. Такой [ц] на месте [с] может возникнуть в результате гиперкоррекции при отходе от соканья.

Шепелявенье ярче проявляется в селах Тарбагатайского района, чем Бичурского, Мухоршибирского, Заиграевского.

Шепелявенье наблюдал в свое время по всем семейским селам А. М. Селищев, который полагал, что оно развилось у старообрядцев после их переселения в Забайкалье, хотя и не исключал, что могло быть перенесено из материнских европейских говоров [Селищев 1920: 53—55]. Современные исследователи фонетики говоров семейских шепелявость сибилантов и спорадическое мягкое цоканье больше склонны считать реликтом материнских диалектных основ, см.: [Козина 1987: 115].

10. Фонемы /ш/ и /ж/ в исследуемых говорах, как правило, твердые: [ш]*ы́бка*, *жён[ш]ы́на*, [ж]*ана́*, *му[ж]ы́к* и др. На месте /ж/ выступает [з'] в слове *железо* и производных и в слове *жемчуг*: с [з']*ялэ́за*, [з']*ялэ́зные*, из [з']*ёмчуга* и др.

Твердо произносятся долгие шипящие [шш] и [жж]: [шш]*анёнок*, *завя[шш]а́нне*, *во́[жж]ы*, *дро́[жж]ы* и др. Такое произношение свойственно многим русским говорам.

В речи старшего поколения забайкальских старообрядцев отмечено наличие сочетания [ш'ч'], что сближает их с говорами Юго-Западной диалектной зоны [РД 1965: 95]: *вё[ш'ч']и*, *о́во[ш'ч']и*, *хру́[ш'ч']е* и др.

11. На месте сочетания [Сj] произносится: двойной мягкий согласный *смо[л'л']ó*, *угоше́[н'н']е*, *но́[ч'ч']у* и др. Таким произношением говоры семейских наиболее близки к говорам Юго-Западной диалектной зоны, хотя такая же черта отмечена и в некоторых го-

ворах северного наречия и в среднерусских говорах [ДАРЯ I: карта 74].

12. Наблюдается утрата смычного элемента в конечных сочетаниях [ст] и [с'т']: *ку[с], по[с], шер[с'], пои[с']* и др. Возможно, это результат влияния со стороны соседних сибирских старожильческих говоров, в которых данное явление имеет широкое распространение. На территории Европейской части России [с], [с'] на месте конечного *-ст, -с'т'* характерно для севернорусских говоров и говоров к западу от Москвы. Упрощение конечного сочетания [с'т'] распространено и в среднерусских и во многих южнорусских говорах [ДАРЯ I: карта 80; РД 1989: 72, 76].

13. Имеют место некоторые особенности в реализации начальных групп согласных. Так, в речи старшего поколения употребляется протетический [и] перед группой согласных: [и]ржа́ть, [и]рва́ть и др. Эта черта свойственна говорам Юго-Западной диалектной зоны и большинству белорусских и украинских говоров [ДАРЯ I: карта 15; Карский 1955: 260—264; ДАБМ: карта 26; АУМ I: карта 24; Бурова 1983]. Протетический [а] произносится в словах [а]ржа́ной, [а]льня́ной, что распространено на всей территории южнорусского наречия и в части среднерусских говоров [ДАРЯ I: карта 14]. Произносится [и] в слове *где* — [и]де́, известное на всей территории южнорусского наречия [Там же: карта 90].

## ОСНОВНЫЕ МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ

1. В исследуемых говорах наблюдаются колебания в роде. Существительные, имеющие в литературном языке ср. р., в говорах семейских могут переходить в м. р.: *зимовьё брявёнистый, молоко́, свой, утро, пришёл* и др. Таким образом, класс имен существительных мужского рода расширяется за счет среднего. На территории Европейской части России это явление имеет наиболее компактный ареал к западу от Москвы, отдельные острова рассеяны на большей части территории южного наречия [ДАРЯ II: карта 12; РД 1989: 82].

2. У сущ. 1-го склонения (на *-а*) с основой на парный твердый согласный в форме Р. п. ед. ч. отмечено окончание *-е* после предлогов: *у жане́, со старини́; у ма́ми, с маши́ни*. Звук [и] в окончании представляет здесь фонему /e/, на это "указывает смягчение твердого согласного основы" [Бромлей, Булатова 1972: 55]. Без предлогов выступают формы с окончанием *-и (-ы)*: *нет жены́, нет сястры́*. Такое распределение окончаний этого типа склонения сближает исследуемые говоры с говорами Юго-Западной диалектной зоны [ДАРЯ II: карта 1; РД 1965: 104].

3. У существительных 1-го скл. в Д. п. ед. ч. зафиксировано окончание *-и (-ы)*: *скажіте Анны, идёт по горы, косить по жары* и др. Однако данное явление не отличается регулярностью и в подобных случаях чаще произносится окончание *-е*.

В П. п. ед. ч. наряду с окончанием *-е* также может выступать окончание *-и (-ы)*: *об Анне, в машыне* и т. д.; *на горы, в избы, [в]нучки, [в] лес* и др. Наиболее частотны данные явления в Красночикоискском районе Читинской области и в Тарбагатайском районе Бурятии. Это также сближает исследуемые говоры с говорами Юго-Западной диалектной зоны [РД 1965: 105].

4. Неодушевленные существительные м. р. в Р. п. ед. ч. наряду с окончанием *-а* имеют окончание *-у*: *с дому, с плёну* и др. Данное явление характерно для многих русских говоров, как южнорусских, так и севернорусских [Бромлей, Булатова 1972: 67—71].

5. Сфера употребления окончания *-у* в П. п. ед. ч. значительно шире, чем в литературном языке. В говорах семейских, преимущественно у старшего поколения, окончание *-у* (наряду с *-е*) наблюдается у существительных м. р. и ср. р., причем не только у неодушевленных, но и у одушевленных, хотя значительно реже: *на Хилку* (название реки), *у погрибу* и т. д.; *на коню, на болоту* и т. д. Данная диалектная черта соотносит исследуемые говоры с говорами западных областей Европейской части России, особенно в их южной части [Бромлей, Булатова 1972: 77; ДАРЯ II: карты 14—19; РД 1965: 108—109].

6. Широко распространено образование формы сущ. ср. р. с твердой основой в И. п. мн.ч. с помощью безударного окончания *-и(-ы)*: *пятны, вокны, сёлы* и т. п. Данная диалектная черта охватывает южнорусские и среднерусские говоры [ДАРЯ II: карта 33; РД 1965: 239].

7. Повсеместно в говорах семейских в речи разных поколений наблюдается совпадение окончания Т. п. с окончанием Д. п. мн. ч. существительных, реже — прилагательных, местоимений, числительных: *сяртам жэли, косам косили; гóрьким слезам; ручным лопáткам; петь с вам, с детям со всем; двум ведрам* и др.

Как известно, наличие общей формы для Д. и Т. п. мн. числа существительных и прилагательных — черта, характеризующая большинство говоров северного наречия (кроме Архангельской группы северного наречия) [ДАРЯ II: карты 41, 51; Гецова 1997: 171, 193—194; РД 1965: 237]. Совпадение же этих форм возникло, как можно с уверенностью считать, в Забайкалье под влиянием старожильческих говоров, знающих это явление. В говорах семейских в 1920-х гг. А. М. Селищев отмечал его только в с. Десятниково



[Селищев 1968: 270], в настоящее же время эта черта получила широкое распространение.

8. Личные местоимения 1 и 2 л. ед.ч., а также возвратное местоимение в Р. и В. п. имеют окончание *-е*: *у менé, у тебé, у себé; видишь менé, тебé, себé*, что наиболее характерно для южной части южного наречия и псковских говоров [ДАРЯ II: карта 60; РД 1965: 117].

9. Наблюдаются формы личного местоимения м. р. ед. ч. И. п. 3 л. *won* и *jon* наряду с *он*. В И. п. мн. ч. в архаическом слое исследуемых говоров употребляются формы *оны́, онé, онí*.

Употреблением форм *jon* и *оны* говоры семейских соотносятся с говорами Западной диалектной зоны, форма *оне* широко распространена в говорах Северо-Восточной диалектной зоны [ДАРЯ II: карты 64, 68; РД 1965: 126].

10. Употребляются формы указательного местоимения — *той, тáя, тúю, тóе, тýе, тэи, тéи* (и *тее, тeя*).

Распространение всех этих форм местоимения в говорах старообрядцев Забайкалья регистрировал А. М. Селищев и проводил параллели с говорами липован Добруджи [Селищев 1920: 60]. Особенности в употреблении форм этого местоимения сближают говоры семейских с говорами Западной диалектной зоны [ДАРЯ II: карты 69, 70, 71; РД 1965: 129].

11. Отмечено сосуществование окончаний *-ой* и *-ей* в Р., Д., Т., П. п. ед. ч. ж. р. местоимений *тот, один*: *той, однóй* и *тэй, однэй*. Формы *тэй, однэй* характерны для Западной диалектной зоны [ДАРЯ II: карта 73].

12. Употребляются формы местоимения *кто* вместо *что*: *Ковó тут думать-то? Ты ковó там стоишь-то?* Это явление характерно для Юго-Западной диалектной зоны [Захарова, Орлова 1970: 101; РД 1965: 258].

13. Широко распространено употребление [т'] в окончаниях 3 л. глаголов ед. и мн. числа: *ткётъ — ткуть, курнётъ — курнуть* и т. п., что является яркой чертой говоров южнорусского наречия [ДАРЯ II: карта 79; РД 1965: 239]. В настоящее время явно прослеживается тенденция к замене [т'] на [т].

14. Безударные окончания 3 л. мн. ч. глаголов II спряжения чаще всего совпадают с соответствующими окончаниями глаголов I спряжения. Старшее поколение произносит: *пíлють, полóжутъ* и т. п. Данная диалектная черта является довольно устойчивой в говорах семейских и сближает их с говорами южного наречия [ДАРЯ II: карта 84; РД 1965: 240].

15. Прослеживается тенденция к употреблению форм глаголов и прилагательных с утратой [j] в интервокальном положении и ассимиляцией и стяжением возникших в результате этого соседних гласных: а) в глагольных формах с ударным и безударным сочетанием *-а́йе, -е́йе, -о́йе*: *дúмат, знат, умет* и др.; б) в формах прилагательных с ударными и безударными окончаниями *-а́йа, -у́йу, -у́йе*: *га́дка, до́лгу, ба́ловашины* и др.; в том числе в формах местоименных прилагательных: *ко́тора, ево́нна, каку́* и др.; в формах порядковых прилагательных: *вторá пяты* и др.

Подобные явления А. М. Селищев квалифицировал как «наносные севернорусские черты» [Селищев 1921: 61]. Данная диалектная черта широко распространена в говорах севернорусского наречия [РД 1965: 236—237].

16. Зафиксированы формы инфинитива глагола *идти* — *ити́ть* и *иди́ть*. Эта черта характерна для всего южного наречия, части среднерусских говоров и Северо-Западной диалектной зоны [ДАРЯ II: карта 102].

17. Наблюдаются формы деепричастий на *-миши(-миша), -виши, -ши*: *савáн си́ймиши, мо́ншта на́де́миша, пря́сла упáвши, ма́тка умёрши* и др.

От глаголов с основой на гласный возможны формы деепричастий на *-дчи*: *де́ти съéхадчи* и др. С подобными формами совпало образованное от деепричастия наречие *крадчи* (из *крадучи*): *кра́дчи увязу́ть нявэ́сту* и др. Особенно частотно оно в речи семейских разных поколений. Еще А. М. Селищев отмечал его бытование «от Западной Сибири до Анадыри», хотя не исключал, что «у семейских это образование могло быть принесено их дедами из Европы», поскольку наречие *крадчи* широко распространено на Ветке и в Добрудже [Селищев 1920: 62].

## ОСНОВНЫЕ СИНТАКСИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ

1. В значении сказуемого возможно употребление деепричастий на *-миши, -виши, -ши*, а также на *-дчи*: *Самова́р скипе́миши; Дома́ усе зги́миши, мо́хом узя́миши; Бы́ли все на́е́вши; Ба́тька был умёрши; Ле́нька был с Ба́ма приéхадчи* и др.

В настоящее время формы на *-миши, -виши, -ши* не отличаются регулярностью, хотя еще в 1920-е гг. А. М. Селищев отмечал это явление «по всей семейщине» [Селищев 1920: 62]. Данное явление свойственно Западной диалектной зоне [ДАРЯ II: карта 111; Кузьмина 1993: 136]. По данным Р. Ф. Касаткиной, формы на *-виши, -миши, -ши* наблюдаются не только на западе южнорусской территории,

она отмечает их в калужских, брянских, тульских, курских говорах [Касаткина 2001: 186—187].

Среди деепричастий прошедшего времени отмечены образования от глагола *идти* и однокоренных приставочных глаголов: *ушóтчи, пришóтчи, ушétчи, пришétчи*, свойственные говорам Юго-Западной диалектной зоны [РД 1965: 172; РД 1989: 123].

2. Широко распространено употребление предлога *по* с В. п. в объектно-целевых конструкциях при глаголах движения: *поéхать по сéно, по ба́башку сбéгали, уéдет в лес по дрóва* и т. п. Изоглосса этого явления «очерчивает широкую, сужающуюся лишь к середине полосу, протянувшуюся с северо-востока Европейской части России «на юго-запад (Брянская обл.)» [РД 1989: 133].

3. Употребляются конструкции с предлогом *с* вместо предлога *из*: *Потники катáли с шéрсти; Рубят стáйку с лéсу, с соснь; Жанихи-то с други́х сёл прия́жжали* и др. Распространение подобных конструкций характерно для Западной диалектной зоны, хотя они встречаются и в других регионах [РД 1965: 178—179; РД 1989: 129—130; Кузьмина 1993: 82—89].

На основании осуществленного автором анализа фонетической и грамматической систем старообрядческих говоров Забайкалья, а также сопоставления их с говорами Европейской части России, установлена генетическая связь говоров семейских преимущественно с говорами Юго-Западной диалектной зоны, хотя не исключено, что до первого переселения в районы Ветки и Стародубья предки семейских проживали в разных местах и сохраняют до сих пор некоторые языковые черты этих говоров.

#### Л и т е р а т у р а

- АУМ — Атлас української мови. Т. 1. Київ, 1984.
- Белькова 1970 — Белькова В. А. Судьба южновеликорусского говора в условиях инодиалектного окружения (фонетико-морфологический очерк): Автореф. дис. ... канд. филол. наук. Воронеж, 1970.
- Бромлей, Булатова 1972 — Бромлей С. В., Булатова Л. Н. Очерки морфологии русских говоров. М., 1972.
- Бурова 1983 — Бурова Е. Г. Протетические гласные в позиции первого ударного слога в русских говорах // Русские народные говоры: Лингвогеографические исследования / Отв. ред. Р. И. Аванесов. М., 1983. С. 25—35.
- Гецова 1997 — Гецова О. Г. Диалектные различия русских архангельских говоров и их лингвогеографическая характеристика // Вопросы русского языкознания. Вып. 7. Русские диалекты: история и современность. М., 1997. С. 138—198.
- ДАБМ — Дыялекталагічны атлас беларускай мовы / Пад рэд. Р. І. Аванесова, К. К. Крапівы, Ю. Ф. Мацкевіч. Мінск, 1963.
- ДАРЯ — Диалектологический атлас русского языка: Центр Европейской части СССР / Под ред. Р. И. Аванесова, С. В. Бромлей. Вып. I: Фонетика. М., 1986; Вып. II: Морфология. М., 1989.

Захарова, Орлова 1970 — *Захарова К.Ф., Орлова В.Г.* Диалектное членение русского языка. М., 1970.

Калашников 1966 — *Калашников П.Ф.* К изучению говора семейских // Труды кафедр русского языка вузов Сибири и Дальнего Востока. Вып. 4. Улан-Удэ, 1966. С. 26—36.

Карский 1955 — *Карский Е.Ф.* Белорусы. Язык белорусского народа. Вып. 1: Исторический очерк звуков белорусского языка. М., 1955.

Карский 1956 — *Карский Е.Ф.* Белорусы. Язык белорусского народа. Вып. 2: Исторический очерк словообразования и словоизменения в белорусском языке. Вып. 3: Очерки синтаксиса белорусского языка. М., 1956.

Касаткин 1999 — *Касаткин Л.Л.* Современная русская диалектная и литературная фонетика как источник для истории русского языка. М., 1999.

Касаткина 2001 — *Касаткина Р.Ф.* Синтаксис в плену фонетики (о фонетических ограничениях на функционирование некоторых синтаксических конструкций в южнорусских говорах) // Жизнь языка: Сб. статей к 80-летию Михаила Викторовича Панова. М., 2001. С. 184—189.

Козина 1987 — *Козина О.М.* Особенности произношения сибилантов в речи русских старожилов Бурятии // Фонетические исследования языков и диалектов Бурятии. Улан-Удэ, 1987. С. 109—115.

Копылова 1973 — *Копылова В.И.* Фонетическая система говора семейских Красночикокойского района Читинской области. Улан-Удэ, 1973.

Котков 1963 — *Котков С.И.* Южновеликорусское наречие в XVII столетии: (Фонетика и морфология). М., 1963.

Кузьмина 1993 — *Кузьмина И.Б.* Синтаксис русских говоров в лингвогеографическом аспекте. М., 1993.

Нарысы 1964 — Нарысы па беларускай дыялекталогіі / Пад рэд. Р. І. Аванесава. Мінск, 1964.

Орлова 1959 — *Орлова В.Г.* История аффрикат в русском языке в связи с образованием русских народных говоров. М., 1959.

РД 1965 — Русская диалектология / Под ред. Р. И. Аванесова и В. Г. Орловой. М., 1965.

РД 1989 — Русская диалектология / Под ред. Л. Л. Касаткина. М., 1989.

Селищев 1920 — *Селищев А.М.* Забайкальские старообрядцы. Семейские. Иркутск, 1920.

Селищев 1921 — *Селищев А.М.* Диалектологический очерк Сибири. Иркутск, 1921.

Селищев 1968 — *Селищев А.М.* Избранные труды. М., 1968.

Тынтуева 1974 — *Тынтуева Е.И.* Бытовая лексика говора семейских Забайкалья: Дис. ... канд. филол. наук. Л., 1974.

Юмсунова 1992 — *Юмсунова Т.Б.* Лексика говора старообрядцев (семейских) Забайкалья. Новосибирск, 1992.

## Содержание

<i>Букринская И. А., Кармакова О. Е.</i> Противопоставление центральных и периферийных ареалов в восточнославянской лингво-географической традиции .....	3
<i>Валенцова М. М.</i> Словацко-южнославянские связи: этнолингвистические параллели .....	17
<i>Вельмезова Е. В.</i> Из истории изучения чешских заговорных текстов: чешская этнографическая традиция .....	29
<i>Всеволодова М. В.</i> Межнациональный проект «Восточнославянские предлоги в синхронии и диахронии: морфология и синтаксис» .....	42
<i>Завьялова М. В.</i> Проблема взаимодействия польской, русской и литовской языковых систем в языковом сознании и речевой практике трилингвов .....	62
<i>Зубова Л. В.</i> История русской грамматики в поэтическом отражении .....	76
<i>Князев С. В.</i> О формировании важнейших типов аканья и яканья в русском языке .....	90
<i>Ковалев Г. Ф.</i> О словаре этнических названий народов России .....	113
<i>Конявская С. В.</i> Механизмы безаффиксального словообразования в истории языка на материале слов <i>pluralia tantum</i> .....	121
<i>Кортава Т. В.</i> Лингвистические особенности сочинений писателей-старообрядцев XVII—XVIII вв. .....	136
<i>Кравецкий А. Г.</i> Альтернативные системы в истории русской письменности XVIII—XIX вв. .....	147
<i>Красильникова Е. В.</i> О выборе форм числа имен существительных в стихе .....	156
<i>Литвина А. Ф.</i> Преамбула средневековых русских завещаний как литературный жанр .....	162
<i>Лифанов К. В.</i> Взаимодействие чешского и словацкого языков и социолингвистический фактор в истории словацкого литературного языка .....	173
<i>Максимович К. А.</i> <i>Lexicon Cyrillomethodianum</i> : к обоснованию проекта .....	185

<i>Молошная Т. Н.</i> Функциональные межкатегориальные связи определенности/неопределенности с падежом и числом существительного и с лицом, числом и родом глагола в русском и болгарском языках .....	200
<i>Мызников С. А.</i> Субстратный языковой ландшафт русских говоров Северо-Запада .....	212
<i>Плетнева А. А.</i> О языке народной письменности XVIII—XIX веков .....	224
<i>Пожарицкая С. К.</i> Говоры северных территорий и их место в диалектном членении русского языка .....	233
<i>Птенцова А. В.</i> Глаголы <b>вѣдѣти</b> и <b>знати</b> : сопоставительный семантический анализ (на материале оригинальных русских житий Успенского сборника и майского тома Великих Миней Четых) .....	244
<i>Ремчукова Е. Н.</i> Креативные возможности грамматики в разных типах русской речи .....	255
<i>Ровнова О. Г.</i> Специфика взаимоотношений формы и значения в аспектуальной системе русских говоров .....	271
<i>Тарасенко Т. В.</i> Этикетные речевые жанры: современное состояние .....	289
<i>Тихомирова Т. С.</i> Узуально-ситуативные речевые элементы как объект сопоставительного изучения (на примере средств выражения согласия/несогласия в русском и польском языках) .....	301
<i>Улханов И. С.</i> О новых возможностях изучения истории славянских языков (по материалам «Словаря древнерусского языка XI—XIV вв.») .....	314
<i>Фатеева Н. А.</i> Открытая структура: Роем in Progress (о некоторых тенденциях развития русского поэтического языка рубежа XX—XXI веков) .....	337
<i>Хачатурян Е. В.</i> К проблеме образования дискурсивных слов .....	354
<i>Юмсунова Т. Б.</i> Язык забайкальских старообрядцев — семейских и их языковая прародина .....	368

*Научное издание*

*Утверждено к печати Ученым советом  
Института русского языка им. В. В. Виноградова РАН*

**СЛАВЯНСКОЕ ЯЗЫКОЗНАНИЕ**

Материалы конференции  
(Москва, июнь 2002 г.)

Институт русского языка РАН  
Лицензия ИД № 00994 от 18.02.2000 г.

Технический редактор *А. Рыко*  
Оригинал-макет изготовлен *А. Магамбетовым*

Подписано в печать 01.07.2003 г.  
Бумага офсетная № 1. Формат 60 x 90/16. Гарнитура «Times».  
Печать офсетная. Усл. печ. л. 23,87. Тираж 500 экз. Заказ № 1279

Отпечатано с готовых диапозитивов в типографии  
ордена «Знак Почета» издательства Московского университета.  
119899 Москва, ул. Академика Хохлова, 11.

ISBN5-88744-046-5



9 785887 440460 >



К XIII Международному съезду славистов